ИНОСТРАННАЯ *литература*

5
1957

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Содержание

МАО ЦЗЭ-ДУН — Восемнадцать стихотворений. Переводы Н. Асеева, С. Маршака, А. Суркова. Примечания и послесловие Н. Федоренко 3

ВАЦЛАВ РЖЕЗАЧ — Семь танков. (Рассказ) 17

МАРИЯ ДОМБРОВСКАЯ — Ночная встреча. (Рассказ) 21

ГЕНРИХ БЁЛЬ — Рассказы 29

БОЖИДАР БОЖИЛОВ — Искусство. (Стихотворение) 67

ДЕКСТЕР МАСТЕРС — Несчастный случай. (Роман. Продолжение) 69

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ЖИГМОНД МОРИЦ — Мадьярские новеллы . 155

ДЖОРДЖЕ ТОПЫРЧАНУ — Баллады 181

КРИТИКА

Л. СИМОНЯН — От имени поколения . . . 190

О. САВИЧ — Моление о жизни 195

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

Т. МОТЫЛЕВА — О некоторых вопросах реализма XX века 200

Обсуждение романа Яна Отченашека «Гражданин Брих». Предисловие Б. Полевого . 213

ПУБЛИЦИСТИКА

ЛЮДВИК АШКЕНАЗИ — Бабье лето 221

ИНТЕРВЬЮ „ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ"

МАВАХИБ АЛЬ-КАЯЛИ — Об укреплении связей между народами 236

5

1957

МАЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЗВЕСТИЯ" МОСКВА

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОШЛОГО

Говорит Бернард Шоу 244

НА КИНОЭКРАНАХ

ЖОРЖ САДУЛЬ — Имена, которыми мы гордимся 246

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

НОРБЕРТ ФРИД — Искусство мексиканских графиков 257

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

Я. Владимиров — Смех и слезы Черной Африки. ◆ Л. Зонина — Сент-Экзюпери о себе самом. ◆ Е. Померанцева — «— Береги его, моя страна...». ◆ З. Плавскин — Новая книга Рауля Ларры. ◆ Н. Эйшискина — Три рассказа. ◆ С. Шлапоберская — «Свадебная песня для Свантье» ◆ Н. Никулин — Роман о старой вьетнамской деревне. ◆ Л. Черная — Кино в боннской республике 265

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 274

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

. . . . 288

На обложке совместная работа японских художников Маруки и Акамацу и китайского художника Ли Пин-фаня «Песнь мира льется над Китаем».

Мао Цзэ-дун

Восемнадцать стихотворений

В переводах Н. Асеева, С. Маршака, А. Суркова
с примечаниями и послесловием Н. Федоренко.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА „ШИКАНЬ“

Товарищ Кэ-цзя, уважаемые товарищи!*

Ваше письмо получил уже давно. Сожалею, что отвечаю поздно. Выполняя ваше пожелание, я переписал те стихи старого стиля, которые вспомнил, и присланные вами восемь стихов — всего 18 стихов. Прошу поступить по своему усмотрению.

Эти вещи я никогда не собирался официально публиковать в печати, так как они относятся к старому стилю. Опасался, что распространение ошибочных образцов введет в заблуждение молодежь; к тому же они мало поэтичны и в них нет ничего особенного. Коль скоро вы находите, что их можно публиковать — с учетом исправлений ошибок, вкравшихся в несколько стихов, распространившихся в списках, — поступайте согласно вашему мнению.

Выход в свет журнала «Шикань» — дело очень хорошее. Желаю ему расти и развиваться. В поэзии основой должны быть, конечно, новые стихи. Можно писать и стихи старой формы, но их не следует популяризировать среди молодежи, поскольку этот стиль сковывает мысль и к тому же нелегок для изучения. Все сказанное оставляю на ваш суд.

С товарищеским приветом,

МАО ЦЗЭ-ДУН.

12 января 1957 года.

ЧАНША

В день осенний, холодный
Я стою над рекой многоводной,
Над бегущим на север Сянцзяном.
Вижу горы и рощи в наряде багряном,
Изумрудные воды прозрачной реки,
По которой рыбачьи снуют челноки.

Вижу: сокол взмывает стрелой к небосводу,
Рыба в мелкой воде промелькнула, как тень.
Все живое стремится сейчас на свободу
В этот ясный, подернутый инеем день.

Увидав многоцветный простор пред собою,
Что теряется где-то во мгле,
Задаешься вопросом: кто правит судьбою
Всех живых на бескрайной земле?

Мне припомнились дни отдаленной весны,
Те друзья, с кем учился я в школе.

* Цзан Кэ-цзя — современный китайский поэт, главный редактор журнала «Шикань» («Поэзия»).

Все мы были в то время бодры и сильны
И мечтали о будущей воле.
По-студенчески, с жаром мы споры вели
О вселенной, о судьбах родимой земли
И стихами во время досуга
Вдохновляли на подвиг друг друга.
В откровенных беседах своих молодежь
Не щадила тогдашних надменных вельмож.

Наши лодки неслись всем ветрам вопреки,
Но в пути задержали нас волны реки...

БАШНЯ ЖЕЛТОГО АИСТА

Рельсы режут Китай, на юг уходя.
Берега омывает Янцзы бесконечной струя.
Ярко зелень сверкает сквозь дымку дождя.
Замыкают Янцзы Черепаха-гора и Змея.
Желтый аист от нас улетел давно,
Только башня осталась, как память о нем.
Поднимаю бокал, лью в реку вино *.
Дрожь волнения чувствую в сердце моем.

ГОРА ЦЗИНГАНШАНЬ

Видны под горой боевые знамена.
С вершины разносится гром барабанов.
Кольцом нас враги окружили.
Мы стойко атаки отбили.
Позиции мы укрепили заране,
А воля, как камни Великой стены, непреклонна.
Рубеж Хуанъян сотрясают залпов раскаты,
Пришло донесенье, что вражьи отходят солдаты.

НОВЫЙ ГОД

Нинхуа, Цинлю, Гуйхуа.
Узкий путь, скользкий мох, лес, трава.
Куда мы сегодня идем?
К подножью Уи мы идем.
У этой горы, у этой горы
Красные флаги горят, как костры,
Колеблемы ветром едва.

ХУЭЙЧАН**

Скоро заря загорится багряно.
Как говорить, что в поход отправляетесь рано?
Мы не старели, по жизни идя неустанно.
Край наш прекрасный раскинут пространно.

---

* Знак добрых пожеланий.
** Уезд в провинции Цзянси.

Горные цепи от стен Хуэйчана
Тянутся вдаль, до Восточного моря.
Смотрят бойцы на юг Гуандуна —
Там еще ярче, прекрасней природа.

ДАБАЙДИ

Небо в красном, оранжевом, желтом, зеленом,
Фиолетовом, синем, в каплях дождя отраженном.
Солнце, глянув сквозь ливень, закатится скоро.
Постепенно темнеют заставы и горы.
Здесь битва недавно еще бушевала.
От пуль и осколков пробоин осталось немало.
Горы вокруг и заставы армии нашей.
В блеске радуги выглядят ярче и краше.

ЗАСТАВА ЛОУШАНЬ

Резкий западный ветер.
Предутренний месяц да иней.
Крик гусей на рассвете,
Предутренний месяц да иней.
Звук трубы на рассвете и цокот копыта.
Не считай, что застава надежно прикрыта —
Тут мы недолго осаду вели —
К вечеру сверху ее обошли.
Горы, синие горы, как море.
Солнце пролило кровь на просторе.

ТРИ СТИХА ПО 16 СЛОВ*

Горы!
Я в седле, плеть в руке, скакуна ноги скоры.
Вверх взгляни —
Достанешь рукой голубые просторы.

Горы!
Как волненья морского крутые валы и повторы,
Словно конницы вздыбленной,
В яростной битве стесненной, заторы.

Горы!
Их вершины вонзились в небесные синие взоры.
Небо падало вниз,
Но его — вершин поддержали опоры.

ВЕЛИКИЙ ПОХОД

Красным не страшен дальний поход,
Тысячи рек, перевалов лед,
Пять круч — как волн океанских взлет.
Умынский хребет грозно встает.

* В китайском оригинале — три самостоятельных стихотворения, объединенных общей темой.

Цзиньша волной об утесы бьет.
Сталь моста Даду холодом жжет.
Хребет Минъшань в снегах позади —
На наших лицах радость цветет.

ГОРА ЛЮПАНЬ

Легкие тучки в небесную высь взметены.
Гляжу на гусей, летящих к югу страны,
Покуда их стаи мне в небе видны.
Кто не дойдет до Великой Стены,
Настоящим не станет бойцом.
Подсчитай по пальцам: уж мы прошли
Двадцать тысяч ли.
На горе Люпань, на самой вершине,
Знаменем нашим играет западный ветер.
Длинный аркан мы держим в крепких руках.
Когда же черно-зеленого свяжем дракона?

КУНЬЛУНЬ

Уходит Куньлунь далеко в вышину,
Небесную глубь рассекая.
Старик не желает смотреть на весну,—
На что ему радость людская!

Окутанный белой своей пеленой,
Морозит он землю корой ледяной.

А только растают на солнце снега,
Беснуются реки, залив берега,
И смывают потоком людей в городах,
Точно стаю рыбешек и черепах.

Но все ж не сумело в былые века
Сказать ни одно поколенье,
Какие заслуги у старика,
Какие за ним преступленья.

А я приказал бы Куньлуню: — Смирись!
Хоть ты и глядишь в неприступную высь,
Снега отряхни и пред нами склонись.

О если бы мог из ножон я извлечь
Могучий, скалу рассекающий меч,
Чтоб горы твои на три части рассечь, —

Европе досталась бы первая треть,
Америке — доля вторая,
А третья, чтоб реки не стали мелеть,
Пусть будет в пределах Китая.

И пусть равномернее шар наш земной
Поделит меж странами холод и зной.

СНЕГ

Лед и снег.
Ледяная картина на тысячу ли,
На десятки тысяч снега залегли.
Я гляжу: от Великой Китайской Стены
С двух сторон ее — блеск снеговой целины.
Хуанхэ замерла — и, сверкая змеей,

Горы вьются с верховьев до устья ее.
Над равниной, как спины бегущих слонов,
Горы рост свой вздымают до облаков.
В ясный день
Одеяния алые видны и белые —
Необычно прелестные.
Гор и рек очертания смелые
Очаровывали много героев известных.
Жалко, что древние императоры —
Циньский Ши-хуан и ханьский У-ди
Были средние литераторы.
У танского императора Тайцзуна
И сунского императора Тайцзу
Не хватало в душе поэтических струн.
Чингисхан, любимец судьбы,
По орлам лишь был мастер искусной стрельбы.
Все былое закрылось столетий горою.
Если видеть хотите вы истинного героя —
Он отмечен сегодняшнею порою.

ГОСПОДИНУ ЛЮ Я-ЦЗЫ

Помню, пили мы чай в Гуандуне у берега моря.
А когда мы слагали стихи, был в желтом осеннем уборе
Город Чунцин...
Тридцать лет истекло, и еще миновал один,
В древнюю нашу столицу теперь возвратился я снова.
Осенью Ваши стихи прочитал я от слова до слова.
Много жалоб у Вас на то, что случается в мире.
Что понапрасну грустить — смотрите на вещи пошире!
Не говорите: мелка в пруду Куньмина вода.
Глубже река Фучунцзян, но рыб серебристых стада
Легче, мой друг, наблюдать в мелкой воде пруда.

ХУАНЬЦИША

В день празднования годовщины Первого октября в 1950 году, на спектакле в театре, господин Лю Я-цзы сочинил экспромтом стихи в стиле «Хуаньциша». Я ответил ему стихотворением на те же рифмы.

Был сумрак ночной над моею страной.
В нем дьяволов рой забавлялся игрой.
Был нем и разрознен народ мой родной.

Но вот петухи возвестили рассвет.
И вот уже свет озарил нас дневной,
И житель прибрежный, степной и лесной,
Явились на праздник семьею одной.

Где ж лучший источник для песен, поэт!

БЭЙДАЙХЭ

Ливень льет в Юянь.

Льет над морем дождь проливной.
Лодки рыбачьи спорят с волной.
Но что это? Водный простор предо мной,

А лодки исчезли — нет ни одной.

Я вспоминаю былые года.
Верно, такие же лили дожди,
Так же вода бушевала, когда
Здесь побывал император У-ди
В пору старинной династии Вэй.

Взглянуть на Сиши приезжал он сюда
И оставил стихи о поездке своей.

Тучи несутся сейчас, как тогда,
Так же осенняя буря ревет,
Волны вздымая. Но мир уж не тот.

ПЛАВАНИЕ

Недавно я воду черпал в Чанша
И рыбу в Учане ел не спеша.
Янцзы мы недавно пересекли,
Реку, что простерлась на тысячи ли,
И небо простер надо мной Хубэй.
Хоть ветер дует и волны пошли,
Сень сада на суше меня не влечет...
Конфуций сказал: все в мире течет,
Как струи реки этой вечно текли.

Мачта качается влево и вправо.
Черепаха-гора и гора Змея
Неподвижны и величавы.
И такая картина представилась вдруг:
Мост построим и свяжем с Севером Юг.
Ток Янцзы остановим плотиной могучей,
Не пропустим ушаньские с ливнями тучи,
Меж горами раскинется озеро вширь,
И богиня гор удивится:
Как меняется мир!

Стихотворения «Снег» и «Три стиха по 16 слов» переведены Н. Асеевым.

Стихотворения «Чанша», «Куньлунь», «Господину Лю Я-цзы», «Хуаньциша» и «Бэйдайхэ» переведены С. Маршаком.

Стихотворения «Башня желтого аиста», «Гора Цзинганшань», «Новый год», «Хуэйчан», «Дабайди». «Застава Лоушань», «Великий поход», «Гора Люпань» и «Плавание» переведены А. Сурковым.

ПРИМЕЧАНИЯ

К стихотворению «Чанша».

Чанша — крупный административный и культурный центр на юге Китая, столица провинции Хунань, где в одной из деревень — в Шаошань, уезда Сянтань, родился в 1893 году Мао Цзэ-дун.

С городом Чанша связаны многие годы учебы и жизни Мао Цзэ-дуна. Здесь начали формироваться его политические взгляды, особенно во время его пребывания в хуаньской учительской семинарии. В этом городе он делал первые шаги в борьбе, которой посвятил всю жизнь. С Чанша у Мао Цзэ-дуна связаны многочисленные воспоминания о событиях и людях, о вольнодумных мечтах в дни студенческой жизни, горячих спорах, задушевных беседах. Все это отразилось в его поэтических произведениях.

Сянцзян — крупная река в провинции Хунань, Чанша находится на берегу Сянцзяна.

Стихотворение «Чанша» написано на мотив широко известного древнего поэтического произведения «Весна Синьюань», относящегося к эпохе Восточных Ханей (25—220 гг. нашей эры). На этот мотив в Китае созданы многочисленные поэтические произведения, принадлежащие авторам различных эпох.

К стихотворению «Башня желтого аиста».

Стихотворение написано на мотив знаменитой древней песни «Пусамань», создание которой относится к 850 году.

«Башня желтого аиста» — название знаменитого памятника в г. Учан, на берегу Янцзы «Башня желтого аиста» воспета в многочисленных поэтических произведениях различных эпох.

В стихотворении «Башня желтого аиста» поэта танской династии Цуй Хао говорится, между прочим: «Улетели древние на желтом аисте, и опустела его башня. Улетел безвозвратно желтый аист, и тысячелетия в небе пустота беспредельная».

Черепашья гора, или Гора черепахи, находится в г. Ханьяне, на северном берегу Янцзы, а на противоположном берегу, в г. Учан, — Змеиная гора, или Гора змеи. Они как бы замыкают реку Янцзы.

К стихотворению «Гора Цзинганшань».

Стихотворение написано на популярный мотив поэтической фразы «Луна на Янцзы» из стихотворения прославленного поэта танской династии Ли Бо (701—762), где говорится: «И теперь жить осталась луна на Янцзы, что людям светила во дворце У-вана».

Цзинганшань — горный район в Южном Китае. Сюда в 1927—1928 годах привели свои революционные отряды Мао Цзэ-дун и Чжу Дэ. В горах Цзинганшань были созданы первые соединения легендарной Китайской Красной Армии и впервые провозглашена Советская власть на территории освобожденных районов.

К стихотворению «Новый год».

Стихотворение «Новый год» написано по знаменитому мотиву поэтической фразы «Как сон» из стихотворения танского периода, где, в частности, сказано: «Как сон, как сон; серп луны, опавшие цветы, густой туман».

Нинхуа, Цинлю и Гуйхуа — названия уездов в провинции Фуцзянь, где действовали части Китайской Красной Армии.

К стихотворению «Дабайди».

Как и «Башня желтого аиста», стихотворение написано на мотив знаменитой песни «Пусамань».

Дабайди — название местности.

К стихотворению «Застава Лоушань».

Стихотворение написано на мотив знаменитого стихотворения Ли Бо «Вспоминаю Цинь Э».

Застава Лоушань находится на севере уезда Цзуньи, провинции Гуйчжоу, где действовали части Китайской Красной Армии.

К стихотворениям «Три стиха по 16 слов».

Достанешь рукой голубые просторы — в китайском оригинале буквально: «До неба три чи (фута), три цуня (дюйма)». Эта строфа связана с народной песней:

Наверху — Гора скелетов,
Внизу — Гора восьми сокровищ,
До неба три чи, три цуня.
Пешеход должен здесь голову
склонить,
Всадник должен спешиться.

Стихотворения написаны старинным стилем, предусматривающим четыре строфы с общим количеством 16 иероглифов (слов). Причем первая, запевная строфа состоит из одного иероглифа (слова), в данном случае слова «гора».

К стихотворению «Великий поход».

Стихотворение написано старинным поэтическим размером, именуемым «Цилюй»,— стих, строго ограниченный восемью строфами с семью иероглифическими знаками в каждой строфе.

Великий поход — беспримерный поход Китайской Красной Армии на северо-запад в 1934—1935 годах, во время которого ей пришлось прорвать четыре заградительные линии гоминдановских войск и в непрерывных боях пройти через провинции Цзянси, Гуандун, Хунань, Гуанси, Гуйчжоу, покрыв расстояние в двенадцать с лишним тысяч километров.

Пять круч — горы Даюй, Цитянь, Дупан, Минчжу, Юэчэн, находящиеся в районе провинций Хунань—Гуандун.

Умынский хребет — отрог Юньлинских гор, в провинции Юньнань.

Цзиньша — название реки, берущей начало в провинции Цинхай и проходящей через провинции Сикан и Юньнань.

Даду — название реки в провинции Сычуань.

Миньшань — название горы в провинции Сычуань.

К стихотворению «Гора Люпань».

Стихотворение написано на мотив старинного песенного произведения «Цинпинюэ».

Люпань — название горы в провинции Ганьсу.

Черно-зеленый дракон — подразумеваются японские захватчики.

К стихотворению «Куньлунь».

Написано на мотив стихотворения «Нянь-нуцзяо» («Нежность Нянь Ну»), посвященного прославленной певице Нянь Ну, жившей в эпоху Тан.

К стихотворению «Снег».

Стихотворение «Снег», как и стихотворение «Чанша», написано на мотив известного древнего поэтического произведения «Весна Синьюэнь», относящегося к эпохе Восточных Ханей (25—220 гг. нашей эры).

Равнины — имеется в виду высокогорное плато Цинцзинь.

Любимец судьбы — в исторических анналах Ханьской династии указывается: «Племена Ху (этим именем китайцы в древности называли племена, находившиеся на Севере Китая) являются баловнями неба».

К стихотворению «Господину Лю Я-цзы».

Стихотворение написано старинным поэтическим размером, называемым «Цилюй» — стих, строго ограниченный восемью строфами с семью иероглифическими знакам в каждой строфе.

Лю Я-цзы — известный современный демократический деятель Китая.

К стихотворению «Хуаньциша».

Это стихотворение написано в старинном жанре «Хуаньциша» — стих, строго ограниченный размером в шесть строф (разделенных по три), по семь иероглифических знаков в каждой строфе.

К стихотворению «Бэйдайхэ».

Стихотворение написано на популярный старинный мотив «Лантаоша» — «Промывает волною песок», рифмованное произведение, состоящее из десяти строф с неодинаковым числом иероглифических знаков в строфе или из четырех строф с семью иероглифическими знаками в каждой.

Бэйдайхэ — название приморского пункта в Северном Китае.

Юянь — название северной части провинции Хэбэй, где находится Бэйдайхэ.

Сиши — название острова.

К стихотворению «Плавание».

«Янцзы мы недавно пересекли...»—имеется в виду действительный факт, когда летом 1956 года Мао Цзэ-дун переплыл реку Янцзы.

Ушань — название горы в уезде Ушань, провинции Сычуань. Ушань имеет двенадцать пиков, из которых пик Богини гор самый живописный. У подножья горы стоит Кумирня Богини гор.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

I

Характерная черта китайской литературы — строгая преемственность развития, сила традиции. Эта особенность предопределялась системой литературного образования в стране, требовавшей обязательного знания важнейших литературных памятников прошлого.

Китайской классической литературе свойственны основы реалистического творчества, она одухотворена высокими идеями патриотизма, народности, гуманизма. Эти прекрасные традиции соблюдаются современными писателями Китая, опирающимися на опыт своих славных предшественников. Известный китайский литературовед Чжоу Ян отмечает, что современная китайская литература должна унаследовать замечательные традиции древней китайской литературы, показывающей борьбу и раскрывающей характер ее участников. Новая литература, литература социалистического реализма, сможет стать подлинно народной лишь в том случае, если будет критически впитывать замечательные традиции национального классического наследия *.

В богатейшей литературной традиции Китая особенно важна основная линия — линия реализма. Именно эта линия в истории китайской литературы была наиболее плодотворной, высокохудожественной и живой. Именно эта линия проходит через творчество всех истинно великих писателей Китая. Китайская литература была сложной и многоплановой, ее развитие, особенно в отдельных жанрах, не всегда шло по восходящей прямой. Тем не менее, в любую историческую эпоху прошлого мы видим, как неуклонно, через самые различные напластования, наперекор художественным

* Чжоу Ян. Социалистический реализм — путь развития китайской литературы. «Знамя», № 12, 1952, стр. 172.

вкусам и взглядам господствовавшей верхушки, эта реалистическая линия продолжала развиваться. Естественно, что в различные исторические эпохи ее характер менялся. Реализм китайской литературы прошел долгий и сложный путь, который, вероятно, не проходил реализм ни одной литературы в мире. Истоки этой традиции восходят к древнейшим мифам и народным преданиям, где сквозь сказочную, порою мрачную фантастику пробиваются первые лучи правдивого отображения жизни человека, его труда и борьбы. Реализм современной китайской литературы — это реализм высшего типа, отображающий жизнь человека в обществе, идущем к социализму, — социалистический реализм.

Китайское классическое литературоведение делило все произведения литературы на прозаические (вэнь) и поэтические (ши). Прозаические произведения в свою очередь различались в зависимости от стилей прозы, среди которых в различные исторические периоды получили развитие или стиль «саньвэнь», или «пяньвэнь», или «юньвэнь», или, наконец, «байхуавэнь».

Стиль пяньвэнь представлял собой разновидность ритмической прозы, основанной на параллельности предложений.

Стиль юньвэнь рассматривался в классическом китайском литературоведении как ритмическая проза, однако фактически это был уже поэтический стиль, и произведения в этом стиле по своей природе являлись стихотворными.

В середине IV века до н. э. в царстве Чу, на юге Китая, рождается литература, получившая название «чуцы» («чуские строфы») — поэтический жанр относительно свободной формы, берущий свое начало в устном народном творчестве. Крупнейший представитель этого жанра — Цюй Юань (340—278 г.г. до н. э.).

Стиль пяньвэнь получает наибольшее развитие в эпоху Южных и Северных династий (IV—VI вв.), когда произведения пяньвэнь, лирические и описательные, преимущественно короткие, отличались особым совершенством.

К этому периоду относится развитие нового поэтического жанра «цы» — стихов песенного типа, в основе которых лежат народные мелодии. Много оригинальных рукописных памятников этой эпохи открыто при раскопках знаменитых «Пещер тысячи будд» в местности Дуньхуан (провинция Ганьсу). Во многих из найденных здесь безыменных народных песен, исполнявшихся под музыкальный аккомпанемент и получивших повсеместное распространение, отображены темы воинской службы в пограничных районах, мотивы печали и тоски жен по ушедшим в поход мужьям. Любовь, разлука, женская доля — главные темы произведений знаменитых мастеров песенной поэзии жанра «цы» — Вэнь Тин-юня (818—872) и Вэй Чжуна (851—910). Идейное содержание песенной поэзии еще выше поднимается крупным поэтом Ли Юем (937—978).

Стихи жанра «цы» в период конца династии Тан и Пяти династий (907—960) были в то же время и песнями, они специально создавались для пения на определенную мелодию.

Во время династии Сун (960—1279) жанр «цы» попадает в руки литераторов, ориентировавшихся на книжную классическую литературу, теряет свой песенный характер и превращается в чисто литературный, книжный жанр.

Объединение Китая под эгидой Сунской династии привело страну к временному миру. XI век явился периодом нового подъема китайской литературы. Особенного развития достигает в сунский период поэзия жанра «цы» *. В истории китайской литературы сунские стихи «цы» славятся наравне с танскими стихами «ши». Появляется плеяда крупных писателей, среди которых ведущее место принадлежит Оуян Сю (1007—1072), по мастерству своей ритмической прозы и поэзии в жанре «цы» стоящему в одном ряду с лучшими писателями Танской эпохи.

II

В Китае поэзия всегда пользовалась особым уважением. Хорошо образованный человек должен был уметь писать стихи или во всяком случае знать на память сотни стихотворений поэтов прошлых веков, не говоря уже об обязательном знании «Ши-

* Поэзию жанра «цы» следует отличать от «чуцы».

цзина» — «Книги песен». Поэтическое творчество было популярно не только среди представителей интеллигенции, китайских чиновников и помещиков. Поэзию любили и умели ценить широкие народные массы. Одним нравился тонкий и изощренный стих в духе эстетики Сяо Туна, архаический стих, полный неуловимых намеков, элегических настроений и исторических параллелей. Другие ценили задорный, живой и острый, богатый ритмом сказ под китайские кастаньеты. То и другое в целом представляло китайскую поэзию, два потока которой текли в русле китайской культуры. У этих потоков в далеком историческом прошлом был единый источник, но чем далее они от него отходили, тем большее расстояние разделяло их.

К середине XIX века эти потоки китайской поэзии были совершенно отделены друг от друга. Поэзия господствовавшего класса представляла собой нечто условное и искусственное. Стихи писались на архаическом книжном языке, вовсе непонятном простому народу. Форма этих стихотворений к тому времени как бы окостенела, стала неподвижной и мало удобной для выражения живой мысли. Чтение и понимание таких стихов было крайне затруднено, поскольку фразы в них не отделялись друг от друга, не было никаких знаков препинания.

Народная поэзия, существовавшая в виде сказов, песен, раешников и имевшая свободную, не ограниченную условностями форму, существовала лишь в устной передаче. Господствовавшие классы с пренебрежением относились к народному творчеству и не допускали его на страницы книг.

В конце XIX века представители либеральной китайской интеллигенции стали призывать к «революции в области поэзии», использованию простого, понятного народу языка, употреблению новых слов и выражений, а главное — отражению в поэтическом творчестве современной жизни. Наиболее известными среди поэтов, представлявших взгляды нарождавшейся китайской буржуазии, были Тань Сы-тун, Ся Цзян-ю, Хуан Цзунь-сянь и другие. Однако их высказывания в пользу новой поэзии в известной мере остались лишь декларациями.

Формированию новых представлений о поэзии в Китае способствовало знакомство китайской интеллигенции с творениями крупнейших поэтов Европы. Заслуга ознакомления Китая с именами Байрона, Шелли, Пушкина, Лермонтова, Мицкевича, Петефи и других поэтов принадлежит Лу Синю, задолго до движения «4 мая» начавшему пропагандировать их творчество, в котором он видел дух сопротивления и призыв к действию. Немалое влияние оказало на нарождавшуюся новую китайскую поэзию творчество Гете, Гейне и особенно Уитмена. Некоторые поэты испытывали влияние стихов Тагора.

III

Новая китайская поэзия, как и новая китайская литература, начинает свою историю со славных дней известного антиимпериалистического и антифеодального движения «4 мая», заложившего основы для подлинного революционного переворота во всей китайской культуре. Это было передовое, революционное выступление против старой морали, старой идеологии, старого общественного строя, в защиту науки и демократии. Группа китайских прогрессивных деятелей восстала против господства литературы на так называемом вэньянь — архаическом книжном языке древних канонов, оторванном от народа и чуждом ему, понятном лишь для глаза и резко отличавшемся от общенародного языка; они потребовали приближения литературного языка к разговорному, понятному на слух, к так называемому байхуа. Господствующие классы воспитывали учащуюся молодежь на конфуцианских прописных истинах, превращенных в религиозные догмы, принуждали народ к вере и покорности. Литература господствующих классов была в своей основе феодальной, антинародной как по содержанию, так и по форме.

«Культурная революция, осуществлявшаяся движением «4 мая», — пишет Мао Цзэ-дун, — вела последовательную борьбу против феодальной культуры. За всю историю Китая он еще не знал такой великой и последовательной культурной революции». *

* Мао Цзэ-дун. «О новой демократии». Избранные произведения. М., 1953, т. 3, стр. 259.

представлял новую поэзию Китая». Поэтическое творчество Го Мо-жо привлекало своим героическим пафосом, верой в силы народа, устремленностью к благородным революционным идеалам.

Го Мо-жо с большой поэтичностью и лиризмом стремился изобразить жизнь общества и человека не только такими, какими они представали перед глазами писателя, но и такими, какими они должны быть.

Значительное влияние на молодежь оказывала поэзия Цзян Гуан-цы. Его стихи были полны веры в победу революции. Особенно ярко влияние пролетарских идей, дух сопротивления и протеста ощущались в стихах Цюй Цю-бо,* Чжэн Чжэнь-до, Лю Бань-нуна и других.

В 1937 году началась антияпонская война. Вместе с китайским народом на защиту родины поднялись лучшие представители китайской поэзии. Многие поэты работали в партизанских базах, в тылу японских войск, где в невероятно трудных условиях печатали свои стихи и песни.

В годы антияпонской войны (1937—1945) наряду с Ай Цином, Сяо Санем (Эми Сяо) и Тянь Цзянем выдвигаются такие талантливые поэты, как Цзан Кэ-цзя, Хэ Ци-фан, Юань Шуй-по, Янь Чэнь и многие другие.

Лучшие поэты Китая стремились своими стихами, призывными песнями, вдохновенным поэтическим словом мобилизовать народ на борьбу за свободу.

В годы войны широко распространялись пропагандистские стихи. Они носили различные названия — «Цзетоуши» («Стихи улицы»), «Цянтоуши» («Стихи со стен»), «Чуаньданьши» («Стихи-листовки»). Поэты быстро и остро откликались на последние события войны, вселяли мужество, звали к упорству, к победе над врагом. Написаны эти стихи были просто и доступно. Одним из первых зачинателей этой поэзии был поэт Тянь Цзянь.

Новая революционная поэзия Китая стала могучим средством воспитания китайского народа в духе любви и преданности родине и Коммунистической партии. Тридцать с лишним лет передовые китайские поэты вели непрерывную борьбу с буржуазным эстетством и декадентством, с различными антиреалистическими, антинародными тенденциями в революционной литературе. Это сделало новую китайскую поэзию закаленной, сильной и мужественной.

IV

На страницах первого номера нового журнала «Шикань» — «Поэзия», начавшего выходить в Пекине с января 1957 года, были помещены восемнадцать поэтических произведений, написанных Мао Цзэ-дуном.

Бóльшая часть этих произведений недавно создана автором и ранее не публиковалась. Только часть их была написана ранее и печаталась на страницах различных изданий, в том числе и в Советском Союзе, в русском переводе. Многие стихотворения еще до опубликования получили широкое распространение среди китайских читателей в списках. Однако в текстах многих этих произведений содержались разного рода ошибки и неточности. Теперь они устранены, опубликованные в журнале «Поэзия» тексты предварительно просмотрены и исправлены самим автором.

Эти произведения Мао Цзэ-дуна написаны в стиле «старых стихотворений», в традиционном классическом стиле «цзюти шицы». Из восемнадцати произведений лишь два относятся к стихотворениям «ши»: «Великий поход» и «Господину Лю Я-цзы». Иероглиф и слово «ши» в древнем китайском языке означали: стихотворение, песня, ритмическое, озвученное рифмами произведение, исполнявшееся обычно под аккомпанемент музыкального инструмента. Это значение слова «ши» сохранилось и в современном китайском языке. Остальные произведения — так называемые «цы», поэтические, римфованные произведения или стихи песенного типа, состоящие из строф различной длины. Одной из особенностей поэтических произведений «цы» является то, что текст, как правило, составляется по определенным мотивам, песенным мелодиям, музыкальным ритмам. Сочинение таких произведений имеет свои правила, и автор должен строго придерживаться норм стихосложения. Такое произведение должно состоять из определенного количества иероглифических знаков (слов и

слогов), числа строф и абзацев; должны учитываться тональность каждого иероглифа, рифма, строение строфы, особенности словосочетания. Поэтические произведения жанра «цы» менее, чем «ши», связаны канонами старого, традиционного стихосложения. Поэтому Мао Цзэ-дун предпочитает жанр «цы», допускающий бо́льшую свободу и живость форм, разнообразие размеров строф и т. д.

Старый поэтический стиль — многосложный и трудный. Мао Цзэ-дун отмечает, что никогда не хотел «официального опубликования» своих стихотворений, поскольку они написаны «старым стилем», опасаясь, что «распространение ошибочных образцов введет в заблуждение молодежь». Он подчеркивает, что следует писать новые стихи, которые должны быть главной формой поэтического творчества, а старые стихи, от сочинения которых не следует вовсе отказываться, не должны пропагандироваться среди молодежи, поскольку «этот стиль сковывает мысль и к тому же нелегок для изучения».

Опубликование стихотворений Мао Цзэ-дуна в журнале «Поэзия» вызвало в Китае значительный интерес. Китайская критика оценивает их высоко.

Стихотворения Мао Цзэ-дуна характеризуются прежде всего необыкновенной насыщенностью большим общественным содержанием, идейностью, глубокой уверенностью в торжестве великих революционных идеалов. Эти особенности поэтических произведений Мао Цзэ-дуна отмечаются в журнале «Народный Китай»: «Как в его ранних произведениях — «Чанша», «Цзинганшань», «Великий поход», «Гора Люпань», «Застава Лоушань» и «Куньлунь», так и в поздних — «Бэйдайхэ», «Плавание» — нашли свое выражение великие возвышенные идеи революции, дух беспредельного героизма и революционный оптимизм, облеченные в полные жизни прекрасные художественные формы»*. Опыт революционной борьбы является животворным источником поэтического творчества Мао Цзэ-дуна.

Китайская литературная критика также отмечает, что композиционное оформление этих стихотворений автору удалось привести в полное, органическое соответствие с содержанием, придать ему художественную законченность, полноту, добиться соразмерности, стройности.

Используя формы старого классического китайского стихосложения, автор наполнил свои произведения новым содержанием, социально-общественной тематикой, и придал им национально-народное звучание. Вместе с тем он сумел освободить поэтический слог от традиционной риторической выспренности, словесного украшательства, придать стихам непосредственность и простоту. Поэтому стихотворения Мао Цзэ-дуна обладают большой впечатляющей силой. «Все, прочитавшие произведения товарища Мао Цзэ-дуна, — пишет известный современный китайский поэт Цзан Кэ-цзя, — испытывают одно общее чувство: животворная сила и мужество, подлинно волнующие строки. Сила поэтических творений, мысли и чувства автора находятся во взаимной связи. Его произведения очень волнуют, в них нет догматизма, нет лозунгов, каждый стих содержит в себе мир прекрасного».

В статье Цзан Кэ-цзя рассказывается об одном ярком эпизоде революционной борьбы китайских бойцов. Прочтя на страницах журнала «Поэзия» стихотворение «Гора Люпань», один из героев китайской освободительной войны рассказал, как во время сражения небольшого отряда революционных войск с превосходящими силами врага большинство бойцов погибло, остались лишь два-три человека. Движимые чувством верности партии и народу, они приготовились к гибели. В последний момент они пожелали послушать «Голос Центрального комитета партии». Зазвучал радиоприемник, и до их слуха донеслась декламация стихотворения «Гора Люпань». О, что это были за звуки! Они волновали, вселяли мужество, уверенность. Люди почувствовали прилив живых сил и решили пробиться из окружения. Вскоре им это удалось.

Н. Федоренко

* «Народный Китай», № 5, 1957 г. Пекин, стр. 44.

«СЕМЬ ТАНКОВ» *Рис. В. Высоцкого*

Вацлав Ржезач

СЕМЬ ТАНКОВ

РАССКАЗ

Перевод с чешского О. и В. Калачевских.

Пятого мая я осталась дома одна с Аленкой. Муж ушел рано утром в центр города. Я даже не пыталась его задержать: бывают моменты, когда женщина должна заставить свое сердце молчать и подавить тревогу. Впрочем, шесть долгих лет достаточно научили меня этому искусству. Почему я должна держать себя иначе теперь, когда развязка уже стучится в двери? Вера — самый надежный компас в тяжелые времена, и я ни на минуту не спускала с него глаз. Может быть, кое-кому покажется смешной моя простодушная вера и то, что я в нее вносила, покажутся смешными источники, которыми она питалась даже тогда, когда многим казалось, что все выжег огонь несчастий.

Я воспитала в себе способность не падать духом, не слышать скрежета тревоги и смягчать разящую силу злых известий. Я привыкла делать домашние работы так тщательно, как будто каждое движение моей руки, вооруженной пыльной тряпкой, было важным, даже решающим шагом, приближающим к концу страдания, терзающие человечество, как будто каждым до блеска вытертым стаканом или тарелкой я шаг за шагом добывала своей семье, а может быть, и другим людям, уверенность в том, что все кончится счастливо.

Я не была в городе последние дни, но что из этого? Напряженность и волнующее ожидание, начинавшие ускорять пульс уличной жизни, проникли даже в наше предместье, охватили даже крайние домики, за стенами которых уже простирались поля с пестреющими пятнами рощ и перелесков. В одном из них живем мы. Наш дом невелик — три комнаты и кухня, вот и всё; но лишения, которыми мы заплатили за дерзкую мысль построить дом, преобразили его в моих глазах во дворец. И хотя каждый гвоздик в нем был добыт ценой упорной работы и лишений, меня не покидала мысль, что я не заслужила такой роскоши и меня когда-нибудь схватит чья-то сильная рука и вернет в конуру, из которой я вышла. Вот где ты должна быть, вот где твое место! Почему я так распространяюсь об этом? За прошедшие шесть лет я так часто представляла себе наш дом в развалинах, что для меня он перестал быть реальным, да и вся жизнь, которую мы тогда влачили, стала лишь прелюдией чего-то неизвестного. Никогда я не видела в нем своей собственности, он был для меня лишь видимым знаком упорных, невосполнимых лет труда, убежищем, где Йозефу так хорошо работалось, где каждый уголок дышал нашей любовью, а стены звенели смехом нашей Алены. Я любила наш дом, но все же в любой момент готова была от него отказаться. Если бы это могло как-нибудь изменить нашу общую судьбу,— бог с ним, пусть превратится в прах и развалины. Разве другие не жертвовали гораздо большим?

Когда пятого мая за отцом захлопнулась дверь, Алена подошла ко мне и, уставясь своими большими глазами, цвет которых менялся от голубого до зеленовато-серого, спросила:

— С папочкой ничего не случится? Он вернется?

Волнение сжало мне горло. Я тяжело глотнула воздух и заморгала, прежде чем овладела собой и смогла ответить. Эту маленькую, восьмилетнюю женщину, как будто всецело занятую своими книжками и куклами, не обмануло то, что мы избегали говорить при ней о наших горестях и надеждах. Напряженность, которой, казалось, не было и следа в нашем тихом предместье в это спокойное весеннее утро, завладела и девочкой.

— Что же с ним может случиться? — спросила я и попыталась улыбнуться. — Не думай об этом и иди играть.

Она покачала головой и сказала твердо:

— Никуда я не пойду. Буду тебе помогать.

— Вот и хорошо, моя хозяюшка, — сказала я, прижимая ее к себе.— К папиному возвращению у нас все так и заблестит.

И вот мы обе, словно сговорившись, принялись за игру и неустанно вели ее в течение четырех дней, игру в генеральную уборку перед великим праздником, который приближался. Мы болтали, как болтают женщины при подобной работе, говорили о соседских детях, об Алениных подругах, о пани учительнице, о соседках. Только об одном мы не обмолвились ни словом: о самом дорогом для нас человеке, которого в эти тяжелые минуты не было с нами.

В половине первого по радио зазвучали призывы о помощи, часом позже раздались первые выстрелы вблизи нашего квартала. Под откосом была старая фабрика, трубы которой перестали дымить задолго до войны. Оккупанты устроили в ней подсобные склады. Теперь за нее шел бой. Сперва раздалось несколько выстрелов, потом на некоторое время все стихло, и снова началась стрельба из винтовок, уже более ожесточенная; к ней присоединилась стрекочущая речь пулеметов. Я вспомнила, как около месяца назад у мясника один шофер-чех, мобилизованный оккупантами, рассказывал: «Когда все это лопнет, мы взвалим на машину „стрекочущую тетку" и двинем на Прагу!» Теперь я услышала этих «теток». Они наперебой сыпали свою смертоносную стрекотню.

Мы прекратили уборку и начали сносить в подвал подушки и раскладные кресла. Я устроила для Алены мягкое гнездышко, разложила кругом самые любимые ее книжки и кукол и включила электропечку. Девочка не сопротивлялась, но и не проявляла никакого страха.

— Как ты думаешь, папа будет сражаться?

— Не знаю, деточка. Он сделает так, как будет нужно.

— Вот увидишь, будет, — отвечала она с глубоким убеждением. — Но ты не должна за него бояться, с ним ничего не случится.

Отец как сквозь землю провалился, ничего не давал о себе знать. Телефон звонил каждую минуту, со всех концов Праги раздавались голоса наших добрых знакомых: «Как там у вас? У нас стрельба по всей улице. Я говорю с вами, а сама лежу на полу. Так ваш тоже не пришел домой?»

Сердце у меня замирало от тревоги каждый раз, когда я снимала трубку. Алена стояла рядом, вопросительно глядя на меня. Наконец, в четыре часа дня, в трубке раздался его голос. Пройти нельзя. На всех перекрестках стрельба. Мы можем о нем не беспокоиться, все скоро кончится, и город будет очищен. На Вацлавской площади сдался отряд полиции со всеми офицерами и оружием. Но что с нами?

— За нас, папа, не бойся, — сказала ему Алена, — мы сами о себе позаботимся.

Не успели мы кончить разговор, как стекла задрожали от близкой и частой стрельбы. Согнувшись, мы выбежали на лестницу. Стрельба раздавалась со всех сторон. Во время войны немцы поселились в нескольких домах нашего квартала. Теперь очередь дошла до них. Кто-то звонил у нашей калитки. Я колебалась, открывать или нет. Аленка прижалась ко мне, впервые в ее глазах был страх. Но чей-то знакомый голос звал меня по имени. Я знала всех этих пареньков, вбежавших к нам в дом: Еник, сын продавщицы табачного ларька Боушковой, который так долго был в гитлеровской Германии, слесарь и водопроводчик, приходившие к нам в дом для мелкого ремонта, сын мясника, у которого я покупала мясо. На кепках у них были трехцветные ленты, на рукавах красные повязки, двое были вооружены винтовками, у третьего был револьвер, у четвертого ручная граната. Алена не спускала с них глаз. Они не могли добраться до фашистов, засевших в соседнем доме — те защищались ручным пулеметом или автоматом, — и ребята хотели попытаться обезвредить их с нашей крыши. Через минуту сильный взрыв потряс дом. Возвратились они сияющие.

— И досталось же им, паршивцам! Руда как швырнет в них «бананом»! А знаете, пани, наши уже захватили семь танков!

Семь танков! Я вся задрожала от радости. У нас есть даже танки! Я думала о них все последующие дни, когда после первых удач многое изменилось к худшему. Об этих танках я ни от кого больше не слышала и никого о них не спрашивала. Это были мои семь танков, ими я защищала Прагу в моем охваченном ужасом воображении. В нашем квартале воцарилась относительная тишина, но несколько дальше, под откосом, где одно из школьных зданий было превращено в эсэсовскую казарму, шли упорные бои. Днем мы с Аленой ползали по дому и убирали с таким рвением, как будто от этого зависело спасение города. Ночью, когда Алена заснула, я сидела у радиоприемника и слушала призывы о помощи и возбуждающие бравурные марши. «В них есть какая-то правда, в этих маршах»,— говорила я себе, и мне представлялись семь танков, которые с грохотом устремляются на наиболее угрожаемые места и вовремя отражают натиск превосходящих сил противника. «Без них нам бы плохо пришлось,— повторяла я себе.— Семь танков многое могут сделать!»

Зазвенел телефон; одна из моих приятельниц звонит ко мне среди ночи. Этой ночью пражане не спали. Эсэсовцы проникли на Панкрац, убивают мирное население, укрывшееся в убежищах. Выкалывают детям глаза и глазные впадины затыкают соломой. Нужно спрятать куда-нибудь Алену.

А что же семь танков, — хотелось мне крикнуть, — почему они не вмешаются? Но я молчу. Я вижу, как они двигаются ночью, чтобы воспрепятствовать этим ужасам. Почему там, на баррикадах, не выдержали еще один момент, еще один короткий момент, чтобы дать танкам возможность начать действовать? Почему я сама ходила по всему дому, обследовала все углы, рассматривала всю мебель и, не зная, что делать, качала головой? Нет, здесь ее нельзя спрятать. Почему я в ту дождливую ночь выбежала из дому, пробралась на участок за нашим садом, где всю войну лежал строительный материал? Зачем я перетаскивала тяжелые бревна и размещала их так, чтобы под ними устроить свободное пространство, куда можно было бы спрятать маленькую девочку?

Ночью установилась глубокая тишина. Стрельба около казарм затихла, и только издали, со стороны города, по временам доносился раскатистый гул взрывов. Зловещая тишина сжимала сердце смертельным страхом. Вдруг над долиной, по которой проходит шоссе, раздался резкий, злобный лязг тяжелых машин. Я обрадовалась. Идут мои семь танков! Длинные, острые языки света прорезывали тьму, лизали стены наших до-

мов и сливались в ярком сиянии. Но потом я поняла. Это о н и, они возвращаются, чтобы свести с нами счеты. Мои семь танков! Где мои семь танков? Они должны остановить несущуюся на нас смерть! Я слышала их грохот, заглушающий гул вражеских машин, видела, как они приближаются, я знала, что они явятся, видела, как они двигаются во тьме, сами как глыба темноты, о которую разбивается прилив, надвигающийся снова на город. Дело не во мне, может быть, и не в моем Йозефе, даже не в нашей Аленке — наша судьба дело случая: город должен быть спасен.

Я бодрствовала и ждала. Я сидела над спящей Аленкой и напряженно прислушивалась к малейшему шуму. Рассвет еще не успел разогнать ночную темноту, а уже поднялась стрельба, словно лай своры одичавших псов. По силе и направлению звуков было ясно, что стрельба идет у баррикад около эсэсовских казарм. Семь танков, мои семь танков! Где они? Я внимательно прислушивалась. Быстро рассветало. Алена проснулась и уставилась на меня глазами, полными страха.

— Все в порядке, деточка, — сказала я спокойно. — Через минуту все кончится.

Несколько необычных, резко звенящих взрывов прервали однообразный треск стрельбы. Потом снова и снова. Опять тихо. Тишина охватила все вокруг, отяжелела и замерла в ожидании. А потом все как будто само собой перешло в гул и грохот, земля дрожала, сначала слегка, затем все сильнее и сильнее. Танки! Я прижала Алену к себе и сама удивлялась своему спокойствию. Если наступает конец, то чего же волноваться!

На улице раздались крики, послышался смех и плач. Я вышла из дому с Аленой на руках. На пустом пространстве за домами, где когда-то была спортивная площадка, стояло семь зеленых чудовищ, дула их орудий были направлены на казармы эсэсовцев. Чумазые хлопцы с красными звездочками на пилотках обнимались с нашими соседями. Я потеряла Аленку. Кто-то взял ее из моих рук. «Семь танков», — повторяла я как помешанная.

Опьяненная радостью, я не сразу осознала, что прошедшая мимо нас женщина с каменным лицом и невидящими глазами — продавщица табачного ларька Боушкова. Ее Еник, ее единственный сын, в то утро пал в бою на баррикаде у казарм. Может быть — последняя жертва в этот последний день. У меня в ушах звучали его слова: «Знаете, пани, наши уже захватили семь танков!»

Наш папа пришел поздно, после обеда. Левая рука его была забинтована, но глубоко ввалившиеся глаза сияли радостью.

— Это пустяки. Рана навылет, чистая. Через две недели заживет.

Я указала на площадку, где стояли они, один возле другого.

— Семь танков, — сказала я.

— Да, их семь, — ответил он, посмотрев на меня с некоторым удивлением. И в тот момент у меня не хватило сил рассказать ему об этом чуде.

Мария Домбровская

Ночная встреча

РАССКАЗ

Перевод с польского Р. Меркиной

Деревня под Ловичем, где я нашла приют после варшавского восстания, находится всего в ста километрах от столицы. Тем не менее мое первое путешествие оттуда в Варшаву заняло около тридцати часов. Возвращаясь через неделю обратно, я пробыла в пути тридцать шесть часов. Эти полтора дня я провела без сна, без еды и почти без денег. Ездить в то время было нелегко, но это не имеет значения. Я в состоянии подолгу обходиться без сна и пищи. К тому же я только разделяла судьбу миллионов людей, разыскивавших свои семьи или пытавшихся вернуться туда, где они жили до изгнания.

В то время Советская Армия стремительно продвигалась через польские земли в своем победоносном походе на Берлин. С советскими бойцами мы встречались ежедневно, ежечасно не только по важным делам, но и запросто беседовали с ними... Одна из таких встреч мне особенно запомнилась.

Это было как раз во время моего возвращения из Варшавы в ловицкую деревню, где еще находились мои родные.

Ранним утром я направилась к Вольской заставе, нагруженная чемоданчиком, пледом и кой-какими мелочами из моей квартиры, которая, как выяснилось, уцелела. К полудню мне удалось пройти немногим больше пятнадцати километров. В Ожарове я примостилась на крестьянской телеге, но лошаденка была плохая, и к вечеру мы добрались только до Блоне. Отсюда я надеялась попасть каким-нибудь поездом в Лович.

Небольшая станция в Блоне была уничтожена пожаром. Смеркалось. Как бывает иногда в феврале, стояла бесснежная, но холодная погода. Мороз усиливался, ледяной ветер злобно дул в лицо. Красная полоса заката казалась грозной и печальной. Среди разрушенных станционных построек царила мертвая тишина. Вокруг не было видно ни одного железнодорожника, на перроне — ни одного пассажира. Это казалось удивительным, ибо в то время станции были переполнены, люди с бою брали поезда, в том числе и воинские, направляясь из разных мест в освобожденные родные края.

И вот я стою, мерзну и раздумываю над тем, что мне делать, если придется здесь заночевать. До местечка не меньше трех километров. Жилых домов что-то не видно. Вдруг вижу в полумраке человеческую фигуру. Откуда-то неожиданно появился железнодорожник и направился в мою сторону. Я справилась у него о поезде на Лович. Из его ответа мне стало ясно, почему на станции нет людей. «Гражданские» поезда на Лович здесь не проходят, они идут на Прушкув и Скерневице. Что касается

воинских эшелонов, то они останавливаются здесь редко, только за тем, чтобы паровоз набрал воду. Могут ли взять пассажиров? Как когда. Обычно не берут, но попытаться можно. А будет ли сегодня такой поезд? Да, об этом уже сообщали, но когда он придет и остановится ли здесь — неизвестно. Поезд еще не вышел из Плохоцина.

К нам подошел другой железнодорожник. Оба зовут меня в деревянную будку за углом, временно заменяющую вокзал. Какое счастье! Здесь топится железная печка. У телефона, за столиком, сидит дежурный, на скамье у стены дремлет еще один железнодорожник да покуривает советский боец, держа винтовку между колен. После часа ожидания — телефонный звонок. Мне слышно только: «Да. Да-а. Хорошо. Готово». Положив трубку, дежурный обращается ко мне:

— Приближается. Будет набирать воду. Шиманув не принимает его. Выходите с нами — может, удастся. А если нет, вернемся сюда и подумаем о ночлеге для вас.

Мы вышли вместе, но железнодорожники тут же исчезли в кромешной тьме. У них не было фонарей, и это еще больше подчеркивало запущенность и неустроенность станции. Вдруг слышу, кто-то меня догоняет. Молодая женщина (я узнаю, что она молода, по ее чистому, свежему голосу), как видно, прибывшая позже меня и ожидавшая на перроне, взволнованно спрашивает:

— Боже мой, возьмут ли нас? Вам куда?

— Мне в Лович.

— Ох, мне только в Сохачев. В Сохачев, может, и возьмут,— говорит незнакомка с некоторым упреком, словно опасаясь, что мой «далекий» Лович помешает советским бойцам взять ее в Сохачев.

Мы шли медленно, но, услышав далекое постукиванье и сопенье приближавшегося поезда, ускорили шаг — ведь водокачка всегда находится немного в стороне от станции. Оказалось, что отстоит она значительно дальше, чем я думала,— поезд уже шел мимо нас. Испугавшись, мы побежали, хотя известно, что паровоз набирает воду минут пятнадцать и поезд уйдет не сразу. Прыгаем через развалины, проволоку, кучи железного лома. Сама не знаю, каким чудом удалось нам пробраться в темноте по такой дороге и остаться живыми и невредимыми.

Когда мы поравнялись с поездом, сердце у меня екнуло. Огромный эшелон состоял не меньше, чем из сотни товарных вагонов, наглухо закрытых и неосвещенных. Кое-где виднелось что-то вроде броневиков, из которых как будто торчали обращенные кверху стволы орудий. Настоящий поезд-призрак, ведомый героической силой к своей великой цели. Что перед ним значили мы и наши пустяковые, сугубо частные маршруты?!

Так мы брели молча, всматриваясь во мрак. Внезапно дверь одного из вагонов, примерно на середине состава, открылась, и в светлом прямоугольнике появилась группа военных, сопровождавших поезд. Опередив меня, незнакомка из Сохачева атаковала какого-то советского бойца, стоявшего на некотором расстоянии от группы офицеров. Это был курносый юноша с круглым добродушным лицом и веселыми глазами, он разглядывал жительницу Сохачева с беспомощной улыбкой, так как не понимал ни слова из того, что она ему говорила. Я пришла ей на помощь и попросила взять нас обеих в поезд. Солдат или сержант — я так и не узнала этого до самого конца — ответил, что он обратится к коменданту, и если тот позволит, то почему же не взять, а если откажет, то ничего не поделаешь. Он подошел к группе офицеров и с кем-то заговорил. Вскоре вернулся с озабоченным видом и объявил приятным, словно созданным для жалостливых, нежных слов голосом:

— Никак нельзя. Товарищ комендант не разрешает.

Вероятно, на наших лицах — мы как раз стояли в полосе света, падающего из вагона, — отразилось разочарование, а может быть, боец просто был догадлив, но он решительно и мягко добавил:

— Попытайтесь сами.

И, слегка обняв меня за плечи, повел к самому молодому и самому высокому из группы офицеров. Я повторила нашу просьбу, не надеясь, что нам пойдут навстречу. Поезд в самом деле был не для «штатских», — мне казалось, что он везет боеприпасы. Высокий офицер выслушал меня, слегка наклонившись. На его гладком лице играла любезная улыбка, но глаза смотрели твердо и внимательно. Он прямо и решительно отказал нам. Я потянула за собой свою случайную спутницу, пытавшуюся еще настаивать. Как видно, она надеялась, что ей удастся чего-то добиться если не непонятной для военных речью, то страдальческим звуком капризного голоса. Но все было тщетно, и мы ушли в темноту. Незнакомка плаксиво причитала. Что касается меня, то я была далека от отчаяния. Мне, правда, было необходимо как можно скорее вернуться в пристанище под Ловичем, где родной мне человек только-только оправился от тяжелой болезни. Военный эшелон, отправлявшийся на фронт, и какие-то наши личные дела слишком уж далеко отстояли друг от друга, чтобы очень уж переживать нашу неудачу. Ничего не поделаешь, переночуем в будке у железнодорожников.

Но не успели мы сделать нескольких шагов, как нас догнал круглолицый воин:

— Послушайте, вернитесь! В теплушку никак нельзя, но комендант разрешил посадить вас в самый хвост состава. Идемте.

Мы двинулись. Я замечаю, что предпоследний вагон тоже освещен и «заселен». Из открытой двери высовывается голова, и кто-то звонким, молодым голосом зовет:

— Это ты, Алексей? Куда ты?

— Погоди,— кратко отвечает наш сопровождающий.

Проходим мимо платформы с зениткой, я теперь ее ясно различаю. Картина не из веселых. За орудием с поднятой к небу жирафьей шеей заметен прицеп, небольшой открытый вагончик с углем, водой и смазочным маслом — как видно, запасный тендер. Нелегко взобраться на него, еще труднее на нем ехать. Усилившийся ночной ветер бушевал здесь с лютой злобой, стужа пронизывала до мозга костей. Вместе с нами на тендер взобрался и Алексей. Может быть, таков был приказ, может быть, его привлекло общество молодой женщины, а может быть, здесь действовало и то, и другое. Во всяком случае, боец поместил мою спутницу в самом удобном, защищенном от ветра углу. Не успели мы расположиться, как он стал ухаживать за ней, расспрашивая, отчего она так спешит, далеко ли до этого Сохачева и есть ли у нее там возлюбленный. Женщина, скрытая во мраке, отвечала на его любезности по-польски и притом невпопад, явно не понимая его. Тем не менее, голос ее совсем неплохо сочетался с ласкающими звуками русской речи.

Поезд все еще стоял. Спустя некоторое время Алексею надоело ухаживать впустую, а может быть, он только сделал вид, что ему надоело; так или иначе, он подсел ко мне и начал расспрашивать, кто я, откуда и куда еду. Услыхав, что я писательница и скитаюсь по свету, он принял мои слова спокойно и только удивился тому, что я говорю по-русски. Я сказала, что родилась и воспитывалась в той части нашей страны, которая тогда находилась под властью России; в ответ он сонным голосом произнес:

— Это больше не повторится. Да.

Помолчав немного, Алексей вдруг оживился и принялся рассказывать сам. Своим певучим голосом он рассказывал о далеких странах, где ему

приходилось бывать, о виноградниках под Ташкентом, персиках и абрикосах Азербайджана, белых и розовых фиалках Крыма, синем и теплом море в сиянии яркого солнца. Казалось, ему хочется позолотить и согреть эту ледяную ночь виденьями юга, воспевая их голосом, созданным для мягких, нежных слов.

Вдруг кто-то с шумом стал карабкаться на тендер. Глаза уже привыкли к темноте, и я разглядела маленькое лицо под большой военной шапкой и фигуру, юношеские очертания которой были видны даже в ночном мраке.

— Это ты, Алешка? — позвал вновь прибывший звонким, мальчишеским тенорком, мне уже довелось слышать этот голос по дороге сюда.

— Здесь я, — отозвался Алексей и прибавил, обращаясь ко мне: — Вот, мамаша, знакомьтесь с нашим Федей. Ему всего восемнадцать лет, но читать он любит зверски. Посмотри, Федька, кого мы везем. Это польская писательница из Варшавы. Книги, значит, пишет.

— Интересно! — протяжно заметил Федя, и мы разговорились. Поезд, наконец, тронулся. Я присмотрелась к юноше, сидевшему напротив меня, и удивилась вслух: совсем мальчик, а уже участвует в великой войне. Алексей добродушно запротестовал:

— Какой же он мальчик? Он боец Красной Армии.

Я спросила у Феди, что он читал и кто из писателей ему нравится.

Он ответил неожиданным вопросом, в котором звучало мальчишеское озорство:

— А вы Некрасова знаете?

— Конечно знаю.

— Хороший поэт, согласны? Вот послушайте.

И он прочел с искренним волнением:

Так запой, о поэт, чтобы всем матерям
На Руси на святой, по глухим деревням,
Было слышно, что враг сокрушен, полонен,
А твой сын невредим и победа за ним,
«Не велит унывать, посылает поклон»...

Федя задумался, потом сказал:

— Какие мне писатели нравятся? Многие...

И он начал перечислять их. Мечтательным голосом, словно называя фамилии хорошо знакомых ему очаровательных девушек, он начал перечислять:

— Тургенев... Гоголь... Толстой... Чехов... Пушкин... Лермонтов... Достоевский... Шолохов...

Я неплохо знаю русскую литературу и без труда могла беседовать с Федей о ее красотах. Поезд двигался. Я не чувствовала голода, но оттого, что долго ничего не ела, мне становилось все холоднее. Впрочем, и холод я чувствовала как-то косвенно, лишь подсознательно ощущая, что страдаю от мороза. Алексей молчал — по-видимому, он не считал литературу предметом, достойным мягких и нежных слов. А может быть, вся его жизнь сама была романом, полным приключений, и этого для него было достаточно?

Мы ехали около получаса, как вдруг поезд дернулся и так резко затормозил, что буфера стукнулись один о другой с лязгом и скрежетом.

— Что-то случилось! — крикнул Федя и с ловкостью циркача мгновенно выскочил из вагона. — Алеша! — позвал он. — Алеша! Идем!

Но Алексей отнесся к внезапной остановке состава с полным равнодушием, с философским спокойствием. Во всяком случае, он остался на месте, как человек, уверенный в том, что делает.

Мы стояли больше часа. Ледяной ветер еще более усилился, гудел и стонал между буферами. Я была очень легко одета, и с каждой минутой все больше от этого страдала. Холод и шум — и то и другое — я переношу с трудом. Я даже перестала дрожать, я просто окоченела. Вдруг, возвратясь домой, я, вместо того чтобы ухаживать за больным, сама расхвораюсь?

Вдали, словно в тумане, солдаты возились с чем-то, слышались окрики, стук, какое-то шипение; выглянув из вагона, я увидела мерцание дальних огоньков. Что-то произошло у головных вагонов.

Равнодушный ко всему происходящему вокруг или убежденный в том, что бригада эшелона справится и без его помощи, Алексей возобновил ухаживанье. Он просто втиснулся в уголок, откуда выглянула на минутку незнакомка из Сохачева, осведомившись, почему мы стоим. В ответ Алексей начал произносить нечто вроде любовной поэмы. Смысл его слов доходил до меня, но он обращался к ней — а она их не понимала. Зато ей была вполне понятна близость мужчины, и ее возгласы шепотом, вроде: «Отодвиньтесь! Ишь, какой смелый!» — постепенно перешли в ободряющий смешок и бормотание. Я услыхала слово «красавица» и в ответ — несколько более громкую реплику женщины. Как видно, в последнее время ей часто приходилось слышать это слово, и оно было ей понятно.

— Какая же я «красавица»? — буркнула она. — Откуда ты знаешь, что я красивая, ведь сейчас темно? Я не «красавица».

Алексей ответил, и я невольно подслушала его ответ, хотя, вероятно, это было нескромно.

— Когда ты поднимаешь голову, я сразу вижу твой носик. Ты курносая, как и я. Мы друг другу подходим. Мне красота не нужна, я за ней не гоняюсь. У меня есть в жизни многое другое. Мы оба — молоды. Ночь, холод, одинокий солдат, который завтра может погибнуть...

Его речь была прервана криком прибежавшего Феди:

— Алеша! Ты что? Слушай, мы тут пожар потушили! Ось загорелась! Я тебе говорю, мы пожар потушили! А ты здесь с женщинами лясы точишь!

— Ну и молодчина! А сейчас убирайся к черту, — ответил Алексей.

Федя пустился бежать так быстро, что под ним загудела мерзлая земля. Вскоре поезд двинулся. Я закрыла глаза. Едем. Через час-полтора будем в Ловиче. Выдержу.

Но поезд дернул еще раз, заскрипел, чуть попятился и снова стал. Минут через пять я почувствовала, что хоть и готова была терпеть страшный холод в течение полутора часов езды, но томительной стоянки, которая продлится бог знает сколько времени, не выдержу.

— Алексей! — решилась я внезапно. — Помоги мне сойти. Пойду пешком. Мне очень холодно.

Алексей вынырнул из мрака.

— Вот тебе на! — вздохнул он озабоченно.— Как же ты пойдешь, мамаша, одна, ночью, полем?

В этот момент мы услышали шаги приближавшихся к нам людей в валенках, и вскоре электрический фонарь осветил наш тендер. Я сразу узнала высокую фигуру коменданта эшелона. Он, видимо, делал обход поезда, проверяя, не угрожает ли ему новая авария. На его лице играла

все та же улыбка, а глаза оставались суровыми, светлыми, неподвижными, словно немигающими.

— Как твои бабы, Алексей? — спросил он глухим голосом, ощупывая фонарем тендер. — Не замерзли?

— Вот именно, одна замерзла, товарищ комендант.

Соскользнув вниз, Алексей заговорил с офицером, который слушал его и отвечал, продолжая осматривать поезд. Вскоре я увидела, что он удаляется вместе со своими спутниками и уже перешел на другую сторону пути; они останавливались почти у каждого вагона и внимательно постукивали молотком по осям.

Алексей вернулся не один.

— Ну, мамаша, — сообщил он мне, — везет тебе. Комендант разрешил взять тебя в теплый вагон. Кажется, мы подъезжаем к Сохачеву, — обратился он ко второй пассажирке. И затем снова ко мне: — Дай руку, мы поможем тебе сойти. Вот этот товарищ тебя проводит.

Спустя несколько минут я входила в теплушку, которую еще раньше заметила в хвосте поезда. Состав в это время тронулся. Я очутилась в светлом и теплом вагоне, состоящем как бы из трех отделений. В одном был стол, несколько табуреток, прикрепленная к стене скамейка и пышущая жаром железная печка. Второе занимали нары, застеленные, как в спальном вагоне. Последняя треть теплушки была чем-то вроде небольшой конторы. Здесь я увидела столик с письменными принадлежностями, стул и полку, заваленную бумагами. За столиком сидел молодой человек в косоворотке темно-песочного цвета, застегнутой на одну черную пуговицу. Он выслушал объяснение сопровождавшего меня солдата, ответил на мое приветствие кратким «здравствуйте» и, показав на скамеечку у стены, произнес: «Садитесь». У него были очень светлые волосы, широкая нижняя челюсть, усталое, а может быть, грустное лицо и красивые глаза, смотревшие настороженно. Он не проявил желания заговорить и углубился в свои бумаги.

Нары были занавешены зеленой материей; теперь матерчатая занавеска была откинута. Два бойца спали как убитые, третий, на верхней полке, лежал, повернувшись к нам лицом и опираясь на согнутую руку, напоминая скульптуру на каменных саркофагах. Глаза у него блестели и были широко открыты, лицо дышало молодостью. Я скорее догадалась, чем узнала, что это Федя, любитель литературы. Он улыбнулся мне и спросил:

— Это вы? Польская писательница из последнего вагона?

Человек в косоворотке посмотрел на меня с некоторым любопытством и снова склонился над своими бумагами. Мы беседовали вполголоса, чтобы не мешать ему. Федя расспрашивал меня о моих книгах. Узнав, что я написала роман в шести томах и что работала над ним семь лет, он надолго замолчал.

— Шесть томов... семь лет, — сказал он, наконец, задумчиво. — Это не шутка.

Он все еще лежал, опираясь на полусогнутую в локте руку, в позе юного рыцаря на саркофаге. Сердце у меня сжалось, я подумала: рано ему умирать, даже если бы ценой его жизни был взят Берлин. Из простого человеческого сочувствия я желала этому юному воину счастливого и победного возвращения на свою многострадальную родину.

Поезд остановился. В вагон вошла девушка в военной шинели с фонарем проводника в руке. Один из спящих проснулся и сонным голосом спросил:

— Какая станция?

— Якийсь там Сохачив, — по-украински ответила девушка.

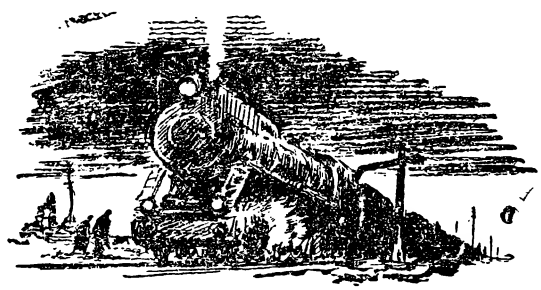
Моя спутница по тендеру достигла цели своего путешествия, и поезд еще стоял, когда в теплушке появился Алексей. Он молчал и казался расстроенным или пристыженным. Я вспомнила, что у меня осталось несколько папирос, и угостила Алексея. Он весь просиял. Мы закурили, но беседа не клеилась. Алексей спросил только:

— Ну как, мамаша? Сейчас тебе тепло?

— Спасибо, Алексей. Я никогда не забуду тебя и Федю.

Под утро мы прибыли в Лович, но к себе в деревню я добралась лишь во второй половине дня.

Исторические события, героические усилия, необычайные судьбы, незабываемые перемены — все это было в затемненном поезде, шедшем на фронт. И были в нем Федя и Алексей, два простых человека, оставивших в моем сердце волну теплых воспоминаний. В то время это много значило для меня.



«ИСТОРИЯ ОДНОГО СОЛДАТСКОГО МЕШКА» *Рис. О. Верейского*

Генрих Бёль

РАССКАЗЫ

Перевод с немецкого И. Горкиной

ИСТОРИЯ ОДНОГО СОЛДАТСКОГО МЕШКА

В сентябре 1914 года в одну из красных кирпичных казарм города Бромберга явился молодой человек по имени Иозеф Стобский. Хотя по документам он числился германским подданным, языком своей официальной родины он владел слабо. Стобскому было двадцать два года, по профессии он был часовщик и «по причине общей слабости здоровья» воинской повинности раньше не отбывал. Он прибыл из сонного польского местечка под названием Нестронно; там, в задней каморке отцовской халупы, он день-деньской гравировал рисунки и надписи — да какие изящные! — на браслетах из дутого золота, чинил крестьянам часы, между делом задавал свинье корм, доил корову, а по вечерам, когда на Нестронно опускались сумерки, он, вместо того чтобы идти в трактир или на танцульку, трудился над каким-то своим изобретением, перебирал пальцами, измазанными машинным маслом, многочисленные колесики и скручивал одну за другой сигареты, почти все догоравшие на краю стола. Мать его тем временем подсчитывала снесенные курами яйца и жаловалась на большой расход керосина.

И вот он явился со своей картонкой в красные кирпичные казармы города Бромберга и стал изучать немецкий язык. Скоро он освоил его в объеме словаря воинского устава, приказов и инструкций по сборке оружия. Сверх того, он овладел ремеслом пехотинца. На уроках «словесности» он произносил немецкие слова с польским акцентом, ругался по-польски, молился по-польски. По вечерам, открыв темно-коричневый сундучок, меланхолически разглядывал хранившийся там небольшой сверток с промасленными колесиками и отправлялся в город — залить водкой сердечную тоску.

Стобский глотал пыль учебного поля, писал открытки матери, получал посылки с салом, уклонялся по воскресеньям от казенной обедни и тайно ускользал в один из польских костелов, где, распростершись ниц на каменных плитах, мог вволю поплакать и помолиться — как ни мало вязались такие сентименты с обликом человека в форме прусского пехотинца.

В ноябре 1914 года его нашли достаточно подготовленным, чтобы погнать через всю Германию во Фландрию. Он-де сбросил достаточно ручных гранат в песок бромбергского полигона и сделал достаточно выстрелов по мишеням на стрельбище. И вот Стобский отослал свой сверточек с промасленными колесиками в адрес матери, сопроводил посылку открыткой, погрузился в вагон для скота и начал путешествие через всю страну, официально значившуюся его родиной; язык ее он уже освоил настолько, чтобы понимать команды и приказы. И вот розовощекие немецкие девушки поят его кофе, суют цветы в дуло его винтовки, наделяют сигаретами; однажды какая-то престарелая дама подарила его даже по-

целуем, а какой-то господин в пенсне, перевесившись через балюстраду перрона, очень отчетливо бросил ему несколько латинских слов, из которых Стобский разобрал только одно — «тандем»*. В поисках разъяснения он обратился к своему непосредственному начальнику — ефрейтору Хабке. Тот пробормотал что-то невразумительное насчет «велосипедов», уклонившись от иной, более подробной информации по данному вопросу. Так, не успевая опомниться, принимая и раздавая поцелуи, щедро одаряемый цветами, шоколадом и сигаретами, Стобский переправился через Одер, Эльбу, Рейн и спустя десяток дней, темной ночью, выгрузился на каком-то грязном бельгийском вокзале. Его рота собралась во дворе ближайшего крестьянского хутора, и полковник в потемках что-то прокричал; Стобский так и не понял, что именно. Потом появился суп с лапшой и кусочками мяса, который в тускло освещенной риге быстро перекочевал из походной кухни в котелки, а затем с великой поспешностью был вычерпан солдатскими ложками. Унтер-офицер Пиллиг еще раз сделал обход, провел беглую перекличку — и через десять минут рота шагала в потемках на запад. Там, в этом западном небе бушевали знаменитые громовые раскаты и время от времени вспыхивали багровые зарницы. Начался дождь; рота сошла с мощеной дороги, почти триста пар ног зашлепали по грязи проселка. Все ближе подступало это подобие громовых раскатов, голоса офицеров и унтер-офицеров становились все более хриплыми, в них появились какие-то неприятные нотки. У Стобского разболелись ноги, они у него очень разболелись, да и устал он, очень устал. И все же он тащился вперед, мимо темных деревень, по грязным дорогам, а громовые раскаты с каждым шагом казались все более несносными, все меньше походили на настоящую грозу. Неожиданно голоса офицеров и унтер-офицеров сделались на удивление мягкими, почти нежными, а слева и справа послышался топот бесчисленных ног, шагающих по невидимым в потемках дорогам и проселкам.

Вдруг Стобский понял, что его рота находится в самой гуще этого подобия грозы, так как грохот слышался уже и за спиной, а багровые зарницы вспыхивали со всех сторон, и когда раздалась команда «рассредоточиться», Стобский бросился вправо от дороги следом за ефрейтором Хабке. Он слышал крики, взрывы, выстрелы, и голоса офицеров и унтер-офицеров опять были хриплыми. Ноги у Стобского не переставали болеть, они очень, очень болели, и, предоставив ефрейтора самому себе, он опустился на сырой луг, пахнувший коровьим пометом, и в голове у него мелькнула мысль, которая, в переводе с польского, соответствовала бы известному изречению Геца фон Берлихингена. Он снял стальную каску, положил оружие возле себя на траву, ослабил ремни на выкладке, вспомнил свои любимые промасленные колесики и заснул под этот отчаянный грохот войны. Ему снилась родная мать-полька, она пекла в теплой кухне блины, и так странно ему было видеть во сне, что все блины, как только начинали румяниться, с треском лопались, и на сковороде от них ничего не оставалось. Матушка все быстрее и быстрее выливала черпаком на сковороду тесто, маленькие блины все сливались в один большой и лопались, только-только зарумянившись. Матушка вдруг как обозлится — Стобский даже улыбнулся во сне, ведь наяву она никогда не сердилась по-настоящему — да как опрокинет все содержимое миски на сковороду! И он видит огромный, пухлый, желтый блин во всю сковороду: блин растет, поджаривается, раздувается. Матушка, удовлетворенно ухмыляясь, берет длинный кухонный нож с широким лезвием, подводит его под блин, и вдруг — бац! — страшный взрыв... И Стобский, так и не успев проснуться, приказал долго жить.

* Доколе *(лат.)*.

Через неделю в одном из английских окопов, в четырехстах метрах от того места, где прямым попаданием был убит Стобский, однополчане нашли его солдатский мешок с обрывком наплечного ремня — все, что осталось от Стобского на бренной земле. А найдя в английском окопе мешок Стобского, в котором оказались кусок копченой домашней колбасы — неприкосновенный запас — и польский молитвенник, решили, что Стобский проявил невероятный героизм в день атаки, ворвался за линию расположения английских войск и там был убит. Вот и получила польская мать в Нестронне послание от полковника Хуммеля, сообщавшего о великой отваге, проявленной рядовым Стобским. Она попросила своего священника перевести ей письмо, поплакала, сложила письмо вчетверо, спрятала его между простынями и заказала три заупокойные обедни.

Но очень скоро англичане отбили свои окопы, и мешок Стобского попал в руки английского солдата Уилкинса Грейхеда. Тот съел копченую колбасу, выбросил, недоуменно покачивая головой, польский молитвенник во фламандскую грязь, скатал солдатский мешок и присоединил его к своей выкладке. Через два дня Грейхед лишился левой ноги, был отправлен на излечение в Лондон, спустя девять месяцев он демобилизовался из королевской армии, получил небольшую пенсию и, так как не мог теперь вернуться к своей почетной профессии водителя трамвая, поступил швейцаром в один из лондонских банков.

Как известно, доходы швейцара не бог весть как велики, а Уилкинс к тому же принес с собой с войны два порока: он нещадно пил и курил. Средств, разумеется, на такую жизнь ему не хватало, и он начал распродавать вещи, которые казались ему ненужными, а ненужным ему казалось почти всё. Он продал мебель и пропил деньги, спустил все свое носильное платье, кроме одного-единственного заношенного костюма, а когда уже нечего было продавать, вдруг вспомнил о грязном узле, который валялся в подвале со дня демобилизации. И тогда он сбыл с рук незаконно присвоенный и изрядно заржавевший армейский револьвер, палатку, пару ботинок и солдатский мешок Стобского. В заключение — два слова о судьбе Уилкинса Грейхеда: он окончательно опустился. Безнадежно пристрастившись к алкоголю, он потерял честь и службу, превратился в уголовного преступника, несмотря на потерянную и похороненную в земле Фландрии ногу, попал в тюрьму и, продажный до мозга костей, влачил до конца дней своих жалкое существование тюремного постояльца.

А мешок Стобского преспокойно провалялся в мрачном подземелье торговца старьем, где-то в Сохо, целых десять лет — до тысяча девятьсот двадцать шестого года: летом этого года старьевщик Луиджи Банолло чрезвычайно внимательно прочитал циркуляр некой фирмы «Хандсапперс лимитед», которая так подчеркивала свою крайнюю заинтересованность в любых военных материалах, что он даже руки потер от удовольствия. Вместе с сыном он тщательно обследовал все наличные запасы и в итоге насчитал: 27 армейских револьверов, 58 котелков, свыше 100 палаток, 35 ранцев, 18 солдатских мешков и 28 пар ботинок — все это образцов различных европейских армий. За все чохом Банолло получил чек в 18 фунтов стерлингов и 20 пенсов, выписанный на один из солиднейших лондонских банков. Банолло нажил на этой сделке, грубо говоря, 500 процентов. Юный отпрыск Банолло больше всего обрадовался ликвидации ботинок, для него это было прямо-таки неописуемым облегчением, так как в его обязанности входило разминать эту обувь, смазывать ее, словом — радеть об ее сохранности. О том, как тяжела эта задача, может судить каждый, кому хоть когда-нибудь приходилось заботиться о своей собственной паре обуви.

Фирма «Хандсапперс лимитед» в свою очередь сбыла весь хлам, который ей продал Банолло, с надбавкой в восемьсот пятьдесят процентов

(таков был обычный процент ее прибылей) правительству одной из южноамериканских стран, которое всего за несколько недель до этого неожиданно спохватилось, что соседнее государство угрожает ему, и решило предупредить возможность нападения. Что же касается солдатского мешка рядового Стобского, совершившего переезд в Южную Америку в чреве дрянного парохода (фирма «Хандсапперс» пользовалась только дрянными пароходами), то он попал в руки некоего немца-наемника по имени Рейнгольд фон Адамс, который за мзду в сорок пять пезет согласился считать дело южно-американской страны своим делом. Не успел еще фон Адамс пропить и двенадцать из сорока пяти пезет, как с него всерьез потребовали выполнить взятые на себя обязательства, и он с кличем «победа и кошелек!» выступил под командой генерала Лаланго к границам соседнего государства. Но недолго спустя пуля прострелила фон Адамсу голову, и мешок Стобского попал в руки опять-таки немца Вильгельма Хабке, который всего за каких-нибудь тридцать пять пезет согласился дело соседнего южно-американского государства считать своим делом. Хабке присвоил солдатский мешок Стобского, найденные в мешке краюху хлеба, пол-луковицы и провонявшие луком бумажные денежные знаки — неизрасходованные покойным Адамсом тридцать три пезеты. Не слишком обремененный этическими и эстетическими предрассудками, он ко всему этому присоединил собственные сбережения и, как только его произвели в капралы победоносной национальной армии, потребовал аванса еще в тридцать пезет. Рассмотрев как следует мешок, он обнаружил отпечатанный на нем черной штемпельной краской шифр УП(2)П и вспомнил своего дядю Иоахима Хабке, который служил в том же полку и пал смертью храбрых. Тут Вильгельмом овладела сильная тоска по родине. Он подал в отставку, получил в подарок портрет генерала Гублянеца и окольными путями добрался до Берлина; переезжая на трамвае с вокзала в Шпандау, он не подозревал, разумеется, что едет мимо тех самых цейхгаузов, где мешок, принадлежавший некогда Стобскому, пролежал в 1914 году целую неделю, пока не был отправлен в Бромберг.

Вильгельм Хабке был с распростертыми объятиями встречен родителями; он вернулся к своей исконной профессии экспедитора, но вскоре оказалось, что он склонен к политическим заблуждениям. В 1929 году он вступил в партию, присвоившую себе грязно-коричневую форму, снял со стены солдатский мешок, который повесил было над кроватью рядом с портретом генерала Гублянеца, и нашел мешку практическое применение: отправляясь по воскресеньям на учебное поле, он надевал его через плечо в дополнение к своей грязно-коричневой форме. На учениях Хабке блистал военными познаниями; малость приврав, он выдал себя за батальонного командира той самой южно-американской армии, в рядах которой он воевал, и самым подробным образом описывал, где, как и почему он пускал в ход тяжелую артиллерию. Вильгельм начисто запамятовал, что, в сущности, он всего-навсего прострелил бедняге Адамсу голову, стащил его пезеты и присвоил его солдатский мешок. В 1929 году Хабке женился, а в 1930 жена его разрешилась от бремени младенцем, названным Вальтером. Вальтер рос хорошо, хотя первые два года его существования проходили в рамках пособия по безработице, которое получал его отец; но уже в четырехлетнем возрасте он каждый день получал утром кекс, сгущенное молоко и апельсины, а как только ему исполнилось семь лет, отец вручил ему застиранный солдатский мешок и сказал:

— Смотри береги эту реликвию как зеницу ока, она принадлежала твоему двоюродному дедушке — рядовому Иоахиму Хабке, дослужившемуся до полковника; он вышел живым из восемнадцати боев, а в 1918 году его прикончили красные бунтовщики. Мне этот мешок послужил верой и правдой во время южно-американской войны, я мог тогда стать генера-

лом, но мои услуги понадобились нашей родине, и я дослужился всего лишь до старшего лейтенанта.

Вальтер берег мешок как зеницу ока. С 1936 по 1944 год он надевал его, когда облачался в свою грязно-коричневую форму, часто вспоминал о героических делах двоюродного дедушки, а также своего родного отца; ночуя где-нибудь в сарае, он осторожно подкладывал мешок под голову. В мешке он хранил хлеб, плавленый сыр, масло и песенник; он чистил мешок щеткой, стирал его и радовался, что желтоватый цвет все больше и больше переходил в приятный белесый тон. Ему и не снилось, что на самом деле легендарный и героический двоюродный дедушка, в чине ефрейтора, отдал богу душу на глинистых полях Фландрии, неподалеку от того места, где рядовой Стобский был убит прямым попаданием.

Вальтеру Хабке исполнилось пятнадцать лет, он усердно штудировал в шпандауской гимназии английский язык, математику и латынь, чтил, как святыню, свой солдатский мешок и верил в героев, пока ему самому не пришлось побывать в их шкуре. Родитель его уже давно ушел в поход на Польшу, чтобы как-нибудь и где-нибудь навести порядок, а вскоре после того, как он, негодуя, вернулся из похода и, покуривая сигареты и брюзжа что-то насчет «предательства», шагал взад и вперед по узкой гостиной шпандауской квартиры, вскоре после этого Вальтер Хабке поневоле сам оказался в числе героев.

В одну из мартовских ночей 1945 года Вальтер лежал за околицей померанского села, вытянувшись у пулемета, и вслушивался в мрачные громовые раскаты, точь-в-точь такие же, как в кинофильмах про войну. Нажимая на спуск пулемета, он дырявил ночную тьму, и его неудержимо тянуло всплакнуть. Ему слышались голоса в ночи, незнакомые голоса, и он стрелял и стрелял, сменил ленту, опять начал стрелять, и когда расстрелял вторую ленту, ему вдруг показалось, что вокруг очень тихо. Он остался один... Он поднялся, поправил каску на голове, проверил, прочно ли закреплен его солдатский мешок, и пошел прямо в ночь, взяв направление на запад. И тут вдруг он занялся тем, что крайне гибельно отзывается на героизме: он принялся размышлять... И вспомнилась ему узкая, но очень уютная гостиная,— он даже не подозревал, что думает о том, чего уже нет на свете. Баньолло младший, который не раз держал в руках вальтеровский солдатский мешок, достиг тем временем сорока лет; покружив однажды на своем бомбардировщике над Шпандау, он открыл люк и разрушил узкую, но уютную гостиную, и папаша Вальтера шагал теперь взад и вперед по подвалу соседнего дома, покуривал сигареты, брюзжал что-то насчет «предательства» и как-то не совсем хорошо чувствовал себя, вспоминая замечательные порядки, которые он насаждал в Польше.

В эту ночь Вальтер шел в раздумье все дальше и дальше на запад, набрел, наконец, на покинутую ригу, уселся, перекинул на живот свой мешок, развязал его, поел солдатского хлеба с маргарином, пару конфет, и тут его застали русские солдаты — спящего, с заплаканным лицом, пятнадцатилетнего мальчугана, с расстрелянной пулеметной лентой вокруг шеи, с чуть кисловатым дыханием от конфет. Они поставили его в колонну, и Вальтер Хабке поплелся на восток. Шпандау ему уже не суждено было увидеть.

Тем временем селение Нестронно побывало в немецких руках, перешло к полякам, снова стало немецким, опять было занято поляками, и матери Стобского исполнилось семьдесят пять лет. Письмо полковника Хуммеля все еще хранилось в бельевом шкафу, в котором давно уже не было никакого белья. Картофель — вот что держала в нем матушка Стобская. За картошкой, в глубине, висел большой окорок, в фаянсовой миске лежали яйца, еще глубже, в темном углу, стоял бидон с растительным маслом.

Под кроватью сложены были дрова, а на стене, перед иконой ченстоховской божьей матери, красноватым светом теплилась лампадка. В хлеве за домом похрюкивала тощая свинья, коровы уже давно не было, и дом заполняли семеро шумных ребятишек семейства Вольняков, у которых бомбой разрушило дом в Варшаве. А по улице то и дело тянулись колонны пленных, с изъязвленными ногами и несчастными лицами. Они проходили тут почти ежедневно. Сначала Вольняк выходил за ворота, ругался, иной раз брал в руки камень и даже запускал им в солдат, но вскоре он засел в своей каморке, выходившей на задний двор, в той самой каморке, где некогда Иозеф Стобский занимался ремонтом часов, гравировал рисунки и надписи на браслетах, а вечерами возился со своими промасленными колесиками.

В 1939 г. одни польские пленные проходили здесь на восток, другие — на запад; позже тут проходили в западном направлении русские пленные; а уже продолжительное время на восток тянулись германские военнопленные. И хотя ночи еще стояли холодные и темные, а жители Нестронно спали крепко, они просыпались, когда с улицы доносился гул тяжелых шагов.

По утрам мамаша Стобская поднималась раньше всех в Нестронно. Набросив пальто на зеленоватую ночную рубашку, она разжигала огонь в печи, наливала масло в лампадку перед иконой божьей матери, выносила золу в мусорную яму, задавала корм тощей свинье и возвращалась в свои комнаты, чтоб приодеться к ранней обедне. Однажды утром, в апреле 1945 года, она увидела у порога своего дома светловолосого юношу, он лежал, судорожно сжимая в руках сильно выцветший солдатский мешок. Матушка Стобская даже не вскрикнула. Положив на подоконник черную вязаную сумочку, в которой она хранила польский молитвенник, носовой платок и несколько зернышек чебреца, она нагнулась над молодым человеком и сразу увидела, что он мертв. Даже теперь она не закричала. Рассвет еще не наступил, сквозь церковные окна едва брезжила желтизна, и матушка Стобская осторожно вынула из рук покойника солдатский мешок, тот самый, в котором некогда хранились молитвенник ее сына и кусок домашней копченой колбасы, изготовленной из мяса ее собственного поросенка, втащила юношу через порог на каменный пол сеней, пошла к себе в комнату, захватив с собой невзначай солдатский мешок, бросила его на стол и стала рыться в пачке грязных, почти обесцененных бумажных злотых. Затем она пошла в деревню и разбудила могильщика.

Позднее, когда юношу похоронили, она обнаружила у себя на столе мешок, подержала его в руках, помедлила, а потом достала молоток и два гвоздя, вбила гвозди в стенку, повесила на них мешок и решила хранить в нем свои запасы лука.

Если бы она чуть пошире раскрыла мешок и до конца отбросила закрывающий его клапан, она обнаружила бы под ним тот же, отпечатанный штемпельной краской, шифр, какой обозначен был и на служебном конверте полковника Хуммеля.

Но этого она так никогда и не сделала.

ПУТНИК, КОГДА ТЫ ПРИДЕШЬ В СПА...

Машина остановилась, но мотор еще несколько минут урчал; где-то распахнулись ворота. Сквозь разбитое окошечко в машину проник свет, и я увидел, что лампочка в потолке тоже разбита вдребезги; только виток ее торчал в патроне — несколько поблескивающих проволочек с остатками стекла. Потом мотор затих, и на улице кто-то крикнул:

— Мертвых сюда, есть тут у вас мертвецы?

— Ч-черт! Вы что, уже не затемняетесь? — откликнулся водитель.

— Какого дьявола затемняться, когда весь город горит, точно факел,— крикнул тот же голос.— Есть мертвецы, я спрашиваю?

— Не знаю.

— Мертвецов сюда, слышишь? Остальных наверх по лестнице в рисовальный зал, понял?

— Да, да.

Но я еще не был мертвецом, я принадлежал к остальным, и меня понесли в рисовальный зал, «наверх по лестнице». Сначала несли по длинному, слабо освещенному коридору с зелеными, выкрашенными масляной краской стенами и с гнутыми, наглухо вделанными в них черными старомодными вешалками; на дверях белели маленькие эмалевые таблички: «VI а» и «VI б»; между дверями, в черной раме, мягко поблескивая под стеклом и глядя вдаль, висела «Медея» Фейербаха. Потом пошли двери с табличками «V а» и «V б», а между ними — снимок со скульптуры «Мальчик, вытаскивающий занозу» — превосходная, отсвечивающая красным фотография в коричневой раме.

Вот и колонна перед выходом на лестничную площадку, за ней чудесно выполненный макет — длинный и узкий, подлинно античный фриз Парфенона из желтоватого гипса, и все остальное, давно привычное: вооруженный до зубов греческий воин, воинственный и страшный, похожий на взъерошенного петуха. На самой лестничной площадке, на стене, выкрашенной в желтый цвет, красовались все — от великого курфюрста до Гитлера.

А в маленьком узком коридорчике, где мне в течение нескольких секунд удалось лежать прямо на моих носилках, висел необыкновенно большой, необыкновенно яркий портрет старого Фридриха: в небесно-голубом мундире, с сияющими глазами и большой блестящей золотой звездой на груди.

И снова я лежал, скатившись на сторону, и теперь меня несли мимо породистых арийских физиономий: нордического капитана с орлиным взором и глупым ртом, уроженки Западного Мозеля, пожалуй, чересчур худой и костлявой, остзейского зубоскала с носом луковицей, длинным профилем и выступающим кадыком горца из кинокартины; а потом свернули еще в один коридор, и опять в течение нескольких секунд я лежал прямо на своих носилках, и еще до того, как санитары начали подниматься на следующий этаж, я успел его увидеть — украшенный каменным лавровым венком памятник воину с большим позолоченным Железным крестом наверху.

Все это быстро мелькало одно за другим — я не тяжелый, а санитары торопились. Конечно, все могло мне только почудиться; у меня сильный жар и решительно все болит: голова, ноги, руки, а сердце колотится как сумасшедшее — что только не привидится в таком жару.

Но после породистых физиономий промелькнуло и все остальное: все три бюста — Цезаря, Цицерона и Марка Аврелия, рядышком, изумительные копии; совсем желтые, античные и важные стояли они у стен; когда же мы свернули за угол, я увидел и колонну Гермеса, а в самом конце коридора — этот коридор был выкрашен в темно-розовый цвет — в самом, самом конце над входом в рисовальный зал висела большая маска Зевса; но до нее было еще далеко. Справа в окне алело зарево пожара, все небо было красное, и по нему торжественно плыли плотные черные тучи дыма...

И опять я невольно перевел взгляд налево и увидел над дверьми табличку «X а» и «X б», а между этими коричневыми, словно пропахшими затхлостью дверьми виднелись в золотой раме усы и острый нос Ницше —

вторая половина портрета была заклеена бумажкой с надписью «Легкая хирургия»...

«Если сейчас будет...— мелькнуло у меня в голове.— Если сейчас будет...» Но вот и она, я вижу ее: картина, изображающая африканскую колонию Германии Того, — пестрая и большая, плоская, как старинная гравюра, великолепная олеография. На переднем плане, перед колониальными домиками, перед неграми и немецким солдатом, неизвестно для чего торчащим тут со своей винтовкой, на самом-самом переднем плане желтела большая, в натуральную величину, связка бананов; слева гроздь, справа гроздь, и на одном банане в самой середине этой правой грозди что-то нацарапано, я это видел: я сам, кажется, и нацарапал...

Но вот рывком открылась дверь в рисовальный зал, и я проплыл под маской Зевса и закрыл глаза. Я ничего не хотел видеть больше. В зале пахло йодом, испражнениями, марлей и табаком и было шумно. Носилки поставили на пол, и я сказал санитарам:

— Суньте мне сигарету в рот. В верхнем левом кармане.

Я почувствовал, как чужие руки пошарили у меня в кармане, потом чиркнула спичка, и во рту у меня оказалась зажженная сигарета. Я затянулся.

— Спасибо, — сказал я.

«Все это, — думал я, — еще ничего не доказывает. В конце концов, в любой гимназии есть рисовальный зал, есть коридоры с зелеными и желтыми стенами, в которых торчат изогнутые старомодные вешалки для платья; в конце концов, это еще не доказательство, что я нахожусь в своей школе, если между «IV а» и «IV б» висит «Медея», а между «X а» и «X б» — усы Ницше. Несомненно, существуют правила, где сказано, что именно там они и должны висеть. Правила внутреннего распорядка для классических гимназий в Пруссии: Медея — между «IV а» и «IV б», там же «Мальчик, вытаскивающий занозу», в следующем коридоре — Цезарь, Марк Аврелий и Цицерон, а Ницше на верхнем этаже, где уже изучают философию. Фриз Парфенона и универсальная олеография: Того. «Мальчик, вытаскивающий занозу» и фриз Парфенона — это в конце концов не более чем добрый старый школьный реквизит, переходящий из поколения в поколение, и наверняка я не единственный, кому взбрело в голову написать на банане: да здравствует Того! И выходки школьников в конце концов всегда одни и те же. А кроме того, вполне возможно, что от сильного жара у меня начался бред».

Боли я теперь не чувствовал. В машине я еще очень страдал; когда ее швыряло на мелких выбоинах, я каждый раз начинал кричать. Уж лучше глубокие воронки: машина поднимается и опускается, как корабль на волнах. Теперь, видно, подействовал укол; где-то в темноте мне всадили шприц в руку, и я чувствовал, как игла проткнула кожу и ноге стало горячо...

«Да это просто невозможно,— думал я,— машина наверняка не прошла такое большое расстояние: почти тридцать километров. А кроме того, ты ничего не испытываешь, ничто в душе не подсказывает тебе, что ты в своей школе, в той самой школе, которую всего три месяца назад покинул. Восемь лет — не пустяк, неужели после восьми лет ты все это узнаёшь только глазами?»

Я закрыл глаза и опять увидел все, как в фильме: нижний коридор, выкрашенный зеленой краской, этажом выше — коридор с желтыми стенами, памятник воину, опять коридор, следующий этаж: Цезарь, Марк Аврелий... Гермес, усы Ницше, Того, маска Зевса.

Я выплюнул сигарету и начал кричать: когда кричишь, становится легче, надо только кричать погромче; кричать — это так хорошо, я кри-

чал как полоумный. Кто-то надо мной наклонился, но я не открывал глаз, я почувствовал чужое дыхание, теплое, противно пахнущее смесью лука и табака, и услышал голос, который спокойно спросил:

— Чего ты так кричишь?

— Пить, — сказал я. — И еще сигарету. В верхнем кармане.

Опять чужая рука шарила в моем кармане, опять чиркнула спичка, и кто-то сунул мне в рот зажженную сигарету.

— Где мы? — спросил я.

— В Бендорфе.

— Спасибо, — сказал я и затянулся.

Все-таки я, видимо, действительно в Бендорфе, а значит дома, и если бы не такой сильный жар, я мог бы с уверенностью сказать, что я в классической гимназии: что это школа — во всяком случае бесспорно. Разве не крикнул внизу чей-то голос: «Остальных в рисовальный зал!»? Я был одним из остальных, я жил, остальные и были, очевидно, живыми. Это — рисовальный зал, и если слух меня не обманул, то почему бы глазам меня подвести? Значит, нет сомнения в том, что я узнал Цезаря, Цицерона и Марка Аврелия, а они могли быть только в классической гимназии; не думаю, чтобы в других школах стены коридоров украшали скульптурами этих молодцов.

Наконец-то он принес воду: опять меня обдало смешанным запахом лука и табака, и я поневоле открыл глаза — надо мной склонилось усталое, дряблое, небритое лицо человека в форме пожарника, и старческий голос тихо сказал:

— Выпей, дружок.

Я начал пить: вода, вода — какое наслаждение; я чувствовал на губах металлический привкус кастрюли, я ощущал упругую полноводность глотка, но пожарник отнял кастрюлю от моих губ и ушел: я закричал, он даже не обернулся, только устало передернул плечами и пошел дальше, а тот, кто лежал рядом со мной, спокойно сказал:

— Зря орешь, у них нет воды; весь город в огне, сам видишь.

Я это видел, несмотря на затемнение, — за черными шторами полыхала и бушевала огненная стихия, черно-красная, как в печи, куда только что засыпали уголь. Да, я видел: город горел.

— Какой это город? — спросил я у раненого, лежавшего рядом.

— Бендорф, — сказал он.

— Спасибо.

Я смотрел прямо перед собой на ряды окон, а иногда на потолок. Он был еще безупречно белый и гладкий, с узким классическим лепным карнизом; но такие потолки с классическими лепными карнизами есть во всех рисовальных залах всех школ, по крайней мере всех добрых старых классических гимназий. Это ведь бесспорно.

Я не мог более сомневаться: я в рисовальном зале одной из классических гимназий в Бендорфе. В Бендорфе всего три классические гимназии: гимназия Фридриха Великого, гимназия Альберта и... может быть, лучше и вовсе не упоминать о ней... — гимназия имени Адольфа Гитлера. Разве на лестничной площадке в гимназии Фридриха Великого не висел портрет Старого Фрица, необыкновенно яркий, необыкновенно красивый, необыкновенно большой? Я учился в этой школе восемь лет подряд, но разве точно такой же портрет не мог висеть в другой школе на том же самом месте, и настолько яркий, настолько бросающийся в глаза, что взгляд всякого, кто поднимался на второй этаж, невольно на нем останавливался?

Вдали постреливала тяжелая артиллерия. А вообще было почти спокойно; лишь время от времени прожорливое пламя вырывалось на волю, и где-то во тьме рушилась крыша. Артиллерийские орудия стре-

ляли равномерно с одинаковыми промежутками, и я думал: славная артиллерия. Я знаю, что это подло, но я так думал. О боже, как она успокаивала, эта артиллерия, каким родным был ее густой и низкий рокот, мягкий, нежный, как рокот органа, в нем есть даже что-то благородное; по-моему, в артиллерии есть что-то благородное, даже когда она стреляет. Все это так солидно: совсем как в той войне, про которую мы читали в книжках с картинками... Потом я подумал о том, сколько имен будет высечено на новом памятнике воину, если новый памятник поставят, и о том, что на него водрузят еще более грандиозный позолоченный Железный крест и еще более грандиозный каменный лавровый венок; и вдруг меня пронизала мысль: если я в самом деле нахожусь в своей старой школе, то мое имя тоже будет красоваться на памятнике, высеченное на цоколе, а в школьном календаре против моей фамилии будет сказано: «Ушел на фронт из школы и пал за...».

Но я еще не знал, за что... И я еще не был уверен, нахожусь ли я в своей старой школе. Теперь я непременно хотел это установить. В памятнике воину тоже нет ничего особенного, ничего исключительного, он такой, как всюду, стандартный памятник массового изготовления, все памятники такого образца поставляются каким-то одним управлением...

Я оглядывал рисовальный зал, но картины были сняты, а о чем можно судить по нескольким партам, сваленным в углу, да по узким и высоким окнам, частым-частым, как полагается в рисовальном зале, где должно быть много света? Сердце мне ничего не подсказывало. Но разве оно молчало бы, если б я оказался там, где восемь лет, из года в год рисовал вазы, прелестные, стройные вазы, изумительные копии с римских подлинников, — учитель рисования обычно ставил их перед классом на подставку; там, где я выводил шрифты — латинский прямой, римский, итальянский. Ничто я так не ненавидел в школе, как эти уроки, часами глотал я скуку и никогда не мог нарисовать вазу или воспроизвести какой-нибудь шрифт. Но где же мои проклятья, моя ненависть к этим тоскливым тусклым стенам? Ничто во мне не заговорило, и я молча покачал головой.

Снова и снова я рисовал, стирал нарисованное, оттачивал карандаш... и ничего, ничего...

Я не помнил, как меня ранило; чувствовал лишь, что не могу пошевелить руками и правой ногой — только левой, и то еле-еле; это оттого, думал я, что всего меня очень туго спеленали.

Я выплюнул сигарету в пространство между набитыми соломой мешками и попытался шевельнуть рукой, но от страшной боли опять закричал; я кричал не переставая, кричал с наслаждением; помимо боли, меня доводило до бешенства то, что я не могу пошевелить руками.

Потом я увидел перед собой врача; он снял очки и, часто моргая, смотрел на меня; он ничего не говорил; за ним стоял пожарник, тот, что дал мне воды. Пожарник что-то шепнул врачу на ухо, и врач надел очки: за их толстыми стеклами я отчетливо увидел большие серые глаза с чуть подрагивающими зрачками. Врач долго смотрел на меня, так долго, что я невольно отвел глаза. Он сказал:

— Одну минутку, ваша очередь сейчас подойдет...

Затем они подняли того, кто лежал рядом со мной, и понесли за классную доску; я смотрел им вслед; доска была раздвинута и поставлена наискосок, между нею и стенкой висела простыня, за простыней горел яркий свет...

Ни звука не было слышно, пока простыню не откинули и не вынесли того, кто лежал только что рядом со мной; санитары с усталыми, безучастными лицами тащили носилки к дверям.

Я опять закрыл глаза и подумал: «Ты непременно должен узнать, что у тебя за ранение, и действительно ли ты находишься в своей старой школе».

Все здесь казалось мне таким холодным и чужим, как если бы меня пронесли по музею мертвого города; этот мирок был мне совершенно безразличен и далек, и хотя глазами я его узнавал, но только глазами. А если так, то мог ли я поверить, что всего три месяца назад я сидел здесь, рисовал вазы и писал шрифты, на переменах сбегáл по лестнице, держа в руках принесенные из дому бутерброды с повидлом, проходил мимо Ницше, Гермеса, Того, Цезаря, Цицерона, Марка Аврелия, потом шел по нижнему коридору с его Медеей и заходил к швейцару Биргелеру выпить молока, выпить молока в этой полутемной маленькой каморке, где можно было рискнуть выкурить сигарету, хоть это и строго воспрещалось. Наверняка они понесли того, кто лежал раньше рядом со мной, вниз, куда сносили мертвецов; быть может, мертвецов клали в маленькую мглистую каморку, где пахло теплым молоком, пылью и дешевым табаком Биргелера...

Наконец-то санитары вернулись в зал, и теперь они подняли меня и понесли за классную доску. Я опять поплыл мимо дверей и, проплывая, обнаружил еще одно совпадение: в те времена, когда эта школа называлась школой св. Фомы, над этой самой дверью висел крест: его потом сняли, но на стене так и осталось неисчезающее темно-желтое пятно — отпечаток креста, четкий и ясный, более четкий, пожалуй, чем сам этот ветхий, хрупкий, маленький крест, который сняли; ясный и красивый отпечаток креста так и остался на выцветшей стене. Тогда новые хозяева со злости перекрасили всю стену, но ничего не помогло; маляр не сумел найти правильного тона, крест остался на своем месте, светло-коричневый и четкий, на розовой стене. Они злились, но тщетно, крест оставался, коричневый, четкий на розовом фоне стены, и думаю, что они исчерпали все свои ресурсы на краски, но сделать ничего не смогли. Крест все еще был там, и если присмотреться, то можно разглядеть даже косой след на правой перекладине, где много лет подряд висела буковая ветвь, которую швейцар Биргелер прикреплял туда в те времена, когда еще разрешалось вешать в школах кресты...

Все это промелькнуло в голове в ту короткую секунду, когда меня несли мимо двери за классную доску, где горел яркий свет.

Я лежал на операционном столе и в блестящем стекле электрической лампы видел себя самого, свое собственное отражение, очень маленькое, укороченное — совсем крохотный, белый, узенький марлевый сверток, словно куколка в коконе: это и был я.

Врач повернулся ко мне спиной: он стоял у стола и рылся в инструментах; старик пожарник, широкий в плечах, загораживал собой классную доску и улыбался мне; он улыбался устало и печально, и его бородатое лицо казалось лицом спящего; взглянув поверх его плеча, я увидел на исписанной стороне доски нечто, заставившее встрепенуться мое сердце впервые за все время, что я находился в этом мертвом доме. Где-то в тайниках души я отчаянно, страшно испугался, и сердце учащенно забилось: на доске я увидел свой почерк — вверху, на самом верху. Узнать свой почерк это хуже, чем увидеть себя в зеркале, это куда более неопровержимо, и у меня не осталось никакой возможности усомниться в подлинности моей руки. Все остальное еще не служило доказательством: ни Медея, ни Ницше, ни профиль горца из кинокартины, ни банан из Того, ни даже сохранившийся над дверью след креста: все это существовало во всех школах, но я не думаю, чтобы в других школах кто-нибудь писал на доске моим почерком. Она еще красо-

валась здесь, эта строка, которую всего три месяца назад, в той проклятой жизни, учитель задал нам каллиграфически написать на доске: «Путник, когда ты придешь в Спа...»

О, я помню, доска оказалась для меня короткой, и учитель сердился, что я плохо рассчитал, выбрал чрезмерно крупный шрифт, а сам он тем же шрифтом, покачивая головой, вывел ниже: «Путник, когда ты придешь в Спа...»

Семь раз была повторена эта строка: моим почерком, готическим шрифтом, курсивом, римским, старо-итальянским и круглописью; семь раз, четко и беспощадно: «Путник, когда ты придешь в Спа...»

Врач тихо окликнул пожарника, и он отошел в сторону, теперь я видел всю строчку, не очень красиво написанную, потому что я выбрал слишком крупный шрифт, вывел слишком большие буквы.

Я подскочил, почувствовав укол в левое бедро, хотел опереться на руки, но не смог: я оглядел себя сверху донизу — и все увидел. Они распеленали меня, и у меня не было больше рук, не было правой ноги, и я внезапно упал навзничь: мне нечем было держаться; я закричал; пожарник с ужасом смотрел на меня, а врач лишь передернул плечами и продолжал нажимать на поршень шприца, медленно и ровно погружавшегося все глубже: я хотел опять взглянуть на доску, но пожарник стоял возле меня и загораживал ее; он крепко держал меня за плечи, и я чувствовал запах пота, грязный запах его перепачканного мундира, видел его усталое, печальное лицо — и вдруг узнал его: это был Биргелер.

— Молока, — сказал я тихо.

„МЕТЛЫ БЫ ТЕБЕ ВЯЗАТЬ!“

Добродушие нашего учителя математики не уступало его необузданной стремительности; обычно он врывался в класс, держа руки в карманах, выплевывал окурок в плевательницу, стоявшую слева от корзинки для бумаг, взбегал на кафедру, называл мою фамилию и задавал вопрос, на который я никогда не мог ответить, в чем бы он ни заключался.

Когда я, беспомощно пробормотав что-то, умолкал, он под хихиканье всего класса медленно-медленно подходил ко мне, оправал щелчком мое многострадальное темя и говорил с грубоватым добродушием: «Эх ты! Мётлы бы тебе вязать! Вот что!»

Это превратилось в известного рода обряд, перед которым я трепетал все свои школьные годы, тем более что мои познания в науках не только не возрастали вместе с возрастающими требованиями, а наоборот, как будто даже убывали. Наградив изрядным количеством щелчков, учитель оставлял меня в покое, больше не мешая мне предаваться беспредметным грезам, поскольку всякая попытка обучить меня математическим премудростям была напрасной, совершенно напрасной. И все свои школьные годы я из класса в класс влачил за собой единицу, как каторжник тяжелое ядро на ноге.

Особенно сильное впечатление производило на нас то, что у математика никогда не было при себе ни книжки, ни тетрадки, ни даже записочки; он словно откуда-то из рукава вытряхивал все свои таинственные чудеса и с уверенностью канатоходца молниеносно вычерчивал на доске

невероятные геометрические фигуры. Вот только описать окружность ему никогда не удавалось. Он был для этого слишком нетерпелив. Обмотав кусок мела веревочкой, он намечал воображаемый центр и с такой стремительностью обводил вокруг него кривую, что мел обламывался и, жалобно поскрипывая, пускался вскачь по доске: черточка — точка, точка — черточка, — и никогда начало кривой не совпадало с ее концом; получалось что-то уродливо зияющее — поистине некий символ трагически-несовершенного мироздания. И визг, скрип, часто даже треск мела был добавочной мукой для моего истерзанного мозга; я обычно пробуждался от своих грез, поднимал глаза, а он, заметив это, бросался ко мне, брал за уши и приказывал нарисовать окружность. Этим искусством я владел почти безукоризненно — то был загадочный дар, отпущенный мне природой. Каким наслаждением были полсекунды игры с мелом! Это походило на легкое опьянение: окружающий мир исчезал, и меня наполняла глубокая радость, вознаграждавшая за все муки. Но сладостное забытье длилось недолго; учитель с грубоватой признательностью больно хватал меня за чуб, и я, под смех всего класса, как побитая собака, возвращался на место; но теперь я уже не мог уйти в царство грез и мучительно ждал звонка...

Мы давно выросли, давно уже в мои грезы вплеталось страдание, учитель давно уже говорил нам «вы»: «Эх вы! Мётлы бы вам вязать! Вот что!», и проходили долгие, мучительно-долгие месяцы, на протяжении которых я не чертил ни одной окружности; меня лишь тщетно заставляли преодолевать ломкие конструкции алгебраических формул, и неизменно я тащил за собой единицу, и неизменно совершался надо мной один и тот же, привычный обряд.

Но вот нам пришлось добровольцами пойти в армию, чтобы получить звание офицера, и тогда нам досрочно устроили испытания, облегченные испытания, но все же испытания, и, вероятно, моя полная растерянность перед официальной строгостью экзаменаторов чрезвычайно тронула сердце учителя математики,— он так много и ловко мне подсказывал, что я выдержал экзамен. Позднее, когда учителя жали нам на прощанье руки, он все же посоветовал мне не обольщаться насчет моих математических познаний и ни в коем случае не проситься в технические войска.

— В пехоту, в пехоту идите, — шепнул он мне, — это самый подходящий род войск для всех... вязальщиков метел.— И он в последний раз многозначительно, со скрытой нежностью, легонько щелкнул меня в натренированное темя...

* * *

Месяца через два, а может, и того меньше, я сидел на своем ранце в глубокой грязи одесского аэродрома и не отрывал глаз от человека, вязавшего метлы, первого живого вязальщика метел, которого я видел в жизни.

Зима в тот год наступила рано, и над близким городом от горизонта до горизонта нависло серое и безнадежное небо. За палисадниками и черными заборами виднелись высокие мрачные здания. Там, где находилось невидимое отсюда Черное море, небо было еще более темное, почти иссиня-черное, и думалось, что сумерки и ночь надвигаются с востока. Где-то в глубине аэродрома, у мрачных ангаров, баки крылатых чудовищ до краев наполнялись бензином, затем чудовища откатывались назад и со злорадным радушием разверзали чрево, которое до отказа заполнялось людьми, серыми, усталыми и отчаявшимися солдатами; в глазах у них нельзя было прочесть ничего, кроме страха: Крым давно уже был окружен...

Наш взвод оставался на аэродроме, вероятно, одним из последних, все молчали и зябко поеживались, несмотря на длинные шинели. Кое-кто искал выхода своему отчаянию в еде, другие, вопреки запрету, курили, прикрывая трубку ладонью, и осторожно, тоненькой струйкой, выпускали дым...

У меня было достаточно времени, чтобы наблюдать за сидевшим на заборе соседнего сада человеком, который вязал метлы. В диковинной русской фуражке, обросший бородой, он курил темно-коричневую трубку-коротышку, такую же толстую, как его нос. Его руки, работавшие спокойно, просто и размеренно, брали пучок веток, похожих на дрок, обрезали, перевязывали проволокой и, воткнув палку в пучок, закрепляли.

Повернувшись к нему, я почти лежал на своем ранце. Мне был виден лишь огромный силуэт этого бедного тихого человека, без суетливости, прилежно и с любовью вязавшего метлы. Никогда в жизни я никому не завидовал так, как этому метловязальщику,— ни нашему первому ученику, ни математическому светиле Шимскому, ни лучшему футболисту нашей школьной команды, ни Хегенбаху, у которого брат был кавалером Рыцарского креста; никому из них я так не завидовал, как этому метловязальщику, который сидел здесь, на одной из окраин Одессы, и, ни от кого не прячась, курил свою трубку.

У меня было тайное желание встретиться взглядом с этим человеком, мне казалось, что я почерпну в этом лице душевный покой; но вдруг кто-то, схватив меня за шинель, рывком поставил на ноги, обругал и втолкнул в ревущую машину, и когда мы оторвались от земли и понеслись над сумятицей садов, улиц и церквей, не было уже никакой возможности отыскать взглядом того простого человека, вязавшего метлы.

Сначала я сидел на своем ранце, потом меня отшвырнуло к стенке, и я, оглушенный гнетущим молчанием моих товарищей по несчастью, прислушивался к грозному шуму летящего корабля, и голова моя, прижатая к металлической стенке, дрожала от постоянных сотрясений. Только там, где сидел пилот, густая темень битком набитой машины была не такой непроглядной. Призрачный отблеск падал на молчаливые и угрюмые фигуры солдат, сидевших на своих ранцах справа, слева, всюду.

Внезапно странный шум прокатился по небу, такой знакомый, что я испугался: мне показалось, будто исполинская рука великана-учителя, широко взмахнув куском меловой скалы, пронеслась по беспредельной грифельной доске ночного неба, и звук был точь-в-точь такой же, какой я так часто слышал всего два месяца назад. Это был тот же сердитый треск скачущего мела.

Дугу за дугой прочерчивала по небу рука великана, но не белым по грифельно-серому, а красным по синему и фиолетовым по черному, и вздрагивающие линии гасли, не завершая окружности, щелкали и, взвыв, затухали.

Меня терзали не стоны моих обезумевших от испуга товарищей по несчастью, не крик лейтенанта, тщетно призывавшего успокоиться и замолчать, и не страдальчески перекошенное лицо пилота. Меня терзали только эти прочерчивающие все небо, беснующиеся, вечно незавершенные окружности; полные исступленной ненависти, они никогда, никогда не возвращались к своей исходной точке, ни одно из этих бездарно вычерченных полукружий так ни разу и не завершилось, не получило законченной красоты круга.

Мои мучения удесятерялись щелкающей, скрежещущей, скачущей яростью гигантской руки; я дрожал от страха — как бы она не схватила меня за вихор и не защелкала до смерти.

И вдруг ужас сжал сердце; эта исступленная ярость впервые по-на-

стоящему открылась мне в звуке: я услышал близко над головой странное шипение, и вслед за тем словно чья-то гневная длань ударила меня по темени; я ощутил жгучую влажную боль, с криком вскочил и схватился за небо, в котором опять бешено дрогнул ядовито-желтый огненный зигзаг. Я крепко держал эту яростно вырывающуюся желтую змею, правой рукой гнал ее по окружности, заставляя описывать гневный круг, чувствуя, что мне удается завершить его, ибо только это я и умел делать, только этим меня и одарила природа... и я держал змею, размашисто водил ею по небу, яростно извивавшуюся, беснующуюся, вздрагивающую, грохочущую змею, держал ее крепко, и из моего страдальчески подергивающегося рта вырывалось горячее дыхание; а тем временем влажная боль в темени все росла, и пока я, вычерчивая пунктиром, завершал чудесную окружность и с гордостью разглядывал ее, — пространство между пунктирными линиями заполнилось, и короткая вспышка зловещим треском залила окружность светом и огнем, все небо заполыхало, и стремительная сила падающего самолета расколола мир надвое. Я ничего больше не видел, кроме света, огня и изуродованного хвоста машины, расщепленного, как черный огрызок метлы, на котором ведьма скачет на шабаш.

МОЯ ДОРОГАЯ НОГА

Вот меня и облагодетельствовали. Мне прислали открытку с приглашением явиться в Бюро, и я пошел. В Бюро все были со мной очень любезны. Чиновник извлек из картотеки мою карточку и сказал «гм». Я тоже сказал «гм».

— Какая нога? — спросил чиновник.

— Правая.

— Целиком?

— Целиком.

— Гм, — протянул он опять и просмотрел несколько разных бумажек. Мне разрешили сесть.

Наконец чиновник остановился на бумажке, которая, по-видимому, показалась ему самой подходящей.

— Думаю, — сказал он, — что это как раз для вас. Замечательная штука. Работа сидячая. Чистильщиком сапог в общественной уборной на площади Республики. Ну, как?

— Я не умею чистить сапоги; у меня всегда были неприятности из-за плохо начищенных сапог.

— Можно выучиться, — сказал чиновник. — Всему можно выучиться. Немец все может. При желании можете пройти бесплатный курс обучения.

— Гм, — промычал я.

— Ну что ж, идет?

— Нет, — сказал я. — Не желаю. Такие доходы меня не устраивают.

— Вы с ума сошли, — сказал он мягко и благодушно.

— Я не сошел с ума, никто в мире не может вернуть мне отрезанную ногу. Мне даже сигареты не разрешают продавать, уже сейчас ставят палки в колеса.

Чиновник откинулся на спинку стула и набрал полную грудь воздуха.

— Милый друг, — начал он, — ваша нога — чертовски дорогая нога.

Вам, как указано в карточке, двадцать девять лет, у вас здоровое сердце и вообще железное здоровье, если не считать ампутированной ноги. Вы можете прожить семьдесят лет. Высчитайте, пожалуйста, сколько это составит: по семьдесят марок в месяц, двенадцать раз, и все это помноженное на сорок один — годы, которые вы еще проживете; следовательно — семьдесят на двенадцать, а потом еще на сорок один. Подсчитайте-ка все это да прибавьте проценты, и примите далее во внимание, что ваша нога не единственная. И вы тоже не единственный, кто, по всей вероятности, будет долго жить. А вам подавай доходы пожирней! Простите меня, но вы сошли с ума.

— Сударь,— сказал я и тоже откинулся на спинку стула и набрал полную грудь воздуха, — судя по всему, вы сильно недооцениваете мою ногу. Она стоит гораздо дороже, это чрезвычайно дорогая нога. Дело в том, что у меня не только сердце здоровое, но и голова отнюдь не больная. Слушайте внимательно.

— У меня времени в обрез.

— Слушайте! — сказал я. — Дело в том, что моя нога спасла жизнь множеству людей, получающих в настоящее время недурственные пенсии.

Это было так: я лежал один-одинешенек на переднем крае и должен был следить за противником, чтобы наши могли своевременно удрать. Штабы в тылу спешно свертывались, однако не хотели удирать ни слишком рано, ни слишком поздно, а так, чтобы в самый раз. Сначала нас было двое, но второго очень скоро убили, на него вам больше тратиться не придется. Он был, правда, женат, но жена его здорова и может работать. Так что беспокоиться вам нечего. Он казне обошелся очень дешево. Служил всего только месяц, и все затраты на него свелись к одной почтовой карточке да пайку солдатских сухарей. Это был правильный солдат, по крайней мере, он правильно дал себя убить. В общем, я остался один, натерпелся страху, промерз до костей и хотел уж было тоже дать тягу, и только-только, понимаете, я решил, как...

— Времени у меня в обрез, — повторил чиновник и начал искать карандаш.

— Нет, вы все-таки послушайте,— сказал я.— Теперь лишь и начинается самое интересное. Ну вот. Только я совсем уж решил дать тягу, как вдруг эта самая история с ногой. И так как встать я не мог, я подумал: сейчас я им просигналю; и я им просигналил, и все наши удрали, по очереди, аккуратненько, сначала дивизия, потом полк, потом батальон и так далее, и все по очереди, как положено. А меня, — глупо это вышло, — меня-то и забыли прихватить, понимаете? Уж очень спешили. Поистине глупая история получилась: не потеряй я ноги, все они были бы убиты — и генерал, и полковник, и майор, все по очереди, как положено, и вам не пришлось бы выплачивать им пенсий. Теперь подсчитайте, сколько же стоит моя нога. Генералу пятьдесят два года, полковнику сорок восемь, майору пятьдесят, все как один — здоровяки, и сердца здоровые, и головы в полном порядке, и при армейском образе жизни они протянут по меньшей мере до восьмидесяти, как Гинденбург. Вот и подсчитайте, пожалуйста: сто шестьдесят умножить на двенадцать и еще на тридцать, в среднем можно ведь спокойно взять тридцать лет, верно? Моя нога — отчаянно дорогая нога, одна из самых дорогих ног на свете, верно?

— Вы все-таки сумасшедший, — сказал чиновник.

— Нет,— ответил я,— ничуть не сумасшедший. К сожалению, голова у меня такая же крепкая, как и сердце, и очень жалко, что меня не убили за две минуты до того, как случилось это дело с ногой. Мы бы кучу денег сэкономили.

— Так берете вы эту работу? — спросил чиновник.

— Нет, — сказал я и ушел.

ВЕСТЬ

Знакомы ли вам такие глухие углы, где, непонятно почему, возникла железнодорожная станция, где над несколькими грязными домишками и полуразрушенной фабрикой словно застыла великая бесконечность, а поля вокруг как бы обречены на вечное бесплодие, — где вдруг ощущаешь какую-то безысходность, так как кругом не видно ни единого деревца, ни одной церковной колокольни? Человек в красной шапке, наконец-то, наконец подавший знак к отправлению поезда, скрывается под большой вывеской, на которой выведено чрезвычайно звучное название, и можно подумать, что ему только за то и платят деньги, что он, укрывшись скукой, как одеялом, спит по двенадцать часов в день. Пустынные поля, никем не возделываемые, опоясывает подернутый серой завесой горизонт.

И все-таки я был не единственным, кто сошел здесь; из соседнего купе вылезла старуха с большой коричневой картонкой, но когда я покинул маленький, душный вокзальчик, она словно сквозь землю провалилась, и на мгновенье я растерялся: я не знал, у кого спросить дорогу. При взгляде на немногочисленные кирпичные домики с грязно-желтыми гардинами на слепых окнах казалось, что они не могут быть обитаемы. К тому же это подобие улицы пересекала черная полуразрушенная стена. Не решаясь постучать ни в один из мертвых кирпичных домишек, я направился к угрюмой стене, свернул за угол и рядом с помятой вывеской, на которой еле можно было прочесть: «Трактир», увидел ясное и четкое название улицы, выведенное белыми буквами на голубой табличке: «Главный проспект»... Отсюда опять шел кривой ряд облупленных фасадов, а напротив — та же длинная угрюмая фабричная стена без окон, точно ограда вокруг царства безнадежности. Доверяясь лишь своему чутью, я свернул налево, но здесь городок как-то сразу обрывался; метров на десять еще тянулась фабричная стена, а там уже начинались ровные серовато-черные поля, подернутые зеленой дымкой. Далеко-далеко они сливались с серым горизонтом, и меня вдруг охватило страшное чувство, мне представилось, будто я на краю света, передо мной бездонная пропасть, и эта молчаливо-манящая пучина полной безнадежности неумолимо притягивает меня.

Слева стоял маленький, точно сплющенный домик, какие строят для себя сами рабочие после трудового дня; шатаясь, чуть не падая, я поплелся к нему. Открыв простую и трогательную калитку, обвитую облетевшим шиповником, я увидел номер на доме и понял, что я у цели.

Зеленоватые, давно выцветшие ставни были накрепко закрыты, точно приклеены; низкая крыша, до края которой я мог дотянуться рукой, была заплатана ржавыми листами жести. Стояла невыносимая тишина, был тот час, когда серые сумерки на мгновенье задерживаются, чтобы затем перелиться через края далей. С минуту я помедлил перед дверью, жалея, почему я не умер тогда... вместо того, чтобы стоять здесь и думать, что должен войти в этот дом. Я уже поднял руку и собрался постучать, как вдруг услышал из комнат воркующий женский смех, тот самый загадочный смех, от которого, смотря по настроению, у нас либо светлеет на душе, либо теснит грудь. Во всяком случае, так смеется женщина только когда она не одна, и я опять помедлил и почувствовал, как растет у меня в груди жгучее желание броситься в серую бесконечность вечерних сумерек, повисшую над простором полей и влекущую, неодолимо влекущую меня к себе... и я из последних сил застучал кулаком в дверь.

Вначале все стихло, потом послышался шепот, затем шаги, бесшумные шаги в ночных туфлях... Дверь отворилась, и я увидел светлорусую

розовую женщину — и невольно подумал о тех непередаваемых источниках света, которые до последнего уголка изнутри освещают темные полотна Рембрандта. Пламенея золотисто-рыжими красками, она возникла предо мной, как луч света среди серо-черной беспредельности; слегка вскрикнув, женщина попятилась и дрожащей рукой схватилась за дверь, но когда я снял свою солдатскую фуражку и хриплым голосом произнес: «Добрый вечер», судорога испуга, перекосившая это на редкость бесформенное лицо, исчезла, женщина подавленно улыбнулась и сказала: «Да». В глубине небольших сеней появилась мускулистая мужская фигура, сливавшаяся с сумерками.

— Я хотел бы видеть фрау Бринк, — тихо сказал я.

— Да, — беззвучным голосом повторила женщина и нервно толкнула дверь. Мужская фигура скрылась в темноте. Я вошел в тесную комнатку, заставленную убогой мебелью и насквозь пропахшую дешевыми кушаниями и очень дорогими сигаретами. Белая рука женщины метнулась к выключателю, и когда свет упал на ее лицо, оно показалось мне бледным и осунувшимся, почти мертвенным; только светлые рыжеватые волосы сохраняли жизнь и тепло. Все еще трясущимися руками она судорожно стягивала на тяжелой груди темно-красное платье, хотя оно было наглухо застегнуто... как будто боялась, что я могу вонзить в нее кинжал. Взгляд ее водянистых голубых глаз выражал испуг, ужас, точно она стояла перед судом, уверенная в неумолимом приговоре. Даже дешевые олеографии на стенах были точно вывешенные напоказ улики обвинения.

— Не пугайтесь, — сказал я сдавленным голосом и в ту же секунду понял, что ничего хуже этих слов нельзя было придумать, но она, не дав мне договорить, неестественно спокойным голосом произнесла:

— Я все знаю, его нет в живых... он умер.

Я мог только кивнуть. Потом сунул руку в карман, чтобы достать все то, что сохранилось от вещей покойного, но в эту минуту грубый мужской голос позвал в сенях: «Гитта!» Она с отчаяньем посмотрела на меня, рванула дверь и визгливо закричала:

— Неужели нельзя подождать пять минут... окаянный... — и с шумом хлопнула дверью. Я представил себе, как этот сильный мужчина трусливо уполз за печь. Она взглянула на меня воинственно, почти торжествующе.

Я медленно положил на зеленую бархатную скатерть обручальное кольцо, часы и солдатскую книжку с затасканными фотографиями между листками. Женщина вдруг всхлипнула исступленно и страшно, как животное. Лицо ее расплылось, сплющилось и одрябло, и сквозь короткие мясистые пальцы брызнули мелкие светлые слезинки. Она рухнула на диван, оперлась правой рукой о стол, машинально перебирая левой жалкие вещички. Воспоминания, видимо, тысячами мечей пронзали ее. И я понял, что война никогда не кончится, никогда, пока где-нибудь на земле еще кровоточит нанесенная ею рана.

Как смехотворную ношу, я сбросил с себя все — брезгливость, страх и безнадежность, и положил руку на содрогавшееся пышное плечо, и когда женщина удивленно подняла на меня глаза, я впервые уловил в ее лице сходство с той красивой, милой девушкой, чью фотографию, вероятно, сотни раз разглядывал... там...

— Где это случилось... садитесь же... на востоке? — Я видел, что она сейчас опять разразится слезами.

— Нет... на западе, в плену... нас было свыше ста тысяч...

— А когда? — Ее глаза вдруг странно ожили, взгляд стал напряженным, настороженным, и все лицо разгладилось и помолодело, как будто жизнь ее зависела от моего ответа.

— В июле сорок пятого, — тихо сказал я.

Некоторое время она словно что-то соображала и вдруг улыбнулась, и улыбка эта была чистой и невинной, и я догадался, почему она улыбнулась.

Мне показалось, что дом сейчас рухнет и погребет меня под своими обломками. Я встал. Ни слова не говоря, она открыла дверь, жестом приглашая меня выйти первым, но я упрямо ждал, пока она не прошла вперед. Протягивая мне маленькую пухлую руку, женщина сказала, судорожно всхлипнув:

— Я это знала, знала уже тогда, три года назад, когда провожала его на вокзал! — И, понизив голос, тихо добавила: — Не презирайте меня.

Я был потрясен: боже мой, неужели я похож на судью? И прежде чем она могла помешать этому, я поцеловал ее маленькую, мягкую руку — в первый раз в жизни поцеловал руку женщине.

Уже стемнело, и я, точно скованный страхом, с минуту еще постоял перед запертой дверью. Я слышал, как женщина плачет громко и исступленно, она прильнула к двери, и только толщина дверной доски отделяла ее от меня, и в этот миг я действительно пожелал, чтобы дом рухнул и похоронил ее под собой.

Потом я медленно, ощупью, с надсадной осторожностью добирался до вокзала, каждое мгновенье боясь провалиться в пропасть. В мертвых домах светились тусклые огоньки, и казалось, что поселок теперь намного, намного больше. Даже за черной стеной горели слабые лампочки, как будто освещая бесконечно большие дворы. Тяжелая тьма сгустилась, сырая, туманная и непроницаемая.

Кроме меня, в зале ожидания, где гуляли сквозняки, сидела, зябко забившись в угол, пожилая супружеская чета. Я долго ждал, засунув руки в карманы и нахлобучив фуражку на уши: от рельс тянуло холодом, и ночь спускалась все ниже и ниже, как гигантская гиря.

— Чуть побольше бы хлеба да табаку, — пробормотал у меня за спиной старик. А я то и дело нагибался и снизу глядел на рельсы, на две параллельные полосы, бегущие под неяркими огнями вдаль, все сужаясь и сужаясь.

Но вот рывком распахнулась дверь, и человек в красной фуражке, воплощенное служебное рвение, прокричал, как в зале ожидания большого вокзала:

— Пассажирский поезд на Кёльн. Опоздание — один час тридцать пять минут!

Мне показалось вдруг, что я на всю жизнь попал в плен.

СМЕРТЬ ЛОЭНГРИНА

Вверх по лестнице носилки несли несколько медленнее. Санитары злились: прошел уже час, как они заступили на дежурство, а им еще и по сигаретке на чай не перепало; и потом один из них был водителем машины, а водителю не положено таскать носилки. Но в больнице, видно, некого было послать на подмогу санитару — что же было делать с мальчишкой? Не оставлять же его в машине; кроме того, было еще два срочных вызова: воспаление легких и самоубийство (самоубийцу в последнюю минуту успели вынуть из петли). Санитары злились и вдруг опять понесли носилки быстрее. Коридор был слабо освещен, и пахло, естественно, больницей.

— И зачем только его вынули из петли? — пробормотал санитар, который шел сзади; он имел, конечно, в виду самоубийцу.

— Правда, зачем они это сделали? — прогудел в ответ санитар, шедший впереди. — Непонятно!

При этом он обернулся назад и сильно ударился о дверь. Тот, кто лежал на носилках, очнулся и стал испускать пронзительные, страшные крики; это были крики ребенка.

— Тише, тише, — сказал врач, молодой блондин с нервным лицом. Он посмотрел на часы: уже восемь, по сути дела его должны были давно сменить. Он уже больше часа ждал доктора Ломайера, но возможно, что Ломайера арестовали; нынче каждого в любую минуту могут схватить. Молодой врач, машинально теребя свой стетоскоп, все время пристально смотрел на мальчика, лежавшего на носилках; лишь теперь взгляд его упал на санитаров, которые стояли в дверях и нетерпеливо ждали чего-то. Врач раздраженно спросил:

— Что такое, чего вы еще ждете?

— Носилок, — сказал водитель машины, — может, мальчика переложить? Нам нельзя задерживаться.

— Ах да, конечно! — Врач показал на кожаную кушетку. Вошла ночная сестра. У нее было равнодушное, но серьезное лицо. Она взяла мальчика за плечи, один из санитаров — не водитель — взял его просто за ноги. Ребенок опять отчаянно закричал, и врач принялся его торопливо уговаривать:

— Замолчи, ну тише, тише же, не так-то уж больно...

Санитары все не уходили. В ответ на раздраженный взгляд врача тот же санитар сказал:

— Одеяла ждем. — Оно вовсе не принадлежало ему, одеяло дала какая-то женщина, свидетельница несчастного случая, нельзя же было везти мальчика в больницу в таком страшном виде, с раздробленными ногами. Но санитар полагал, что больница оставит одеяло у себя, а в больнице и так сколько угодно одеял, той женщине его все равно не вернут, и мальчугану оно тоже не принадлежит, значит он отберет его только у больницы, где одеял предостаточно. Жена приведет одеяло в порядок, а за него по нынешним временам можно выручить кучу денег.

Ребенок непрерывно кричал. Врач вместе с сестрой снял с его ног одеяло и быстро отдал водителю. Врач и сестра переглянулись. Вид мальчика был ужасен: вся нижняя половина тела плавала в крови, короткие холщевые штанишки были изодраны в клочья, и клочья эти перемешались с кровью в одну страшную массу. Мальчик был бос. Он кричал непрерывно, с невыносимым упорством, все время на одной ноте.

— Живо, сестра, готовьте шприц, живо, живо! — тихо сказал врач. Сестра работала очень ловко и расторопно, но врач все повторял шепотом: «Скорей, скорей!» — губы на его нервном лице непрерывно двигались. Ребенок ни на мгновенье не умолкал, но сестра просто не могла приготовить шприц быстрее.

Врач пощупал пульс мальчугана, и бледное усталое лицо его передернулось.

— Тише, тише, — шептал врач вне себя. — Замолчи же, — умолял он ребенка, но тот кричал так, будто родился на свет только за тем, чтобы кричать. Наконец сестра подала шприц, и врач быстро и искусно сделал укол.

Когда он со вздохом вытащил иглу из опрубевшей, точно дубленой кожи мальчика, дверь открылась и в комнату быстрой и взволнованной походкой вошла сестра милосердия — монашка. Она хотела что-то сказать, но, увидев изувеченного мальчика и врача, сжала губы и медленно, неслышно приблизилась, ласково кивнула врачу и сестре и положила руку

на лоб мальчугана. Тот с удивлением высоко закатил глаза и увидел у себя в изголовье черную фигуру. Казалось, что его успокаивает прохладная рука, лежащая на лбу, но это уже подействовал укол. Держа шприц в руке, врач опять вздохнул: стало тихо, так тихо, что каждый слышал собственное дыхание. Никто не произнес ни слова.

Ребенок, очевидно, не чувствовал теперь никакой боли, он спокойно и с любопытством смотрел по сторонам.

— Сколько? — тихо спросил врач у ночной сестры.

— Десять, — ответила она так же тихо.

Врач пожал плечами.

— Многовато, но посмотрим. Вы поможете нам немного, сестра?

— Конечно, — с готовностью сказала монашка, словно очнувшись от глубокого раздумья. Было очень тихо. Сестра-монашка держала голову и плечи мальчугана, ночная сестра — ноги, и они принялись извлекать пропитанные кровью лоскутья. Теперь все увидели, что кровь смешалась с чем-то черным, все было черное, ступни мальчика покрывала черная угольная пыль и руки тоже, всюду были лишь кровь, клочья одежды и угольная пыль, густая, маслянистая угольная пыль.

— Ясно, — проговорил врач, — крал уголь и на ходу сорвался с поезда, так, что ли?

— Да, так,— надломленным голосом сказал мальчуган.— Ясно.

Он совсем пришел в себя, и в глазах его светилось необычайное счастье. Укол, по-видимому, оказал чудесное действие. Сестра закатала на мальчике рубашку под самый подбородок. Туловище ребенка поражало своей худобой, оно было сверхъестественно тощим, как у старой гусыни. В ямках у ключиц пряталась странная темная тень, они были так велики, что в них легко уместилась бы широкая белая рука монашки. Теперь все увидели ноги мальчугана, очень тонкие и стройные, вернее, то, что осталось от них. Врач кивнул женщинам и сказал:

— Возможен двусторонний перелом, нужен рентген.

Мягкой салфеткой, смоченной в спирте, ночная сестра обмыла ноги мальчика, и теперь казалось, что все не так страшно. Мальчуган был невыносимо худ. Накладывая повязку, врач все время качал головой. Мысли о Ломайере опять не давали ему покоя: может, он все-таки попался, и если даже не проболтается, все же чертовски неприятно, что Ломайер сядет из-за строфантина, а он тут будет спокойно расхаживать на свободе — тогда как, не случись этого, они разделили бы выручку. Черт возьми, теперь не меньше половины девятого, и кругом такая зловещая тишина, с улицы не доносится ни звука. Он кончил перевязку, монашка спустила на мальчугане рубашонку и натянула ее на бедра. Потом подошла к шкафу, вынула белое одеяло и укрыла малыша.

Снова положив ладонь ему на голову, она сказала врачу, который мыл руки:

— Я зашла к вам по поводу маленькой Шранц, доктор. Я только не хотела вас беспокоить, пока вы возились с мальчуганом.

Врач застыл с полотенцем в руках, лицо его вытянулось, и сигарета, прилипшая к нижней губе, слегка задрожала.

— Что с ней, — спросил он, — что с маленькой Шранц?

Бледность на его лице приняла желтоватый оттенок.

— Сердечко девочки отказывается работать, попросту отказывается, дело, видно, идет к концу.

Врач вынул сигарету изо рта и повесил полотенце на гвоздь рядом с умывальником.

— О, черт! — беспомощно воскликнул он. — Чем я могу тут помочь, я же ничего не могу сделать!

Рука монашки все еще лежала на лбу мальчика. Ночная сестра опускала окровавленные тряпки в ведро, и его никелевая крышка отбрасывала на стену дрожащие блики.

Врач задумчиво уставился в пол. Вдруг он поднял голову, посмотрел на мальчика и бросился к двери:

— Взгляну, что с ней.

— Я вам не нужна? — сказала сестра ему вдогонку.

Он оглянулся.

— Нет, оставайтесь здесь, подготовьте мальчугана к рентгену и, если удастся, заведите на него историю болезни.

Мальчик лежал все еще тихо, и ночная сестра тоже подошла к кушетке.

— Мама знает, куда ты пошел? — спросила монашка.

— Она умерла.

Об отце сестра не решилась спросить.

— Кого надо известить?

— Старшего брата, но его нет дома. А малышам надо бы сказать, они там совсем одни теперь.

— Какие малыши?

— Ганс и Адольф, они ждут меня, ждут, когда я приду и сварю им обед.

— А где же работает твой старший брат?

Мальчик молчал, и монашка не повторила вопроса.

— Будете записывать?

Ночная сестра кивнула и подошла к белому столику, заставленному медикаментами и пробирками. Она пододвинула к себе чернильницу и левой рукой разгладила белый лист бумаги.

— Как твоя фамилия? — спросила монашка.

— Беккер.

— Вероисповедание?

— Никакого. Я не крещен.

Монашка вздрогнула, лицо ночной сестры оставалось безучастным.

— Ты когда родился?

— В тридцать третьем... десятого сентября.

— Учишься в школе?

— Да.

— Спросите имя, — подсказала ночная сестра.

— А как тебя звать?

— Грини.

— Как? — женщины улыбаясь переглянулись.

— Грини, — медленно повторил мальчик с чувством досады, какое испытывают обладатели необычных имен, когда приходится называть себя.

— «И» на конце? — спросила сестра.

— Да.— И он повторил: — Гри-ни.

Его звали, собственно, Лоэнгрин, он родился в 1933 году, в дни, когда даже на Вагнеровских торжествах в Байрёйте, во всех выпусках кинохроники уже показывали портреты Гитлера. Но мать всегда называла сынишку Грини.

Вдруг в комнату вбежал врач, от страшного переутомления глаза у него были, как у пьяного; тонкие светлые волосы свисали на молодое, но уже морщинистое лицо.

— Идемте скорее, скорее, обе. Хочу попробовать еще раз сделать переливание крови.

Сестра-монашка указала взглядом на мальчика.

— Да, да,— крикнул врач,— на несколько минут его смело можно оставить одного.

Ночная сестра уже стояла на пороге.

— Ты полежишь спокойно, Грини? — спросила монашка.

— Да, — сказал мальчуган.

Но как только все вышли, у него брызнули слезы из глаз. До этой минуты их как будто сдерживала рука монашки, лежавшая на его лбу. Он плакал не от боли, он плакал от счастья. Но все-таки и от боли тоже, и от страха. От боли он плакал только когда думал о малышах, и он старался не думать о них, потому что хотел плакать от счастья. Никогда в жизни он еще себя не чувствовал так хорошо, как сейчас, после укола. По жилам его словно текло чудесное, теплое молоко, от него немножко кружилась голова, и в то же время голова была очень ясная и во рту невозможно приятный вкус, такой приятный, какого Грини никогда в жизни не знал; но он не мог не думать о малышах. Губерт раньше завтрашнего утра не придет, отец вернется только через три недели, а мама... малыши теперь совсем одни, и он знал наверняка, что они прислушиваются ко всем шагам, к малейшим звукам на лестнице, а на лестнице такое невыносимое множество разных звуков и такое невыносимое множество разочарований для малышей. Мало надежды, что фрау Гроссман позаботится о них: ей это никогда не приходило в голову, почему же вдруг сегодня придет? Она никогда не вспоминала о них, не могла же она знать, что он... что с ним случилось несчастье. Ганс, наверное, будет успокаивать Адольфа, но Ганс сам такой слабенький и плачет по каждому пустяку. Может, Адольф будет уговаривать Ганса, но ведь Адольфу только пять лет, а Гансу восемь, все-таки, наверное, Ганс будет уговаривать Адольфа. Но Ганс ужасно слабенький, а Адольф покрепче. Скорее всего, они оба будут плакать, потому что, когда время близится к семи, им уж никакая игра не в игру, они хотят есть и знают, что он придет в половине восьмого и накормит их. И они не решатся сами взять себе хлеба; они на это никогда теперь не отважатся, он им строго-настрого запретил это однажды, когда они съели сразу весь недельный паек; они могли бы взять картофель, но они этого не сделают. Почему только он им не сказал, что они сами могут взять картофель? Ганс уже очень хорошо умеет варить картошку, но они не решатся это сделать, он их чересчур строго наказал, ему даже пришлось побить их, но ведь нельзя, чтобы они съедали сразу весь хлеб; конечно, нельзя, но теперь он был бы рад, если бы никогда их не наказывал, они бы сами взяли себе хлеба и по крайней мере не были бы голодны. А так, они сидят там и ждут, и при каждом шорохе на лестнице обрадованно вскакивают и прижимаются своими бледными мордочками к щели в дверях... Сколько раз, наверное, тысячу раз, он заставал их так. И он всегда первым делом видел их лица и такие радостные! Даже после того, как он наказал своих малышей, они все-равно радовались, когда он приходил; они все понимали... А сейчас каждый шорох приносит им разочарование, и наверное им очень страшно. Гансу достаточно издали увидеть полицейского, и он уже начинает дрожать; может, они будут плакать так громко, что фрау Гроссман заругается, она любит, чтобы вечером было тихо, а они, может, все-таки будут плакать еще сильнее, и фрау Гроссман заглянет к ним, чтобы узнать, почему они плачут, и пожалеет их; она совсем не такая уж плохая, эта Гроссманша. Но сам Ганс никогда не пойдет к фрау Гроссман, он ее ужасно боится, Ганс всех боится...

Хоть бы они взяли картофель!

С той минуты, как он думал о малышах, он плакал только от боли. Он попробовал заслонить глаза рукой, чтобы не видеть малышей, но почувствовал, что рука становится мокрой, и заплакал еще сильнее. Он попытался представить себе, который час. Уже, наверное, девять, а то и де-

сять, и это ужасно. Он никогда не приходил домой позднее половины восьмого, но в поезде сегодня была усиленная охрана, и пришлось зорко следить, чтобы не попасться — люксембуржцы большие охотники пострелять. Им, верно, на войне не удалось как следует пострелять, а они так любят стрелять, но его им не поймать, никогда, они ни разу его не поймали, он всегда удирал у них прямо из-под носа. Боже мой, как раз антрацит, антрацит он никак не мог пропустить. Антрацит! За антрацит, ни слова не говоря, платят от семидесяти до восьмидесяти марок, мог ли он упустить такой случай! Но люксембуржцы его ни разу не поймали, он от русских убегал, и от янки, и от томми, и от бельгийцев, так неужели же его схватят люксембуржцы, эти потешные люксембуржцы? Он прошмыгнул мимо них, вскочил на ящик, наполнил мешок и сбросил его, а за ним еще пошвырял на землю сколько мог. Но вдруг, тш-ш-ш... и поезд разом остановился, и он помнит только, что было невыносимо больно, а дальше он уже ничего не помнит, проснулся он у какой-то белой двери и увидел белую комнату, где он теперь лежит. А потом ему сделали укол. Теперь он заплакал от счастья. Малышей он уже не видел, счастье было чем-то непередаваемо чудесным, он еще никогда не испытывал его; слезы как будто и были этим самым счастьем, они лились и лились и все-таки в груди не становилось меньше счастья, это был мерцающий, сладостный вертящийся комок, необыкновенный комок; он изливался слезами и не становился меньше...

Вдруг он услышал стрельбу из автоматов, это стреляли люксембуржцы, и выстрелы так страшно грохотали в свежем воздухе весеннего вечера; пахло полем, паровозным дымом, углем и немножко настоящей весной. Два орудия палили в небо, точно лаяли, а небо было теперь совсем густосерое, и эхо тысячекратно повторяло выстрелы, и грудь покалывало, точно ее кололи иголкой; этим проклятым люксембуржцам не поймать его, им не застрелить его, нет! Уголь, на котором он теперь плашмя лежит, твердый и колючий, это ведь антрацит, а за центнер антрацита дают восемьдесят, а то и восемьдесят пять марок. А не купить ли малышам хоть разок шоколаду? Нет, на шоколад не хватит, шоколад стоит сорок, сорок пять марок; так много истратить он не может; боже мой, целый центнер угля отдать за две плитки шоколада; а люксембуржцы, бешеные псы, опять стреляют, и ноги у него застыли и болят от колючего антрацита, у него ноги совсем черные и грязные, он это чувствует. Выстрелы пробивают небо и оставляют в нем огромные дыры, но небо-то люксембуржцы не в силах застрелить? Неужели они могут и небо застрелить насмерть?

А может, надо было сказать сестре, где отец, и куда Губерт ходит по ночам? Но сестры не спросили, а если не спрашивают, говорить не надо. В школе ему всегда это внушали... ах, черт, люксембуржцы... и малыши... пусть эти люксембуржцы перестанут стрелять, ему нужно бежать к малышам... они, наверное, спятили, эти люксембуржцы, форменным образом спятили... Черт возьми, он ни за что не скажет этого сестре, нет, он не скажет, где его отец и куда ходит по ночам брат, а может, малыши все же возьмут себе хлеба... или картофеля, а может, фрау Гроссман заметит, что не все ладно, да и правда неладно; удивительное дело, почему-то всегда что-нибудь неладно. И господин директор будет ругаться. От укола так хорошо стало, сперва он почувствовал, как что-то кольнуло, но потом вдруг пришло счастье. Та бледная сестра набрала полный шприц счастья, и он отлично слышал, что она набрала туда чересчур много счастья, чересчур много, он вовсе не так глуп. Грини пишется с двумя «и»... нет, она умерла... нет-нет, без вести пропала. Счастье — чудесная штука, он когда-нибудь купит малышам полный шприц счастья, купить ведь все можно... Хлеб... целые горы хлеба...

Ах черт, конечно, с двумя «и», да разве они тут не знают самые лучшие немецкие имена?

— Нет,— крикнул он вдруг,— я не крещен!

А может, мама вовсе жива. Нет-нет, люксембуржцы застрелили ее, нет, русские... нет, кто знает, может, нацисты ее расстреляли, она так ужасно ругала их... нет, американцы... ах, малыши спокойно могут съесть хлеб... он купит им гору хлеба... целый товарный вагон хлеба... или антрацита; и непременно счастья в шприце.

— С двумя «и», черт бы вас побрал!

Сестра милосердия подбежала к нему, тотчас схватила руку, нащупала пульс и с тревогой огляделась. Боже мой, не позвать ли врача? Но нельзя же оставить мальчугана в бреду одного. Маленькая Шранц умерла, маленькая девочка с русским лицом уже в лучшем мире, слава богу. Где же врач, куда он запропастился... Она бегала вокруг кушетки...

— Нет,— кричал мальчик,— я не крещен...

Пульс его, казалось, вот-вот оборвется. У монашки выступил пот на лбу.

— Доктор,— крикнула она,— доктор! — Но она знала, что ни один звук не проникает сквозь обитую войлоком дверь...

Мальчик душераздирающе плакал:

— Хлеб... целую гору хлеба для малышей... Шоколада... Антрацит, люксембуржцы свиньи, пусть они не стреляют. Ах, черт, картофель, можете спокойно взять картофель... возьмите же картофель! Фрау Гроссман... мама... папа... Губерт... через дверную щелку, через дверную щелку...

Монашка плакала от страха, она не решалась отойти, мальчик начал метаться, и она крепко держала его за плечи. Проклятая кушетка, такая скользкая. Маленькая Шранц умерла, ее душа сейчас на небе. Боже, прости ее, прости... она ведь невинна, маленький ангелочек, маленький некрасивый русский ангелочек... но теперь она прекрасна...

— Нет,— крикнул мальчуган, сильно размахивая руками,— я не крещен!

Монашка испуганно вскинула глаза. Она подбежала к умывальнику, стараясь ни на секунду не выпускать мальчика из виду, не нашла стакана, побежала обратно, погладила горячий лоб ребенка. Потом бросилась к белому столику и схватила какую-то пробирку. Пробирка в один миг доверху наполнилась водой! Бог ты мой, как мало воды входит в такую пробирку...

— Счастье,— шептал мальчик,— наберите мне счастья в шприц, все, что у вас есть, и для малышей тоже...

Монашка торжественно, очень медленно перекрестилась, вылила воду из пробирки на лоб мальчику и, плача, проговорила:

— Я совершаю над тобой обряд крещения...,— но мальчик, очнувшись от холодной воды, так порывисто поднял голову, что стеклянная пробирка выпала из рук сестры на пол и разбилась вдребезги. Мальчик посмотрел на испуганную сестру, слабо усмехнулся и чуть слышно сказал:

— Крещения... да...,— и так внезапно рухнул навзничь, что голова его с глухим стуком упала на кушетку, и теперь, когда он лежал неподвижно, с судорожно растопыренными, как бы что-то хватающими пальцами, лицо его было узеньким и старым, до ужаса желтым...

— Рентген сделали? — обрадованным голосом крикнул врач, входя с доктором Ломайером в комнату. Сестра только покачала головой. Врач подошел к кушетке, машинально взялся за трубку, тут же выпустил ее из рук и взглянул на Ломайера. Ломайер снял шляпу. Лоэнгрин был мертв...

МОЕ ГРУСТНОЕ ЛИЦО

Когда я стоял в порту и смотрел на чаек, мое грустное лицо привлекло внимание постового полицейского, дежурившего в этом квартале. Я весь ушел в созерцание птиц, они то взмывали в воздух, то камнем падали вниз в тщетных поисках пищи. В порту было пусто, в густой, как бы покрытой пленкой, грязной от нефти зеленоватой воде плавали всякие отбросы; не было видно ни одного парохода, подъемные краны заржавели, складские помещения пришли в упадок; даже крысы, по-видимому, не водились в черных развалинах порта, тихо было вокруг. Много лет уже, как прекратилась всякая связь с внешним миром.

Я выбрал одну чайку и стал следить за ее полетом. Боязливая, словно ласточка, чующая грозу, она чаще всего держалась низко над водой и лишь изредка с криком отваживалась взлететь ввысь, чтобы присоединиться к своим товаркам. Если бы мне предложили загадать желание, то в эту минуту я пожелал бы только хлеба, я скормил бы его чайкам, я бросал бы крошки и белыми точками определял направление беспорядочных полетов птиц, сообщая им цель. Мне хотелось, бросая кусочки хлеба, разрушать пронзительно-стонущее сплетение беспорядочных полетов, вторгаться в него, как в пучок нитей, которые расчесываешь. Но я был голоден, как эти птицы, очень утомлен и все же счастлив, несмотря на свою грусть: хорошо было стоять здесь, засунув руки в карманы, смотреть на чаек и упиваться грустью.

Вдруг на плечо мне легла начальственная рука, и я услышал:

— Следуйте за мной! — дергая за плечо, рука пыталась повернуть меня. Не оборачиваясь, я сбросил ее и спокойно сказал:

— Вы не в своем уме.

— Соплеменник, — произнес этот, все еще невидимый, человек, — предупреждаю вас.

— Послушайте, господин...— откликнулся я.

— Какой еще господин?! — воскликнул он гневно.— Мы все соплеменники. — Он встал рядом со мной, осмотрел меня сбоку, и я вынужден был отвести свой блуждающий по небу счастливый взор и погрузить его в добродетельные очи полицейского; он был серьезен, как буйвол, десятки лет не вкушавший ничего, кроме служебного долга.

— На каком основании...— начал было я.

— Оснований достаточно, — сказал он. — Ваше грустное лицо.

Я рассмеялся.

— Ничего смешного здесь нет! — Его гнев был неподделен. Сначала я подумал, что он затеял все это со скуки, так как ему не попались на глаза ни одна незарегистрированная проститутка, ни один подвыпивший моряк, или вор, или дезертир, которых можно было бы задержать; но теперь я убедился, что он не шутит, он в самом деле намерен арестовать меня.

— Следуйте за мной!..

— Но почему? — спокойно спросил я.

Не успел я опомниться, как кисть моей левой руки обхватила тонкая цепочка, и в тот же миг я понял, что погиб. В последний раз я повернулся к парящим чайкам, взглянул в прекрасное серое небо и попытался внезапным движением вырваться и броситься в воду, — мне казалось, что лучше самому утопиться в этой грязной жиже, чем быть удушенным где-нибудь на заднем дворе руками наемных палачей или снова оказать-

ся брошенным за решетку. Но полицейский, сильно дернув цепочку, так близко подтянул меня к себе, что о побеге нечего было и думать.

— За что же все-таки? — еще раз спросил я.

— Есть закон, по которому все обязаны быть счастливыми.

— Я счастлив! — воскликнул я.

— А ваше грустное лицо... — он покачал головой.

— Но ведь это новый закон,— сказал я.

— С момента его опубликования прошло уже тридцать шесть часов, а вам должно быть известно, что закон вступает в силу через двадцать четыре часа после его опубликования.

— Но я не знаю такого закона.

— Незнание закона не избавляет от наказания. Он был объявлен через все громкоговорители, напечатан во всех газетах, а для тех, кто не пользуется такими благами цивилизации, как печать и радио, — тут он окинул меня взглядом, полным презрения, — по всей империи были разбросаны листовки. Поэтому нам придется еще выяснить, где вы провели последние тридцать шесть часов.

Он потащил меня дальше. Только теперь я почувствовал, что холодно, а пальто у меня нет, только теперь услышал, как у меня в желудке урчит от голода, только теперь вспомнил, что я неумыт, оброс щетиной, оборван и что существуют законы, по которым все соплеменники должны быть чисто вымыты, выбриты, счастливы и сыты. Полицейский толкал меня перед собой точно пугало, изобличенное в краже и потому вынужденное покинуть места своих грез на полях и огородах. Улицы были безлюдны, до полицейского участка было недалеко, и хотя я не сомневался, что меня лишат свободы, что повод для этого будет немедленно найден, мне все же слегка взгрустнулось, ибо полицейский вел меня по местам моей юности, где я собирался побродить после того, как побываю в порту: побродить по садам с густым, живописно растрепанным кустарником, по заросшим травой дорогам; увы! — все это теперь было разделано, подстрижено, разбито на четырехугольники, приспособлено для военных учений всякого рода союзов верноподданных, обязанных проводить учения по понедельникам, средам и субботам. Лишь небо да воздух оставались такими же, как раньше, в те дни, когда сердце еще полно было грез.

По дороге я заметил, что на некоторых казармах, предназначенных для любовных утех, вывешена официальная эмблема — напоминание тем, кому в среду пришла очередь приобщиться к гигиеническим радостям; кое-каким кабакам было, очевидно, также присвоено право вывешивать эмблему выпивки, штампованную жестяную кружку, выкрашенную тремя поперечными полосами в государственные цвета: светло-коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый. Радость, несомненно, царила в сердцах тех соплеменников, кто значился в официальном списке, приобщаемых в этот день к пивной благодати.

Лица прохожих, попадавшихся нам навстречу, явственно выражали исключительное усердие, от них исходили тончайшие волны рвения, усиливавшиеся при виде полицейского; люди ускоряли шаги, на их лицах было выражение исполненного долга, а женщины, выходившие из магазинов, старались смотреть на мир, как им и полагалось, сияющими от счастья глазами: закон повелевал женщине проявлять радость, веселье и бодрость уже по одному тому, что она хозяйка дома, призванная хорошим обедом восстанавливать по вечерам силы государственного работника.

Но все эти люди ловко уклонялись от непосредственной встречи с нами; всякое проявление жизни на улице исчезало за двадцать шагов от нас, каждый норовил быстро шмыгнуть в первый попавшийся мага-

зин или свернуть за угол, а некоторые забегали даже в незнакомые дома и, стоя за дверью, боязливо выжидали, пока замрет звук наших шагов.

Только однажды, как раз в ту минуту, когда мы пересекали перекресток, нам повстречался пожилой человек, на груди которого я сразу заметил значок школьного учителя; старик никак не мог уклониться от этой встречи, и ему поневоле пришлось выполнить свой долг; прежде всего он по всем правилам приветствовал полицейского, в знак полного смирения трижды хлопнув себя ладонью по голове; затем он трижды плюнул мне в лицо и обозвал обязательным в таких случаях ругательством: «Грязный изменник!» Он метко целился, но, видно, ему было жарко, и у него пересохло во рту, так что до меня долетело лишь несколько жалких, почти невесомых брызг, которые я, вопреки закону, невольно вытер рукавом, за что полицейский пнул меня ногой в зад и ударил кулаком между лопаток, пояснив спокойным голосом: «Первая степень»,— что означало — первая, наиболее мягкая мера наказания, применяемая любым полицейским чином.

Учитель поспешно унес ноги. Всем прочим удавалось вовремя свернуть в сторону; только одна женщина, совершавшая обязательную предвечернюю прогулку возле казармы для любовных утех, бледная, одутловатая блондинка, послала мне мимоходом воздушный поцелуй, и я благодарно улыбнулся в ответ; полицейский же постарался сделать вид, что ничего не заметил. Полиции не возбранялось разрешать этому сорту женщин вольности, за которые всякому другому пришлось бы дорого заплатить. Пресловутый закон их не касался, они больше чем кто .бы то ни было содействовали подъему трудоспособности государственных работников: впрочем, эту льготу трижды доктор государственной философии Блейгет заклеймил в официальном журнале по вопросам общеобязательной философии, как признак зарождающегося либерализма. Я прочел об этом накануне, по дороге в столицу, обнаружив несколько газетных листков в нужнике на одном крестьянском дворе. Какой-то студент — возможно, сын этого самого крестьянина, снабдил рассуждения трижды доктора философии весьма глубокомысленными комментариями на полях.

К счастью, мы уже дошли до полицейского участка, когда завыли сирены, а это означало, что через несколько минут улицы наводнят тысячи людей, с лицами, сияющими тихим счастьем (именно тихим, так как бурное выражение счастья по окончании рабочего дня означало бы, что работа была в тягость; ликование же, песни и ликование должны были сопровождать начало рабочего дня), — и всем этим тысячам пришлось бы плевать в меня. Так или иначе, но вой сирены означал, что до окончания рабочего дня осталось десять минут; все работники обязаны были эти десять минут основательно мыться, согласно девизу нынешнего верховного правителя: «Счастье и мыло».

Дверь в здание полицейского участка, попросту говоря, в бетонную глыбу, охранялась двумя часовыми, и когда я проходил, они применили ко мне положенную «меру телесного наказания», сильно ударили шашками по голове и дулами пистолетов по ключицам,— согласно преамбуле государственного закона № 1, гласившей: «Каждый полицейский чин обязан оставить на теле схваченного (так они именуют арестованного) документальный след своей власти; исключение составляет лишь тот, кто схватил преступника, ибо сему полицейскому предоставлена счастливая возможность применить необходимые меры телесного наказания во время допроса». Самый государственный закон № 1 гласил: «Каждый полицейский чин м о ж е т и д о л ж е н собственноручно наказывать любого,

кто в чем-либо провинится перед законом. Не обязательна очередность в осуществлении наказаний. Существует только возможность такой очередности».

Мы прошли по длинному коридору с голыми стенами и множеством больших окон, и перед нами автоматически открылась дверь: часовые, стоявшие у входа, уже сообщили о нашем прибытии; так как в те дни все были счастливы, законопослушны, аккуратны, и каждый старался вымылить предписанные полкилограмма мыла в день, то появление схваченного (арестованного) было событием.

В полупустой комнате, куда мы вошли, находился лишь письменный стол с телефоном на нем да два кресла; я должен был стоять посреди комнаты; полицейский снял шлем и сел.

Сначала царило молчание и ничего не происходило; так всегда делается, и это самое скверное; я чувствовал, как лицо мое с каждой минутой становится все несчастней, я устал и был голоден, теперь исчезли и последние следы моего грустного счастья — я знал, что гибну.

Через несколько секунд молча вошел долговязый бледный человек в светло-коричневой форме младшего следователя; также не говоря ни слова, он сел и окинул меня взглядом.

— Профессия?

— Рядовой соплеменник.

— Родился?

— Первого, первого... двадцать первого года,— сказал я.

— Занятие?

— Заключенный.

Следователь переглянулся с полицейским.

— Когда и где выпущен?

— Вчера, корпус 12, камера 13.

— Куда направлен?

— В столицу.

— Документ.

Я достал из кармана свидетельство об освобождении и передал его следователю. Он подколол его к зеленой карточке, на которой записывал мои показания.

— За что осужден?

— За счастливое лицо.

Следователь и полицейский переглянулись.

— Точнее! — сказал следователь.

— Мое счастливое лицо привлекло внимание полицейского в день объявления всеобщего траура: то была годовщина смерти верховного правителя.

— Срок?

— Пять.

— Поведение?

— Плохое.

— Точнее!

— Уклонение от трудовых обязанностей.

— Допрос окончен.

Младший следователь встал, подошел ко мне и одним ударом выбил три передних зуба в знак того, что я как неисправимый должен быть особо заклеймен. Это была усиленная мера наказания, на которую я не рассчитывал. Осуществив ее, младший следователь вышел из комнаты, и на смену ему вошел толстый детина в темно-коричневой форме: следователь.

Все они меня били: следователь, старший следователь, главный следователь, судья и главный судья, а в промежутках полицейский при-

менял все телесные наказания, предписанные законом. За мое грустное лицо они приговорили меня к десяти годам, точно так же, как в прошлый раз приговорили к пяти годам за мое счастливое лицо.

Впредь, если мне удастся пережить ближайшее десятилетие в условиях всеобщего счастья и мыльной благодати, я уж постараюсь не иметь никакого лица...

КАРЛИК И КУКЛА

Маршруты нам заранее предписаны. Каждое утро мы, отряд из шести агентов, собирающих сведения для статистического бюро, выезжаем из города в различных направлениях. Была еще ночь, когда я в Кёльне сел в поезд. Собор показался мне слишком расчлененным, расчлененным и разбросанным, и словно какая-то невеселая игра была в том, что на остановке в Дойце, где никто не сел и никто не сошел, кондуктор, начальник станции и машинист все-таки обменялись сигналами: они поднимали фонари, выкрикивали что-то, давали свистки, пока паровозный шатун не задвигался вновь.

Только проехав Мюльгейм, я увидел, как за горами, к востоку от Кёльна, начинает светать; какой-то шпиль, внезапно освещенный брызнувшим лучом солнца, резко выступил из полумрака; было только шесть часов.

Мы старались проводить обследования, прибегая к самым разнообразным приемам, отметали все формальное, всяческие анкеты. Записная книжка и карандаш, да еще план, которым мы обязаны были руководствоваться,— вот и все, чем мы располагали. Новейшая идея шефа заключалась в том, чтобы посещать людей как можно раньше, заставать их, так сказать, «в обстановке повседневности», что было неблагодарной и довольно тяжкой задачей.

Вот почему мне очень скоро пришлось застегнуть шинель и потянуться за фуражкой — на перроне чей-то голос выкрикнул: «Опладен! Опладен!»

От вокзала до красного кирпичного домика, адрес которого значился в моем списке, было около десяти минут ходу.

Я нажал кнопку звонка и стал ждать. Я ждал долго. В домике все было тихо. По улице мимо меня проходили люди, я ловил на себе странные взгляды, но внутри домика не раздавалось ни звука, и пожелтевшая гардина на окне не шевельнулась: только фарфоровый карлик с гармонью на коленях сидел между стеклом и гардиной и тупыми пальчиками словно подбирал какую-то мелодию, а она ему не давалась. Он неопределенно ухмылялся в пространство, и только присмотревшись, я увидел, что сидит он на пепельнице и в его шапке торчит сигарета.

Я вторично позвонил, но тут ко мне подошла женщина с молочным бидоном, та самая, которая только что прошла мимо. У женщины было усталое лицо.

— Кто вам нужен?

— Мейкснер,— сказал я.

Она покачала головой:

— Да ведь он умер.

— А жена его?

— В больнице.

Качая головой, она пошла прочь, но, сделав несколько шагов, оглянулась, так как я все еще стоял и смотрел в лицо карлика. Наконец я отвел глаза и медленно побрел к вокзалу. В таких случаях мы не имеем права проявлять инициативу и идти по неуказанным адресам. Мертвый остается мертвым, и против его фамилии в определенной графе списка ставится определенный значок.

Я сел в поезд на Дюссельдорф, осторожно вывел крестик против фамилии адресата в Опладене и развернул газету, но вместо строчек видел перед собой безнадежное фарфоровое личико карлика, и усмешка его мне казалась не случайной.

В Дюссельдорфе я быстро покинул здание вокзала. Ошибки в нашей работе почти исключены. Нам указываются даже номера трамваев, доставляющих нас на место. Я вскочил в трамвай, сунул кондуктору монету и через десять минут сошел у табачной лавчонки. Когда я открыл дверь, из-за горы ящиков с сигарами поднялась женщина, высокая, очень медлительная, во всей ее фигуре было что-то неестественное; руки двигались только от локтей, верхняя их половина была прижата к туловищу. Я посмотрел ей в лицо.

— Что вам угодно? — спросила она.

Я набрал полную грудь воздуха, собираясь произнести свою формулу, одновременно вынул из кармана удостоверение и, держа его в руках, заговорил. Стараясь усилить впечатление личной незаинтересованности, я усвоил себе манеру скороговоркой произносить вводные фразы и вслед за ними так же быстро отбарабанивать вопросы. И кроме того, я не смотрю на своего клиента. Поэтому я устремил взор через ее плечо на турка в феске, который бессмысленно мял в пальцах догорающую сигарету и ухмылялся, уставившись на мечеть.

— Я представитель института общественной информации,— сказал я.— Наша цель — путем опроса всех слоев населения, производимого в разное время дня, в городе и деревне, выяснить общественное мнение по поводу некоторых проблем. Мы будем очень признательны, если вы разрешите задать вам несколько вопросов. Излишне заверять вас, что полное сохранение тайны...

— Спрашивайте,— спокойно сказала женщина. Рот ее приоткрылся, и на лице у нее словно мелькнула улыбка, вызвав выражение усталости.

— Вы верите в бога? — спросил я.

Руки ее отделились от стойки, она прижала их к сердцу, к голове, высоко вскинула веки, так, что я увидел большие серые глаза, и кивнула.

— Как вы представляете себе бога?

— Бог в скорби,— тихо сказала она.— Мы должны его утешить.

Я молчал с минуту, затем сказал: «Благодарю»,— и ушел.

Те же вопросы я задал двадцать минут спустя человеку по фамилии Балум, который неподвижно стоял за гардиной и смотрел на улицу. Его отупевшее лицо отливало синевой; он перебирал волосатыми руками бахрому занавеси, и желтая его лысина казалась смертельно грустной. Он повернулся ко мне и ответил:

— Когда-то был бог, но его убили, и он не воскрес.

Третий дом оказался наполовину разрушенным. В подъезде стояла лужа, не просохшая еще с прошлого дождя, и в ней играл ребенок. Ребенок был бледный и тихий. Поднимаясь по лестнице, я услышал поющий женский голос. Женщина хорошо пела. Ребенок тихо подпевал ей. Я осторожно ступал со ступеньки на ступеньку. На втором этаже дверь

стояла открытой: я увидел спину женщины, нагнувшейся над столом и месившей тесто. Это и была та, которая пела. Услышав шум шагов, она умолкла, обернулась и взглянула на меня: ее бледное лицо, обрамленное черными пушистыми волосами, было спокойно.

— Фрау Дитц? — спросил я.

Она кивнула, и я отбубнил свою формулу, сам загипнотизированный ритмом нарочитой монотонности.

Некоторое время женщина молчала. Она вытерла фартуком руки и, полуоткрыв рот, уставилась на меня.

— Бог? Единого бога нет,— сказала она,— есть бог богатых и бог бедняков.

У меня стеснило дыхание; я задал второй вопрос.

Она думала не долго.

— Один бог жестокосердый и могучий, другой кроткий, но взыскующий... взыскующий...

— Благодарю вас,— сказал я, но не ушел. Мы поглядели друг на друга, с минуту было очень тихо, потом оба улыбнулись, и я спустился вниз по лестнице.

На вокзал мне пришлось бежать, чтобы не пропустить нужный поезд. Вероятно, я слишком долго улыбался и прошло много времени. Я нашел место, сел, вынул блокнот и записал результаты опроса в Дюссельдорфе. Наш шеф доверяет писанному слову еще меньше, чем устному,— ему хотелось бы снабдить нас портативными аппаратами для звукозаписи, которые передавали бы диалог слово в слово, а нам оставалось бы только давать краткое описание среды. Но, очевидно, хозяева нашего шефа боятся больших расходов.

Около двенадцати я приехал в Гельзенкирхен. Начался дождь, и я медленно побрел по городу. Даже в отдаленных от центра районах стоял все тот же терпкий воздух, пахло как будто железной дорогой, горько и едко. На развалинах густо разросся одуванчик, и в поисках нужного мне номера дома я остановился перед бакалейной лавкой; ее вывеска уныло блестела под дождем, а товары за мокрыми стеклами витрин точно плавали в аквариуме. Я вошел в соседний дом; это была парикмахерская. Здесь царили тишина и сумрак. В глубине светлел плакат, расхваливавший резиновые изделия, а рядом удовлетворенно улыбался элегантный мужчина, восхищенный кремом для бритья. В зеркале над умывальником я увидел собственное отражение: вид у меня был беспомощный. Я крикнул: «Алло!» — подождал, но никто не появился. Где-то в соседней комнате играли дети, их визг приглушенно доносился сюда. Я сел, набил трубку, закурил и снял с крючка иллюстрированный журнал. Журнал оказался почти трехнедельной давности. Первую страницу украшала фотография киноактрисы, давно уже забытой, но здесь, видимо, все еще слывущей самой красивой женщиной нашего столетия, а со второй страницы смотрело гуманное лицо генерала, уверявшего, что он невиновен; в чем — не было сказано.

Вдруг дверь стремительно распахнулась, и в парикмахерскую влетела молодая девушка. Мне показалось знакомым ее веселое лицо, пышущее энергией. Записная книжка в ее руках мне сразу все объяснила.

— Здравствуйте, хозяин! — звонко приветствовала она меня.— Я представительница института общественной информации, разрешите задать вам несколько вопросов?

— С удовольствием,— сказал я, взял в рот трубку, раскурил ее и окутал себя густым облаком дыма.

— Вы верите в бога?

— Да,— сказал я.

— Как вы представляете себе бога?
— Я христианин.
— О,— воскликнула она.— Как хорошо вы сказали, не правда ли?
— Правда,— сказал я.
— Благодарю вас.

Она убрала свою записную книжку, устремилась вверх по ступенькам и хлопнула дверью. Я медленно поднялся с места и к ужасу своему увидел перед собой хозяина парикмахерской. Он был молод, чем-то разгорячен, волосы его растрепались и торчали во все стороны. Он улыбался.

— Простите,— сказал он.— Вы давно ждете?
— Нет, нет,— ответил я и тоже улыбнулся.
— Что вам угодно?
— Бритвенные лезвия. Десяток, пожалуйста,— сказал я.— Но только побыстрее. Я тороплюсь.

Он бросился к полкам, дал мне маленький пакетик, я положил на прилавок деньги и выбежал на улицу. Я догнал свою сослуживицу и пошел за ней по пятам. Я долго ходил за ней, чуть ли не через весь город— мимо сталелитейных мастерских, мимо огромных складов и заводов, по оживленным улицам и большому парку. Она заходила по тем адресам, которые даны были мне на вторую половину дня. Очевидно, в отделе «План поездок» что-то напутали.

Было уже поздно, когда я, усталый, поплелся наконец за ней на вокзал. Но у меня не было никакого желания возвращаться домой. Я зашел в кино, неподалеку от вокзала, там было тепло и тихо, и как только начался главный фильм, я заснул. Когда я вышел из кино, дождь все еще лил.

Я сел в поезд, шедший в южном направлении, тут же заснул и проснулся только на остановке. Так я засыпал, просыпался и вновь засыпал, пока вдруг не услышал в темноте: «Опладен!.. Опладен!» Я вскочил, взял фуражку из сетки и быстро сошел с поезда. Только когда я уже стоял на станции и поезд медленно, в полном мраке прополз мимо, я спохватился, что мне нечего делать в Опладене. Следующий поезд был только через час, и единственное, что я мог предпринять,— это медленно пройти к дому, где был утром. Еще издали я увидел, что дом освещен. Я ускорил шаги, подошел и сразу же заметил: фамилия Мейкснер на табличке уже заклеена. С противоположного тротуара я посмотрел на карлика: освещенный сзади, он казался почти живым. По комнате прошла молодая женщина в красном пальто; вдруг кто-то откинул занавесь, маленькая девочка в ночной рубашке прислонилась к подоконнику и плотно прижала свою куклу к стеклу. Кукла была старая и грязная, но я поднял руку и помахал ей. Ребенок испугался, порывисто отпрянул, толкнул карлика, и тот упал на пол. Я слышал, как он разбился: только еле-еле звякнуло. Ребенок исчез, кукла — облезлая замухрышка — все еще стояла в окне, наискось прижатая к стеклу. Я снова помахал ей рукой и медленно пошел прочь. Из соседней комнаты послышался плач, и я понял, что мать бьет девочку. Детей всегда бьют, и почти всегда незаслуженно, всегда ни за что, я только надеялся, что этой девочке не очень сильно достанется.

Я снова остановился. Было уже тихо, и я молил бога, чтобы еще и отец не побил ребенка. Быть может, он умер или работает в ночной смене, а может быть, он поверит своей дочурке, что на улице в самом деле стоял черный человек и этот черный человек помахал ей рукой. Что-нибудь непременно должно случиться, чтобы маленькое дитя никто больше не бил.

Очень медленно возвращался я на вокзал.

ТОРГОВЛЯ ЕСТЬ ТОРГОВЛЯ

Перевод с немецкого П. Печалиной

Мой знакомый спекулянт стал теперь честным торговцем. Я с ним долго не встречался, наверное, несколько месяцев, и вдруг сегодня натолкнулся на него в другом конце города, на людном перекрестке. У него там шикарный деревянный ларек, окрашенный добротной белой краской. Прочная новая оцинкованная крыша защищает его от дождя и холода, и он торгует сигаретами и леденцами — теперь совершенно легально.

Сначала я обрадовался — ведь это здорово, когда кто-нибудь снова находит себе место в жизни. В те времена, когда я с ним познакомился, ему приходилось туго, и оба мы были в унынии. Мы носили старые солдатские шапки, надвинутые на глаза; когда я был при деньгах, то приходил к нему, и мы говорили о голоде и о войне, а когда у меня денег не было, он угощал меня сигаретами. Однажды я принес ему хлебные карточки: я работал тогда для одного пекаря.

Теперь, казалось, дела его шли неплохо. Он выглядел прекрасно. Его щеки приобрели ту упругость, которая возможна только при регулярном потреблении жиров, выражение лица было самодовольным, и я видел, как он крепко обругал и прогнал маленькую, грязную девочку, у которой не хватило пяти пфеннигов на леденец. При этом он долго орудовал во рту языком, как будто вытаскивал застрявшие между зубами кусочки мяса.

У него было много забот — торговля сигаретами и леденцами шла бойко. Может быть, мне не следовало этого делать, но я подошел к нему и сказал: «Эрнст». Я хотел с ним поговорить. Раньше мы все были между собой на ты — и спекулянтам тоже говорили «ты».

Он очень удивился, странно посмотрел на меня и спросил: «Что вы хотели сказать?»

Он явно узнал меня, но сам не желал быть узнанным.

Я замолчал и, сделав вид, что вовсе не называл его по имени, купил несколько сигарет — у меня как раз нашлись деньги — и отошел. Я наблюдал за ним еще некоторое время. Мой трамвай долго не подходил, к тому же у меня не было желания ехать домой. Когда сидишь дома, всегда приходят люди, которые требуют денег: хозяйка — квартирную плату, сборщик — деньги за электричество. Кроме того, дома мне не разрешают курить: у моей хозяйки отличный нюх, и она очень злится и выговаривает мне за то, что на табак у меня денег хватает, а за квартиру почему-то платить нечем. Ведь грешно, когда бедняки курят или пьют водку. Я знаю, что грешно, и потому стараюсь курить тайком. Я курю на улице и лишь изредка в своей комнате, когда лежу без сна, и кругом тихо, и я знаю, что до утра запах дыма выдохнется.

Ужасно, что у меня нет специальности. В наше время необходимо иметь специальность. Все так говорят. Раньше считали, что это необязательно, что нужны лишь солдаты. Теперь говорят, что без специальности нельзя. Времена меняются. Если у тебя нет специальности, думают, что ты лентяй. Но это неверно. Я не ленив, у меня просто нет желания делать работу, которую они мне предлагают: убирать мусор, таскать камни и прочее. Два часа такой работы — и я обливаюсь потом, все плывет перед глазами, а когда прихожу к врачам — они утверждают, что я совершенно здоров. Может быть, это нервы. Теперь много говорят о нервах, но я думаю, что грешно бедняку иметь нервы. Быть бедным и иметь нервы — это

уж чересчур. Но у меня определенно расстроены нервы. Я слишком долго был солдатом: девять лет, возможно, даже больше, точно не помню.

В то время я охотно занялся бы делом, мне очень хотелось стать торговцем. Но зачем говорить о том, что было тогда, — теперь у меня нет никакого желания быть торговцем. Больше всего мне нравится лежать в кровати и мечтать.

Лежа я подсчитываю, сколько сотен тысяч рабочих дней нужно, чтобы построить мост или большой дом, и думаю о том, что этот мост и этот дом могут быть разрушены в одну минуту.

Зачем же тогда работать? По-моему, все бессмысленно. Именно это и сводит меня с ума, когда я бываю вынужден таскать камни или убирать мусор, чтобы они имели возможность построить еще какое-нибудь кафе. Я сказал, что дело в нервах, но нет, дело в том, что все бессмысленно.

В сущности, мне все равно, что подумают. Но ведь это ужасно — никогда не иметь денег. Деньги необходимы, без них не обойтись.

Имеются счетчики, а вы пользуетесь лампой (иногда ведь бывает нужен свет), щелкает выключатель, вспыхивает лампочка, и вот уже деньги текут из вашего кармана. Даже если вы не пользуетесь светом, приходится вносить плату за счетчик, плату за квартиру... Говорят, что нужно иметь комнату. Сперва я жил в подвале, там было недурно. У меня была печка, и я воровал угольные брикеты, но меня разыскали, пришли репортеры, сфотографировали и поместили статью с моим портретом: «Бедствия бывшего военнопленного». Мне пришлось попросту убраться оттуда. Чиновник из квартирного бюро сказал, что для него это вопрос престижа, и я был вынужден снять комнату. Иногда мне удается заработать. Это ясно. Я выполняю поручения, таскаю угольные брикеты и складываю их аккуратно в углу подвалов. Я умею отлично складывать брикеты. К тому же недорого беру. Конечно, зарабатываю я мало, этого никогда не хватает, чтобы заплатить за квартиру. Иногда удается лишь внести плату за электричество, купить немного сигарет и хлеба.

Стоя неподвижно на углу, я думал обо всем этом. Мой знакомый спекулянт, который стал теперь честным торговцем, посматривал на меня недоверчиво. Эта свинья хорошо меня знает, ведь нельзя не знать друг друга, если в течение двух лет встречаешься чуть не каждый день. Может быть, он подумал, что я хочу у него что-нибудь украсть. Но не так я глуп, чтобы воровать там, где полно народа и где каждую минуту останавливается трамвай и вдобавок на углу стоит полицейский. Я ворую в других местах. Иногда ворую уголь, иногда дрова. Недавно я украл даже хлеб в булочной. Это получилось легко и просто. Я спокойно взял хлеб, вышел на улицу и побрел не торопясь; только на следующем углу я бросился бежать. Ох, эти нервы!

Я не ворую на людных перекрестках, хотя это иногда и нетрудно, нервы не выдерживают.

Прошло несколько трамваев, в том числе и тот, что мне нужен, и я ясно видел, как Эрнст покосился на меня, когда подошел мой номер. Эта свинья прекрасно знает, какой трамвай мне нужен. Но я бросил окурок, закурил вторую сигарету и продолжал стоять. Вот до чего я дошел — выбрасываю окурки! А здесь же бродит человек, который их подбирает, нужно же думать о других! Есть еще люди, которые собирают окурки! И разные люди. В плену я видел полковников, подбиравших окурки, но этот человек не был полковником. Я следил за ним. У него была своя система; как у паука, который прячется в паутине, у него была штаб-квартира где-то среди груды развалин, и когда подходил или отходил трамвай, он вылезал оттуда, шагал невозмутимо вдоль тротуара и собирал окурки.

Я бы охотно подошел к нему и поговорил, я чувствую — мы одного поля ягода, но это бессмысленно: от таких ничего не добьешься.

Не знаю, что со мной случилось. Мне не хотелось ехать домой. Да и какой там дом! Мне теперь было все безразлично. Я пропустил еще трамвай и закурил еще сигарету.

С нами происходит что-то непонятное. Может быть, какой-нибудь профессор растолкует нам это через газету: у них на все есть свое объяснение. Я хотел бы только, чтобы у меня хватило духу воровать, как на войне. Там все легко сходило с рук. Во время войны, если было что воровать, нас заставляли воровать. Там говорили: «Этот справится»,— и мы «справлялись».

Некоторые только за компанию жрали, пили и посылали домой посылки. Нет, они не воровали. У них нервы были безупречные, и руки оставались чистыми.

А когда мы вернулись, они выскочили из войны, как из трамвая, замедлившего ход возле их дома, выскочили, даже не заплатив за проезд.

Они сделали легкий поворот, вошли в дом и увидели: книжные шкафы стоят на месте, немного пыли в библиотеке, у жены есть картофель в погребе, стоит варенье; жену слегка обнимали, как водится, и на следующее утро отправлялись узнать, не свободна ли старая должность,— и должность оказывалась еще свободной. Все шло прекрасно — они продолжали получать пособие, потом разрешали себя слегка денацифицировать, как позволяют парикмахеру сбрить бороду, которая стала стеснять, рассказывали об орденах, ранах, о своем геройстве, и все кругом находили, что они славные ребята: «в конце концов они только выполняли свой долг». Им даже выдавали недельные трамвайные билеты — верный признак того, что все действительно пришло в норму. Мы же ехали дальше в том же трамвае и ждали, не будет ли знакомой остановки, где можно рискнуть выскочить. Но остановки не было. Некоторые, проехав еще немного, где-то выскакивали, во всяком случае делали вид, что достигли цели.

Мы же следовали все дальше и дальше, плата за проезд, само собой, повышалась, а кроме того, мы должны были платить за большой и тяжелый груз — свинцовый груз пустоты, который мы тащили за собой. И входило множество контролеров, которым мы, пожимая плечами, показывали свои пустые карманы.

Выкинуть нас они все равно не могли — трамвай шел слишком быстро, а мы ведь все-таки люди,— но нас брали на заметку, раз, другой, третий, нас постоянно брали на заметку, а трамвай шел все быстрее, более ловкие все же где-то выскакивали, нас становилось все меньше, и все меньше было у нас мужества и желания выскочить. Мы тайно решили, как только достигнем конечной остановки, оставить в вагоне свой груз, может, бюро находок пустит его с аукциона, но конечной остановки все не было. Плата за проезд становилась все выше, темп все быстрее, контролеры все недоверчивей. Мы ведь были крайне подозрительным сбродом.

Я швырнул окурок третьей сигареты и медленно пошел к остановке; теперь мне хотелось домой. У меня закружилась голова — нельзя на голодный желудок так много курить, я же знал это.

Я не смотрел больше туда, где мой бывший спекулянт вел теперь легальную торговлю. Конечно, у меня не было оснований злиться, ему тогда здорово повезло, он сумел выскочить в нужную минуту, но я не знаю, обязательно ли при этом обижать детей, которым не хватает пяти пфеннигов на леденец. Быть может, это и обязательно при легальной торговле?

Незадолго до того, как подошел нужный мне трамвай, тот, другой человек спокойно проследовал вдоль тротуара, обошел очередь ожидающих и подобрал окурки. Я заметил, что все смотрели на него с неудовольствием. Было бы лучше, если бы таких, как он, не было, но они есть.

Только войдя в вагон, я бросил взгляд на Эрнста, но он отвернулся и громко выкрикивал: «Шоколад, конфеты, сигареты — свободная продажа».

Не знаю, что произошло, но должен признаться, что раньше, когда он еще не прогонял тех, кому не хватает пяти пфеннигов, он мне нравился больше. Теперь у него настоящая торговля, а торговля есть торговля.

ПОСТАВЩИК СМЕХА

Перевод с немецкого М. Подлящук

Когда меня спрашивают о моей профессии, мне становится неловко: я краснею, заикаюсь, хотя вообще я не робкого десятка. Я завидую людям, которые могут сказать: я каменщик. Завидую бухгалтерам, парикмахерам, писателям, потому что все эти профессии говорят сами за себя и не требуют дополнительных разъяснений.

Я же вынужден отвечать на подобные вопросы: я поставщик смеха.

Такое признание влечет за собой дальнейшие, так как и на второй вопрос:— Вы живете на это?— я правдиво отвечаю:— Да.

И я действительно живу за счет своего смеха, и живу хорошо, так как на мой смех, выражаясь коммерческим языком, есть спрос.

Я — хороший, ученый поставщик смеха, никто не смеется так, как я, никто не владеет настолько тонкостями этого искусства.

Долгое время, во избежание тягостных разъяснений, я выдавал себя за актера, но мои мимические и разговорные способности столь незначительны, что это объяснение кажется неправдоподобным, а я люблю правду, правда же заключается в том, что я — поставщик смеха.

Я не клоун, не комик, я не веселю людей — я изображаю само веселье. Я смеюсь, как римский император или как чувствительный выпускник средней школы, смех XVII столетия для меня столь же доступен, как смех XIX, и если это нужно, я могу смеяться смехом любого столетия, любого класса общества, любого возраста: я этому научился так же, как учатся подбивать подметки к башмакам. Смех Америки живет в моей груди, смех Африки, белый, красный, желтый смех — и за соответствующую мзду я показываю, как он звучит, согласно предписанию режиссера.

Я стал необходим, мой смех записывают на пластинки, на пленку, и звукорежиссеры крайне предупредительны со мной. Я смеюсь печально, сдержанно, истерически, смеюсь, как кондуктор трамвая и как ученик из продуктового магазина; смех утренний, вечерний, ночной, смех в сумерки — короче говоря, где бы и когда бы люди ни смеялись,— я воспроизвожу любой смех.

Легко поверить, что такая профессия очень утомительна, тем более, что я владею и заразительным смехом. Я просто необходим комикам третьего и четвертого разрядов, которые не без оснований дрожат за свои остроты, и я сижу каждый вечер в каком-нибудь варьете как своего рода клакер, чтобы в слабых местах программы заразительно засмеяться.

Это тонкая работа: мой искренний, неудержимый смех не должен начаться ни слишком рано, ни слишком поздно — он должен прозвучать в нужное мгновение, тогда весь зал гогочет вместе со мной, и острота спасена. Я же устало пробираюсь к гардеробу и надеваю пальто, довольный тем, что наконец-то кончил работу.

Дома же меня обычно ждут телеграммы:

«Крайне нуждаемся вашем смехе. Звукозапись вторник». И несколько часов спустя я сижу в душном вагоне скорого поезда и оплакиваю свою судьбу.

Каждому понятно, что в свободные часы и во время отпуска я не чувствую желания смеяться: доильщик радуется, когда может забыть о корове, каменщик — о своей известке, в доме столяра чаще всего плохо прилажены двери и ящики открываются с трудом. Кондитеры любят соленые огурцы, мясники — марципаны, пекари предпочитают колбасу хлебу, торреадоры любят возиться с голубями, боксеры бледнеют, когда у их детей идет носом кровь: все это я отлично понимаю, так как я никогда не смеюсь в свободные вечера. Я предельно серьезный человек, и люди — быть может, они и правы — считают меня пессимистом.

В первые годы нашего супружества моя жена нередко просила: «Посмейся же!» Но с тех пор она поняла, что я не могу выполнить это ее желание. Я бываю счастлив, когда в состоянии дать покой своим напряженным мускулам, своей утомленной душе. Да, даже чужой смех раздражает меня: он напоминает о моей профессии.

Итак, мы ведем тихую, мирную жизнь, потому что моя жена тоже разучилась смеяться.

Иногда я ловлю улыбку на ее лице, и тогда улыбаюсь и я. Мы беседуем друг с другом вполголоса, я ведь ненавижу шум варьете, шум, царящий в студиях звукозаписи. Люди, мало знающие меня, считают, что я очень скучный человек. Возможно, так оно и есть — ведь я слишком часто вынужден смеяться. С бесстрастным, неподвижным лицом прохожу я по жизни, лишь иногда позволяя себе кроткую улыбку, и часто спрашиваю при этом: «Да смеялся ли я когда-нибудь?»

Вероятно, нет. Мои сестры и братья могут подтвердить, что я всегда был серьезным мальчиком.

Так я смеюсь на все лады, но собственного смеха так и не знаю.

Божидар Божилов

Искусство

Перевод с болгарского Б. Слуцкого

В камеру строфы ты заключишь,
Рамою картины ограничишь
Чувство то, которым ты горишь,
Воздух горный — тот, которым дышишь.
Надышись же бурей напоследок!
Ураганы грудью всей вдохни
И гляди, как выглядят они
В статуях, балладах и балетах.

Удивляйся, что стихотворенье
В небе счастья, боли и мученья
Медленно восходит, как звезда,
Что оно летит из нетерпенья,
Словно птица из гнезда.

Вот и разбазарил ты печали.
Радости — растратил ты.
Приутихли чувства, замолчали
От усталой этой пустоты.
День пройдет, и ты — опять поэт,
Ты опять ликуешь и страдаешь,
И опять все это заключаешь
В статую,
Балладу
И балет.

«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» *Рис. П. Пинкисевича*

Декстер Мастерс

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

РОМАН

Перевод с английского Н. Галь и Н. Треневой.

ЧАСТЬ III

ЧЕТВЕРГ — БЕЗБРЕЖНЫЙ ОКЕАН НЕВЕДОМОГО

1

В тусклом свете зачинающегося дня все кажется неясным, а некоторые предметы — призрачными. Деревья лишены красок и сливаются в одну неподвижную массу. В разреженном воздухе голоса разносятся далеко вокруг, а рев пумы можно принять за грохот сорвавшегося с горы камня.

Всего полчаса назад караульная будка, замыкающая главную дорогу к Лос-Аламосу, была островком в ночи; окна ее светились теплым светом и были видны даже снизу, из долины, то есть почти за десять миль. Через полчаса окна погаснут, караульная будка выступит из темноты и окажется маленькой, убогой хибаркой, сбитой из покоробившихся досок. Но пока это еще твердокаменный, господствующий над пустынным пейзажем бастион. Примерно около мили отделяет его от окраины города и примерно столько же от края столовой горы, на которую взбирается шоссе из долины. Когда занимается заря, свет из окон, холодный как металл, в упор сталкивается со светом дня, плывущим из-за пика Тручас. Массивная проволочная ограда, которая тянется вдоль плато к северу и югу от караульной будки, образует возле нее брешь — вход в город, но в серой полутьме и брешь кажется такой же плотной, как ограда.

Эта ограда тянется на много миль, она окружает весь город и даже здания в каньонах. По крайней мере, считается, что это так. Без сомнения, есть люди, располагающие точными сведениями, — полковник Хаф, например, или кто-то в Вашингтоне, и уж во всяком случае начальник военной полиции, охраняющий ограду, или кое-кто из часовых. Все остальные знают лишь одно — в любом месте, откуда есть хоть какой-нибудь доступ к городу, непременно наткнешься на ограду. Вид у нее не слишком устрашающий, но все же она достаточно солидна, чтобы отпугнуть непрошеных гостей: праздных зевак, местных скотоводов и якобы заблудившихся туристов. Прибитые к ней надписи «Peligro-Propiedad del gobierno» и «Нет входа — Государственная зона» еще внушительнее, чем сама ограда, и резко отличают ее ото всех других оград в этой местности. А еще внушительнее, чем надписи, вооруженные часовые, которые разъезжают верхом вдоль ограды, выглядывают из-за пулеметных установок на многочисленных вышках, и с полдесятка караульных будок, из которых самая внушительная та, что стоит на шоссе.

Продолжение. Начало см. в № 4.

Сердце города, то есть ту его часть, где ведется работа, окружает грозный забор высотою в пятнадцать футов; каждый дюйм этого забора просматривается с наблюдательных вышек, где стоят пулеметы; любое подозрительное движение поблизости — и тотчас завоют сирены, засвищут пули, со всех сторон, согласно строгим инструкциям, сбегутся солдаты. Но ничего такого тут еще никогда не случалось, и ни разу не стреляли тщательно укрытые на полянах противовоздушные орудия. И все это благодаря чуть ли не священному ритуалу мер засекречивания, начиная с выбора плато и кончая всякими условными рогатками, вроде запрещенного хождения, скрепленных подписями пропусков, запечатанных приказов, секретных кодов, почтовой цензуры, умышленного обмана, дезинформации местного населения и — даже после окончания войны — неусыпного надзора за всеми, кто приезжает или уезжает из города.

За минувшую ночь по главному шоссе через ворота прошло сорок или пятьдесят машин, и каждая останавливалась у караульной будки, где один из часовых проверял у каждого пассажира пропуск (за подписями и печатью); часовой обычно улыбался и заговаривал с седоками: почти все они были ему знакомы. К будке подкатили шесть больших грузовиков, слышался скрежет тормозов и мягкое урчанье моторов, водители называли себя, предъявляли пропуска, часовой взмахивал рукой, и машины шли дальше. Директор отдела теоретической физики, человек всем известный, живущий в городе уже три года, забыл свой пропуск и вместе с женой и двумя друзьями должен был вернуться за ним; часовой извинился, пассажиры немножко поворчали, но каждый понимал, что иначе нельзя. В три часа ночи в будке зазвонил телефон: полковник Хаф распорядился пропустить в город доктора Джэкоба Бригла, который прилетел из Чикаго в Альбукерк и скоро подъедет на военной машине; через полчаса джип доставил в караульную будку специальный пропуск.

Утром Управлению службы безопасности будет представлен краткий рапорт о том, что произошло за ночь. Прежде чем подшить его куда следует, там отметят забывчивость директора отдела теоретической физики; там уже следят за маршрутом доктора Бригла; там, при желании, могут узнать от часовых даже такие подробности, как то, что в машине доктора Клауса Фукса, который возвращался из Санта-Фе, заело сигнал, и один из часовых помогал его исправить.

Но на рассвете вся местность вблизи ворот в Лос-Аламос кажется пустыней. В раскрытой настежь двери караульной будки не видно ни души; нет никого и возле военного джипа, который стоит в нескольких футах за оградой. Свет в окнах уже не будит отклика ни в чьем сердце, и если не считать доносящегося из города еле уловимого прерывистого звука — даже не звука, а колебания воздуха,— то кругом стоит мертвая тишина. Птицы еще не проснулись, в воздухе ни малейшего ветерка.

И вдруг раздаются шесть взрывов. Сначала два тяжких глухих удара, третий разносится над плато оглушительными раскатами, и наконец три отрывистых и резких вопля, похожих на раздраженный вопрос. Звуки замирают, и снова воцаряется тишина.

Но сейчас уже можно различить две фигуры у края дороги, за полукругом света, падающего из караульной будки. Они стоят лицом к деревьям и кустам, которые начинаются чуть поодаль от шоссе. Внезапно перед ними заструился тонкий лучик карманного фонаря; лучик медленно движется из стороны в сторону, застывает на месте, потом так же внезапно потухает.

— Я и в прошлый раз не разобрал толком, пума это или нет,— говорит один.— Может, пумы я еще и не слышал. Но звук был мерзкий,

хуже, чем этот. Я схватился за револьвер. Вон там это было, около того дерева.

— Пошли назад. Черт с ней, с этой пумой.— В голосе второго слышится досада.

Снова вспыхивает фонарик; луч его скользит по дороге, вбегает в полукруг света у караульной будки и теряется в нем. Две фигуры идут дальше; луч прыгает перед ними и снова гаснет.

— Бояться нечего,— говорит первый голос.— Они не подходят к дороге, особенно когда горит свет. Наверное, ее спугнули взрывы.

— Может, это собака или олень? Или просто камень сорвался? Когда катится камень, бывает чудной шум.

Обе фигуры резко выделяются на фоне бьющего им в лицо света; они идут к будке, словно актеры к рампе. Это солдаты, и у каждого сбоку револьвер. Один из них раскачивает карманный фонарик на кожаном ремешке, другой плетется шага на два позади и жует бутерброд; на руках у него нитяные перчатки, и к ниткам пристали хлебные крошки.

— У нас как-то убило камнем одного парня,— говорит солдат с бутербродом.

Они шагают дальше. Подойдя к двери будки, передний солдат останавливается и поворачивает голову.

— Ну, и что?

— Во-первых, вы оставили дверь открытой,— слышится голос изнутри.

— Ну, я же говорю — убило его.

— Это я слышал. Да как убило-то?

— Да вот таким камнем.

— Входите или закройте дверь, черт бы вас взял!

Единственная комнатка караульной будки выглядит довольно убого. Ее освещают три ничем не затененные электрические лампочки. Плащи, фуражки и разная мелочь висит на вбитых в стену гвоздях, закрывая часть вырезанных из журналов фотографий, картинок и напечатанных на мимеографе циркуляров, которыми сплошь залеплены стены. На полу возле стола лежит солдат; голова его почти упирается в керосиновую печку, стоящую возле стены. Он играет в карты сам с собой и не поднимает глаз, когда входят те двое. Но они сильно хлопают дверью, и солдат ворчит.

Солдат с фонариком сердито смотрит на своего спутника и переводит взгляд на играющего.

— Что ж, камень загрыз его, что ли?

— Кого загрыз?— спрашивает Картежник.

— Камень скатился сверху, я же говорю. Он только успел отпихнуть в сторону своего ребенка.

— Да кто?— нетерпеливо спрашивает Картежник.

— Один тип у нас дома,— говорит Бутерброд.— Отпихнул ребенка в сторону, а самого убило. Угодил прямо под большущий камень.

— Слыхал я о таких случаях,—замечает Картежник. Он так ни разу не поднял глаз; карты лежат перед ним в семь рядов, он вытаскивает из колоды по одной карте и, перевернув ее лицом вверх, шарит глазами по рядам. Солдат с фонариком, не то удовлетворенный, не то недовольный дальнейшими сведениями о скатившемся камне и убитом, подходит к Картежнику и кругообразными движениями размахивает фонариком на ремешке над его головой, хотя того это явно раздражает. Третий солдат смотрит на них, стоя у самой двери; он не снял перчаток и время от времени языком подбирает с них крошки.

— Если выйдет шестерка бубен, я проиграл,— бормочет Картежник.— Такими случаями хоть пруд пруди,— продолжает он.— Иногда

убивает сразу двоих. Тут уж ничего не поделаешь. Это как пуля, если она тебе на роду написана. Слушай, брось ты махать фонарем!

— Ну, не знаю,— говорит Фонарь, он подымает ремешок повыше, но продолжает раскачивать фонарик над головой Картежника.— Не суйся под камни да под пули, вот и будешь жив. Бывает и так, что хочешь не хочешь, а надо. А если нет...

— Ясно,— говорит Бутерброд,— если это твой собственный ребенок, поневоле сунешься под камень. А насчет того, что на роду написано,— это еще неизвестно. Просто один ловкий, другой — нет. Все это случайность и больше ничего.

— Кто сказал, что это случайность?— Картежник поднимает голову.— Кто сказал, что такое дело могло бы обернуться иначе? Ты,что ли, такой умный?

— Насчет него не знаю, а я могу кое-что сказать про такие вещи, — говорит Фонарь.— Да и не я один, другие тоже могут многое порассказать. Возьми, к примеру, угольные шахты, где каждый год погибают тысячи людей, и не потому, что им так на роду написано. Назначь туда инспекторов, установи правила безопасности, укрепи профсоюз да смотри в оба — и, ей-богу, не будет погибать столько людей. Уж поверьте.

— А все-таки они гибнут,— говорит Картежник.— Конечно, беречься нужно, я ничего не говорю. Но ведь бывает и так, что берегись не берегись, ничего не поможет. Мы думаем, человек сам управляет своей жизнью — оказывается, ничего подобного.

— А тот парень,— говорит Фонарь,— он мог быть поувертливее, либо наоборот. И в том, и в другом случае дело могло обернуться иначе. Он мог бы крикнуть ребенку. Почему он не крикнул? Не обязательно было бросаться туда.

— Он кричал,— говорит Бутерброд,— он кричал все время, пока бежал туда, но ребенок не обратил внимания.

— Все равно, можно было поступить как-то иначе.

— Теперь-то легко говорить.

— Брось фонарь, а то я, ей-богу, проломлю тебе череп!— огрызается Картежник. Это для него все равно, что летающая над головой муха, он просто раздражен, и солдат преспокойно продолжает раскачивать фонарик.

— Потом-то много чего можно сообразить,— говорит солдат с фонарем.— Но кто сказал, что нельзя было сообразить вовремя? И кто в конце концов управляет жизнью человека? Шестерка бубен?

— Грузовик идет,— говорит Бутерброд.

Все трое поворачивают головы, прислушиваясь к слабому рокоту мотора, доносящемуся откуда-то из-за края плато.

— Называй это как хочешь,— говорит Картежник, снова принимаясь за карты,— а только сам человек тут ни при чем.

— Да вы хоть знаете, о чем спорите, ребята?— спрашивает Бутерброд.

— О таинственной силе, — говорит Фонарь. — И мы вовсе не спорим. Некоторые любят получать готовые ответы, даже ни о чем не спрашивая.

Он слегка задевает фонарем голову Картежника, идет к окну и выглядывает наружу. Уже совсем рассвело.

— Это, наверное, едут из Денвера, от начальника снабжения,— замечает Бутерброд.— Еще три тонны мороженого мяса без костей. Три недели сидим без свежего мяса. Кто выиграл войну, спрашивается?

— Так вот, насчет этого парня и его ребенка,— говорит Фонарь.— Как обстояло дело с тем камнем? Неужели никто не знал, что он скатится? Такие вещи надо знать наперед. Может, поблизости была камено-

ломня и там что-то взрывали. А? Может, он был просто такой раззява, что позволил ребенку играть в том месте.

— Бывают случайности. И нечего тут голову ломать. Всякое может случиться.

— В девяти случаях из десяти все зависит от того, с кем это происходит. Ведь были же в твоем городе и другие, у кого есть дети. Почему же...

— Все зависит от того, кто оказался там, где это случилось. Там могли быть и другие, а вот под камень угодил он. Лихти. Так его звали. Плешивый был. Такой плешивый, что дальше некуда.

Картежник с трудом подымается с пола; он становится на колени и с отвращением смотрит на карты.

Бутерброд, глядя на него, лезет в карман висящей на стене шинели. Он достает бумажный кулек и извлекает еще один бутерброд. Потом поворачивается к двери и распахивает ее.

— Некоторые до того любят задавать вопросы, — говорит Картежник, подымаясь на ноги, — что не замечают ответа, даже если тычутся в него носом.

Рокот мотора переходит в рев, и на дороге появляется машина. Это большой военный грузовик с прицепом, он ползет медленно, фыркая пневматическими тормозами. У самых ворот грузовик останавливается, три солдата выходят из караульной будки и бредут к нему. В грузовике тоже трое солдат, они сидят высоко в кабине. Часовые берут и просматривают документы; солдаты в кабине устали, им давно надоела эта процедура, и никто из них не произносит ни слова. Но водитель, уже двинув машину вперед, вдруг останавливается и, высунувшись из окна кабины, окликает часовых:

— Эй, что у вас тут стряслось? Говорят, кого-то убило взрывом.

Часовые внизу переглядываются.

— Мало ли что там у вас говорят, — отвечает Картежник. — Мне ничего неизвестно.

— Говорят, был взрыв. Погибло шесть или семь человек.

— У нас все время бывают взрывы, сегодня уже грохнуло раз шесть.

— Эти я слыхал, я не про них. Был, говорят, такой взрыв, что погибли люди. Несчастный случай.

Часовые опять переглядываются, пожимают плечами и заявляют, что им про это ничего неизвестно. Водитель отворачивается от окошка, грузовик трогается с места и въезжает в город.

— Им приказано не болтать, — замечает водитель.

— А ты что думал? — спрашивает сидящий рядом солдат. — Что армия тебе будет обо всем докладывать?

— Зачем докладывать? Но не все же такие умные, как мы с тобой, кто-нибудь может и не знать.

У караульной будки трое солдат обсуждают происшедшее.

— Эти болваны хотели взять нас на пушку, — говорит Картежник. — Если бы кого убило, мы бы знали.

— Может, и знали, а может, и нет, — отвечает Фонарь. — Разве штаб посылает тебе сводки?

— Они же слыхали, верно?

— Мало ли какие слухи ходят. Ты же не про то спрашивал.

— А я ни про что не спрашивал.

— Вот будет смехота, — говорит Бутерброд, — если тут и вправду кого-то убило, а эти олухи из Денвера узнали раньше нас.

— Да никого здесь не убило, болван! — кричит Фонарь. — Ты же сам говоришь, что видел, как они выходили из санитарной машины.

— Да. Наверное, это были они. Я ведь их в лицо не знаю. Должно быть, они.

— За это время они могли и помереть,—говорит Картежник. Он переводит блестящие, загоревшиеся любопытством глаза с одного на другого.

А в грузовике водитель налег грудью на баранку руля. Один из солдат дремлет. Грузовик плавно катится по прямой, гладкой дороге, мимо первых городских домов, приземистых коттеджей на две семьи, с одинаковыми палисадниками, обнесенными одинаковыми белыми заборами. Солдат, сидящий рядом с водителем, лениво рассматривает домики, каждый по очереди, и краем уха слушает, что говорит водитель.

— ...но если сам Эйнштейн это поддерживает, так и я тоже. Я никогда об Эйнштейне плохого не слышал. И много других ученых заодно с ним. Они хотят собрать двести тысяч долларов на разъяснительную работу насчет атомных бомб. Я послал пять долларов и думал, что успокоюсь, а оказывается — нет. Ей-богу, этот чудак и сам не знает, что затеял. Разъяснить народу! Растолковать нам, что за штуку мы от них получили! О господи, боже мой! А что мы получили? Энергию вселенной, самую огромную силу после огня! Так говорят ученые. Лучшие бомбы в мире. Так говорят военные. Военные и за двести тысяч долларов не откажутся от лучшей в мире бомбы.

— Я никогда не даю ни цента на такие вещи. Выброшенные деньги.

— Я читал, что один ученый предложил взять бомбу и поехать по свету вроде как в турне. Устраивать взрывы где-нибудь подальше от больших городов и приглашать публику — пусть смотрит. Это, говорит ученый, ее как следует припугнет. А по-моему, ничего подобного. Одни совсем не пойдут смотреть, а другие будут бегать и толкать друг друга локтями— гляди, мол, что у нас теперь есть! Вот, что они скажут.

— Что-то я не возьму в толк, зачем они ее изобрели, если она им так не по душе. А теперь они только про нее и говорят!

— Уж не знаю, чего им пришло в голову изобрести бомбу! А сейчас им, по-моему, просто не нравится, что военные забрали все в свои руки. Уж тут, кроме бомб, ничего не жди. А разве они могли говорить об этом раньше? В военное время не очень-то разговоришься.

Грузовик проходит мимо стоянки туристских фургонов-прицепов. Тут их, должно быть, сотни две; они кое-как составлены в ряды, все чистенькие, лакированные, готовые заблестеть в лучах солнца, которое вот-вот увенчает пик Тручас. Кое-где перед фургонами разбиты крохотные палисадники и сложены кучками складные и обыкновенные стулья, под окошками обтекаемой формы прибиты самодельные ящики с цветами, на веревках висит развешанное еще с вечера белье. За стоянкой фургонов дорога разветвляется, главная ветка идет прямо в центр города, кварталах в трехчетырех уже виднеется белая стена больницы. Боковая дорога уходит налево, на юг, к массиву зданий из цементных блоков и стоянке грузовиков. Водитель выпрямляется и крепче сжимает руль для разворота.

— Возьми хоть тех ребят, что погибли от несчастного случая. Это произошло где-то здесь, но армия уж позаботится, чтобы все было шито-крыто. Я бы уж постарался разнюхать, в чем дело, если б не знал, что такое армия.

В караульной будке три солдата приходят наконец к выводу, что никаких убитых нет, иначе им, конечно, это было бы известно.

— Даже если они теперь умрут, — говорит Картежник, — это совсем не то, что погибнуть во время несчастного случая. Но похоже, тут не только несчастный случай — тут, наверное, происходит что-то еще, недаром то и дело приезжают доктора.

— Те, как видно, ничего толком не знают, — говорит Фонарь. — Если б были убитые — зачем столько докторов?

Но им слишком мало известно, чтобы долго поддерживать этот разговор; никто из троих не знает пострадавших — мало ли всяких лиц мелькает перед ними в машинах, и один только Бутерброд видел их в санитарном автобусе. Но и эта скудная пища уже пережевана и переварена. Фонарю не терпится вернуться к прежнему спору.

— Вот ты сам признаешь, что беречься нужно, а потом говоришь, что берегись не берегись—ничего не поможет. Откуда же ты знаешь, поможет это или не поможет? Вот тут-то и надо спрашивать, коли хочешь получить хоть мало-мальски толковый ответ. Ну, скажем, твой приятель — берегся он или нет? — обращается он к Бутерброду. — Ты что-нибудь об этом знаешь или можешь только гадать?

— Вот уж не скажу, берегся он или нет.

Показывается солнце, утренний ветерок колышет деревья, слышны птичьи голоса, а в караульной будке все продолжается беседа, хотя временами ее приходится прерывать.

Подъехали пятеро молодых людей в старом военном автобусе.

— Ну и гремел же гром нынче утром, — говорит Фонарь.

Один из сидящих в автобусе слабо улыбается, как старой остроте.

— А дождя не было.

Солдат смотрит вслед автобусу, въезжающему в город. Сзади к нему прицеплена двухколесная железная повозка. Солдаты знают, что в этой повозке какие-то измерительные приборы. Они уже сотни раз видели и эту повозку, и другие в таком же роде, и слышали тысячи взрывов в промежутках между прибытием и отъездом таких повозок.

Ученые, возвращающиеся из города, обычно молчаливы. По их глазам не прочтешь, что они там измеряли, и они словно туги на ухо. Через полчаса или около того, когда приборы откроют и прочтут их показания, будут получены какие-то ответы, возникнут новые вопросы и пойдет много разговоров. Сегодня днем собраний не будет; вечером начнется работа в механическом цехе; завтра опять будут слышны взрывы.

У развилки, там, где свернула машина с мороженым мясом, автобус тоже заворачивает, потом замедляет ход и возвращается на главную дорогу. Он медленно движется по городу, минует больницу и сворачивает налево, к Технической зоне.

К караульной будке подъезжает доктор Бригл.

— Бригл, — бросает он Бутерброду.

— Джэкоб Бригл, — говорит Бутерброд, сверяясь с бумагой, которую держит в руке. Он по-прежнему в перчатках, а на перчатках по-прежнему крошки хлеба.

— Да, Джэкоб Бригл.

— Доктор медицины.

— Да, доктор медицины, — усталым голосом подтверждает Бригл.

— Скажите, значит они не погибли от этого несчастного случая?

Водитель и два других солдата оборачиваются и смотрят на Бутерброда, доктор тоже взглядывает на него внимательнее. Доктор вытягивает шею, засовывает палец под воротничок и снова бросает взгляд на солдата.

— Это что, всегда так полагается опрашивать при въезде в эти проклятые ворота?

— Можно ехать? — спрашивает шофер.

Все три солдата молча кивают.

— Нет, никто не погиб, — говорит доктор тем же усталым голосом Машина движется вперед.

Первый автобус из Санта-Фе, переваливаясь, вползает на край плато. Этот можно не останавливать — солдат, ведущий машину, уже проверил пропуска штатских служащих, которых он везет. Но все-таки, не доезжая

ворот, автобус останавливается, шофер опускает стекло и высовывает голову:

— Там, позади, я видел пуму.

Несколько пассажиров подтверждают это кивками. Один показывает руками — вот такая, мол, большая.

— Прямо тут, у подъема. Вы не видели?

Солдаты опять переглядываются.

— Ну так берегитесь! — кричит им шофер. Он ухмыляется, машет рукой и переносит все внимание на автобус, который медленно трогается и ползет вперед.

В автобусе человек пятьдесят — это техники, плотники, конторщики, рабочие бензоколонок и другие служащие. Девушка с телеграфа сидит на заднем сиденье и, проезжая мимо, смотрит в окно на солдат. Скоро приедет еще несколько сот служащих в автобусах, которые уже выехали или собираются выезжать из Санта-Фе. Еще больше народу прибудет в собственных машинах. Некоторые приедут из Эспаньолы, испанского городишки, лежащего на северо-западе. Несколько человек — это главным образом слуги, испанцы и индейцы — приедут с ранчо и из пуэбло, лежащих между горой и рекой, а некоторые придут пешком по древним тропам. И вот уж ярко светит солнце. Все предметы вокруг приобретают четкие очертания.

2

Где-то за три-четыре квартала проехал грузовик с повозкой; скрежет переводимых скоростей донесся до больницы, журчащим эхом отдался в ее стенах и слабо зажужжал в оконных стеклах. Звук этот проник в приоткрытое окно Луиса Сакспа, которое выходило на пруд, и сдернул со спящего верхнюю пелену сна. Луис смутно уловил мягкий шелест легковой машины и негромкое дребезжание повозки—в иное время он вряд ли расслышал бы каждый из этих звуков отдельно. Вчерашнее снотворное еще туманило мозг, и он не мог разобрать, две ли машины прошли одна за другой или та же самая проехала мимо дважды. Легкое беспокойство от неуверенности — такой, в сущности, пустяк — явилось шагом от сна к пробуждению. Но, сделав этот шаг, он словно еще на миг задержался на пороге и глядел назад или вбок — так иногда человек, вместо того чтобы идти куда надо, засматривается на что-то в противоположной стороне — быть может, на бегущего мальчишку, на двух увлеченных беседой подростков или на проходящие машины — и хоть это нисколько не мешает ему идти дальше, не стоит на пути, но все же отвлекает внимание, если оно не всецело поглощено другим. Сознавая, что лежит в палате, на постели, и, самое главное, сознавая, что попал в какие-то особые обстоятельства, на которых еще через минуту надо будет сосредоточить все мысли, Луис медлил, нарочно отодвигая эту минуту, прозившую увести его от ночных теней раньше, чем они растают сами, чем начнется простая пантомима, именуемая пробуждением...

— Слыхал про Айвса Кольмана?

...и только.

Они шли по улице, ведущей к школе. Мимо проехала машина доктора Кольмана; машина была старая и дребезжала на ходу.

— Ты слышал, что сказал Айвсу отец?

Очевидно, речь шла о чем-то очень важном, так как его приятель даже забежал вперед, чтобы лучше видеть, как отнесется к этому Луис. Так он и шел, пятясь назад, ожидая, пока тот ответит. От возбуждения он казался моложе своих лет. Он был всего на год младше Луиса и почти одного с ним роста, но сейчас, когда он, сгорая от нетерпения, неуклюже подпры-

гивал на ходу, ему можно было дать не четырнадцать, а десять или одиннадцать лет.

— Нет, а что? — спросил Луис.

— Ха, вот тебе раз, он не слышал! Нет, ты в самом деле не знаешь?

— Ничего я не знаю.

— Отец будто бы сказал Айвсу: выбирай, мол, одно из двух.

— Что выбирать?

— Да разве ты не слыхал? Мне еще вчера рассказывали.

— Ну, говори же, что? О чем ты толкуешь?

— Колледж или машину, — торжествующе выпалил мальчик, вприпрыжку пятясь назад. — Айвс может поступить в колледж или получить машину — на выбор. Так ему сказал отец. Выбирай, мол, или то, или это. Неужели ты не слышал?

— Так прямо и сказал? — Луис изумленно уставился на приятеля. — Ты чего-то путаешь. Откуда ты это взял?

— И ничего я не путаю. Он так и сказал. И все про это знают, кроме тебя. Он так сказал, уж это верно. Здорово, правда? А что бы ты на его месте выбрал?

— Колледж, — сказал Луис, думая об Айвсе, о его отце и об этом странном предложении.

— Колледж! Ну ладно, но я про машину спрашиваю,— если б ты взял машину, то какую?

— Но я бы не взял машину. Это же глупо, Чурка.

— Как сказать! Спорим на что угодно, что Айвс захочет машину. И спорим, что и другие на его месте тоже захотели бы машину. Ну, а все-таки, если б ты взял машину, то какую? Если б все-таки захотел машину?

Луис отказался выбирать машину, зато Чурка выбрал несколько и стал расписывать их достоинства, чтобы подразнить упрямого Луиса. Целый квартал они прошли молча.

— Я тебе объясню, в чем тут дело, — сказал наконец Луис. — Всякие там машины — это просто обломки, выброшенные потоком исследовательской мысли, — искоса он быстро взглянул на своего приятеля, — заработная плата для рабочих и прибыль для капиталистов. А в колледже ты находишься на гребне волны... — он помолчал, но не повернул головы, — которая уносится все дальше, в безбрежный океан неведомого.

— Эк, загнул!

— Между прочим, это истинная правда. Звучит как-то чудно, потому что это из книжки, но тут каждое слово правда.

— Ну тебя с твоей толстухой Оливер!

— Оливер — молодчина.

Чурка опять вприпрыжку забежал вперед, насмешливо глядя на Луиса.

— Толстуха Оливер считает, что ты тоже молодчина. Толстуха Оливер говорит, что у тебя блестящие способности. И я знаю еще, что сказала про тебя толстуха Оливер. Ах, эти прекрасные глаза!

Луис локтем отпихнул мальчика, а потом угрожающе шагнул к нему.

— Не толкайся.

— А ты не трепи языком!

— Тоже мне, растолкался!

Еще почти два квартала они прошли молча; в конце улицы показалась спортивная площадка перед школой. Уже были видны мальчики и девочки, идущие по дорожкам к дверям школы и группками стоявшие на лужайке; судя по всему, звонка еще не было. Вдруг Чурка вырвался вперед.

— Ну, пока, — крикнул он через плечо.

Чурка бежал по тротуару, пока не поравнялся со школой, находившейся на другой стороне улицы; перебежав мостовую, он присоединился к мальчикам, кучкой стоявшим на лужайке. А Луис все замедлял и замедлял шаг и наконец почти остановился, стараясь разглядеть, кто там стоит, в этой группке. Вдруг он повернулся и перешел улицу; на этой стороне под прикрытием домов, подступавших к самой лужайке, он мог не спешить и идти, как ему вздумается. Он выхватил одну из трех книг, которые нес под мышкой, стал подбрасывать ее в воздух, хлопать себя по колену и балансировать ею, поставив на ладонь. Так Луис коротал время, пока не раздался звонок. Теперь ему снова стала видна лужайка перед школой, но группки уже распались, и Луис не видел никого из тех, с кем он избегал встречаться. Он почти бегом пересек лужайку, подбрасывая ногой книгу, как футбольный мяч.

Луис повернулся, вернее, попробовал повернуться в кровати. Что-то мешало ему, и он подумал (впрочем, мельком), что надо бы сосредоточиться на этом. Он приоткрыл глаза и тотчас же перестал слышать негромкое дребезжание повозки и отдаленный гул голосов — где-то, квартала за два отсюда, остановился автобус, привезший пассажиров из Санта-Фе. Но Луиса не покидало ощущение книги в руке. Он опять прикрыл веки, оставив узенькую щелочку, сквозь которую разглядел, что Бетси повесила его часы в ногах кровати так, чтобы он мог их видеть; но он не заметил, сколько на них времени, ибо, смутно забеспокоившись, что опять позволяет себе предаваться бессмысленным воспоминаниям (впрочем, это было скорее отвлечением, которое вряд ли можно назвать бессмысленным), увидел массивную фигуру мисс Оливер, грузно идущую ему навстречу. Она что-то говорила, перебирая пальцами бусы из кораллов, или янтаря, или поддельного жемчуга (а иногда и яшмы),— у нее всегда были на шее какие-нибудь бусы, — расхаживала между партами, и в ней, как всегда, материнская озабоченность сочеталась с девичьей порывистостью.

— Иногда я задаюсь вопросом, да знают ли люди, что такое наука! Вы, надеюсь, будете иметь хоть какое-то представление о ней, и это для меня большое утешение.

Да, трудно понять, спит он или бодрствует. Он улыбнулся этим словам, сохранившимся в его памяти с давних времен, но через секунду уже был не в состоянии определить, слышал он их сейчас или нет. Затем плотно закрыл глаза, и тогда стало похоже, будто мисс Оливер была реальной и он спугнул ее. Он глядел в вытеснившую ее пустоту — и, казалось, снова стал ребенком и заглядывает в темную комнату, где может таиться все что угодно.

Чувство растерянности и мысль, что он нарочно (или вынужденно) старается от чего-то отвлечься, цепляясь за эти невинные и безобидные воспоминания, вдруг исчезли, оставив после себя пустоту, но ощущение книги в руке не проходило, а может быть, это ему только казалось; а то, что он видел перед собой (не часы) или сбоку, тоже, наверное, только показалось. Его ленивые воспоминания о незначительном, почему-то хорошо запомнившемся эпизоде текли не так, как следовало бы. Но из пустоты, подавляя все ощущения и мысли, заполняя собой все зримое пространство, снова выступила мисс Оливер.

Волосы у нее были медного оттенка, шелковистые, свернутые аккуратным узлом.

— Вы, надеюсь, будете представлять себе, что такое наука, и это для меня большое утешение. По крайней мере, вы не станете думать, будто кто-то попросту говорит себе — ну что ж, пора, пожалуй, изобрести до-

менную печь, дай-ка я открою одну из тайн природы — раз-два, и готово! Боже мой, как могут люди верить в такую чушь — ведь это все равно, что ставить телегу впереди лошади. Правильно сказано в библии. Наверное, некоторые из вас помнят это место...

Мисс Оливер любили все, даже те ученики, которые тупо глазели на нее во время уроков, даже те, кто за спиной называли ее Толстухой Оливер, даже родители, время от времени поднимавшие вопрос о замене ее мужчиной, который мог бы придать занятиям более практический и, может быть, профессиональный уклон, а заодно, быть может, тренировать ребят для состязаний по бейсболу и баскетболу. Для родителей, взбудораженных чудесами двадцатых годов, вся наука была втиснута в учебник, словно засушенный цветок, но стоило эту же самую науку вытащить из учебника и назвать техникой, как она расцветала пышным цветом. Существовало широко распространенное мнение, что женщине тут никак не справиться. Мисс Оливер, как известно, разрешили преподавать естествознание исключительно из уважения к Марии Кюри; к тому же, из трех кандидатов, претендовавших на это место в школе, ей полагалась наименьшая оплата. Но то было уже много лет назад.

— ...в Книге Иова Иов говорит: «Обратись к земле, и она станет учить тебя». Так и поступали все великие люди. Так поступил и Лавуазье. Ведь именно так он и поступил, впервые проделывая тот опыт, который вы делаете сейчас. Он обратился к земле! Он хотел узнать, что происходит, когда горит огонь, и если люди потом извлекли пользу из его открытия, — а великие открытия всегда имеют огромное практическое значение, неизмеримое практическое значение! — то и пусть себе, на здоровье. Что до него, то он старался выяснить, что происходит, когда горит огонь. Боже мой! Разве этого недостаточно?

Школа не могла похвастать богатством лабораторного оборудования, да и то, что там имелось, мисс Оливер не всегда использовала наилучшим образом. Но у нее был один любимый опыт, и она с удовольствием следила, когда ученики делали его на уроке. Она любила расхаживать по классу (среди учеников не было ни одного старше восемнадцати лет, большинство юношей, но были и девочки) и думать о том, что все они — даже самые отсталые, даже те, у кого все это вылетит из головы прежде, чем затихнет звонок, возвещающий о конце урока, — что в эти минуты, сидя за единственным лабораторным столом и нагревая олово, чтобы получить окись, они ближе к познанию природы, чем любой ученый, живший во времена войны за независимость. Мисс Оливер хотела внушить им, что этот или другой, такой же, с виду незначительный опыт может произвести переворот в умах людей.

— Как бы мы жили сейчас, если бы не те исследователи, которые просто стремились к познанию? Уверяю вас, не было бы ни доменных печей, ни паровых котлов в подвалах. Какие дикие представления об огне были у людей совсем не так уж давно, хотя вам это, вероятно, покажется вечностью. Большинство таких понятий осталось еще от Средних веков, от алхимиков и ремесленников, плавивших металл. Ремесленники! Подумаешь! Только ученый, который захотел выяснить, что такое огонь, открыл нам истину.

Она медленно и грузно расхаживала по классу и обращалась не столько к ученикам, сколько в пространство, словно надеясь, что воздух впитает в себя смысл ее слов и мальчики и девочки, вдыхая его, поневоле усвоят те истины, которые она старалась им внушить. Мисс Оливер давно уже постигла, что наука — это единая и непрерывная цепь, и, охватывая взглядом всю цепь целиком, она не слишком заботилась об отдельных звеньях. Ученики слушали ее с относительным вниманием,

и факты, которые она путала или пропускала, казались не столь важными, как то, что она пыталась им втолковать.

— Веками люди только строили догадки о том, что такое огонь и горение. Конечно, ничего плохого в этом нет. В науке многое основано на догадках, имейте это в виду, хотя далеко не все они оказываются правильными. Природа любит, чтобы с ней советовались. Иногда в догадке уже наполовину заключен ответ. Задолго до Лавуазье жил человек, который сумел понять это. Я сейчас не припомню его имени, он умер молодым, но уже постигал истину, как постигали ее и другие. Послушайте, что говорил Исаак Ньютон. Он сказал: «Я видел так далеко вперед, потому что стоял на плечах у гигантов». Вы должны запомнить это. Великие люди учатся у своих предшественников. И всегда так бывает. Люди науки учатся друг у друга.

Исполненная благоговейного уважения к слову, как некий мистик-богослов, и с таким же равнодушием ко всяким мелочам, мисс Оливер вела своих учеников мимо кладовых знания и открывала перед ними дали, слишком обширные для их разумения, — по крайней мере, в то время. Луис следил, как она, тяжело ступая, ходит по классу, обращаясь в пространство и теребя свои коралловые (или агатовые) бусы. И однажды она вдруг взглянула на Луиса, примостившегося сбоку на табуретке, возле лабораторного стола, заметила на его лице жадный интерес и обратилась к нему.

— Ты понимаешь, о чем я говорю, правда, Луис? Повтори, пожалуйста, это своими словами. Объясни нам, в чем тут смысл.

— Ну, значит, — пробормотал он, помявшись, — вы сказали, что эти открытия, они... в них участвует много людей — так вы сказали...

Ей и в голову не пришло, что он просто смутился. Луис даже тогда понимал это. Для нее это было лишь еще одним привычным разочарованием. Но, как всегда, она продолжала свое.

— О, дети, дети, запомните же, чего достигли великие люди, движимые одним только желанием познать природу. И все это — самые реальные факты, наиреальнейшие из всего существующего на свете. Такие опыты — ведь это вопросы, которые задавали природе люди, а их открытия — ответы природы, от которых зависит вся наша жизнь, — вот что это такое! У Теннисона есть чудесные стихи:

Цветок на треснувшей стене,
Простой цветок в руках моих,
Тебя постичь бы только мне,
Тогда б я многое постиг,
Тогда б я...

— Ах, боже мой, всегда я забываю, как дальше. Кто из вас помнит?

Никто не помнил, как дальше; во всяком случае, никто не вызвался продолжать.

Но тут прозвонил звонок, и класс быстро опустел. Луис подошел к мисс Оливер, открыл было рот, потом закрыл его, постоял молча и затем быстро заговорил:

— Я эти стихи читал когда-то и вот сейчас подумал о том, что в этих стихах нет того, о чем вы говорили... Я хочу сказать, у Теннисона сказано, что вот держишь в руке цветы, и если б только постичь... но дело-то не в этом. Сами цветы ничего не скажут, надо знать, что хочешь выяснить, правда ведь?

Мисс Оливер рассмеялась.

— Да, конечно, но за вопросами дело не станет. Есть еще столько, о, столько неизвестного, что нам предстоит разгадать. Да ты и сам знаешь.

— Да, знаю, но я говорю о другом. Не находятся ли ответы на все вопросы здесь, вокруг нас, не ждут ли они, чтоб мы на них натолкну-

лись,— вот, что я хочу сказать. Может, самое главное — знать, с чем спрашивать?

— Да, пожалуй, можно считать и так. — Однако мисс Оливер пришла в некоторое замешательство. — Впрочем, мне кажется, необходимо знать, что было сделано прежде, — понимаешь, все ответы на прежние вопросы,— если хочешь правильно определить свою цель. Разве не так?

— Да, знаю, — повторил Луис. — Но вы нам рассказывали, что настоящие открытия возникают не из собирания фактов, хотя и это необходимо. Но потом надо истолковать эти факты и правильно поставить следующий вопрос. То есть, надо либо поставить вопрос, либо сделать опыт, но так, чтобы вроде как прыгнуть вперед. Понимаете, что я хочу сказать? Надо сделать что-то такое, чтобы вырвать ответ. А в этих стихах совсем наоборот. Важны вопросы, а не ответы. Именно вопросы. Вам не кажется?

С минуту они стояли молча, и между ними как бы повисли эти сбивчивые, но довольно точные, хотя и слишком выспренние слова, определявшие миссию ученого; и вдруг Луис, что-то пробормотав, бросился вон из класса...

— Если я забуду тебя, о, мисс Оливер... — пробормотал он сейчас — вернее, ему показалось, что он пробормотал это.

Что же было потом?

...к Чурке и другим мальчикам на лужайке, встретившим его насмешками.

В ногах кровати часы: «Дедушка завещал их тебе, сынок. Они все еще хорошо идут».

А на подоконник того окна, что выходит на пруд, где играют дети, кто-то поставил цветы в банке.

Что же было потом?

— Он всегда норовит остаться и секретничает с нею. Ждет, пока все разойдутся, а потом идет к ней, и они вдвоем секретничают.

— Ах, эти прекрасные глаза!

— Вот и я говорю.

Луис согнул и рывком разогнул ноги (сбросить одеяло оказалось легче, чем он ожидал; теперь, если ему удастся подтянуть кверху больничную рубашку, быть может, он увидит то, что должен видеть). Он рывком бросился к Чурке (но сейчас он вынужден двигаться осторожно, а почему — в этом он разберется попозже), который, подскакивая, описывал широкий полукруг по лужайке и кричал:

— Она сказала, у него красивые ресницы! Спроси у него, что она сказала про его ресницы! Вот это самое и сказала!

Что же было потом?

На замершей лужайке замерли все лица, все завтраки лежали нетронутыми: так возле дохлой собаки собираются живые, которые сбежались за несколько миль, чтобы обнюхать ее; на замершей лужайке стояла грузная мисс Оливер, греясь на солнце и ни на кого не глядя.

Что же было потом?

— Еврейские глаза!

Но это же не о цветке, не об истине, не о каком-то предмете.

— Еврейские глаза!

Не о мальчике, не о мужчине, не о человеке.

О чем же? Почему? (Опять вопросы.)

О двери, которая уже не откроется. Тикают часы, цветы колышутся.

Он медленно пошел по замершей лужайке и почти закричал:

— Мне плевать на то, что говорит Толстуха Оливер. Что бы она там ни говорила, мне безразлично,— и краска разлилась по его лицу, краска разлилась по всему его телу.

Тикают часы, и спящий двигает ногами, двигается всем телом, чтобы увидеть.

Но мальчики отступают к краю площадки, и глаза его загораются ярким, как солнце, блеском. Часы тикают, а вопросы похожи на цветы.

Если забуду тебя, о Иерусалим,
Пусть отсохнет правая рука моя,
Пусть прилипнет язык мой к гортани...
Если я забуду тебя, о мисс Оливер.

Мальчик пошел прямо через лужайку, прочь от всех, но глаза его блестели, словно вопрошающие глаза подопытного зверька, мятущегося между инстинктом и дверью, которая может открыться или не открыться.

Почему? (Но не на все вопросы находится ответ, и не всегда стоит спрашивать.)

Он шел и шел, хотя глаза его, горящие и жгучие, стали мягче от обиды, повлажнели от стыда и смотрят в одну точку. Вопрос: поддается ли эта дверь (та, что с цветком)?

Глаза красные, как солнце, густо-красного цвета, как эритема, появившаяся на животе Нолана в начале третьего дня (в соответствии с вычисленной дозой облучения) и уже не исчезавшая до конца; «реакция кожных покровов торса в данном случае представляет интересные особенности».

Тикают часы; глаза обращаются в сторону, и никто не может увидеть то, что видят они или что застыло в зрачках, можно только догадаться, да и то не всегда. Спящий двигается, и рубашка ползет кверху.

Глаза открываются, взгляд вбирает в себя часы в ногах кровати и цветок на подоконнике.

С улицы, за два квартала, доносится затихающий гомон пассажиров, которых привез автобус из Санта-Фе.

На часах еще нет семи; белеет заснувший цветок, простыни сбиты к ногам, рубашка сбилась кверху и открыла ноги, но только до колен.

3.

Уже совсем проснувшись, Луис некоторое время лежал не шевелясь; голые ноги его были согнуты в коленях, складки рубахи топорщились на животе. Все тело было неподвижно, только дыхание, тяжелое от недавних усилий, вздымало его грудь; он почти не помнил об этих усилиях, слишком глубоко он погрузился в залежи сна, во время которого ему снилось пробуждение,— но какой все это вздор и какая тоска во сне! Что за странный бред, когда и без того есть о чем подумать! Как долго не заживают, оказывается, старые раны!

Луис попробовал поднять голову и заглянуть поверх складок больничной рубахи. Но они заслоняют все, надо подтянуть рубаху повыше, и он еще раз попытался сделать это, сползая всем телом от изголовья вниз, потом снова подтягиваясь кверху; складки шевельнулись, но все осталось, как было. Еще минута, и он добьется своего, еще минута, и он сделает это: мысленно он уже взвесил свои возможности. Сегодня он не чувствует себя таким усталым, как вчера вечером, — усталым до того, что все кости ноют и бренчат, как говорила его мать. На нем еще сказывалось действие снотворного, но это легко устранить, это поверхностно — чашка кофе, и все пройдет. А вчера мысль о чашке кофе вызвала бы у него тошноту. Но и тошнота совсем прошла. Он чувствовал себя неплохо, только был слегка растревожен мыслями и немного ослабел от судорож-

ных движений. И вдруг у него возникло настойчивое желание посмотреть, что с его руками, а потом уже что-то делать или о чем-то думать.

Руки до локтей были погружены в лотки, стоявшие по обе стороны кровати. Левый лоток был плотно укрыт полотенцами; они промоздились уродливым холмиком, под которым его рука исчезала по локоть. Концы полотенец свисали во все стороны, и он не мог увидеть даже очертаний того, что было частью его самого. Он знал, что под полотенцами рука лежит во льду, хотя не чувствовал этого; он чувствовал только боль, идущую, казалось, откуда-то очень издалека, — вернее, даже не боль, а жжение. Оно не было нестерпимым, оно только ощущалось все время, хотя, пожалуй, меньше, чем вчера вечером. И лишь через несколько мгновений он сообразил, что лед, покрывавший вчера только кисть руки, теперь доходит до локтя.

Луис отвернулся. Он подтянул одну ногу как можно выше к животу (попутно отметив, что все ощущения нормальны), но и так ему ничего не было видно; все дело в том, подымется ли рубашка выше, если он опять вытянет ногу? Но рубашка не поднялась; жесткая ткань, казалось, последовала за ногой и, вся в складках и холмиках, легла еще ниже, чем прежде.

Луис слегка повернул голову и скосил глаза, стараясь рассмотреть правую руку. Край лотка доходил до места чуть повыше запястья; локоть опирался на сложенные полотенца, а кисть в лотке тоже лежала на полотенцах или между полотенцами, прикрывающими лед, но сама рука не была закрыта. Он смотрел на нее с любопытством, почти не сознавая, что это — часть его самого. Рука, лежавшая на своем холодном ложе, и в самом деле казалась посторонним предметом, а поддерживавшая ее полоска бинта, перекинутая через плечо к ближнему краю лотка, еще больше усиливала это впечатление. Прежде чем сделать попытку шевельнуть рукой, он с минуту разглядывал ее; рука сильно распухла, опухоль подымалась вдоль предплечья на несколько дюймов выше бинта; кожа не покраснела, она была скорее голубоватого оттенка, без пузырей и каких-либо ранок. Внимательно рассмотрев все, Луис, согнув локоть, попробовал шевельнуть рукой; она двигалась нормально, но кисти он не чувствовал. И опять он стал смотреть на руку, время от времени пробуя шевелить ею, но пальцы оставались неподвижными. Эта рука совсем не болела.

Взгляд Луиса упал на правый лоток. Как и левый, он был приставлен к кровати под углом примерно в сорок пять градусов. Судя по тому, что удавалось разглядеть под полотенцами, лед был придавлен резиновой прокладкой, а прокладка — чем-то вроде деревянной рамки. Порою, когда он двигал локтем, слышался шелестящий звук; Луис решил, что в лотке фунтов двадцать-двадцать пять льда, и по характеру звука решил, что, по крайней мере, четверть этого количества уже растаяла. Он рассчитал это машинально, без всяких мыслей или особых чувств, но совсем неожиданно ему представилась дикая картина: он, капризный калека, кричит растерявшимся сиделкам: «Льду! Черт бы вас побрал, давайте еще льду!» Эта картина не позабавила его, не вызвала в нем никакого интереса и тотчас же исчезла. Луис чуть наклонился к лотку, чтобы посмотреть, на чем он стоит, но ему мешал борт кровати и полотенца. Он снова стал разглядывать руку, и на этот раз припомнил историю, слышанную им несколько лет назад в родном городе, от одного врача; этот врач выдал свидетельство о смерти руке плотника, которую отрезало циркулярной пилой. Получив свидетельство о смерти, плотник сколотил для руки маленький гробик и вместе со всей семьей похоронил ее на кладбище, где хоронили его родственников.

«Если глаз твой искушает тебя», — почти вслух произнес Луис. И опять, как прошлым вечером, он быстро повернул голову к двери. Дверь

была немножко приоткрыта; он знал, что ночная сиделка должна быть недалеко, в коридоре за углом; видеть ее он не мог, но слышал чье-то сонное дыхание — впрочем, трудно сказать, сиделка ли это или больной в соседней палате.

И снова он занялся своим телом. Внезапно и порывисто он выгнул спину, сильно напрягая мускулы шеи, оперся на затылок, вытянул ноги, приподнял ягодицы под простыней и в этом положении извивался и ерзал, стараясь поднять над животом проклятую рубашку, которая шевелилась от его движений, но не подымалась выше ни на дюйм. Он расслабил мускулы и, тяжело дыша, упал на постель. И сразу же начал проделывать целую серию движений: слегка приподнимал туловище, чуть-чуть сползая вниз, изо всех сил упирался головой в подушку и снова подтягивал туловище вверх, чтобы начать все сначала. Он не спускал глаз с рубашки на животе — рубашка натягивалась, морщилась, скользила то вверх, то вниз; однажды ему показалось, что он видит на одной ноге границу загара, идущую пониже паха до середины бедра, и незагоревшую кожу там, где тело бывает закрыто трусами. Но в следующую же секунду рубашка опять скользнула вниз, и он не был уверен, не померещилось ли ему это. Дыхание его участилось, на груди выступил пот; он несколько изменил движения и стал раскачиваться туловищем из стороны в сторону, проклиная свои трусы — то были плотно прилегающие плавки — и проклиная жесткую, неподатливую рубашку. Через некоторое время, показавшееся ему бесконечно долгим, он выдохся и затих; глаза его налились слезами, и он проклинал все, что приходило ему на ум. «К чертям собачьим, к чертям собачьим»,— снова и снова повторял он, сначала шепотом, потом вслух.

Наконец он выбился из сил и опять лежал молча. Испарина, выступившая от напряжения, холодила его; ноги застыли, и все его тело стыло от холода, кроме лежавших во льду рук, которые ничего не чувствовали. Боль в левой руке, казалось, существовала сама по себе, отдельно. Источник ее как будто находился где-то за краем кровати, в воздухе, боль проникала в руку в каком-то неопределенном месте. И кончалась тоже в каком-то неопределенном месте или в нескольких местах, не сразу, а постепенно переходя в пульсацию, которая в одном месте была слабее, чем в другом, и где-то затихала совсем.

Но это неважно, думал Луис, — немножко больше или меньше болит, вот и все. Ожог, опухоль, обмораживание — все это причиняет боль; как много болезненных явлений начинается с буквы «о», подумал он с мимолетным любопытством. Огонь, отравление, обморок... И облучение, добавил он про себя. И осколочные бомбы. Впрочем, бомбы — это уже вызывает другие, чересчур сложные размышления, и Луис поскорее ухватился за свою первую мысль: боль, будь она сильнее или слабее, сама по себе несущественна. Ведь боль — это только деталь; рука, лежащая где-то там, под кучей влажных полотенец, гораздо важнее. Впрочем, думал он, рука — это тоже деталь; не все ли равно, одной рукой больше или меньше? Он прислушался к себе, ожидая, что внутренний цензор его оборвет — нельзя же так распускаться, ведь это явная глупость. Но ничего такого не произошло, и мысль застряла у него в мозгу. Он скосил глаза на правую руку, она далеко, но, по крайней мере, видна; это неважно, сказал он себе, это не так важно. Он повернул локоть, и кисть руки повернулась тоже; он положил локоть на прежнее место, и кисть тоже легла на место. Самое главное... но он не стал додумывать, что же главное. Он остановился — не из страха, а из-за внутренней растерянности: он не знал, как определить главное, и, по правде, не мог сосредоточиться, чтобы найти то, что надо определить.

Глаза его устремились на часы, висевшие в ногах кровати; стрелки показывали одиннадцать или двенадцать минут восьмого. Он смутно припомнил, что когда смотрел на них в последний раз, было без нескольких минут семь, но не может быть, чтобы прошло так мало времени; наверное, он смотрел на часы вчера вечером, или, может, они остановились — ведь некому было их завести. Кто будет заводить их? — подумал он.

Неужели я умру?

Он произнес про себя эти слова ясно и отчетливо, смутно догадываясь, что, кажется, неожиданно напал на самое главное. Но слова эти не произвели на него особого впечатления. Это был вопрос, который не касался лично его. Они могли быть произнесены in vacuo* и не помогали сосредоточиться. Слова эти мелькнули в его мозгу и унеслись прочь, без ответа, даже не являясь, в сущности, вопросом, — просто промелькнули и улетучились.

И когда они улетучились, Луис обнаружил, что снова или все еще думает о своих руках. А потом его вдруг бросило в дрожь, по голым ногам побежали мурашки, сердце заколотилось. Он закрыл глаза, изнемогая от сердцебиения, и в темноте, за плотно закрытыми веками как бы услышал свой настойчивый крик: «Нет! Нет! Руки — это важно! Руки — это самое важное!» Что он вкладывал в эти слова, Луис и сам не вполне понимал или, во всяком случае, не стал задумываться; то была даже не мысль, а ощущение. Но и оно прошло вместе с дрожью, сердцебиением и мурашками.

Луис опять принялся разглядывать больничную рубаху. Он подтянул обе ноги к животу, распрямил их, потом согнул и разогнул каждую ногу отдельно, но делал это без особой энергии. Суть в том, подумал он, вспомнив слова из старого анекдота, что по моим расчетам отсюда туда никак не добраться. Он мог слегка соскользнуть от изголовья к ногам кровати и обратно, но этого было недостаточно; он мог выгнуть тело, но не так, как надо; сгибая ноги, он сдвигал рубашку вверх, но все же, до того места, которое он хотел увидеть, оставалось еще несколько дюймов, и какие бы движения он ни придумывал, ничто не могло сдвинуть ее повыше. Во всяком случае, так казалось, да, так ему казалось. Когда не действуют руки, человек уподобляется животному; вот отличный пример того, подумал он, какое огромное значение имеет способность человека коснуться большим пальцем указательного.

Эта невеселая мысль доставила Луису смутное удовлетворение, и он полунасмешливо, полусокрушенно кивнул головой. Но не только удовлетворение помешало ему понять, что этот пример, в сущности, не совсем убедителен, — сказывалась и некая пассивность, причины которой коренились не только в его теперешнем состоянии. Луис опять покосился на свою незакрытую руку и вдруг вспомнил обезьяну, которая научилась сбивать палкой слишком высоко висевшие бананы. До чего моя рука похожа на палку, мелькнуло у него в голове, а кисть — на набалдашник или узловатую култышку. Последовать примеру обезьяны ему мешала полоска бинта, которой привязали его руку к лотку доктор или сестра, хотя он не помнит, когда это было: но, значит, так надо, в этой палате свои особые, кем-то другим установленные законы, и он должен им подчиняться, и во всяком случае, повязка служит непреложным доказательством его бытия. Но наряду с удовлетворением, впрочем чисто умозрительным, и с пассивностью, владевшей им только отчасти, ему мешало еще и нечто другое — так сказать, ощущение непригодности средств, то есть сознание, что рука его совершенно бесполезна, ибо она утратила способность делать изощренные движения, которые составляют главное

* В пространство *(лат.)*.

достоинство, красоту и ценность человеческой руки. Думая о том, как легко было бы рукой приподнять рубашку на животе, он представлял себе только здоровую руку, которая приподняла бы ее большим и указательным пальцами.

Часы оттикали еще пять минут, прежде чем его выдержка начала слабеть перед лицом действительности, слишком простой для таких умозаключений.

— Идиот я,— прошептал Луис. Он приподнял руку, проверяя, крепко ли держит ее бинт; оказалось, как и можно было предположить с виду, что полоска бинта только слегка придерживает руку, чтобы он не дернул и не вытащил ее во сне из лотка. Даже опухшей рукой он смог бы, действуя медленно и осторожно, снять этот бинт; так он и сделал. Он поднял руку и перенес ее через кровать, сделав почти то же самое движение, что и два дня назад, перед тем как стрелки измерительных приборов на лабораторном столе начали свою бешеную пляску. Кисть и предплечье на секунду очутились в таком же положении, как и в ту секунду, когда он опустил последнюю маленькую плашку расщепляемого материала в реактор и тотчас же увидел слабую голубоватую вспышку, исчезнувшую оттого, что он стукнул кулаком по котлу прежде, чем мозг успел зарегистрировать, что означает эта вспышка. Теперь мозг его непроизвольно восстановил все случившееся тогда, и рука чуть замедлила свое движение, потом опустилась, и кисть, твердая и массивная, ничего под собой не чувствуя, легла пониже больничной рубашки на обнаженное бедро, которое ощутило холодную тяжесть руки.

4.

Доктор Педерсон, будучи холостяком, занимал одну комнату в мрачном двухэтажном строении, отведенном под жилье холостякам. Это общежитие, выстроенное на скорую руку и покрашенное в темно-зеленый цвет, было одной из первых построек, возникших на плато в начале 1943 года, вскоре после того, как там появились армейские бульдозеры. И хотя здание осело посредине и всякий гвоздь свидетельствовал о том, что строили его не на долгие годы, все же выглядело оно в общем вполне прилично, а из каждого окна открывался великолепный вид. Весной 1946 года общежитие вмещало шестьдесят восемь человек, главным образом младших представителей (то есть, опубликовавших всего несколько работ) высших классов городской иерархии (то есть, они были физиками или химиками).

Единственное окно комнаты доктора Педерсона выходило на запад, прямо на горы Хемез, которыми в первые недели жизни в этом доме он восторженно любовался по утрам и вечерам; прекрасный вид несколько примирял его с возмутительным отсутствием собственной ванны и был увековечен в письмах к родителям, которые жили на востоке страны. В этих письмах доктор Педерсон не упускал случая с мрачной иронией пройтись по поводу того, что здешние места, эти чудесные древние горы, используют для производства атомных бомб. Но то было давно; впоследствии доктор Педерсон стал гораздо больше интересоваться передним планом открывавшегося перед ним вида, передний же план включал в себя множество предметов, а главное — «Вигвам», с его террасой, стоявший по ту сторону красивейшей в Лос-Аламосе лужайки — зеленой полоски ярдов в сто или немногим больше. «Вигвам», бревенчатый двухэтажный дом с зеленой лужайкой, был самым значительным наследием, оставшимся от скотоводческой школы для мальчиков, которая мирно существовала на этом месте лет двадцать до того дня, как молодой физик, влекомый воспоминаниями о здешних красотах, привез сюда генералов, чтобы

прикинуть, насколько удобно это плато. «Вигвам», служивший для мальчиков местом сборищ и столовой, был использован учеными и военными почти в тех же самых целях. Вдоль всего фасада тянулась широкая, вымощенная каменными плитами терраса. На ней в часы обеда или ужина и вообще в свободные часы, когда позволяла погода — тем более сейчас, с наступлением весны, — те из обитателей города, кого не отпугивали здешние цены (в кафетериях все было гораздо дешевле) и кто имел достаточный общественный вес (в «Вигваме» царила атмосфера офицерского клуба), приходили сюда поесть, выпить и посплетничать. Для именитых посетителей были припасены десяток хорошо обставленных комнат на втором этаже. Доктор Педерсон постепенно стал находить немалое удовольствие в наблюдении за «Вигвамом» и его террасой, он знал, кто с кем там встречается, а полосатые зонты, которые по утрам раскрывались над столиками, будили в нем приятные воспоминания о родном городе в штате Массачусетс и о загородном клубе, куда он в юности ходил на танцы.

В это утро Чарли Педерсон проснулся гораздо позже, чем обычно. Было уже больше половины девятого. Накануне он читал до четырех часов ночи. Он делал кое-какие заметки и пришел к выводам, сущность которых заключалась в том, что из всех врачей, собравшихся для лечения Луиса Сакса (и, разумеется, прочих пострадавших), только он один не приговорил заранее своего пациента к смерти. Накануне вечером врачи устроили совещание в больнице, и он с самого начала был неприятно поражен, а под конец почти поверил, что положение безнадежно. Но утром он встал злой и недовольный.

До ванной было слишком далеко — шагов пятьдесят по коридору. Педерсон удовольствовался душем и умывальником. Одеваясь, он перебирал в уме все, что сумел извлечь из прочитанного и передуманного за ночь. Обнадеживающего, надо сознаться, было очень немного, но кое-что требовало выяснения.

— Если все сопоставить... — сердито сказал он своему отражению в зеркале.

«А кто знает что-нибудь наверняка?» — выглядывая в окно, подумал он, уже без злости, а скорее грустно.

На террасе «Вигвама» виднелось всего три человека. Один сидел отдельно, развернув перед собой газету. Это был Эдвард Висла; его грузную фигуру и чопорную осанку легко узнать даже когда он сидит. На другом конце террасы за столиком сидели молодой человек и девушка. Девушку Педерсон видел впервые; на ней был желтый, бросавшийся в глаза жакет; положив локти на стол, она подалась вперед, глядя в лицо молодому человеку. Это Вейгерт, молодой физик, которого Педерсон знал только издали,— как врач, он знал в Лос-Аламосе всех. Педерсон только мельком взглянул на Сиднея Вейгерта и девушку. Взгляд его остановился на Висле, и опять он ощутил прилив злости.

«Чего, в сущности, можно ждать от этих ученых, не считая таких как Луис, — ну вот от тебя, например? — думал Педерсон. — Выдающийся, почти автоматически работающий ум, знаменитый ученый — хорошо, я не спорю, но знаешь ли ты, что такое преданность, или надежда, или даже дружба? Ведь ты же друг Луиса или считаешься его другом. Что ты смыслишь в таких вещах? Ничего ты не смыслишь. Точные науки бездушны, они этому не учат. В твоей науке и слов таких нет, ей чужды даже еще более простые понятия, которые так важны для человека, без которых немыслима человеческая жизнь. Твой друг, что же с твоим другом? Конечно, ты пожимаешь плечами, на лице твоем застывшая улыбка, «боюсь, что все это напрасно», говоришь ты, «боюсь, что это напрасно»:..

На террасе Висла перевернул страницу газеты, а Педерсон в окне своей комнаты покачал головой.

Потом он принялся собирать прочитанные материалы. На секунду он остановился, глядя на лежащий сверху тоненький оттиск статьи из медицинского журнала под заглавием: «Действие доз общего облучения на распределение радиоактивного натрия у крыс». На одной из страниц этой статьи Педерсон нашел подтверждение своих надежд, о которых он рискнул заговорить на вчерашнем совещании, когда Висла несколько раз пробубнил ему в ответ: «Боюсь, что все это напрасно». Но сейчас Педерсон только взглянул на заглавие и вышел из комнаты. Он решил пойти прямо в больницу; там, если захочется, он выпьет кофе, а больше ничего ему не нужно; выйдя на лужайку, он решит, стоит ли заговаривать с Вислой, и если да, то что ему сказать.

На террасе Висла громко рыгнул, безмятежно огляделся вокруг и перевернул страницу газеты. На другом конце террасы девушка обернулась и посмотрела на Вислу.

— Это тоже великий человек? — спросила она Вейгерта. Глядя на него, она улыбалась оттого, что ей было смешно, и от переполнявшей ее влюбленности.

— Это сам Висла, — сказал Вейгерт, тоже улыбаясь и по той же самой причине. — Это единственный, неповторимый Висла. Разве ты не узнала его по фотографиям?

Девушка украдкой еще раз взглянула на Вислу.

— Пожалуй, нет. Не думаю. По-моему, мне его фотографии не попадались.

— Ну, ты же знаешь, кто он такой. Он здесь уже не живет. Ставит крупные опыты в Вашингтоне.

Девушка кивнула, желая показать, что она тоже кое-что понимает.

— Во всяком случае, — продолжал Вейгерт, — и фотографии, и то, что сейчас перед нами, — неважно, надо видеть Вислу таким, каким я видел его как-то прошлой зимой на вечеринке, — это было незабываемое зрелище. Вечеринку устраивала британская колония, то есть работающие здесь англичане; они иногда устраивают отличные вечера, особенно хорош был один после взрыва в Аламогордо — они решили отпраздновать это событие. Вот где было веселье! И когда все расходились домой, Висла замотал голову огромным красным шерстяным шарфом, шею — другим шерстяным шарфом, а на себя нацепил бог знает сколько свитеров и пиджаков — представь себе бесформенный ком, из которого со всех сторон выпирают комки поменьше. Он был похож — прямо не знаю, на что он был похож. Незабываемое зрелище! Он — австриец.

— По-моему, он не похож на ученого.

— Ох, Сара, скажи на милость, неужели ученые должны выглядеть как-то особенно? Тебе совсем не к лицу такие слова. Это точно из дамского журнала.

— Ты боишься, что я скажу такое, что тебя смутит. Ничего, нас никто не слышит. По-моему, ты похож на ученого.

Из двери «Вигвама», неподалеку от столика Вислы, вышел доктор Берэн. Он глубоко втянул в себя воздух, постоял, глядя на пик Тручас, потом заметил Вислу и подошел к нему.

— Не могу понять, зачем вы сидите в таком пекле, как Вашингтон, когда у вас есть возможность жить здесь, — сказал Берэн. — Я побывал в Вашингтоне во время войны. Ужас!

Висла кивнул. Он едва посмотрел на Берэна, но отложил газету, когда тот сел рядом, и чуть-чуть подвинул к себе чашку с кофе. Выпрямившись, он повел глазами сначала в одну, потом в другую сторону, как бы оценивая окрестный пейзаж с точки зрения восхищенного Берэна. Затем он взглянул прямо на Вейгерта, который сразу умолк.

— Отхожее место мира, не правда ли? — вдруг сказал Висла. — Однако, там засели враги.

— Какие враги?

— Наши враги — это невежество, равнодушие, апатия, а также подозрительность. Орудие этих врагов — армия. И главный штаб их находится в Вашингтоне.

Берэн улыбнулся и покачал головой.

— О нет, мистер Висла, такие враги не имеют главных штабов. Скорее филиалы, и не только в Вашингтоне, а всюду.

К столику подошел официант, и Берэн заказал завтрак.

— Конечно, если вникнуть в дело, — говорил Вейгерт своей девушке, не спуская глаз с Вислы, — то теперь он уже не физик, а кулуарный деятель. А в свое время он делал чудеса. Это он ставил самые первые опыты, подтвердившие возможность расщепления. Он был одним из тех, кто возглавлял атомные исследования с самого начала.

— Как же борются с этими врагами? — спросил Берэн Вислу.

Висла пожал плечами.

— Я вот все думаю о двух людях, носящих одну и ту же фамилию — Мэй. И сейчас они не выходят у меня из головы. В газетах пишут и о том и о другом; один сидит в тюрьме, другой — в конгрессе. Вы знаете Алана Нэнна Мэя? Получил десять лет за то, что выдавал русским какие-то сведения о ядерных исследованиях. Что он там мог выдать, понятия не имею, разумеется, ничего важного; чтобы делать бомбы, в стране должна быть достаточно крупная промышленность, а это ведь не тайна, которую можно выдать. В общем, он в тюрьме, а английские ученые — и кое-кто из здешних, конечно, и живущие в других местах — стараются опротестовывать приговор. Я их не осуждаю. Этот Алан Мэй — я его знаю, здесь он никогда не бывал, мы встречались в Чикаго и других городах,— он, разумеется, злоупотребил доверием. Его побуждения очень любопытны — глубокий идеализм, надежды на мир между нациями, вера в научное значение его работы. Это очень опасно, чрезвычайно опасно в сильном человеке и крайне раздражает в слабом. Конечно, его следовало засадить в тюрьму, но, конечно же, приговор опротестован.

Берэн откинулся на спинку стула, заложив большие пальцы рук в карманы жилета. Он не смотрел на Вислу, а, чуть скосив глаза, следил за Педерсоном, шедшим по лужайке.

— «Будь верен самому себе, — произнес он после паузы, глядя на Педерсона,— и тогда ты не сможешь фальшивить с другими — это так же верно, как то, что день сменяет ночь».

Висла громко хохотнул.

— Ладно, ладно, — сказал он. — Уж будто это всегда так? А что если нет? Так вот. Другой Мэй, Эндрю, тот, что в конгрессе, хотел провести закон, по которому все мы должны были поступить в распоряжение армии. Его побуждения тоже весьма любопытны — подозрительность, почти полное непонимание, а также равнодушие. Если сам не можешь позаботиться о последствиях, значит, надо сбагрить заботу кому-то другому. Если сам ничего в деле не понимаешь, а главное, не желаешь понимать, то становится страшно. Подозрительность рождает страх. Делать побольше бомб, поручить это армии, и потом — бац! Ну? Разве этого Мэя не следовало бы посадить за решетку вместе с его однофамильцем? А может, он и не того еще заслуживает.

— Этот Мэй называется Представителем, — сказал Берэн, разглядывая Вислу и забавляясь про себя. — Он представляет.

По лужайке медленно шел Педерсон, Берэн опять повернулся и стал следить за ним глазами.

— Был законопроект о передаче всех работ по атомной энергии в ведение армии, — говорил Вейгерт. — Висла и другие явились в Вашингтон, стали обрабатывать конгрессменов и произносить речи. И надо отдать им должное, провалили законопроект. Нужно же было кому-то открыть глаза людям на происходящее. Но все равно, ученый прежде всего должен заниматься наукой. А Висла и до войны был таким же. Половину своего времени он тратил на всякие разговоры — добивался, чтоб правительство поняло, насколько важно расщепление атома. Если б не Висла и некоторые другие, главным образом европейцы, никакой атомной станции у нас не было бы. И вот сначала он всех нас передает в руки армии, а потом заставляет армию убрать руки прочь. Я не возражаю, но все это — победы кулуарной политики. Его всегда к этому тянуло. И других европейцев тоже. И все-таки они — крупнейшие ученые. Очень странная штука. По-моему, такое разбрасывание вредит работе.

— Я согласна с тобой, Сидней, — торжественно произнесла девушка.

— Представитель должен представлять, — говорил Висла, — но может и предавать. И то и другое вполне возможно.

— Пожалуй, — согласился Берэн. Он все еще глядел на Педерсона, который остановился на лужайке футах в ста от террасы. — Но знаете что, — расскажите мне о Луисе Саксле, — продолжал Берэн. Он вынул из кармана две долларовые бумажки и положил их на стол. — Давайте пройдем вместе до больницы, — ведь вы туда направляетесь? — и вы немножко расскажете мне о Саксле, хорошо? Я слышал о нем, но мы никогда не встречались.

— Пожалуйста! — ответил Висла, отодвигая стул. — Все мы рано или поздно попадаем в руки врачей, не так ли? — Выбравшись из-за стола и стульев, Висла распрямил спину. Медленно и даже величаво он повернул голову сперва в одну сторону, потом в другую, заметил на лужайке Педерсона и слегка кивнул ему.

— Что же вам сказать о Луисе Саксле? — обратился он к Берэну. — Он проявил весьма неожиданное свойство — дал застигнуть себя врасплох. И враг его у нас отнял. Что же вам еще сказать?

И оба медленно зашагали вдоль края террасы по направлению к больнице.

Девять месяцев назад, когда умер Нолан, и несколько времени спустя Чарли Педерсон, как бы стараясь найти оправдание грустной гибели молодого человека, часто напоминал себе, что Нолан в тот вечер совершил глупейшую ошибку, когда там, в каньоне, вопреки всем правилам, просто ради шутки стал делать опыт, которого никогда не делал и не должен был делать. По словам некоторых друзей, Нолан задумал приспособить лабораторные приборы таким образом, чтобы предопределить их показания, — то есть подстроить все так, чтобы у Луиса Саксла, когда он проделает этот опыт завтра, получились бы заранее предсказанные Нолаком результаты. Молодые ученые, работавшие в каньоне, иногда заключали между собой пари на то, какими будут показания приборов; каждый ставил доллар и старался угадать. Нолан поставил шесть или семь долларов, но дело, конечно, было не в деньгах — ему просто хотелось подшутить над Сакслом.

В памяти Педерсона, да и других тоже, эти обстоятельства несколько заслоняли трагизм происшедшего. Время шло, и Педерсон вспоминал о Нолане все с меньшей грустью, и все больше думал о том, что ему выпало на долю принимать участие в лечении первой и единственной жертвы лос-аламосской атомной станции. Как жители Хиро-

симы, которые, говорят, стали гордиться той печальной известностью, которую приобрел их город, Педерсон со временем перестал грустить и начал немного гордиться тем, что имя его упомянуто в медицинском отчете об этом почти историческом случае.

Впрочем, особенно гордиться было нечем — прошлый опыт не мог сейчас сослужить ему службу. Педерсон нерешительно остановился посреди лужайки и, чувствуя, как злость уступает место отчаянию, глядел вслед Висле и Берэну, которые шли вдоль террасы под ярким солнцем, на фоне пестрых зонтов. И без всякой гордости, просто как о факте, он подумал, что ни один из врачей, вызванных для лечения Луиса Саксла, не знает о необходимых в данном случае мерах больше, чем он, — даже знаменитый Берэн, один вид которого внушал ему благоговейный трепет. Собственно, то была даже не мысль, а подсознательная уверенность — так бы он ответил, если б ему пришло в голову задать себе подобный вопрос. Берэн не может сказать ничего определенного; ну, хорошо, а он-то что может сказать Берэну? Ведь он, по сути дела, и не надеялся, что Берэн или кто-либо другой скажет что-то новое, так как знал, что сказать тут нечего; надеяться он мог только на самого себя. Душевное смятение привело в полнейший хаос все его образцово упорядоченные знания, и это позволило ему, вернее, даже заставило копаться в накопленных сведениях так, как он никогда еще не копался, заставило перебирать их, отбрасывать прочь, снова хвататься за отброшенное, рассматривать то с одной, то с другой стороны, искать нового и лучшего решения, воскрешать в памяти забытые подробности, чтобы установить некую связь, которая до сих пор оставалась незамеченной.

Стоя на лужайке с книгами под мышкой и в такт своим мыслям то порываясь вперед, то опять застывая на месте, Чарли Педерсон не переставал следить за двумя учеными, очень медленно сходившими с террасы. Раз или два Берэн мельком оглянулся на него. Но Педерсон видел, что он почти целиком поглощен тем, что говорит ему Висла.

Сидней Вейгерт, которому Висла кивнул на ходу, уловил из их разговора несколько слов и понял, что речь идет о лучевой болезни; во всяком случае, было произнесено имя Луиса Саксла, а это сейчас было одно и то же. Как бы оправдываясь, и даже не без тайного раздражения, он отметил про себя, что его гнетет мысль о Луисе. Девушка повернула голову, солнце заиграло в ее волосах над ухом, и это отозвалось в Вейгерте радостным трепетом. Но все равно, так же нельзя — сидеть здесь, через улицу от больницы, совсем близко от жертв несчастного случая, семерых людей, лежащих на больничных койках, и почти под самым окном Луиса Саксла, — сидеть и только отмечать, как бы регистрировать свои ощущения, не делая никаких выводов. Надо же считаться, хотя бы просто из уважения... Но разве можно не считаться с его подругой, приехавшей меньше полусуток назад, да и сам он... Ночью автобус привез ее из Санта-Фе, и она показалась ему такой прекрасной, и так славно было увидеть ее после одиннадцати месяцев разлуки. Вот сию минуту или через какой-нибудь час они пойдут в конюшню, возьмут заказанных лошадей и поедут в горы, в одно уединенное местечко, где забудут обо всем на свете, кроме друг друга, где их ждут радости, которые с каждой минутой кажутся все более удивительными...

Он увидел идущего по лужайке Педерсона. Если Педерсон подойдет поближе и заговорит с ним, она непременно спросит «кто это?», и тогда придется рассказать ей про несчастный случай; и она, без сомнения, расстроится, а это ни к чему; девушки, как известно, воспринимают такие вещи острее и чувствуют глубже, и она долго не сможет выкинуть все это из головы, хотя не знает ни пострадавших, ни обстоятельств катастрофы. Она только что приехала из города Альбион в штате Мичи-

ган, здесь все ей непривычно, и она будет чувствовать себя целиком зависимой от него. Такая мысль уже мелькала у него, когда он думал о предстоящих радостях. Сейчас она возникла снова, когда он стал думать о несчастном случае. Ведь если он все расскажет своей подруге, то не только исчезнет радость, сиявшая на её лице, как желтый жакет сиял в лучах солнца, но и он перестанет быть для нее поддержкой и опорой, — рассказ о происшедшем отдалит их друг от друга, и день для обоих будет испорчен. А главное, ничему этим не поможешь, и никому от этого легче не станет.

Но если Педерсон подойдет поближе, снова сказал себе Вейгерт, придется рассказать ей все. И пусть будет, что будет. Он заерзал на стуле и заметил, что с ее лица постепенно исчезает счастливое выражение, уступая место не то растерянности, не то тревоге. Все знают, как много он работал эти одиннадцать месяцев и как честно заслужил свой четырехдневный отдых; и он, и его подруга так ждали этих дней, так готовились к ним — нелепо же рисковать всем, о чем мечталось, и, уподобившись фаталистам, ждать, раздавит ли судьба твое счастье своею пятой или благополучно пройдет мимо. И все же, решил про себя Вейгерт, он будет ждать. Можно что-нибудь придумать, чтобы все повернуть по-своему, но это казалось ему нечестным.

Вейгерт улыбнулся девушке, чтобы успокоить ее, и в лице его ничто не дрогнуло, когда он краешком глаза увидел Дэвида Тила, появившегося на лужайке позади Педерсона; он услышал, как Тил окликнул Педерсона, и тот обернулся и пошел к нему.

5

— У нас здесь перепутье всех дорог, — говорила Бетси Пилчер. Она стояла в палате Луиса Сакса и старалась приладить жалюзи на окне, выходящем на улицу, так, чтобы сквозь них было видно как можно больше; глядя сквозь планки, она натягивала шнур то больше, то меньше.— Улицы тут не сходятся, но люди — безусловно. Могу вам рассказать обо всех, не двигаясь с места.

Она оглянулась через плечо на Луиса; он ответил ей улыбкой. И кровать, и все вокруг было приведено в образцовый порядок. Прошел час с тех пор, как Бетси вошла в палату и, вскрикнув, бросилась к Луису, одернула книзу рубашку, словно желая стереть красноту над границей загара, потом подняла его руку и, осторожно продев в петлю, уложила в лоток, и долго еще что-то бормотала и суетилась вокруг кровати, пока, наконец, не прошло напряжение этих первых секунд. В то мгновение встревоженный взгляд Бетси и почти отсутствующий взгляд Луиса встретились и разом устремились на его обнаженное тело, как на нечто такое, что может представить только клинический интерес. Бетси сразу же потянула его рубашку вниз. Потом, делая множество движений, казавшихся лишь вариантами одного и того же, она принялась хлопотать, привела и постель и его самого в порядок, подбавила в лотки свежего льда, вычистила Луису зубы и переменила воду в банке с цветком. Все это она успела проделать пока Луис держал градусник, а вынув градусник, слегка ахнула — на этот раз от радости. Температура понизилась на три десятых. Бетси не сомневалась, что это очень хороший признак, — она не то читала, не то слышала, что сильная доза облучения сопровождается медленным, но неуклонным повышением температуры. Ничего это не доказывает, подумал Луис, вспомнив, что медленное и неуклонное повышение температуры у Нолана перемежалось скачками то вверх, то вниз. Но он не стал додумывать эту мысль, хотя в ней было куда меньше горечи, чем в других недодуманных мыслях.

Они даже не говорили об этом нежданном облегчении; оно просто вошло в палату, как недавно вошла Бетси, и стало частью ее, как белевший на окне цветок. А потом в памяти его постепенно сглаживались и вскоре исчезли совсем те леденящие четверть часа до прихода Бетси, когда он тщетно пытался спустить на себе рубашку и тер рукой неподатливые складки (ибо если большой и указательный пальцы были не так уж необходимы, чтобы открыть глазам действительность, то скрыть ее без их помощи оказалось невозможным).

Немного было разговоров и об эритеме; доктор Моргенштерн, придя в палату, поглядел на нее и почесал кончик носа.

— Вы, наверное, скажете, что реакция кожных покровов торса в данном случае представляет интересные особенности? — спросил Луис.

— У вас тут небольшой ожог, — ответил доктор Моргенштерн, поглядев на Луиса сверху вниз; затем он поджал губы и бросил на Луиса уже более зоркий взгляд. Но об ожоге не сказал больше ни слова.

Приходил фотограф; он был очень смущен, долго возился с фотоаппаратом и осветительными лампами и упорно избегал глядеть Луису в лицо. Он снял обе его руки, снял живот, причем низ живота предварительно прикрыли маленьким полотенцем для рук. Во время этой несложной подготовки Луис и Бетси опять встретились взглядами, и на этот раз Бетси покраснела, а Луис, стараясь не краснеть, усмехнулся, но все равно покраснел тоже.

Потом он выпил полчашки кофе и немножко поел, принял кодеин от боли в руке и дал кровь доктору Новали для очередного подсчета лимфоцитов, нейтрофилов, моноцитов, красных кровяных шариков, тромбоцитов и прочего. И в течение последнего часа за всеми этими занятиями постепенно проходило тревожное напряжение, владевшее им с раннего утра.

— Что ж, расскажите, — ответил он сейчас Бетси.

— Вот прямо под окном идет великий Висла, — начала она. С Вислой шел Берэн, но она не знала, что сказать, поэтому умолчала о нем.

— А доктор Педерсон стоит на лужайке с таким видом, будто он заблудился. Может, так оно и есть, потому что ему давно пора быть в больнице.

— Наверно, он здорово нагружен.

— Нагружен?

— Книгами, журналами и так далее.

— Да, под мышкой у него что-то есть. Пожалуй, верно... вчера вечером он унес какие-то папки.

Бетси с любопытством взглянула на Луиса; лицо у него было спокойное, почти сонное; изголовье койки было приподнято, и он лежал чуть наклонно в сторону Бетси и окна. Она смотрела на него, и ей пришло на ум слово «умиротворенный»; просто возмутительно, что в палате скоро начнется и, собственно, уже началась толчея, что врачи и ученые будут беспрестанно входить и выходить, как вчера, вовлекая Луиса в бесконечные обсуждения и не давая ему ни минуты отдыха. Но помешать этому не в ее силах. Она вгляделась в Луиса, но глаза его смотрели не на нее,— трудно было сказать, куда они смотрели. Тем не менее, успокоенная выражением его лица, она опять отвернулась к окну.

— Не могу рассмотреть, кто сидит на террасе. Кто-то с незнакомой девушкой, — я хочу сказать, девушка нездешняя. А его я знаю, только не вспомню, как его зовут. А вот ваш друг Дэвид Тил идет по лужайке. Он очень симпатичный. Мне он нравится.

Кто-то оставил окно открытым во время дождя, думал Луис, наверное, Уланов, он лежал в этой палате дня два, когда сломал палец

на ноге, а он из тех людей, которые любят держать окна настежь и даже во время дождя не поленятся встать и распахнуть окно, если оно закрыто. Впрочем, неважно — кто. Полосы и черточки на планках жалюзи свидетельствовали о чьем-то вмешательстве или невмешательстве во время дождя; ярко освещенные планки со следами дождя, если смотреть на них немного искоса, напоминали серию атомных или молекулярных спектров — вернее, фотографию спектров, так как полоски были бесцветные.

Луис потрогал языком золотую коронку, которую доктор Кольман, работавший по старинке зубной врач, много лет назад поставил ему на второй нижний коренной зуб справа, предварительно убив нерв. Позднее другие врачи сокрушенно ахали, разглядывая работу доктора Кольмана, и Луис иногда задавался вопросом, допустил ли тот промах или совершил доброе дело,— ведь, по крайней мере, зуб не пришлось удалять, а гнойного воспаления, которое потом часто предсказывали более бойкие дантисты, так никогда и не было. Впрочем, сейчас зуб чуть-чуть побаливал — даже не зуб, а скорее десна; хотя, думал он, проводя кончиком языка по коронке, побаливает или начинает побаливать то место на языке, которое ближе всего к зубу.

Он вздохнул, впрочем, скорее мысленно; эта золотая коронка, спасшая его в детстве от боли — ведь зуб рвать не пришлось, очевидно, причинит ему боль сейчас. Если доза нейтронов была достаточно велика... тут он оборвал свою мысль и четко произнес про себя: «нечего обманываться на этот счет». При облучении нейтронами, продолжал думать он, какова бы ни была доза, в золотой коронке возникает радиоактивность, способная сама по себе прожечь порядочную дырочку в языке. Придется сказать врачам, но только позже. С этим как раз нетрудно будет справиться. Приятного, конечно, мало, и вообще это плохой признак.

Исчерченные подтеками планки жалюзи действительно похожи на изображение спектров, вот только при чем тут Бетси, подумал он. Бетси стояла у окна, на фоне жалюзи, и спектры, казалось, излучались из ее тела. Можно назвать такую картину «Девушка со спектральными линиями раскаленного газа». Гелия, думал Луис, потому что Бетси по своей природе больше всего соответствует желтому цвету, как, впрочем, и большинство женщин, так что это ровно ничего не доказывает. Точка зрения мужчины, улыбнулся он про себя. Желтый цвет Бетси не так интенсивен, как цвет гелия; к тому же у нее слишком костлявый нос и слишком худое лицо, хотя смотреть на нее приятно.

Разница между Терезой и другими женщинами, которые светятся желтым цветом — ведь Терезин цвет тоже желтый, — это разница между парами натрия и гелия, так как цвет Терезы — сложный, желтый, двойственный желтый цвет люминесцирующих испарений, совершенно неотличимый для невооруженного и неискушенного глаза от простого, однородного желтого цвета, какой бывает у раскаленного газа, но совсем другой, если его рассматривать сквозь призму, — да, совсем другой, когда видишь его по-настоящему.

Какой вздор, усмехнулся Луис, Тереза рассердилась бы, если бы узнала; больше того, это — предательская тема, потому что он наложил тайный запрет на некоторые мысли, в том числе на мысли о Терезе, от которой сегодня, по всей вероятности, придет телеграмма, а завтра, быть может, письмо.

Я, Луис Сакс, сказал он себе, не буду сегодня думать о будущем дальше, чем на два дня вперед, и о прошлом дальше, чем на два дня назад; никаких блужданий по закоулкам памяти, а о настоящем я буду думать с выбором.

Я составлю себе Index Librorum * и буду дополнять и изменять его, как найду нужным, и не стану оглашать даже перед самим собой, ибо мне и так будет известно, что там есть и чего нет. «Смею ли я волю дать мысли, смею ли я вкусить от плода?»

— Слышали? — спросила Бетси. — Слышали, мистер Тил позвал доктора Педерсона? Так ясно было слышно.

Луис перевел взгляд на часы в ногах кровати, потом на цветок за окном, потом снова посмотрел на обернувшуюся к нему Бетси и улыбнулся ей. Он легонько подвигал правой рукой и услышал шелест подтаявших льдинок, но звук был так хрупок, что Бетси ничего не заметила и опять отвернулась к окну.

— У него такое славное, такое живое лицо, даже отсюда видно.

Книги и журналы, книги и журналы, повторял он про себя. Легче всего на свете, так же легко, как предсказать неотвратимость смерти, можно было предвидеть, что Чарли Педерсон, придя домой, будет рыться в книгах и журналах. О, эти факты, которые вычитает там Чарли, которые вычитают все другие, да и он сам, если его снабдят такой литературой!

Каждый найдет там немало фактов, но они относятся главным образом к мышам и собакам, а о нас, людях, почти ничего нет, думал Луис; все отчеты о жертвах взрыва в Японии и о состоянии выживших мало что дают, так как дозы облучения были определены по-разному, а большинство больных выжили или умерли сами по себе, ибо врачи погибли, сиделки тоже и больничные койки были уничтожены. В Хиросиме из тысячи семисот пятидесяти сиделок погибли или ранены тысяча шестьсот пятьдесят. В Нагасаки из восьмисот пятидесяти студентов-медиков погибли сразу шестьсот. Из сорока семи больниц более или менее сохранились три. «Правильно ли я запомнил?» — спросил себя Луис. Из двухсот врачей в Хиросиме осталось двадцать работоспособных. Но сейчас будут интересоваться не этим, размышлял он. Эти сведения сейчас ни к чему, они с таким же успехом могли быть помещены на обратной стороне луны, потому что нисколько не помогают уяснить картину. И все же, какую страшную картину рисуют они, и стоит ли после этого искать в книгах что-то другое?

Но здесь все бросятся читать доклад Маршака о влиянии рентгеновских лучей и нейтронов на хромозомы мышиной липомы в различных стадиях ядерного цикла и еще чей-то доклад о влиянии низких температур на реакцию человеческой кожи после рентгенной иррадиации.

Все будут читать что-нибудь, кроме Новали, разумеется, и его лаборантов, которые будут составлять сводки для других; интересно, в какой комнате какого здания будут лежать потом кипы карточек и диаграмм?

Туда войдут, отметил он про себя, клинические и лабораторные данные семи острых случаев лучевой болезни — ведь наблюдение будет вестись над всеми, хотя шестеро вне опасности.

К этим данным присоединят множество анализов крови и срезов эпидермы, всех выделений и отправлений семи организмов, в том числе и подсчеты количества спермы, не говоря уж о многих и многих соображениях и доводах касательно того, как определять дозу облучения, выраженную в рентгенах, грамм-рентгенах или мегаграмм-рентгенах, на основе биологической реакции пациентов.

Все это заносится на бумагу и будет прочтено людьми, которые читали много специальной литературы и приблизительно знают, чего следует ожидать, и могут более или менее точно определить, когда этого

* Список книг, чтение которых католическая церковь запрещает верующим *(лат.)*.

ожидать, — впрочем, только весьма приблизительно и скорей менее, чем более точно знают, как дозы, выраженные в мегаграмм-рентгенах, оказывают действие, которое выражается в...

Хотя шестеро из нас вне опасности.

Когда смотришь историю болезни, важно не прочесть больше того, что в ней записано. Когда же читаешь о том, что в городе второстепенного значения после неожиданного взрыва бомбы из восьмисот пятидесяти студентов-медиков погибло шестьсот, важно уметь читать между строк, потому что тут кроется нечто гораздо большее. Но когда читаешь историю болезни, то важно... Я читал историю болезни Нолана двадцать дней подряд, но через восемь-десять дней я уже стал смотреть на эти записи иными глазами, меня интересовало, что будет дальше — например, до какого предела повысится температура? Насколько понизится количество белка? Какой будет радиоактивность сывороточного натрия? Да, очень трудно читать историю болезни правильно, наверное, и свою собственную я читал бы точно так же, и каждый, кто будет читать мою...

Если бы Бетси превратилась в фею с чудодейственным жезлом и сказала, что может заставить их читать весь этот ужас вслух, пока им не станет ясно, умру ли я такой смертью, как Нолан, как студенты-медики, или еще хуже, я ответил бы, что не верю в фей и все произойдет совсем не так. Я не знаю, как это будет, если будет вообще. Я помню не историю болезни Нолана, а ту ночь, когда он обмочил постель и, весь в язвах, мучаясь от боли, уже полуживой, был обеспокоен только этим.

А та ночь, когда он повернулся ко мне — это было на пятнадцатый или шестнадцатый день, и кожа слезла с его рук, живота, на левой стороне головы вылезли все волосы, а глаза утратили всякое выражение, — он повернулся ко мне и сказал, еле шевеля распухшим языком: «Я затеял это ради шутки, Луис, только ради шутки». Через две-три минуты он добавил: «Честное слово».

— Честное слово, — произнес Луис вслух.

— Честное слово? — обернулась к нему Бетси, отходя от окна. — Это вы насчет Дэвида Тила? Вы думаете, я к нему неравнодушна? Ничего подобного. Он нравится всем. Я отношусь к нему так же, как все.

— Нет, я не о том, — сказал Луис.

Он уверил Бетси, что и не думал подозревать ее в чем-нибудь таком. Он заставил ее снова посмотреть в окно — не разглядит ли она, кто сидит на террасе с девушкой. Разговаривать ему не хотелось, он предпочитал слушать ее болтовню, а главное, ему хотелось, чтобы она подольше оставалась в палате. Как выглядит человек на террасе?

— Волосы у него, как у музыканта. Они ведь все отпускают себе гриву. Я знаю его фамилию, погодите, я еще вспомню. Оба одеты для верховой езды. Очевидно, он собирается показать своей девушке красоты Запада.

«Советую вам проехать миль восемь по западной дороге в направлении Валле-Гранде, — сказал про себя Луис, — а потом свернуть на тропу к югу и проехать еще миль шесть-семь. Дорога трудная, но красивая, она приведет вас к подножью Собора св. Петра, там хорошо полежать с девушкой на солнце».

«Тереза, — подумал он, — получила ли ты телеграмму?»

— Вейгерт, — сказала Бетси. — Вспомнила его фамилию.

6.

— Хочешь, выпьем еще кофе, — говорил Вейгерт своей подруге, — а после пойдем возьмем лошадей. Или пойдем сразу?

— Как хочешь, Сидней, — ответила девушка.

— Ну, а тебе как хочется? — Он взглянул на нее почти с досадой, но тут же перевел взгляд на Педерсона и Тила, которые медленно шли по лужайке. И невольно он поднял глаза на окно палаты Луиса Саксла.

— Ах, Сидней, решай сам.

— Сара... — начал он, но сразу же умолк. Через секунду он поднял руку, чтобы привлечь внимание официанта, убиравшего со стола, где недавно сидели Висла и Берэн.

— Давай выпьем еще кофе, — сказал он.

Педерсон, очень медленно ступая по траве, что-то говорил Дэвиду Тилу, а тот, заложив руки за спину, с палкой под мышкой, слушал его с сосредоточенным видом.

— У меня это как-то выскочило из памяти, — говорил Педерсон, — помню, что вас долго здесь не было, но я совсем забыл, что вы уехали на другой день после того, как это случилось. Теперь вспомнил — вы уезжали в Японию.

— Должен был поехать Луис, — сказал Дэвид. — Мне пришлось его заменить.

— Теперь вспомнил. Он отказался из-за Нолана. Странно, что я не подумал об этом.

— О чем? — спросил Дэвид.

— О том, что с Ноланом это случилось за день до того, как он должен был ехать в Японию, а с Луисом — накануне его отъезда на Бикини.

— Ну, бросьте об этом думать, — сказал Дэвид. — Думайте лучше о своей медицине.

— Я, собственно, хотел сказать, что если бы вы в свое время наблюдали Нолана изо дня в день, вы бы заметили разницу в картине болезни. Желудочно-кишечная стадия этой болезни, как вам известно, является довольно точным показателем степени ее серьезности. Вряд ли вы от меня услышите что-то новое, вы знаете больше, чем я, — достаточно насмотрелись в Японии, и вообще знаете... Но я наблюдал Нолана с первого же дня, и, к сожалению, Луис тоже, а ведь анализы показывают еще не все. Уже на второй день Нолан был еле жив от рвоты и слабости. Он едва мог шевельнуть пальцем. А Луис вчера вечером сидел в кровати и чувствовал себя неплохо. Первая стадия у Луиса длилась меньше одного дня. Это хороший признак, Дэйв, безусловно хороший признак.

Дэвид быстро вскинул голову и тотчас же опять опустил ее, словно кивнув. Он ничего не ответил Педерсону. Оба все так же медленно шли по лужайке.

— А кроме того, — продолжал Педерсон, — это может означать, что его спасли либо поза, в которой он стоял, либо какой-то предмет — словом, область живота оказалась защищенной.— Он произнес последние слова с такой интонацией, которая превратила их как бы в осторожный вопрос.

— Что ж, остается только ждать — время покажет,— быстро сказал Дэвид. — Сейчас невозможно в точности восстановить обстановку. К тому, что я говорил вчера, я ничего не могу добавить. И никто не может.

— Да, — вздохнул Педерсон. — Во всяком случае, я уверен, что живот у него не был затронут так сильно, как у Нолана. Вы видели снимки, но по ним трудно себе представить, как это скверно выглядело, когда кожа стала мокнуть. Живот — это важный показатель. Знаете, вчера вечером, придя домой, я первым долгом прочел отчеты об опытах Берэна над кроликами. Я рад, что он здесь, он в этом деле кое-что по-

нимает. Так вот, он обнаружил, что кролики могут выдержать чуть ли не двойную дозу облучения, если не затронута область живота.

— А когда кожа у Нолана... — начал Дэвид.

— Стала мокнуть? Примерно, на...

— Нет. Когда показалась эритема?

— На третий день,— сказал Педерсон.— Вот что, по-моему, погубило Нолана — сильное облучение живота. И я просто уверен... впрочем, вы правы, время покажет.

Несколько шагов они прошли молча, потом Педерсон заговорил снова.

— Нельзя даже сравнивать их физическое состояние. Нолан не отличался крепким здоровьем. У него было неважное сердце, фунтов пятнадцать лишних весу, ну и еще кое-что. Судя по анамнезу, у него однажды был приступ тахикардии и пульс доходил до 250 в минуту, но я замечал и другие, хоть и временные неполадки. Они мешали организму сопротивляться, они повышали его восприимчивость. У Луиса же превосходное здоровье. Это крепыш каких мало, вес абсолютно нормальный, даже чуть ниже нормы, и никаких следов неблагополучия в организме.

Педерсон покачал головой. Он переложил пачку книг и журналов под другую руку, уронил одну книгу, поднял ее и двинулся дальше.

— Я не хуже вас понимаю, что все это, вероятно, ровно ничего не значит. Но все-таки это может дать ему некоторые преимущества — на большее я не рассчитываю. Впрочем, есть и другие обстоятельства.

— В Японии было страшное смятение,— сказал Дэвид.— Никто толком не наблюдал людей, которые там умирали. Да и о тех, кто выжил, мы мало что знаем. Вам это должно быть известно.

Он опять взглянул на Педерсона.

— А какие же другие обстоятельства?

— Вы можете прояснить для нас одну сторону дела, и, пожалуй, это будет ответом на все вопросы,— произнес Педерсон.— Вы исчисляете примерную дозу облучения, и она получается у вас огромной... я знаю, вы еще не пришли к окончательным результатам. Допускаю, что вы и не сможете вычислить точно. Но, наверное, у вас уже сложилось какое-то представление.

Дэвид ничего не ответил.

— Разве не так?

— Все это очень сложно. Не переоценивайте наши знания.

— Пожалуй, я не очень стремлюсь узнать ваши соображения. Я знаю, доза достаточно велика. И знаю, в чем сложности. Например, в радиоактивности сывороточного натрия крови. Если вы на этом основываете дозу нейтронов, то вряд ли можете быть уверены в правильности полученных результатов.

Дэвид вытащил трость из-под мышки. Опираясь на нее, он зашагал чуть быстрее.

— Вы говорили об этом вчера вечером,— сказал он.— Но, по-моему, не стоит делать на это упор.

— Да, я видел, что это ни на кого не произвело впечатления, но никто не объяснил, почему. Хотя Герцог, мне кажется, призадумался. Вот вам факт: как утверждают физики, содержание натрия в сыворотке крови при повышении радиоактивности кровяного фосфора увеличится в девяносто раз, а у Луиса содержание натрия в сыворотке крови увеличилось в пять раз, меньше шести, во всяком случае,— и все вы говорите, что это ничего не значит. Если один так называемый факт ничего не доказывает, так, может, докажут другие. Можно ли надеяться хоть на это?

— Нельзя надеяться хоть на это,— резко сказал Дэвид. Он поднял палку и стал вертеть ею в воздухе.— Бросьте, Чарли, не пытайтесь быть физиком. Отношение нейтронов фосфора к нейтронам натрия представляет интерес при попытках определить дозу, но оно не является решающим. И это ни на кого не произвело впечатления лишь потому, что не поможет Луису выкарабкаться, как вы надеетесь. Это просто трата времени.

— Я должен знать, с чем имею дело,— упрямо заявил Педерсон.

— Вы только что сказали, что не стремитесь знать, с чем имеете дело,— возразил Дэвид, и тон его снова стал терпеливым.— Разумеется, тут сплошные дебри. Все мы знаем так мало, что сами теряемся. Вы же теряетесь потому, что сошли со своего пути, вы шарахаетесь в сторону, ища оснований для надежды, вместо того чтобы искать способов лечения. Необходимо найти способ лечения, а что я делаю и как я делаю, увы, не имеет к этому никакого отношения. О каких еще других обстоятельствах вы говорили?

Педерсон остановился и резко повернулся к Дэвиду.

— Дейв, я ничего не могу сказать, пока вы мне не ответите на один вопрос. Есть ли какие-нибудь основания надеяться?

Сидней Вейгерт следил за ними с террасы, а его подруга молчала, не переставая вертеть на блюдце чашку с кофе. Берэн и Висла только что исчезли за дверью больницы. В окне Луиса Саксла за приоткрытыми планками жалюзи белел халат Бетси. По улицам в разных направлениях шли немногочисленные прохожие, большинство мужчин было на работе, а жены их еще не выходили за покупками. В воздухе уже чувствовался зной. Два маленьких мальчика прокатили мимо на самокатах.

— Эй, Чарли! — крикнул один из них.

Педерсон рассеянно помахал рукой, не отрывая глаз от лица Тила.

— Нет,— сказал Дэвид,— никаких оснований надеяться нет. Никаких! Но разве нужны основания? Сначала вы сказали, что у вас есть мысли насчет того, как ему помочь. Что ж, теперь вы откажете ему в помощи? У нас есть основания быть терпеливыми. Вы сами назвали их. Разве этого мало? Когда рушатся надежды, надо поддерживать в себе терпенье. Разве этого мало?

— Дэйв...— начал Педерсон.

Но Дэвид уже шел дальше. Он шагал быстро, сгорбившись от усилий и наклоняясь всем телом вперед, с таким видом, будто покончил с Педерсоном навсегда. Педерсон бросился за ним и догнал его на середине мостовой.

— Дэйв! — настойчиво окликнул Педерсон.

— Если можете придумать что-нибудь, чтобы дважды два не было четыре, сосредоточьте на этом все силы,— пробормотал Дэвид.

— Что вы сказали?

— Мне не нравятся ваши вопросы, это неправильные вопросы,— со злостью ответил Дэвид. И как-то совсем по-детски надув губы, он отвернулся от Педерсона и стал смотреть вдоль улицы, идущей к центру города. На тротуаре, шагах в ста, стояла девушка с телеграфа; на ней было то же цветастое платье, что и вчера. Быть может, Дэвид повернул голову в эту сторону потому, что еще на ходу увидел девушку, но вряд ли — он сейчас же быстро отвернулся и, по-видимому, даже не успел заметить, что она направилась к нему.

Педерсон, который сначала растерялся, а потом обиделся, ничего не заметил. Он тоже отвернулся, но в другую сторону. Оба остановились, как щенки, которые затеяли возню и вдруг замерли, не помня или не зная, что теперь нужно делать.

— Беда в том, что вы стараетесь думать за меня, а я — за вас,— немного погодя сказал Дэвид.— Если Луис умрет, значит он получил смертельную дозу облучения, которую вычислят физики, а если выживет, то, быть может, потому, что врачи что-то придумали.

Они молча поглядели друг на друга и снова пошли к больнице, так же медленно, как и прежде.

— Я все еще не знаю, как сильно было облучение,— опять заговорил Дэвид.— Знаю только приблизительно, как и Луис, как, вероятно, и все остальные, и, разумеется, доза очень велика. Но сколько ни говори, разве это что-нибудь изменит? Вас интересует, как она велика? То есть, вы хотите знать, есть ли основание надеяться или же — какой же другой путь? — все бросить и разойтись по домам? Какой величины эта большая доза? Иначе говоря, когда большая доза становится смертельной? Основания для надежды — наше невежество, и я напрасно сказал, что нет никаких оснований. Вот вам первое. Не надо недооценивать наше невежество. Какова смертельная доза общего ионизирующего облучения? Шестьсот рентгенных эквивалентов,— так стали писать с начала нынешнего года. Прежде об этом не писали. Знаете, я был на одном заседании, где пытались определить уровень смертельного облучения, просто чтобы создать хоть какой-то порядок из полного хаоса. Подсчеты колебались от четырехсот до двух тысяч рентгенных эквивалентов. Все говорили наугад, и это после Нагасаки и Хиросимы! Мы и до сих пор гадаем. Шестьсот — это цифра, принятая на одном таком заседании, и возможно, она была тоже названа наугад кем-то, кто торопился на поезд и не испытывал благоговения перед бессмысленными цифрами. Надеюсь, мы еще долго будем гадать. Трудность в том, что все данные, которыми мы располагаем, основаны на опытах с мышами, собаками и кроликами. Эти данные весьма многочисленны, причем получены они в условиях строгого лабораторного контроля. Но эти данные не совсем применимы к людям. Они ведут к упрощению и догадкам. Надеюсь, эта трудность тоже будет существовать еще долго.

— Я вам не рассказывал о профессоре Танаки? Это японский физик, маленький человечек с большим достоинством. Я познакомился с ним в Токио, в штабе Макартура. Он приезжал туда поделиться наблюдениями над случаями лучевой болезни в Хиросиме. В его докладе было много полезного, а после обсуждения он немножко рассказал о том, как он в свое время учился в Калифорнийском университете, как он там ставил опыты с рентгеновскими лучами на крысах. Разве я вам никогда не рассказывал? Ну, поговорили мы о его работе, а потом он знаете что сказал? «Я, говорит, ставил эти опыты много лет назад, — а голос у него был мягкий, но очень отчетливый.— И, конечно, только на крысах. Но вы, американцы, просто молодцы, вы делаете опыты на людях». Нас было несколько человек, и все молчали. Никто не нашелся, что ответить. Он сделал маленькую паузу перед словами «на людях». «Вы делаете опыты... на людях»,— сказал он.

— Можно вас на минутку?

Дэвид обернулся. Рядом стояла девушка с телеграфа. Ни Дэвид, ни Педерсон не заметили, как она подошла. Оба остановились, глядя на девушку. Но она смотрела только на Дэвида и молча ждала.

— Да, пожалуйста,— ответил Дэвид и слегка наклонился вперед, опираясь на палку.

Девушка сейчас же повернула обратно, прошла восемь-девять шагов по улице и остановилась спиной к лужайке. Педерсон с нескрываемым любопытством глядел то на Дэвида, то на нее. Но прежде чем он успел что-нибудь сказать, Дэвид уже пошел вслед за девушкой.

— Ваша телеграмма не передана,— сказала она, как только он поравнялся с нею.— Вы это знаете?

— Нет, я не знал.

— Это запрещено приказом.

— От кого вы получили приказ?

— От полковника — как его... словом, от полковника. Я могу послать ее из Санта-Фе, если хотите.

Дэвид ничего не ответил. Сначала он смотрел ей прямо в лицо, но тут вдруг опустил глаза в землю.

— Хотите?

— Я не хочу, чтобы у вас были неприятности,— сказал Дэвид, не подымая глаз, он был смущен неискренностью своего тона.

— Какие могут быть неприятности! Я отправлю ее из Санта-Фе.

— Да, но вдруг это когда-нибудь всплывет наружу,— сказал Дэвид, подняв глаза.— Хотя... вы можете сказать, что я просил вас отправить телеграмму. Или даже велел. Вы скажете, что я велел?

— Кому я скажу? — удивилась девушка.

— Тому, кто вас об этом спросит. Не сейчас — потом, конечно.

— Но никто...— начала она и после довольно долгой паузы улыбнулась Дэвиду и докончила: — Хорошо, я скажу, что вы велели.

И так же внезапно, как прежде, она повернулась и пошла дальше.

— Спасибо,— крикнул Дэвид ей вслед.

Девушка, полуобернувшись, что-то сказала, но Дэвид не расслышал слов. Он постоял, провожая ее глазами, потом вернулся к ожидавшему его Педерсону, и они опять зашагали рядом.

— Это ваша приятельница? — спросил Педерсон.

— Нет. Хотя, пожалуй, да. Но я с ней почти незнаком.

— Я много о ней слышал.

— Вот как? Значит, она — личность известная?

— Да, среди солдат. Они ее хорошо знают,— немного принужденно и неуверенно сказал Педерсон.

Дэвид искоса взглянул на него и усмехнулся, вдруг увидев типичного массачусетского обывателя, проступившего сквозь облик доктора Педерсона. Но у Дэвида не было ни малейшего желания допытываться у явно колебавшегося Педерсона, что он хотел этим сказать. Дэвид ощущал легкую, тихую радость — так радуешься какой-нибудь личной победе или удаче друга — и настолько ушел в себя, что у Педерсона пропала всякая охота продолжать разговор. Молча они дошли до ступенек перед дверью больницы, и тут Дэвид как бы очнулся, в голове его мелькнула мысль о полковнике Хафе, потом он снова вспомнил о профессоре Танаки.

— Но даже иронизируя, надо признать, что опыт оказался неудачным,— сказал он.— Даже с точки зрения страшной иронии профессора Танаки этот опыт неудачен. Мы убили сто тысяч подопытных человеческих существ, но вместе с ними и врачей, которые могли бы чему-то поучиться. Почти все умерли среди щебня и пепла, без всякого ухода. А мы всем, что нам известно, по-прежнему обязаны только кроликам да крысам.

Педерсон, неприятно пораженный этими словами, не знал, что ответить.

— Знаете, почему здесь так много врачей? — продолжал Дэвид, быстро взбираясь по ступенькам.— Берэн, Кан, Джером Вудвол и прочие? Их почти столько же, сколько было во всей Хиросиме. Какой материал для профессора Танаки! А почему? Разве эти семеро стоят сотни тысяч погибших в Японии? Даже принимая во внимание, что это высокоавторитетные специалисты по сложнейшему эксперименту, который определил критическое количество расщепляемого материала для бомбы, убившей

сто тысяч человек? Тут тоже ирония! Но это ли расшевелило армию, вынудило заказывать экстренные самолеты и срочные междугородные разговоры — приезжайте, мол, немедленно, время и деньги не играют роли. А может быть, потому, что все семеро такие уж выдающиеся люди, а один из них — самый замечательный человек на свете, и к тому же первоклассный физик? Ничего подобного! Все это для армии не имеет значения, и таких людей на свете немало. Никакие семеро не стоят сотни тысяч, но дело в том, что они представляют собой первый в истории поддающийся учету и наблюдению случай острого лучевого заболевания, причем во всех его стадиях, что очень удобно: от сильного до самого пустякового облучения. Нолан умер среди полной неразберихи. Счетчики и измерители не работали, когда он уронил эту несчастную отвертку, в лаборатории никого в это время не было, и мы могли полагаться только на свои догадки да на бога. А что до японцев — ведь те, кто знал, что произошло, там и не показывались!

Остановившись на верхней ступеньке, Дэвид толкнул дверь концом палки и устремил на Педерсона исполненный невыразимой горечи взгляд.

— Но какой обширный комплект кривых, графиков и анализов мы получим благодаря Луису! Как мы обогатим медицинскую литературу! Как внимательна армия ко всем нуждам и мелочам — *теперь*!

Педерсон был ошеломлен. Он чувствовал иронию и горечь этих слов, но не мог разделять ни того, ни другого; подобные мысли никогда не приходили ему в голову, и он даже растерялся, обнаружив, что может быть и такая точка зрения. Если б это говорил не Дэвид, а кто-нибудь другой, такая горечь, быть может, вызвала бы в нем только раздражение, но так как это был Дэвид, то Педерсон просто из уважения перестал вслушиваться в его слова — так человек старается не замечать недостойный или некрасивый поступок друга, выставляющий его в ложном свете. Последних слов Дэвида Педерсон почти не слышал. Он уже не мог сосредоточиться на том, что минуту назад казалось ему столь важным. В окне мелькал белый халат Бетси; Педерсон заметил его еще раньше, когда Дэвид разговаривал с девушкой из телеграфной конторы, и, уже не слушая Дэвида, думал, что Бетси, наверное, опять притащила какое-нибудь дурацкое варенье, которого Луис не может есть, или какую-то другую ерунду и старается его утешить или всячески дает ему понять, что она преклоняется перед ним; и вообще, ведет себя так, будто она его мать или любовница.

Следуя друг за другом, Дэвид и Педерсон вошли в больницу.

На террасе Сидней Вейгерт наклонился вперед, положив локти на стол, и слегка опустил голову. Он что-то говорил девушке, а та, выпрямившись на стуле и сложив руки на коленях, вся обратилась в слух, хотя взгляд ее временами устремлялся через улицу, на больницу, на дверь и окна. В том окне, на которое ей указали, все еще белел халат медицинской сестры. Немного погодя девушка опять посмотрела на окно, но халат уже исчез.

7

По улице, со стороны городского центра, четкой походкой шел полковник Хаф; позади, на расстоянии почти целого квартала, из дверей кафетерия вышел Джордж Уланов с маленькой черноволосой женщиной. Уланов окинул взглядом улицу и заметил Хафа.

— Эй, Хаф! — крикнул он.

Полковник остановился.

Уланов нагнулся, поцеловал женщину, потрепал ее по бедру и еще

раз поцеловал, затем, сказав что-то, от чего она рассмеялась, побежал по улице к полковнику, который глядел на него с явным неодобрением.

— Было бы лучше во всех отношениях, если б вы носили военную форму,— заметил полковник.

— Что ж, устройте это,— запыхавшись, сказал Уланов.— Может, наконец, пригодилась бы моя...— он перевел дух,— военная подготовка. А вообще говоря...— еще один вздох,— лучше всего было бы развязаться и с этим объектом и со всеми, кто носит военную форму.

— Мне и подумать страшно, что было бы, если б...

— Ну и не думайте. А я хочу пожаловаться вам на плиту.

— Вы уже жаловались на плиту.

— Слушайте, генерал,— произнес Уланов, беря Хафа под руку и таща его вперед.— Вы не представляете, до чего продымила плита всю нашу квартиру. Вы посылаете меня в жилищное управление, которое тоже этого не представляет. Тем не менее, они прислали вчера другую плиту, как они уверяют, более усовершенствованную. Эта другая со вчерашнего дня торчала у моих дверей. Служащие управления обещали установить ее сегодня утром. Но утром они пришли и унесли ее обратно! Говорят — приказ! А в доме нельзя продохнуть. Мы с женой вынуждены ходить в кафетерий! Будь оно все трижды проклято, что же дальше? Ce n'est pas la guerre*. А вы говорите — военная форма!

— Надо было пойти в «Вигвам»,— сказал полковник.— Там приятно посидеть в такое чудное утро. Ступайте опять в жилищное управление. Приношу свои извинения вашей супруге, но эта проблема мне не кажется неразрешимой. Боже мой...

— Да, конечно,— сказал Уланов, выпуская руку полковника.— И еще одно дело, уже другого рода. Вчера вечером я встретился с неким конгрессменом...

— Вот как? — не без удивления сказал полковник.— С тем самым, из палаты представителей, который...

— Он остановился в «Вигваме». Приехал только вчера.

— Ну да, тот самый. И уже успел повидаться с вами! Где?

— Я встретил эту достойную личность в полночь, в безвоздушном пространстве. Нет, кроме шуток, мы познакомились у Вальтера Ромаша. Он был приглашен туда к обеду и на весь вечер.

— Они друзья?

— Эта личность когда-то была адвокатом, обделывала темные делишки для одной мерзкой корпорации, а Ромаш и сам из тех кругов — ушел на время из компании Лоун и Уотерсон, чтобы поработать на атомной станции. А потом вернется обратно, можете не сомневаться. Они были знакомы еще до войны. Кажется, так. А вы хорошо его знаете?

— Нет. Только издали. Сегодня должен с ним встретиться. Он председатель комиссии. И я очень надеюсь, что...

— Он говорит, «Вигвам» — самый лучший привал для туристов, какой ему доводилось знать. Впрочем, говорит, в Калифорнии он встречал и получше.

Полковник ничего не ответил.

— Он говорит, вся нация гордится нашей работой, и еще бы, говорит, ей не гордиться, если учесть, во сколько эта работа обходится. Могло бы стоить, говорит, и дешевле, но в общем он не возражает.

— Рад это слышать.

— Он считает, что Алана Нэнна Мэя надо расстрелять.

— Алан Нэнн Мэй — болван, и я благодарю небо за то, что он не по-

---

* Сейчас ведь не война *(франц.)*

пал в Лос-Аламос. Я благодарю небо и за то, что он насолил Англии, а не нам. Надеюсь, вы вправили мозги конгрессмену. Надеюсь...

— Он тоже благодарит небо. Он благодарит небо за то, что оно даровало нам этот секрет,— и тут я вправил ему мозги. Я сказал, что нам никто ничего не даровал. Я сказал, что ученые бились над этой загадкой с тех пор, как мы, поляки, пятьдесят лет назад напали на ее след... а он говорит...

— О боже!

— ...он говорит,— ладно, во всяком случае, русским не додуматься до этого еще пятьдесят лет. Он говорит, у русских нет сноровки. Наверное, говорит, придется устроить нечто вроде превентивной войны, сбросить на них несколько бомб, чтоб показать, что к чему, но, впрочем, это не обязательно, и только, говорит, не поймите меня превратно. Словом, наговорил массу любопытного, хотя это, между прочим, довольно ничтожная личность.

— Он достаточно влиятелен в конгрессе, чтобы напустить на нас какую-нибудь комиссию по расследованию, когда это придет ему в голову, а я не удивлюсь, если после разговора с вами именно так и случится. Не понимаю, зачем вам надо было просвещать этого конгрессмена, тем более что он приехал на один день?

— Я его не просвещал, дружище. Вчера вечером он слушал нашу радиопередачу. Один уважаемый ученый из здешних объяснял, почему испытания бомбы на Бикини — неудачная затея, затея дурацкая и опасная, так, кажется, он выразился, ну и все прочее, а конгрессмен, как, бишь, его, за это и ухватился. Я пришел туда уже позднее.

— Жаль, я не слушал радио. Наверное, он заведет разговор об этом,— сказал полковник.— Впрочем, это ерунда,— добавил он.

— Но если у власти такие субъекты, то, поверьте, мы все погибли,— серьезно продолжал Уланов.— Поверьте мне, я этот сорт людей знаю. Не первый раз сталкиваюсь с подобными экземплярами. Даже среди нас найдутся такие, а я встречал их везде, включая Польшу и Англию. Эти люди задают вопросы только в том случае, если ответы предрешены заранее. Поэтому жизнь их устремлена в прошлое и признают они только то, что им знакомо или было знакомо их предкам, и чем древнее понятия, тем лучше. А эти понятия уже никуда не годились не то что год, а еще тысячу лет назад. Это всегда было злом, это разъедало души людей, как трещина — камень, но когда-то к нему относились терпимо. Где же критический предел такого стремления убежать от действительности? Долго ли мы будем терпеть это зло, которое в конце концов обрушится на наши же головы и вышибет из нас дух — из конгрессмена, как, бишь, его, из меня, из вас?

— Подумать только, какое впечатление может произвести ничтожная личность,— криво усмехнулся полковник.

— Правильно,— согласился Уланов.— Так давайте же постараемся, чтобы он не производил такого впечатления. Вы, конечно, не послали доллар комитету Эйнштейна? Но пусть у вас, по крайней мере, не трясутся поджилки перед этим жуликом.

Полковник похлопал Уланова по спине.

— Я пошлю доллар комитету Эйнштейна. Очень рад был с вами встретиться. Ну пока, еще увидимся.

Он повернулся в сторону больницы — они стояли как раз напротив нее, на другой стороне улицы.

— Одну минутку, полковник. Я не сказал самого главного.

— Я спешу в больницу, Уланов,— с досадой ответил полковник, но остановился.— В чем дело? Говорите прямо, пожалуйста.

— Этот конгрессмен хочет расследовать деятельность Луиса Сакcла.

— Что?!

— Он хочет расследовать деятельность Саксла, потому что Саксл сражался в Испании. Он не считает, что Саксла нужно немедленно расстрелять, но все же этот факт его несколько тревожит.

Полковник Хаф сделал три шага к Уланову. Лицо его выражало полное недоверие.

— Но мне это известно. И отделу безопасности тоже. Он давно уже реабилитирован. Это что, шутка?

— Для конгрессмена — нет. Конгрессмен его не реабилитировал. Вы сказали...

— Я спрашиваю, вы это говорите серьезно?

— Да,— на этот раз очень просто ответил Уланов.— Конгрессмен, насколько я понимаю, говорил совершенно всерьез. Я пришел туда поздно, потому что был в больнице. Конгрессмен стал меня расспрашивать, и довольно настойчиво. Я кое-что рассказал ему о Саксле, потому что... ну, наверное, потому, что Саксл стоит того, чтобы о нем рассказывать. Упомянул об Испании, и тут конгрессмен взвился, как ракета. «Сражался за коммунистов? — спросил он.— Хорошенькое дело. И давно он работает на атомной станции?» А Ромаш — Ромаш порядочный олух, но безвредный, — Ромаш сказал: «Он один из тех, кто создал ее». Словом, конгрессмен хочет поговорить с людьми, в том числе и с вами. И с Саксломтоже.

— Поговорить с Луисом? — тонким голосом переспросил полковник.— Но разве он не знает, в каком состоянии Луис? Вы ему хоть объяснили? О нет, это недопустимо, ни в коем случае! Я уверен, что врачи... Я уверен, что он поймет...

Полковник запнулся, но не стал продолжать. Выдержав паузу, Уланов пожал плечами и рассмеялся.

— Вы же сами сказали,— он человек влиятельный. Признаюсь, хоть я и раскусил его сразу, но дал вам не совсем точное представление о нем. Я, вероятно, упустил из виду его влиятельность. Я не ожидал найти в нем это свойство. Просто в голову не пришло искать.

Они все еще смотрели друг на друга. С лица полковника не сходило выражение недоверия, но оно словно задержалось на нем случайно и ровно ничего не значило; мысли полковника Хафа явно переключились на что-то другое и не отражались на его лице.

— Ну ладно,— наконец произнес Уланов,— ступайте на свидание. На два свидания. Сначала с врачами, потом с конгрессменом. Чудно, чудно! Вам, должно быть, известно, что Луису сегодня немного хуже?

— Нет,— сказал полковник, внезапно приходя в себя; он нахмурился и пристально взглянул на Уланова.— Это неверно. Я звонил. Мне сказали, что он чувствует себя гораздо лучше.

— Ну что ж,— любезно ответил Уланов,— значит одному из нас сказали неправду. Мне надо идти. Надеюсь, все будет благополучно.

Уланов ушел.

Полковник посмотрел ему вслед и направился к больнице. Он взглянул на часы, потом обвел взглядом больничные окна, невольно нахмурился, увидев забытый кем-то ящик под окном первого этажа, и, слегка пошевелив плечами, расправил на себе мундир. Уланов, думал он, да и вообще эти чудаки-иностранцы — так он иногда называл их про себя, хотя не все они были иностранцами, — подобные люди, каков бы ни был их общий знаменатель, всегда, надо сознаться, как бы гипнотизировали его. А сейчас, когда гипноз рассеялся, все опять стало на свое место. Ему надо было обдумать три проблемы, и все они осложнялись тем, что гражданский начальник атомной станции уехал в Вашингтон, по делам, связанным с Бикини, и думать приходилось ему одному.

Во-первых, эта сумасшедшая затея с расследованием; видимо, конгрессмен просто не разобрался в ситуации, да оно и не удивительно — ведь сведения он получил от Уланова. Но какое же может быть расследование, раз человек умирает; конгрессмен, должно быть, не понял, насколько серьезно состояние Луиса, и конечно образумится, узнав, что... в общем, это не проблема. Но, независимо ни от чего, неужели Уланову не пришло в голову сказать, что эти испанские дела (он, конечно, не склонен оправдывать Луиса) расследованы давным-давно? Уланов, наверное, крепко сцепился с конгрессменом. И полковник Хаф невольно улыбнулся, он никогда не питал неприязни ко всем этим Улановым, особенно если не находился в их обществе.

И все-таки, думал полковник, этот сукин сын мог так настроить конгрессмена, что у того и в самом деле появилась мысль об общем расследовании... Но что расследовать-то?—спросил он себя и не стал больше думать об этом. Попросту, учитывая, что любое крупное дело, в которое налогоплательщики вложили столько денег, всегда может оказаться предметом пристального внимания конгресса, полковник, как и всякий, кто находится на ответственном посту, часто подумывал о возможности каких-то расследований. В первые годы эта мысль была только поверхностной; в течение месяцев и недель перед испытательным взрывом в Аламогордо опасение закралось глубже и почти исчезло в момент ослепительного успеха, увенчавшего все труды, все тревоги и все денежные затраты. В то прохладное утро одни ученые плясали от радости на песках низин Новой Мексики, а другие застыли в горестном раздумье. Военные реагировали по-разному, но господствующей реакцией была улыбка облегчения. Полковник Хаф и сейчас улыбнулся, отчасти потому, что вспомнил тогдашнее чудовищное напряжение, отчасти же потому, что и совесть, и послужной список у него были чисты.

Но тут же он нахмурился, ибо основная проблема была далеко не так проста, или не так сложна, как две другие. Основная проблема — и хотя она возникла благодаря Уланову, полковник, по справедливости, не станет винить его за это, — основная проблема заключается в том, что случай в каньоне уже получил или скоро получит огласку. Раз конгрессмену все известно, то умалчивать об этом уже нельзя. Виноват во всем конгрессмен — надо же было явиться именно в такой момент! Впрочем, это значит, что никто не виноват, виноваты сами события. Следовательно, что же? — спросил себя полковник. Следовательно, надо сделать все, что в его силах, когда он будет разговаривать с конгрессменом; он объяснит, насколько важно дать официальное сообщение, и скажет несколько слов о безопасности и о моральном состоянии населения — конгрессмену при всех обстоятельствах полезно услышать об этом. Надо будет подготовить официальную версию.

«Бедный Луис», — подумал он; интересно, что же сказали Уланову? Но через минуту он сам узнает правду, он услышит ее от врачей.

«Бедный Луис», — еще раз подумал он, подымаясь по ступенькам на крыльцо больницы.

8

В четверг утром, спустя два дня после случая в каньоне, часов в девять или в десятом, почти все, кто имел хоть какое-нибудь отношение к происшедшему, собрались в ординаторской, где услышали неожиданное и тревожное сообщение об ожоге на животе у Луиса Сакса. Тем, кто пришел раньше, об этом сказал доктор Моргенштерн, который тут же куда-то исчез. Пришедшие первыми рассказали остальным. Доктор Берэн очень лаконично сообщил об этом Педерсону и тотчас же спросил, не считает ли он уместным положить на живот пузыри со льдом.

— Болей нет, насколько я понимаю, — сказал Берэн, запросто обращаясь к своему молодому коллеге.— Но они могут появиться. Однако мне кажется, что независимо от этого важно приостановить циркуляцию разрушенных клеток. Небольшое охлаждение, не ниже шестидесяти градусов по Фаренгейту или около того. Как вы считаете?

Круглое, простодушное лицо Педерсена, неспособное скрывать никакие чувства, ясно доказывало, как потрясла его эта новость. Но Берэн тактично помог ему прийти в себя, и вскоре Педерсон уже отправился проверить, правильно ли кладутся пузыри со льдом.

— Можно мне с вами? — спросил стоявший рядом доктор Бригл; он ехал всю ночь и спал не больше часу, поэтому вид у него был довольно измученный.

— Конечно. Вы еще не были наверху?

О приезде доктора Бригла стало известно только накануне. Он прославился своей работой с особыми красителями, которые, как показали опыты над животными, способствовали приостановке небольших растекающихся кровоизлияний, характерных для поздних стадий лучевой болезни. Эта работа была закончена недавно; во время болезни Нолана она еще не давала практических результатов, и, разумеется, ее еще не было, когда произошел взрыв в Японии. Никто не решал заранее, что доктор Бригл, в случае необходимости, испробует свои красители на Луисе Саксле. Его просто вызвали в Лос-Аламос.

— Я только что видел трех-четырех менее тяжелых больных, а у Саксла еще не был, — сказал Бригл.

— Ну что ж,— начал было Педерсон, но замолчал, не зная, что сказать. Уже подымаясь по лестнице, они представились друг другу.

И каждый думал только о том, что на животе обнаружен ожог.

Врачи то и дело входили и выходили из ординаторской, палат и лаборатории доктора Новали. Но два врача не осматривали пациентов и даже не заходили к ним в палаты; эти двое, гематологи, вызванные накануне из Чикаго, нашли свободную комнату неподалеку от лаборатории, водворились там с грудами книг, журналов и блокнотов и только время от времени выходили заглянуть на какие-либо из многочисленных таблиц, которые висели по стенам на фанерных щитах или лежали на столах в лаборатории. Вместе с доктором Новали или с кем-нибудь из его лаборантов они разглядывали стеклышки с мазками крови, наполняли пипетки и проверяли анализы разведенной крови в гемоцитометрических камерах. Они работали почти безмолвно; потом обсуждали результаты, потом стояли у окна в конце коридора между своей комнатой и лабораторией, курили и снова обсуждали.

— Мне думается, надо сказать кому-нибудь — Берэну, например, насчет технических стекол, которыми пользуется Новали.

— Это же стандарт.

— Да, для грубого изображения. Но он напрасно применяет окраску по Райту, она тут не годится. Нужна окраска по Гимзу. И потом, он вообще злоупотребляет окраской.

— Ну, что касается Саксла, то не думаю, чтоб это имело значение. Изменения так огромны, что бросаются в глаза.

— Кажется, это тот малый, что собирал первую бомбу. Вы его знаете? Видели когда-нибудь?

— Нет. Я тут никого не знаю.

— Кто-то мне говорил, что он все время сидел возле того, другого больного, в прошлом году. Тут есть о чем подумать, правда?

— Будь я на месте Саксла, я бы сейчас серьезно призадумался над ожогом на животе. Если ожог показался так быстро, то страшно представить, что мы увидим через день.

— Или не увидим. Это вернее. Ну, пошли.

Так говорили специалисты по исследованию крови; сегодняшний ожог завтра будет означать дальнейшее падение количества моноцитов и ретикулоцитов, выразится в увеличении распухших, бледных клеток, в токсической грануляции нейтрофилов и во всех других неуловимых, неуклонно накапливающихся нарушениях тонкого равновесия составных частей крови.

Строго говоря, появление ожога вовсе не значило, что состояние Луиса ухудшилось; это скорее был один из скрытых признаков болезни, который выступил наружу. Появление ожога означало лишь замедленную реакцию организма на атомный вихрь, захлестнувший Луиса на крохотную долю секунды, — это был зловещий, но не роковой признак.

— В Бостонской детской больнице есть один человек, — позднее сказал доктор Берэн Педерсону. — Несколько лет назад он проделал интересные наблюдения над развитием токсемии из экзотоксинов поврежденных тканей. Его фамилия не то Фолк, не то Фолкс, я забыл. Можно связаться с ним по телефону. Тут, очевидно, возникнет инфекция от кишечных бактерий. Судя по всему, у Саксла довольно серьезно задет кишечник... Пожалуй, позвоните этому Фоксу. Сошлитесь на меня. Расскажите ему, что происходит, спросите, что он может сказать по этому поводу, и вообще поговорите с ним. Сделайте это, пожалуйста.

На лестничной площадке, откуда накануне вечером Бетси смотрела на вереницу уходящих людей, три врача устроили маленькое совещание. В первый день, рано утром, кровяное давление Луиса заметно понизилось, весь день оставалось без изменений, а в среду вечером стало частично восстанавливаться, то есть верхнее давление было близко к норме, но нижнее по-прежнему оставалось пониженным. Вопрос заключался в том, измерять ли давление снова. Один из трех врачей, стоявших на площадке, только что пытался это сделать.

— В общем, ничего не вышло, — говорил он. — Надуть манжету невозможно. И в правой и в левой руке это вызывает сильную боль. В конце концов он попросил меня перестать, и я думал, что он вот-вот лишится сознания. Что же делать?

— Раньше давление измерялось на кончике пальца. Ах, черт, блестящая идея, нечего сказать! Я забыл про его руки. Ну, а если измерить на бедре, например?

— А я бы,— сказал первый врач,— вообще бросил это. Кровяное давление — это проверка первой тревожной реакции, но я не понимаю, почему мы должны все время следить за ним. Ну, не знаем так не знаем.

Они пустились в обсуждение этого вопроса; один интересовался тем, что произошло с нижним давлением, — собственно, это интересовало всех троих. Они соглашались, что в этой стадии болезни показатели давления не так уж важны, но в конце концов пришли к выводу, что кровяное давление измерять необходимо хотя бы для того, чтобы внести в историю болезни, ибо случай из ряда вон выходящий и каждой мелочи должно быть уделено серьезное внимание.

Врачи обратились к доктору Берэну. Тот посоветовал не заниматься этим.

Доктор Моргенштерн исчез куда-то на целых полчаса. Когда он вернулся, все были заняты чем-то своим, и, сказать по правде, большинство врачей даже не заметило его отсутствия.

— Мне известно по меньшей мере одиннадцать совершенно различных теорий насчет этиологии лучевой болезни,— говорил в коридоре один врач другому.— И по-моему, в каждой есть крупица истины. Но я не знаю никакого терапевтического способа лечения хотя бы одного из ее призна-

ков. А вы? Впрочем, беру свои слова обратно. Бригловские красители действительно эффективны. Но все остальное — паллиатив, поддерживающие средства, то есть просто общие лекарства, в то время как болезнь спокойно идет своим чередом. Понимаете, хуже всего эта скрытая стадия,— хуже для нас, во всяком случае. Сомневаюсь, чтобы Саксл выжил. Но сегодня он чувствует себя неплохо и, вероятно, будет чувствовать себя неплохо еще несколько дней. И все-таки болезнь все время прогрессирует, а что мы можем поделать? Что мы можем поделать, черт возьми? Пожалуй, вот это нам что-нибудь подскажет.

Мимо прошел доктор Моргенштерн; врач поглядел на него задумчиво, но, не дожидаясь, пока тот что-нибудь скажет, повернулся и ушел. В руках у него была толстая игла — к ней и относились его последние слова.

Доктор Моргенштерн не стал объяснять, где он пропадал, да и никто его не спрашивал. Казалось, он никак не найдет себе места. За те полчаса, пока его не было, изменился весь ритм больничной жизни. Этот ритм теперь определяли приезжие специалисты, среди которых главенствовал Берэн, — отчасти благодаря своей репутации, но больше потому, что он, не вдаваясь в объяснения, указывал каждому, что надо делать.

— Спинномозговая пункция? — спросил Моргенштерн, глядя вслед врачу с иглой.

— Да, — ответил другой врач. — Это нужно было сделать еще вчера.

— Он чувствовал себя так плохо, — заметил Моргенштерн.

Доктор Моргенштерн, человек очень вежливый, понимал, что положение главного врача налагает на него хозяйские обязанности, поэтому он бродил по коридорам, заглядывал в комнаты и изредка перекидывался словом с приезжими врачами. Но прошло не менее часа, а он еще ни разу не встретил доктора Берэна. Быть может, он и не искал его. Но во всяком случае, Берэн не показывался в коридорах. Все утро он был занят обследованием семи больных. Он просматривал анализы крови, исследования мочи и кала, читал таблички с обозначением времени свертывания крови. Он сам звонил какому-то врачу в Солт-Лейк Сити и обсуждал с ним, целесообразно ли сделать Луису Сакслу еще одно обменное переливание крови. Решив пока воздержаться от этого, Берэн прошел в палату Саксла и смотрел, как ему вводили полторы пинты крови, сто тысяч единиц пенициллина и двадцать миллиграммов тиаминхлорида. Заодно он распорядился сделать Сакслу во второй половине дня капельное вливание глюкозы на физиологическом растворе. Он стоял у окна, глядя, как врач берет большой иглой костный мозг из грудины Луиса. Потом вместе с Бетси и доктором Педерсоном он осмотрел руки больного. За все это время он не произнес почти ни слова, но потом, оставшись с Луисом наедине, беседовал с ним несколько минут. Он вышел из палаты, когда появился молодой физик из группы Луиса, который по чистой случайности в день катастрофы работал не в лаборатории, а в Технической зоне. Он принес счетчик Гейгера для определения радиоактивности разных частей тела. Вместе с ним вошли Бетси и Педерсон. Берэн распорядился насчет дальнейших инъекций и пошел в ординаторскую.

Никто, в сущности, не знал, могут ли эти или другие принятые нынче утром меры оказать какое-либо ощутимое влияние на развитие лучевой болезни. Все меры на том или другом основании были абсолютно оправданы и могли так или иначе оказаться полезными; пока что они давали окружающим возможность что-то делать и сознавать, что они не сидят сложа руки. Несчастья такого рода всегда вызывают у окружающих сначала некоторое оцепенение, потом лихорадочную жажду деятельности. Все утро в больнице царила возбужденность, охватившая врачей, сестер, весь технический персонал и даже больных, включая м-ра Матусека, лежавшего со сломанной ногой в первом этаже. Она не коснулась только

Вислы и Дэвида Тила, которые все утро в полном одиночестве просидели в клетушке возле ординаторской, изредка переговариваясь и заполняя множество листов бумаги вычислениями, которые должны были помочь им установить более или менее точное количество нейтронов, вошедших в семь человеческих организмов, определить количественное соотношение быстрых и медленных нейтронов, установить, сколько нейтронов проникло в каждый организм непосредственно и сколько — с пола и стен лаборатории в каньоне, какое количество могло проникнуть в кости сквозь верхние покровы и вызвать дальнейшую радиоактивность в клетках организма и примерно какую. Общее возбуждение не коснулось Вислы и Дэвида Тила, и доктору Берэну, который с минуту глядел на них с порога клетушки, показалось, что оно не коснулось и его, хотя он сам вызвал всю эту суету. Он пожал плечами, мрачно, даже чуточку цинично усмехнулся, снял очки и потер рукой лоб. Дэвид, вертя в пальцах карандаш, поглядел на Берэна. Висла тоже поднял на него глаза, но тут же снова принялся писать на листке бумаги.

— Эти расчеты выше моего разумения, — сказал Берэн. — Ровно ничего в этом не понимаю. — Он прислонился к двери. — Вероятно, вы в моем деле разбираетесь больше, чем я в вашем.

— Через сколько времени положение вам станет ясным? — спросил Дэвид.

— Полагаю, дня через два-три. Это только предположительно.

Наступила пауза; Висла продолжал писать.

— Можно задать вам тот же вопрос?

— Мы ответим примерно то же самое,— сказал Дэвид.

Берэн кивнул, и снова наступила пауза.

— Несколько дней, чтобы определить болезнь, и несколько дней, чтобы определить ее последствия,— немного погодя произнес Берэн.— Природа любит равновесие.

— Это что-то чересчур уж изысканно,—заметил Висла, подымая глаза. — Через два-три дня мы узнаем, получил ли он биологический эквивалент примерно пятисот рентгенов жестких гамма-лучей или шестисот-семисот, а то и больше, и, вероятно, узнаем еще кое-какие более или менее существенные факты. Короче говоря, мы и сейчас уже кое-что знаем — например, то, что он получил наверняка больше трехсот. Вам это что-нибудь говорит?

— Да, — сказал Берэн, шагнув вперед. — Мне это кое-что говорит. Но я не думал, что вы знаете так много. Вчера вечером вы ничего об этом не говорили.

— Вчера вечером мы еще ничего не знали. Нам многое подсказал ожог. Но и сейчас мы ничего не знаем наверное, — ответил Дэвид.

— Нам неизвестно, настолько ли это достоверно, чтобы исключить все другое,— заметил Висла.— Количество установлено нами только предположительно.

— Но не точно.

— Есть один шанс против. И шанс очень недостоверный.

— Но все же шанс.

— Разумеется, — сказал Висла. — Один шанс из ста, что это верно.— И он снова принялся писать.

— Нет, пожалуй, больше, чем один из ста, — пробормотал Дэвид, нервно постукивая карандашом по столу. Внезапно он положил карандаш и улыбнулся Берэну.

— В щите есть желобок, — объяснил он. — Щиты вокруг критической массы, применяемой в этом опыте, очень ненадежны. Отчасти благодаря расстановке щитов истечение нейтронов вокруг установки было неравно-

мерно. Некоторые части тела подверглись интенсивному облучению, другие же были затенены...

— Хватит, хватит, — Берэн поднял обе руки. — Я наполовину биолог, но вовсе не физик. Такие слова, как «истечение», для меня имеют совсем другой смысл. У меня возникает представление о каких-то жидких выделениях. Что я могу сказать насчет семисот рентгенов? Как биолог скажу только одно — в таком случае он умрет. Если же... ну, скажем, если речь идет о четырехстах, тогда, пожалуй, мы сможем устранить инфекцию и сохранить водный баланс тканей — иными словами, дать тканям возможность восстановиться, если это мыслимо. Скоро я получу исследование костного мозга, а дня через два посмотрю, не начнут ли исчезать белые кровяные шарики. И тогда я буду знать наверняка, если только вы сами не найдете ответа раньше.

Висла хотел было что-то сказать, но вместо того тронул Дэвида за плечо, указал ему на строчку цифр, написанных на лежавшей перед ним бумаге, и одну из них обвел кружком. Он вопросительно взглянул на Дэвида; Дэвид кивнул.

— Я не хотел делать скороспелые выводы, — сказал Висла, глядя на Берэна. — В тот год, когда я приехал в Америку, здесь называли людей, уезжавших воевать в Испанию, «скороспелыми антифашистами». Здорово, не правда ли? Так вот, без всякой скороспелости могу сказать — та возможность, о которой говорит Тил, действительно существует.

— Один утешает другого, — произнес Берэн и опять почти цинично усмехнулся. — Мы сделаем все, что в наших силах. Я хочу предложить выписать сегодня четырех больных, а через два-три дня — еще одного. Этот — кажется, его зовут Гебер, не так ли? — стоял позади Саксла; пусть еще полежит в больнице, хотя он вне всякой опасности. Что же касается Саксла...

Берэн остановился, полез в карман и, вытащив цепочку с двумя-тремя ключами, побренчал ими.

— Он лишится рук, — продолжал Берэн. — Мы ампутируем их посредством замораживания, и он, конечно, знает это. Он много знает, даже слишком много. Я очень надеюсь, что у него сильный характер.

— Это ключи от машины Луиса? — спросил Дэвид.

— Да, он отдал их мне.

По коридору шла небольшая группка. Это были доктор Моргенштерн, доктор Педерсон и доктор Новали; позади, в нескольких шагах, шел полковник Хаф. Поравнявшись с дверью клетушки, они остановились за спиной доктора Берэна. Каждый глядел на другого, и все молчали. Берэн тихонько позвякивал ключами. Наконец заговорил доктор Новали.

— Я только что показывал Эрнсту, — он указал пальцем на доктора Моргенштерна, — что мы нашли в костном мозге. Агглютинирующих комков нет — ни одного.

— Хорошо, а клетки? — спросил Берэн.

— Только единичные — дифференциальный подсчет произвести невозможно, доктор. Несколько метамиэлоцитов «С». Затем шаровидные частицы жира и остатки тканей. Вырождающиеся клетки — да, это мы обнаружили.

— Может быть, следует сделать еще одну пункцию?

— Уже делали, доктор. То, о чем я говорю, — это уже результат двух пункций. Мы собираемся сделать третью.

— К сожалению, — начал доктор Моргенштерн, и все головы повернулись к нему, — к сожалению, Нолану, умершему от лучевой болезни несколько месяцев назад, не делали пункций. Насколько мне известно, у японцев существует только один такой анализ костного мозга, то есть пунк-

ция была сделана именно в такой стадии болезни. Так что мы не имеем возможности сопоставить, по крайней мере насколько я знаю. Я бы хотел, чтобы вы... я думал...

Он умолк, глядя поверх очков на доктора Берэна.

— Да, — сказал Берэн. — Очень грустно это слышать. Я хочу взглянуть на препараты.

— Да, взгляните, пожалуйста, — вмешался Педерсон, и все головы повернулись к нему. В голосе его звенело такое напряжение, что полковник Хаф бросил на него недовольный взгляд, а Дэвид, не видевший Педерсона из клетушки, но слышавший его голос, опустил глаза.

— Костномозговая ткань — конечно, все знают, как она малоустойчива,— быстро заговорил Педерсон,— но это ничего не доказывает, ровно ничего. Эта ткань восстанавливается быстро, несмотря на разрушение клеток, то есть даже если оно будет продолжаться. Ведь в самом деле, это ничего не доказывает, даже при определении дозы. Бывали случаи, я читал об этом, когда пункцию брали у животных, да и у японцев, перенесших лучевую болезнь, и анализы были очень плохие, но больные все-таки выздоровели. Но и в качестве показателя дозы... я знаю, о чем вы думаете, доктор Берэн, но послушайте, есть же еще один фактор, и весьма важный, но не поддающийся учету. Я хочу сказать, что в костномозговых тканях рассеивание частиц гораздо интенсивнее. Я уверен, что вы это знаете, — разумеется, знаете, но может быть, вы об этом не подумали?

И он продолжал говорить о восстановительной энергии, которая непременно возникает в костном веществе, так как кость, благодаря своей плотности, означающей...

Слушая его и держа в пальцах неподвижно повисшую цепочку с ключами, Берэн сжал губы; он поглядел на Моргенштерна и думал о том, как ему сейчас поступить. По привычке строго упорядочивать свои мысли он проверял про себя соображения Педерсона, хотя ему и так было ясно, что в голове у того совершенная путаница: фактор, о котором говорил Педерсон, относился к мягким рентгеновым лучам, но, к сожалению, они имеют дело не с мягкими икс-лучами, а с нейтронами. Могут ли кальций и фосфор, входящие в состав костей, усилить проникновение *нейтронов* в мягкие ткани костного мозга? Вряд ли. Является ли ухудшение состояния костного мозга прямым следствием дозы облучения? Вполне возможно. Уверен ли он сам, что состояние мозгового вещества является показателем дозы? Не очень, так как у него уже и без того достаточно показаний, которые подтверждаются тем, что сказали и чего не сказали Висла и Тил, но, конечно, и этого нельзя упустить из виду. Может ли допустить такую грубую ошибку человек, имеющий хоть какой-то опыт в лечении лучевой болезни? Кто его знает. Однако ошибка налицо, хотя Берэну приходилось сталкиваться и с более сложными фактами. Так как же быть? Что ж, исправим ошибку. А потом? А потом поведем нашего разгоряченного коллегу завтракать и постараемся убедить его, что пациенту нужен не столько хороший друг, сколько хороший врач. Я попробую привести свои доказательства, думал он, а Висла — свои, потом опять начну я. Так мы будем успокаивать друг друга, но кто успокоит больного? Ну конечно вы, сестра, да, я полагаю, и все прочие, сказал он себе, глядя на Педерсона, который уже умолк и, казалось, готов был расплакаться. Можете ли вы с уверенностью сказать, что нужно больному? Нет. Что за проклятая болезнь! — вздохнул про себя Берэн. В одну неизмеримо малую долю секунды на человека обрушилось — что? Шквал энергии, которого достаточно, чтобы убить человека, но который все же меньше одной стотысячной доли той энергии, которая расходуется организмом во время нормального биоло-

гического обмена веществ за один день; впрочем, можно сформулировать это еще более жестоко — этот шквал непосредственно воздействует не больше, чем на одну молекулу из десяти миллионов, составляющих органическую клетку средних размеров. А потом? А потом мы ждем, пока в организме происходит невидимый и неслышимый процесс распада, неощутимый для больного, если не считать ожога, процесс, который поглощает весь организм и наконец вдруг дает о себе знать резким, страшным исчезновением белых кровяных телец. Вот самый главный показатель. Эта болезнь непохожа ни на какую другую. Предстоит несколько трудных дней — спокойных, без всяких событий, поскольку количество белых шариков не будет уменьшаться, — и очень трудных дней. Так что же мне ему сказать? — снова спросил он себя. Ведь если надо щадить добрые чувства моего молодого коллеги, то надо щадить и всех нас, и, во всяком случае, вряд ли можно, занимаясь медициной, давать волю личным чувствам. В особенности если дело касается такого пациента, как мистер Сакслл, который знает слишком много, и, уж если на то пошло, даже если дело касается меня, с неожиданным раздражением подумал Берэн. Черт возьми, почему, собственно, Моргенштерн не может...

Но доктор Моргенштерн, склонясь к Педерсону и сжимая и разжимая пальцы, уже что-то говорил ему. Висла, приподнявшись со стула, тоже пустился в объяснения. И прежде чем Берэн мог, вернее, успел что-нибудь сказать, Педерсон обернулся к Новали, и оба, отделившись от остальных, пошли в ординаторскую.

Берэн поглядел им вслед, раздражение его улеглось, и он даже не смог бы объяснить, чем оно было вызвано; возможно, его невольно взволновала необходимость сказать что-то такое, что было ему неприятно, к тому же он понимал, что творится в душе Педерсона. Так или иначе, но он сунул цепочку с ключами в карман и, глядя в глаза доктору Моргенштерну, сказал то, что хотел, причем достаточно выразительно, чтобы слова его не показались слишком общими.

— Итак, я хотел бы видеть препараты. Но судя по тому, что вы мне сказали, и по тому, что вижу я сам, я думаю, что следует позвонить в Сент-Луис тому патолого-анатому, Бийлу. Я считаю — будем говорить прямо, — я считаю, что нужно на всякий случай вызвать его сюда. Так же, как мы вызвали Бригла.

— Ну что ж, я думаю, это правильно, — согласился доктор Моргенштерн. — Собственно говоря, я уже звонил ему. Да. Я звонил ему сегодня, часа два назад.

— Вы ему звонили, — ровным голосом произнес Берэн, как бы подтверждая этот неожиданный факт. — Я не знал. Ну, и что же он?

— Он согласен, что положение серьезное. Конечно, по телефону я не все мог объяснить. Мы разговаривали недолго.

— Я... ну да, я понимаю. Ну, а относительно вызова,— как вы думаете, согласится он приехать?

— О да, без всякого сомнения. Я, собственно, уже пригласил его. И, по правде говоря, он уже, наверное, на пути сюда. — Доктор Моргенштерн вытащил из кармана часы и пристально поглядел на стрелки. — О да, — продолжал он. — Пожалуй, к концу дня он будет здесь. — Он с беспокойством взглянул на Берэна. — Все оказалось проще простого, — добавил он. — Полковник Хаф любезно согласился подвезти его.

— Я с удовольствием, — сказал полковник Хаф.

Берэн склонил голову сначала налево, потом направо и поджал губы. Он искоса взглянул на двух физиков, сидевших за столом в клетушке; Висла опять писал, Дэвид, вертя в пальцах карандаш, смотрел

на стоявших у дверей, и на лице его было слабое подобие улыбки. Берэн вдруг засмеялся.

— Я говорил сегодня за завтраком, мистер Висла, что глупость не имеет постоянной штаб-квартиры, — сказал он, обращаясь ко всем. — Кажется, я неправ — вероятно, эта штаб-квартира здесь,— и он постучал себе по лбу. — Ну, пусть будет так, — добавил он. — Ожог на животе — скверная новость, а исследование костного мозга — и того хуже. Все, как удачно выразился доктор Моргенштерн, оказалось проще простого.

Берэн полез в карман и снова вытащил цепочку с ключами.

— Он вам что-нибудь сказал? — спросил Дэвид.

— Он предложил мне пользоваться его машиной, пока я здесь. Сказал, чтобы я пользовался ею сколько захочу, а когда она станет мне не нужна, передал бы ключи вам.

Ключи звякнули; некоторое время все молчали.

— Не знаю, что он имел в виду, — снова заговорил Берэн. — Иногда — я бы даже сказал, всегда, когда сознание своего «я» достаточно сильно, — даже самые несклонные к иллюзиям люди проявляют некоторое стремление смягчать факты. Нет, «стремление» — это не совсем точно. Они опираются на то, что сохранили в себе с тех времен, когда жизнь была радостью, или чаще всего, на страх смерти, а иногда и просто на неверие. Помните, что думал Ростов в «Войне и мире», когда лежал раненый и к нему приближались французы: «Зачем они бегут?.. Убить меня? *Меня*, кого так любят все?» И это вовсе не глупость и не самомнение. Должно быть, это наивно, но перед лицом смерти люди бывают очень наивными — смерть срывает духовные покровы. Вот так.

— Он еще сказал, что хотел бы подождать денек, а потом уж сообщить семье. И спрашивал, нет ли у вас известий от его приятельницы,— он говорит, что вы давали ей телеграмму. Я бы советовал сообщить семье не откладывая, но не мне решать. Во всяком случае, я рад, что он так сказал. Боюсь, что он заблуждается, но это как раз то, что надо. Он слишком много знает. Доктор Моргенштерн, я хочу пригласить юного Педерсона позавтракать. Не присоединитесь ли вы к нам?

Берэн и Моргенштерн пошли к ординаторской, оставив полковника Хафа в коридоре, где к нему тотчас же подошел Дэвид. Минут пять они разговаривали вполголоса. Висла вышел из клетушки, поглядел на них, будто видел их первый раз в жизни, и ушел из больницы. Мимо прошло несколько врачей. Паровой свисток в Технической зоне, возвещавший начало и конец рабочего дня и обеденный перерыв, наполнил воздух коротким пронзительным шипеньем.

— Нет,— сказал наконец Дэвид,— нет, я не говорю, что вы лжете. Я верю, что вы хотите дать какое-то сообщение, но не доверяю вам. Если вам представится возможность скрыть правду, вы ее скроете. Если можно будет увильнуть совсем, вы увильнете. По каким-то неясным мне причинам вы решили, что будет безопаснее или целесообразнее идти напролом, но ничуть не изменили своих намерений. Вы хотите сообщить как можно меньше и чтоб это прошло как можно незаметнее — одним словом, Стандартная Оперативная Процедура. Ладно. Так вот что я вам скажу. Если вы, как я подозреваю, станете искажать факты, я отправлюсь в Альбукерк, обойду все телеграфные агентства в городе и расскажу им правду.

— Не делайте глупостей, Дэйв, — серьезно сказал полковник.

— И если они захотят произвести расследование, то хоть будут знать, что расследовать. Я не собираюсь делать глупости, — добавил он, — но и не допущу, чтоб их делали другие. Впрочем «глупости» — это не то слово! Неужели вы не понимаете, о чем мы говорим? Неужели вы не понимаете, что здесь произошло?

«Расследовать? — думал полковник, глядя вслед уходившему Дэвиду. — Почему он произнес это слово? Должно быть, Уланов выложил ему про конгрессмена... нет, Дэвид сказал бы об этом. Все равно. Уланов ему расскажет... но никакого расследования не будет... все они горячатся из-за пустяков... Может, все-таки позвонить генералу?..»

9

Шипящий свист разнесся над плато и, постепенно замирая, стих где-то за каньонами. Наступил полдень. Двери трех лос-аламосских школ распахнулись настежь, и на улицы высыпали ребятишки. Их отцы непрерывным потоком устремлялись из многочисленных зданий Технической зоны к высоким воротам с двумя часовыми, толпами валили из разных мастерских и учреждений. Быстро заполнялись кафетерии, на террасе «Вигвама», под яркими зонтами между столиками сновали официанты дневной смены. Сидней Вейгерт и его подруга давно ушли; они взяли лошадей и поехали в Валле-Гранде, но дорога оказалась трудной, и сейчас они лежали, обнявшись под сенью трепещущей осины, а в листве щебетали птицы, и это было единственным звуком во всем мире, потому что девушка вопреки ожиданию отнеслась к рассказу о случае в каньоне довольно спокойно.

Берэн, Моргенштерн и Педерсон вышли из больницы и отправились завтракать в «Вигвам». Компания их увеличилась — за ними увязались еще два врача, а третий догнал их по дороге. На террасе они огляделись, решили, что здесь слишком людно, вошли внутрь и уселись за большой круглый стол в просторной столовой, почти пустовавшей сегодня, — очень уж хороша была погода. Двое или трое заказали коктейли. Начался бессвязный разговор, вертевшийся вокруг злободневных тем. Медицинское общество штата Нью-Йорк в недавно выпущенном бюллетене предсказывало, что вскоре атомная энергия будет гораздо шире использоваться в медицинских целях. Немного поговорили об этом. Но кто-то из врачей сообщил, что в одной газете рядом с этой заметкой помещена другая под заглавием «Новая веха на пути к Войне с помощью кнопок», где говорится, что военно-морской ракетный самолет V-2 взял высоту почти в семьдесят пять миль, и тут же другая заметка о том, что комитет мира при Обществе психологического изучения социальных вопросов озабочен психическим состоянием населения в связи с атомными проблемами. При этом одни засмеялись, другие покачали головой.

— Читали отчеты Истменской компании?

Только вчера эта сенсационная новость появилась на первых страницах всех газет: исследования фирмы Истмен-Кодак показали, что спустя несколько дней после первого атомного взрыва радиоактивные частицы покрывали собой пространство, равное австралийскому материку; пленка в ящиках из плотного картона, в состав которого входит солома, оказалась засвеченной, благодаря радиоактивности соломы. Все читали об этом; некоторые опять покачали головой.

— Когда-нибудь... — начал кто-то и умолк.

Один из врачей сказал, что в Лос-Аламосе после первого взрыва творилось бог знает что. Он был тут еще в конце войны — его командировали выяснить опасность облучения при работе с некоторыми техническими установками; это было примерно за месяц до испытания бомбы в Аламогордо, и он не думал, что когда-нибудь попадет сюда снова, но вот позавчера ночью доктор Моргенштерн позвонил ему в Лос-Анжелос... Да, он тогда многому научился, продолжал врач, — не в смысле медицины, потому что он тут, в сущности, ничего особенного не делал, а вообще. Он помнит, например, что тут думали о том, первом взрыве,

и как он и еще кое-кто, кому об испытании и знать не полагалось, кроме разве одного его приятеля, ученого, который... Впрочем, это сложная и малоинтересная история, — так вот, он и еще несколько человек, в том числе жены тех, кто поехал с бомбой, собрались рано утром на Сейерс-Ридж, покатом склоне в горах Хемез, откуда зимой съезжают на лыжах. Они пришли посмотреть, что произойдет в пустынной долине миль за двести к югу от места, где проводилось испытание бомбы. Больше часу, рассказывал врач, стояли они на холоде, в темноте, и вдруг одна из жен разрыдалась и никак не могла остановиться; уж ее подруга и успокаивала и прикрикивала на нее — ничего не помогало, так она все время и проплакала. Все были настроены тревожно, некоторые уже хотели уходить, отчаявшись ждать или боясь, что произойдет нечто ужасное; и вдруг в шестом часу утра они увидели далекую вспышку, а довольно много времени спустя до них донесся низкий глухой гул. И хоть гул был слабый, он показался им еще страшнее, чем вспышка, — ведь источник его находился так далеко!

А в конце дня стали появляться те, кто уезжал вместе с бомбой; они приезжали в машинах, большей частью в джипах, грязные с ног до головы, обессилевшие от усталости, но возбужденные до предела. И, конечно, все держали язык за зубами. Они не знали, известно ли что-нибудь другим, то есть вообще здешнему народу, их женам и таким, как я, рассказывал врач. Говорили они об этом только друг с другом.

— Ну, сами понимаете, — продолжал он с коротким нервным смешком: он только сейчас заметил, что завладел вниманием всего стола и слушатели не отрывают от него глаз, а он к этому не привык. — Все это трудно передать. Часов примерно в шесть вечера я сидел в кафетерии. На двух машинах подъехало человек шесть-восемь. С виду — бродяги, да и только. Среди них были и Сакс и Дэвид Тил. Помню, ввалились они в дверь, стоят и озираются. И все шесть или восемь держатся вместе, плечом к плечу, понимаете, как, скажем, кучка матросов в притоне перед дракой, — с таким видом, будто решились стоять друг за друга насмерть. Это, наверное, потому, что они не знали, как себя вести, ведь неизвестно было, знают про них другие или нет. Но, помню, выглядели они странно. Как... ну, ладно. Прошла секунда-две, и вдруг кто-то в зале заорал, другие подхватили, и пошла кутерьма!.. Тарелки летели на пол, все бросились к ребятам. Сакса, Тила и остальных люди облепили со всех сторон. И все что-то кричали. Ну, и так без конца, понимаете,— люди изливали свое облегчение, возбуждение и уж не знаю что. Вот так-то.

Он умолк, опустил глаза и стал перекладывать лежавшие перед ним на столе нож и вилку.

— Да,— протянул один из врачей,— должно быть, интересное то было время.

Берэн не сводил с рассказчика восхищенного взгляда.

— Это же замечательный рассказ! — воскликнул он. А Моргенштерн несколько раз медленно кивнул головой.

И только когда завтрак уже близился к концу, кто-то заговорил о лучевой болезни. До тех пор никто не затрагивал этой темы.

Педерсон, сидевший между Моргенштерном и Берэном, почти не участвовал в разговоре. Не дождавшись, пока кончат завтракать остальные, он извинился и встал из-за стола: ему нужно идти в больницу делать Луису вливание глюкозы. Берэн следил за удалявшейся фигурой Педерсона точно так же, как несколько часов назад следил с террасы «Вигвама» за его приближением.

Через несколько минут, когда все уже допивали кофе и расплачивались, в столовую вошел полковник Хаф. Он остановился немного

поодаль, поманил к себе Моргенштерна и нетерпеливо оглядывался по сторонам, пока тот вставал из-за стола. Как только Моргенштерн подошел, полковник Хаф начал что-то быстро говорить ему почти на ухо.

Он только что завтракал на террасе с одним конгрессменом, который проездом ненадолго остановился в Лос-Аламосе. Конгрессмен вбил себе в голову, что Луис Сакслкоммунист, он так и заявил полковнику, и полковник отлично знает, откуда он это взял: всему виной этот неслыханный дурак Уланов со своим длинным языком; а теперь конгрессмен требует, чтоб его пустили к Луису в палату — он хочет задать ему несколько вопросов. Конгрессмен, продолжал полковник, привстав на цыпочки, чтобы дотянуться до уха Моргенштерна, говорил довольно громко, и сидевшие на террасе стали оборачиваться в их сторону. Он не в силах убедить конгрессмена бросить этот разговор или хотя бы отложить до более подходящего времени и места. Ради бога, может, Моргенштерн что-нибудь придумает? Ведь о посещении Луиса не может быть и речи, правда? Можно ли не пустить конгрессмена в больницу? Наверное, все-таки можно, не так ли? Что бы такое придумать, чтобы не было скандала? И легче всего сделать это Моргенштерну, как главному врачу. Тем более, что гражданский начальник атомной станции в отъезде.

— Врач ведь имеет право... — заключил Хаф.

Моргенштерн внимательно выслушал все это, чуть склонив голову набок и не сводя глаз с оленьей головы, висевшей над огромным камином.

— Я полагаю... Да, разумеется, к Луису сейчас нельзя. Все же, я полагаю... слушайте, почему не сказать ему все, как есть? Вы объяснили, как тяжело болен Сакслу?

— Объяснил, — сказал Хаф, — я ему все объяснил.

Но в устах врача, добавил он, это прозвучало бы гораздо внушительнее.

— Он не говорил, почему ему срочно понадобилось допрашивать тяжело больного человека?

— Может, вы сами с ним поговорите? — умоляюще сказал Хаф. — Просто скажите ему, что как врач вы считаете это недопустимым.

— Ладно, — согласился Моргенштерн. — Где он?

Но Хаф замотал головой. Не сейчас, сказал он; попозже он приведет конгрессмена в больницу, там удобнее разговаривать.

Когда Моргенштерн вышел из-за стола, врачи говорили о возможности влияния длительного местного охлаждения на температуру тела; этот вопрос очень интересовал Моргенштерна, ибо он и сам подумывал, что температура Луиса, за которой с такой жадной надеждой следили Педерсон и все остальные, не повышается благодаря пузырям со льдом. Но пока он беседовал с Хафом, тема разговора за столом переменилась. Врачи говорили о Гебере, пациенте, который стоял за спиной у Луиса, когда произошло несчастье; конечно, это его и спасло. Гебер получил очень интересную дозу облучения — достаточную для того, чтобы вызвать все типичные симптомы острого случая лучевой болезни в совершенно чистой форме, без ожога, без риска возникновения серьезной инфекции и почти наверняка без всяких тяжелых последствий.

— И все-таки некоторое время надо вести над ним тщательное наблюдение, — сказал один из врачей. — Я уверен, что года через три-четыре мы найдем в картине крови нечто необычное.

Моргенштерн ни словом не обмолвился о том, что сообщил ему Хаф. Деловито обсуждая на ходу разные проявления лучевой болезни, все вместе вышли из «Вигвама» и направились к больнице. По пути Моргенштерну удалось опять навести разговор на тему о влиянии охлаждения на температуру тела.

Полковник Хаф, сидя на террасе, указал конгрессмену на группу врачей, шедших через пустырь к дверям больницы.

— Он отличный врач и толковый человек к тому же, — сказал полковник. — Если это возможно, он, конечно, с радостью разрешит вам пройти к больному. Вы же знаете, врачи — как капитаны на кораблях: в своих владениях они полные хозяева. И разумеется, тут решает медицина, только медицина.

— Позвольте вам заметить, полковник, — заявил конгрессмен, — что интересы безопасности государства, надо думать, выше всяких там соображений медицины.

Но он сказал это довольно мирным тоном, и полковник быстро справился со своим замешательством.

В два часа дня, согласно назначению врачей, Луису сделали капельное вливание глюкозы с физиологическим раствором. Он по-прежнему чувствовал себя довольно сносно, если не считать боли в левой руке, от которой не спасал его лед. На этот раз, чтобы унять боль, ему вспрыснули морфий, и вскоре он крепко заснул, а пока он спал, его несколько раз сфотографировали и сделали измерения счетчиком Гейгера, ничуть не потревожив его сна. Луис проспал почти весь день и проснулся с хорошим аппетитом. Боль в левой руке либо уменьшилась, либо прекратилась совсем — во всяком случае, он ее не замечал.

Не заметил он также появления конгрессмена и полковника Хафа, которые пришли в больницу в три часа дня. Доктор Моргенштерн вместе с Вислой и Берэном принял их в ординаторской. Беседа продолжалась десять минут, после чего конгрессмен в перевалку пошел к выходу и, не обращая внимания на врачей и физика, набросился на полковника Хафа:

— Вы меня надули, сукин вы сын! Вы прекрасно знали, что они скажут. Ну, да вы от меня не отвертитесь! Ах, негодяй! Погодите, я вам еще покажу!

В первой половине дня Дэвид Тил полчаса провел в циклотронной мастерской — прибор для чтения, предназначавшийся для Луиса, был почти готов. Над ним трудилось человек пять-шесть — физики, инженеры и техники. Аппарат хотели прикрепить к спинке кровати; он состоял из длинного рычага, который будет держать книгу перед глазами Луиса, и ножной педали; педаль приводила в действие моторчик, а тот, в свою очередь,— систему сцепления, которая переворачивала страницы одну за другой — вернее, будет переворачивать, как только техники сумеют добиться, чтобы это приспособление не захватывало несколько страниц сразу. Сам Домбровский, один из лучших техников, будет работать над этим, не жалея времени; прибор ему передадут утром.

Потом Дэвид поехал в каньон, в ту самую лабораторию. У дверей дежурили два солдата — уже не те, что были тогда. Солдат, привезший Дэвида, остался поболтать с часовыми; внутри не было ни души. Лаборатория была приведена в относительный порядок. Дэвид сам собрал котел, который разбросал Луис; он сделал это в тот же вечер, когда произошло несчастье, и тогда же два раза подряд проделал опыт. С тех пор в лаборатории побывало много людей; они проверяли и сопоставляли показания контрольных и счетных приборов, составлявших часть лабораторного оборудования, производили тщательнейшие обмеры котла, измеряли расстояния и углы падения от котла до следов на полу, обведённых мелом сразу же после того, как произошло несчастье, а от следов — до всех отражающих поверхностей в помещении. Тут была проделана большая работа; на основании ее результатов и с помощью тех вычислений, над которыми Дэвид и Висла просидели все утро и которые продолжали делать другие, можно было определить дозы облучения. Или, если не определить, то приблизительно представить себе эти

дозы. Объем излучения, выделяемого обыкновенной рентгеновой трубкой, можно точно установить с помощью показаний соответствующего счетчика. Но излучения, хлынувшие из критической массы под руками Луиса Саксла, были так многообразны, так интенсивны, и так сложны были их действия и взаимодействия, что никто и не надеялся определить их точно.

Здесь, у первоисточника всех событий, Дэвид не мог уже узнать ничего нового. Он присел на табуретку возле самой двери. Снаружи что-то бубнили солдатские голоса, но в лаборатории стояла тишина; солнечные лучи пробивались через ряд окон в одной стене и захватывали край стола, на котором стоял атомный котел.

Собственно, это был не стол, а просто грубые, необструганные козлы; ножки и перекладины его поддерживали металлическую доску, на середине которой лежали сложенные в кубической формы кучу сероватые кирпичи из какой-то гладкой металлической массы. Куб не имел ни лицевой стороны, ни ручек, ни отверстия, все стороны его, на которых виднелись только линии, обозначавшие края кирпичей, были гладкими и совершенно одинаковыми. Кроме куба, на столе были и другие предметы: две толстые раскрытые тетради, бокал с черными и красными карандашами и самые обыкновенные инструменты: плоскогубцы, отвертки, небольшой молоток. На одном конце стола валялось с полдюжины маленьких кирпичиков из буроватой металлической массы; возле них стояла пустая бутылка из-под газированной воды. Над всем этим на бетонной стене висели разлинованные циферблаты и шкалы; от той же стены отходил небольшой выступ, а с него, доходя почти до верхушки аккуратной кубической кучи, свисал тонкий провод. Конец его не был закреплен, но провод висел неподвижно.

Немного погодя Дэвид поднялся с табуретки и подошел к столу, осторожно обходя места, где остаточная радиоактивность была еще довольно сильна. С полчаса Дэвид рассматривал записи в тетрадях. Потом он порылся среди маленьких бурых кирпичиков, лежавших на столе, взял один и повертел в руках. Кирпичик был дюйма в полтора шириной и в полдюйма толщиной; он состоял из двух частей, и одна из них — нечто вроде втулки или вкладыша — плотно входила в другую. Дэвид несколько раз вытаскивал вкладыш, вставлял его обратно, ощупывал пальцами кирпич со вставленным вкладышем и без него, взвешивал на руке, подбрасывал вверх, вертел в руках, закрыв глаза, и наконец положил обратно.

На обратном пути Дэвид зашел в общежитие, где жил Луис. В комнате его тоже был относительный порядок, но, кроме уборщицы, которая, по-видимому, уделяла ей немного внимания, сюда вот уже три дня никто не заглядывал. На закрытом окне увядал пучок водосбора, сорванного, должно быть, в прошлое воскресенье; в комнате пахло нежилым. Резиновые ласты для плавания, которые Луис купил, собираясь на Бикини, лежали на письменном столе. Дэвид хорошо знал эту комнату, как все комнаты в Лос-Аламосе, включая и свою собственную. Общежитие помещалось в старом бревенчатом доме, сохранившемся с тех времен, когда здесь находилась скотоводческая школа; комната Луиса была больше и удобнее многих других, и вечеринки обычно устраивались у него. Как раз позавчера вечером было решено устроить здесь прощальную пирушку; купленный для этого случая ящик с пивом стоял в комнате возле двери. Одной бутылки не хватало; Дэвид, смутно удивившись этому, наклонился и заглянул в пустую ячейку. Но нежилой дух и мертвенная тишина комнаты действовали на него угнетающе, и ему захотелось поскорей уйти. Он пришел за книгой, которую просил принести Луис. Найдя ее, Дэвид тотчас ушел.

ЧАСТЬ IV

ЧЕТВЕРГ, ВЕЧЕРОМ.— ЗАРЕВО ВИДНО В КАЖДОМ ДОМЕ.

1

В четверг, под вечер, тускло-зеленый военный самолет приземлился на маленьком аэродроме Санта-Фе, пробежал по нему, откатился назад и остановился неподалеку от поджидавшей его военной машины. Из машины вышли двое: полковник и лейтенант. С минуту был слышен глухой рокот работавших вхолостую моторов, потом все стихло и появился служитель с лесенкой, которую он подкатил к самолету. Дверца открылась, и из самолета вышел солдат. За ним показался штатский, человек заурядного вида, в заурядном сереньком костюме и с большим коричневым чемоданом в руках. Солдат и штатский спустились по лесенке на землю, и штатский направился прямо к машине; двое военных последовали за ним. Возле машины все трое на минутку остановились и обменялись несколькими фразами — краткими вопросами и ответами. Затем они сели в машину, которая тотчас же двинулась через поле к воротам; выйдя за ворота, машина свернула на дорогу, ведущую к Санта-Фе, и, набирая скорость, помчалась вперед.

Солдат остановился поболтать со служителем; оба поглядели вслед удалявшейся машине.

— Сам полковник встретил на личной машине, — произнес служитель. — Он кто такой?

— Точно не скажу, знаю только, что доктор, — ответил солдат. — Он всю дорогу молчал.

— Откуда летели?

— Из Сент-Луиса.

— И он все время молчал?

— Я же говорю, молчал.

— Это полковник Хаф с Горы. Неплохой малый. Мы с ним как-то встречались.

— А что за Гора?

— Это где делают бомбу. Лос-Аламос. Тут у нас называют его Горой.

— Ну, мой про это ничего не говорил, — сказал солдат. — Небогатый у вас аэродром, — добавил он.

— Такие самолеты тут не приземляются. Наш аэродром на них не рассчитан. Надо было лететь в Альбукерк.

— Нам было приказано лететь прямо сюда.

Машина остановилась на главной улице Санта-Фе у входа в приземистое, выстроенное с затейливой простотой, покрытое розовой штукатуркой здание гостиницы. Штатский вышел из машины и отрицательно качнул головой, когда подбежавший рассыльный протянул руку к его чемодану. Полковник Хаф, высунувшись из машины, заговорил с приезжим. Тот слушал, полуотвернувшись и глядя на ярко освещенный широкий вестибюль, — в глубине его даже с улицы был виден бар.

— Итак, мы пока что оставляем вас здесь, — говорил полковник Хаф. — Мне очень жаль, что так вышло, но вы же понимаете...

— Да, — сказал приезжий, — только держите меня в курсе дел. И пусть доктор Педерсон позвонит сейчас же. Я никуда не уйду. Я буду либо у себя в номере, либо в баре, одно из двух. Звоните мне.

Он вошел в гостиницу и назвал свое имя дежурной, молоденькой девушке лет девятнадцати, в крестьянской блузке и яркой цветастой юбке.

— Да, да, сэр, — сказала она, — номер вам приготовлен. Вы к нам надолго, мистер Бийл?

— Понятия не имею. А вам это нужно знать?

— О нет, сэр, совсем не нужно. Нам велели...

— Ну, так и спрашивайте у тех, кто вам велел.

Ах, ах, какие мы, оказывается, нервные, подумала девушка. А по виду и не скажешь!

— Не оставите ли вы номер телефона, по которому вас можно найти? — спросила она. — На случай, если вы уйдете.

— Я никуда не уйду,— сказал Бийл.— Я буду либо у себя в номере, либо в баре, одно из двух.

Доктор прошел в свой номер, присел на край кровати и так просидел минут пять, уставясь в пространство. Потом он разделся и лег. Немного погодя он взял телефонную книжку и стал медленно листать страницы.

— «Больница св. Винсента. Палас-авеню 210, телефон 3-33-66», — прочел он вслух. Отложив книжку, он задрал сначала одну ногу, потом другую и указательным пальцем потер между пальцами ног.

И в юности, и в старости, когда здоровьем плохи,
Примерные католики способны на подвохи,—

произнес он нараспев. Через несколько минут он встал с кровати и открыл чемодан. Он не принял душа, не стал бриться, однако умудрился потратить целых полчаса на то, что должно было отнять не больше пяти минут. Надев костюм чуть потемнее того, что он снял, Бийл подошел к окну и стал глядеть наружу. Окно выходило на крышу, наполовину покрывавшую внутренний двор гостиницы, но крыша находилась на уровне нижнего этажа, и Бийлу в окно были видны плоские верхушки башен собора св. Франциска на фоне ясного вечереющего неба. Он стоял у окна и прислушивался к смутному говору, долетавшему из внутреннего двора, пока не зазвонил телефон.

— Это Педерсон,— сказал Бийл, идя к телефону.— Да? — сказал он в трубку тем же тоном.

— Да,— произнес он немного погодя,— в общем, ничего, если не считать того, что пришлось целый день просидеть в самолете С-47, который нужно было выбросить на свалку еще два года назад. А в общем, хорошо.

Наступила пауза.

— Да, конечно, — сказал он.

Снова пауза.

— Разумеется, понимаю,— заговорил он,— но надеюсь, и вы понимаете, каково мне сидеть здесь и ждать.

— Только то, что мне сказали по телефону, — произнес он через секунду, — и что успел сообщить полковник, а это очень немного.

— Понятно, — сказал он под конец. — Я буду ждать вас в баре. Выезжайте, как только сможете.

Повесив трубку, Бийл тотчас же вышел из комнаты и направился прямо в бар. Часы показывали без нескольких минут шесть, но в баре было почти пусто. Бийл сел за большой, человек на восемь, угловой стол, у которого вдоль стен стояли скамьи с мягкими сиденьями. Подошла официантка в длинной черной юбке с четырьмя яркими цветными полосами. Бийл уставился на юбку и смотрел, пока официантка не пришла в замешательство, тогда он медленно и нагло повел глазами вверх, задержал взгляд на ее груди и потом уж взглянул ей в лицо.

— Виски и содовой, пожалуйста, — сказал он.
— Вы не будете обедать? — спросила официантка.
— Не знаю. Возможно.
— Сколько с вами будет человек?
— Один.
— Ах, вас только двое? Тогда не пересядете ли вы за маленький столик, сэр? Этот стол понадобится для большой компании.
— Предположим, что нас шестеро, но не все придут. Что ж, дадите вы мне наконец виски с содовой?

Ох, подлить бы тебе в стакан вместо виски чего-нибудь другого, подумала официантка. Нахал чертов!

Бийл выпил бокал, потом другой и третий. Бар постепенно наполнялся. Старшая официантка два раза подходила к Бийлу и просила пересесть за маленький стол. Когда подали третий бокал, он заказал обед. Когда подали кофе, он заказал еще виски. Было уже половина восьмого. Прошло столько времени, а он еще ни с кем не поговорил, ничего не прочел и, в сущности, почти не двинулся с места. Он тихонько барабанил пальцами по столу и, держа в другой руке бокал, рассматривал висевшую над большим столом мексиканскую оловянную люстру. Наконец появился Педерсон.

Педерсон, явно усталый и явно расстроенный, рассказывал вяло, мямлил и часто повторялся. И все же он довольно успешно брел от одной важной подробности к другой, хотя часто кружил вокруг да около. Доктору Берэну или доктору Моргенштерну понадобилось бы гораздо меньше времени для изложения сути, но и сделали бы они это по-другому. В конце концов из сбивчивого рассказа Педерсона Бийл узнал больше, чем мог выжать из себя сам Педерсон.

— Как видите, картина еще во многом неясна, — осторожно сказал он в заключение. — Количество фосфора в сыворотке крови совсем не вяжется с количеством натрия. И, как я уже говорил, я не понимаю, что это значит, и никто мне не может объяснить, но ведь такое несоответствие что-нибудь да значит. Температура у него пока что не поднимается. Это я уже говорил. Ну вот, общая картина мало утешительна, особенно учитывая эритему на животе и анализ костного мозга, но нельзя же не видеть ничего, кроме этого. Ведь есть же и обнадеживающие симптомы, вам не кажется? Например... впрочем, об этом я, по-моему, уже говорил.

Бийл встречался с Педерсоном в больнице после смерти Нолана, но лишь мельком и почти совсем не помнил его. Побалтывая виски в стакане, слушая Педерсона и разглядывая его, Бийл старался угадать, сколько ему лет. «Двадцать семь — двадцать восемь, не больше, — подумал он, — наверное, года два назад был еще практикантом. Теоретически я гожусь ему в отцы; где-нибудь в жарких странах я бы свободно мог быть его отцом. А выгляжу я не настолько старше его,— думал он,— но только с виду, а чувствую себя совсем стариком. Луису Сакслу, должно быть, лет тридцать — тридцать один. В очень жарких странах я бы мог быть и его отцом. Ах, несчастный малый, в какую беду попал!»

— Вы патолог, — говорил Педерсон. — Неужели вы... Вы так ничего и не сказали... какие же могут быть из этого всего выводы?

Из вентиляционной отдушины в стене неподалеку от их стола доносился непрерывный глухой стук, быстрый и монотонный, Бийл давно уже прислушивался к нему, сначала с раздражением, а потом даже с интересом — этот стук занятно сочетался в его ушах с шумом бара, как бы аккомпанируя этой разноголосице одной и той же басовой нотой, покрывая женские и мужские голоса, словно бой барабана в ритуальной

пляске. «Тум-турум, тум-турум, тум-турум, — повторял про себя Бийл, — тум-турум, тум-турум...»

— Я вас не понимаю, — сказал он Педерсону. — Вы что-то путаете.

— Да? Почему вы так думаете?

— Судя по тому, что вы говорите, вам хочется сохранить надежду, и вы настраиваете себя на этот лад. А надежды нет. Можете желать, чтоб он выжил, мы все этого желаем, но не затемняйте картины.

Педерсон поглядел на пол, потом на Бийла. Он взял бокал, но не донес его до рта. Пальцы его медленно разжались, бокал выскользнул и упал на пол. Бийл выпрямился, официантка заспешила к ним, люди за соседними столиками обернулись в их сторону. Рука Педерсона словно застыла в воздухе.

— Ну ладно, — сказал он Бийлу. — Это мнение приезжего патолога. Но и вы тоже не затемняйте картину вашими предвзятыми суждениями. Советую вам хорошенько подумать. Луис еще не поставил на себе крест. Может, вам следует поговорить с ним... — Педерсон замолчал, поднялся и посмотрел на лужицу виски с осколками стекла.

— Нет, не надо вам говорить с Луисом, — тихо сказал он. — Не надо. Оставайтесь лучше здесь. Многие думают так, как вы. А я — нет.

Бийл, сидя на мягкой скамье, снова откинулся к стенке. Повернув голову, он следил за официанткой, убиравшей разбитое стекло, и когда Педерсон умолк, заговорил не сразу.

— Сядьте, дурак вы этакий, — сказал Бийл. — Это не первая смерть в вашей практике... Нет, простите меня. Простите. Сядьте. Я понимаю, что с вами происходит. Я знаю Луиса Саксла четырнадцать лет. Я... ну, сядьте же.

Педерсон сел, а Бийл обратился к официантке:

— Простите, пожалуйста, мисс. Мы немножко устали, и я и мой друг. Будьте добры, принесите другой бокал и возьмите вот это.

Девушка взяла протянутый доллар и ушла, не сказав ни слова. Бийл провел рукой по лицу и крепко сдавил пальцами веки. Потом взглянул на смущенно притихшего Педерсона и опять сдавил веки. Начинало сказываться выпитое виски. Давно пора, подумал Бийл.

— Нет, в самом деле,— заговорил он,— давайте пока оставим это. Разумеется, мнения могут быть всякие. Скажите, вы давно знаете Луиса?

«Понимаете, в чем беда, — сказал ему в машине полковник Хаф, — если он узнает, что мы вас вызвали, он сразу сообразит, что мы потеряли всякую надежду. Но врачи говорят, что ваше присутствие необходимо, — они, как видно, совершенно не знают, когда это может случиться. Насколько я понимаю, даже через полчаса вы можете не увидеть в тканях того, что найдете сразу после смерти. Отчего это, доктор?»

— Четырнадцать лет, — говорил Бийл Педерсону. — Он был моим учеником в Чикаго, еще на первом курсе. Я там некоторое время преподавал. Я тогда страшно разбрасывался. Я учил физиков биологии, изучал физику, работал врачом-практикантом — и все в одно время. И сам толком не знал, кто же я наконец, да оно и неудивительно. Все-таки, я выбрал биологию, поэтому, естественно, стал патологом, но жалею, что я не физик. Чего, казалось бы, естественней? Половина знакомых мне физиков теперь занимается биологией. Мне думается, физика и биология в конце концов сольются в одно. Я никогда не был связан с вашей атомной станцией, но работал в этой области, когда дело еще только начиналось. С 1932 по 1934 год. Вот тогда-то все и началось по-настоящему. А сколько было тупоголового дурачья в науке до тех пор!

— Ну, все это не так просто, — угрюмо произнес Педерсон.

— Конечно. А кто говорит, что просто? Я выразился несколько импрессионистично. Более или менее, грубо говоря, в общем и целом, ну и так далее. Во всяком случае, в те годы все сразу изменилось.

— Тут сыграла большую роль разница между двадцатыми и тридцатыми годами, — заметил Педерсон. — Все стало гораздо серьезней...

— А к тому времени, когда начали появляться способные физики, преподавал у них я, — продолжал Бийл. — Смех, да и только. Да, конечно, тридцатые годы не то, что двадцатые. Но дело не только в этом. В начале тридцатых годов, в те времена, о которых я говорю, в науке происходили революции. Колоссальные открытия. Как в девяностых годах, когда были открыты рентгеновые лучи и радиоактивность, а потом электрон и радий, и все это за три-четыре года. И какую замечательную штуку дали в сумме эти открытия — энергию, струящуюся из ничего. Ха! Один мой приятель любил кропать стишки, он написал историю науки в ста тридцати двух строфах. И на заседаниях, чтобы не заснуть, распевает их про себя. Вот одна строфа:

Неделимый атом опочил, преставился,
В образе разъятом к праотцам отправился.
Ваше Неделимое Атомовеличество,
Есть у Вас наследничков энное количество!
Помер атом кругленький, благостно-сверкающий:
На престоле первенец Лучеиспускающий!

(Пер. А. Голембы.)

Бийл прочел стихи монотонным голосом, мерно покачивая свой бокал в такт ритмическим ударениям и в такт низкому тум-турум, тум-турум, доносившемуся из вентиляционной трубы. Он еще непринужденнее развалился на мягком сиденье. Педерсон глядел на него, слегка опешив. Проходившая мимо девочка остановилась и тоже поглядела на Бийла. Девочка замыкала собою процессию из пяти-шести человек, которая, встав из-за столика в баре, проходила мимо Бийла и Педерсона в ресторан. Во главе процессии шествовала элегантная, слегка прихрамывающая дама; она опиралась на руку женщины помоложе, а в другой руке держала поднятый бокал. У дамы было остренькое, птичье личико, она шла мелкими шажками, припадая на одну ногу, и все семейство старалось приладиться к ее походке. Каждый участник процессии, как знамя, нес на себе печать фамильного сходства — и взрослый сын, шедший позади матери, и дочь, и два мальчика-подростка, и наконец маленькая девочка. Она отстала от прочих и во все глаза глядела на Бийла, а тот тоже уставился на нее и, покачивая бокал, перегнулся к ней через стол.

— На престоле первенец Лучеиспускающий! — нараспев повторил Бийл.

На лице девочки отразилось явное презрение. Через секунду она отвела глаза, с достоинством отвернулась и ушла.

— Так вот, — сказал Бийл, снова развалясь на скамье, — то же самое произошло в начале тридцатых годов. Сорок лет ученые зондировали внутренности атома, а потом вдруг растерялись — неизвестно, что и как делать дальше. До тридцать второго года работа стояла на месте. И вдруг появился и нейтрон, и позитрон, и тяжелый водород — все сразу, хотя прошло не больше года. И многое другое. А потом — искусственная радиоактивность. И в результате — ажиотаж. Вот этот самый нервный ажиотаж и привлекал способную молодежь к такой работе. Знали они о том или нет, но дело обстояло именно так.

Педерсон мрачно смотрел в бокал, время от времени вскидывая глаза на Бийла. Поначалу из Бийла было трудно вытянуть хоть слово, а теперь он как будто вознаграждал себя за молчанье. Педерсону стало жаль себя. Он стремился поскорее вернуться в больницу, хотя делать

ему было там нечего, разве только отстаивать возможность надежды. Меньше всего на свете ему хотелось сидеть в этом баре и слушать Бийла, рассказывавшего ему то, чего он не желал знать, о материях, в которых он, по правде говоря, не особенно разбирался, но которые считал элементарными и, следовательно, неинтересными. Больше того, он был поражен тем, что Бийл оказался чудовищно бесчувственным к тому, ради чего его вызвали из Сент-Луиса. Педерсону не нравился Бийл. Даже вид его был ему неприятен: сидит развалясь, пьет бокал за бокалом и болтает без умолку. Впрочем, он хороший специалист, подумал Педерсон, я это знаю, но пусть бы убирался отсюда, пока... О, он еще увидит, еще увидит! Он думает, будто все знает наперед, стервятник проклятый... Будь ты проклят, будь ты проклят!..

Ему объяснили, почему Бийла оставили в Санта-Фе; он согласился приехать в гостиницу и ввести Бийла в курс дела, поговорить с ним...

— Но вот, возьмите Луиса,— сказал Бийл.

«О, не надо, не надо»,— взмолился про себя Педерсон.

— Его привел в Чикаго вовсе не ажиотаж,— продолжал Бийл.— Не знаю что, только не это; может, у него когда-то был хороший учитель,— хотя вряд ли, мы ведь знаем, что такое наша средняя школа,— может, причиной тому влияние родителей; во всяком случае, он ровно ничего не знал. Боже, сколького он еще не знал! Но любознательности у него было хоть отбавляй. Говорят, все евреи такие, но я что-то не замечал. Мне попадались среди них страшные тупицы. Впрочем, я всегда считал, что евреи, тупицы они или способные, на девяносто семь процентов ничем не отличаются от прочих людей. Но что только люди умудряются сделать из остальных трех процентов! Черт возьми, каждый человек на девяносто семь процентов не отличается от всех прочих. В каждом из нас течет кровь предков Тутанхамона. Не хмурьте брови, братец. Лучше позовите сеньориту, и мы закажем еще по бокальчику... Виски, виски, доктор хочет виски!

Но кто сказал, что я должен нянчиться с этим субъектом, думал Педерсон; зачем я тут сижу, я не желаю сидеть с ним, но еще бокал придется распить. И почему его не клонит ко сну, ведь он же целый день летел? И не подумаю его укладывать в постель, если он напьется до потери сознания, пусть сам о себе заботится. Он просто пошляк, хотя все считают, что он знаток своего дела. Интересно, действительно ли он так хорошо знает Луиса или это вранье.

— Хотя у евреев прелюбопытнейшая религия,— говорил Бийл.— В ней столько же вздору, сколько и в других, и все же... не знаю, мне кажется, что кое в чем она ближе к жизни. Вот, скажем, эти правила из талмуда насчет того, как вести себя в комнате больного,— очень толковые правила. Например: старайся сесть так, чтобы твои глаза были не намного выше уровня глаз больного. Разумно. Так вот, Луис был очень любознателен, sine qua non. Я видел немало юнцов, у которых любознательность быстро исчезала. Не знаю, может вам это неинтересно? Средние школы выпускают уйму мальчишек, которые до такой степени ничего не знают, что совсем непрочь хоть что-нибудь узнать. Я не говорю о мальчишках, помешавшихся на всякой технике,— те не лишены любознательности, но удовлетворить ее страшно легко. Да, так в тридцать втором году по-настоящему любознательные ребята, и Луис в том числе, заразились общим ажиотажем. Разумеется, некоторые дальше такого ажиотажа и не пошли. Большие дела, новые горизонты — разве не здорово жить в такие увлекательные времена? Ну и сделали из суровой действительности манную кашку. Ажиотаж, увлекательность — это только сахарная оболочка пилюли, а за нею, как всегда,— обыкновенный тяжкий труд. Только размах работы тут был побольше.

Один нейтрон сам по себе — какая идея, плодотворная идея, как говорим мы, люди науки. Здесь возникла ваша атомная станция, и Луис был одним из тех, кто ее создавал... одним из тех, кто... ага!..

Официантка принесла бокалы, и Бийл тотчас же принялся пить. Но теперь он выпрямился, и в голосе его уже не было нагловатого, циничного оттенка. Педерсон заметил это и еще упорнее стал смотреть в свой бокал. Он был трезв, а Бийл — нет. Он был молод, а Бийл — нет. Он был... скромен, что ли, а Бийл — нет. Он был безвестным врачом, а Бийл — нет. Он хочет спасти Луиса Сакса, а Бийл... И по этим причинам он не мог смотреть Бийлу в лицо. Перемену в голосе Бийла он ощутил, как похолодание, незаметно изменившее окружающую их атмосферу. Казалось, через стол со стороны Бийла на него пахнуло холодом. И Педерсон поймал себя на том, что с тех пор, как он спросил Бийла о его медицинском заключении, ему в первый раз стало интересно, что тот теперь скажет.

Педерсон молча вертел в пальцах свой бокал.

— Ну, ладно,— сказал наконец Бийл,— какой длинный был день! Когда это случилось? Во вторник, а сегодня четверг. Так.

Опять наступило долгое молчанье; Педерсон ждал.

— Посторонние заботы, вот что их губит. Всякие посторонние заботы. Женитьба, дети, семейное благополучие. Если это не глушит их любознательность, то уж как пить дать глушит в них работоспособность. И все же некоторые еще держатся. Но потом какая-нибудь фирма предлагает тепленькое местечко. И надо соглашаться ради того-то и того-то. Прикладная физика, прикладное то и это, техника, технология... «Дорогой отец, это чрезвычайно полезное дело, и лишь благодаря подобным делам, мы стали такими, как сейчас», хотя не совсем, нет, сэр, не совсем. Вас не смущает то, что буквально все научные силы, участвовавшие в разработке проекта атомной станции, пришли к нам из Европы? Не большинство, а бук-валь-но все? Меня смущает. Меня это очень смущает. Я никому не уступлю в преклонении перед умелыми руками, но если у человека золотые руки и нет головы на плечах, значит он тупица или отупеет со временем. Бедный Луис. Он был редким и весьма необходимым для нас исключением. А, да ладно, к черту! К чему об этом говорить?

«Бедный Луис»... «он был»...— отметил про себя Педерсон. Эти слова начисто стирали те обнадеживающие интонации, которые почудились ему в голосе Бийла несколько минут назад; прежний гнев, вскоре перешедший в раздражение, которое в свою очередь было притушено шевельнувшимся любопытством, обуял Педерсона с новой силой. Он сейчас ненавидел Бийла, поэтому каждое его слово вызывало в нем протест, хотя тот говорил о Луисе с восхищением.

— А вы и в самом деле хорошо знаете Луиса? — спросил Педерсон, чуть ли не в первый раз за весь вечер наклонясь к собеседнику через стол.— Вы рисуете его каким-то исключительным существом, а это ровно ничего не значит для меня и, вероятно, для него. Да, Луис нам очень нужен, но не потому, что он семи пядей во лбу, как вы его рисуете. И почему вы считаете, что умелые руки — это плохо? У Луиса золотые руки, а это одна из причин, почему все относятся к нему с таким уважением. Поверьте, его уважают не за то, что он целыми днями предается скорби об упущенных возможностях подвизаться в Науке с большой буквы. Полагаю, что вы о таких вещах знаете больше меня. Я ни на что и не претендую. Но, быть может, вы знаете чересчур уж много и случайно забыли, что наука должна служить людям, а не наоборот.

— Господи помилуй,— сказал Бийл, удивленно уставясь на своего внезапно оживившегося собеседника.— Значит, вы тут служите людям,

делая атомные бомбы? Да, конечно это так, успокойтесь. Вы служите одним людям за счет других. Господи, помилуй нас! Погодите, не отмахивайтесь. Я как раз из тех, кто оправдывает это необходимостью,— мой друг Хатчинс говорил об этом еще в самом начале. Мы не достигнем победы, сказал он, но можем предотвратить поражение весьма эффектным способом. Ну вот, мы так и сделали — и весьма эффектно. Господи, помилуй нас и всех, кто с нами заодно. Но простите, меня начинает тошнить, когда говорят, что наука служит *людям*. Здесь у вас наукой не занимаются. Здесь производство, выпускающее новый вид товара. Мой друг Луис отлично знает это — вот еще одна причина, почему он нам так нужен. Умелые руки — совсем не плохо, у всех ученых умелые руки. Но умело пользоваться инструментами — это одно, а понимать их — другое, и мой друг знает, в чем тут разница. А вы? Что же вы опять примолкли? Я же все время повторяю, что не нужно говорить об этом, совсем не нужно касаться этой темы.

— У вас рыбья кровь,— сказал Педерсон,— вы не человек, а холодная рыба. Вы называете Луиса своим другом, вы знаете его четырнадцать лет, а сами сидите тут и разглагольствуете, выставляя его каким-то феноменом. Так вы понимаете дружбу? Вы любите его? Испытываете ли вы хоть какие-нибудь чувства при мысли, что он лежит за тридцать миль отсюда — вы знаете в каком состоянии?

Бийл провел рукой сначала по одной стороне лица, потом по другой и, как прежде, сдавил пальцами веки. Он взглянул на Педерсона, усмехнулся, потом рассеянно обвел глазами зал, и улыбка его уступила место хмурому и озадаченному выражению.

— Ничего не чувствовать — это ужасно,— сказал он, все еще глядя в зал.— Это проклятие современного человека, не так ли? Но почему — потому ли, что человек стал бесчувственным, или потому, что, сталкиваясь с непостижимыми проблемами, он не знает, как к ним отнестись? И в том и в другом случае это проклятие. Если человек утратил способность чувствовать, он обречен скитаться в таких дебрях, где никакие чувства не нужны. Если же он сталкивается с проблемами, которые выходят за пределы его чувств, то он обречен бродить в дебрях решений, которые ничего не решают, потому что все решает за него судьба. Но есть еще, как мне думается, и третий удел, ибо физические науки и, скажем, работа на атомной станции, вроде вашей, иной раз заставляют человека забыть о всяких чувствах, а не то у него дрогнет рука или отвлекутся мысли и будет нарушено то бесстрастное самообладание, которое необходимо, чтобы управлять этой огромной силой. Может, для таких случаев лучше совсем убить в себе всякие чувства, но как быть потом, в остальное время? А если человек умеет чувствовать, то какой же страшной внутренней дисциплины требует от него подобная работа! Чувства иногда очень мешают физику, и особенно физику, делающему бомбы. С другой стороны, физик, лишенный всяких чувств и делающий бомбы,— что может быть страшнее? Положение безвыходное! Заговорив о чувствах, вы затронули серьезный вопрос, друг мой. Что привело Луиса к смерти? Нет, простите,— почему он сделал оплошность, в результате которой получил такую дозу облучения? Кто нам ответит? Сомневаюсь, чтоб он сам знал это. Почему опытные руки совершают промах? Это нужно знать, прежде чем решить, как относиться... то есть прежде чем разбираться в своих чувствах.

— Вы уже ответили на мой вопрос,— сказал Педерсон.— Вы дали исчерпывающий ответ.

— И все же чувства у меня есть.

— Ура,— произнес Педерсон.

— Да,— сказал Бийл.— Да, отвечу я и на другой ваш вопрос. Я в самом деле хорошо знаю Луиса. Известно ли вам, что по возрасту я бы мог быть его отцом? И все-таки, если говорить честно, совсем честно, я не могу горевать о нем больше, чем о жителях Хиросимы и Нагасаки, убитых бомбами, которые сделаны с его помощью. А вы можете? Можете? Впрочем, это все равно. Что вам неприятнее видеть — человека, раздавленного машиной, или парадное шествие? Какой ужас эти парадные шествия! При виде их в голову лезут мысли обо всех людях на свете, и какое бы чувство вы при этом ни испытывали — сострадание или ненависть, оно настолько сильно, что его трудно выдержать. Какое грустное, да, именно грустное и вместе с тем смехотворное зрелище представляет собой каждый отдельный человек, шагающий в процессии, в любой массовой процессии. Это хуже, чем раздавленный машиной человек. Вы смотрите на него с сожалением, но и только, не правда ли? Или тот молодой человек, Луис, лежащий за тридцать миль отсюда. Это грустно, боже мой, очень грустно, но это еще можно вынести. Но неужели вы не понимаете, что становится совершенно невыносимо, если вы думаете о нем в числе других, шестидесяти тысяч убитых в Хиросиме, пятидесяти тысяч — в Нагасаки и, что еще хуже, много хуже, если вы думаете о нем среди миллионов тех, которые так и не нашли, чего искали в жизни, которые были уже близко к цели и вдруг — гибель. Быть может, причиной тому несчастный случай, или страх, или какой-то внутренний протест, или... Разве мы знаем? Разве мы знаем, отчего может дрогнуть опытная рука, отчего мозг на секунду перестает управлять руками и что повлияло на мозг?

— Доктор Бийл, я не в силах слушать все это, право, больше не в силах. Вот вы в начале нашего разговора сказали, что я что-то путаю, но ведь вы наворотили такого, что куда мне... Вы бог знает что городите, и я отказываюсь вас понимать, не желаю ничего понимать! Луис Сакс попал в беду. Он мой друг. Если он и ваш друг, то лучшего вам никогда не найти. Так о нем думают очень многие. Он случайно попал в беду, он очень болен, но еще жив. Я готов всю ночь говорить или слушать вас, если вы придумаете, как ему помочь. Но парадные шествия и прочее — нет, с меня хватит!

Бийл внезапно встал.

— Одну минуту, я сейчас вернусь,— пробормотал он.— Сидите, не вставайте.— Поднимаясь, он стукнулся о стол, опять с размаху сел на мягкое сиденье, снова встал, неторопливо выбрался из-за стола и пошел, ступая медленно и осторожно. Пройдя два-три шага, он обернулся.

— Понадобилось выйти,— объяснил он, напряженно глядя на Педерсона. Он прошел еще два шага и опять обернулся.— Закажите мне еще виски,— сказал он и очень осторожно, скорее старческой, чем пьяной походкой вышел из бара.

Через десять минут Педерсон отправился искать Бийла. Его не оказалось ни в мужской комнате, ни поблизости. Телефон в его номере не отвечал. Бийл исчез. Педерсон досадовал, злился, но вместе с тем испытывал облегчение. Ему захотелось уехать как можно скорее, а сейчас это можно было сделать не прощаясь, без длинных, вымученных разговоров. Он вернулся в бар, заплатил за выпитые им три бокала виски и написал фамилию Бийла на счете за его обед и виски. Затем он вышел из гостиницы и, ускоряя шаги, направился за угол, к стоянке машин. Он вывел свою машину, постарался проехать как можно быстрее через центр города и, приближаясь к окраине, все прибавлял скорость; когда он проехал метров сто по длинному холму, откуда начиналась дорога на Лос-Аламос, спидометр показывал семьдесят миль.

Посидев минут двадцать на скамейке у самой площади, Бийл почувствовал себя лучше. Он видел, как Педерсон вышел из гостиницы и пошел к стоянке. Он смотрел на него без всякого интереса. Он сидел один, хотя все другие скамьи на площади были заняты народом; там были старики, старухи, юные парочки, мальчишки, которые оживленно разговаривали вполголоса, потом начинали чуть ли не кричать, разражались хохотом и опять утихали. По площади во всех направлениях неторопливо двигались люди. Автомобильное движение на четырех окаймлявших площадь улицах почти прекратилось — лишь изредка проезжала одинокая машина. Деревья тихо шелестели листвой. Бийл провожал глазами проходивших мимо девушек. Тут были американки, испанки и индианки, были и полукровки. Большей частью они быстро проходили мимо, не обращая внимания на оклики и свистки парней. Но некоторые останавливались и вступали с ними в разговор. И ни одна не заговорила с Бийлом, который в упор разглядывал каждую.

Примерно через час на площади появилась девушка с лос-аламосского телеграфа, шедшая медленной гуляющей походкой. Она остановилась возле скамьи, где сидел Бийл, посмотрела на него и что-то сказала. Бийл помотал головой и знаком велел ей уйти. Девушка придвинулась ближе, наклонилась и опять заговорила. Бийл еще раз махнул рукой, девушка повернулась и тем же медленным гуляющим шагом пошла дальше. Площадь уже почти опустела, и стук каблуков по асфальту был единственным громким звуком в ночи. Вскоре и девушку, и стук ее каблуков поглотила какая-то из ближних улиц, а Бийл все сидел и прислушивался.

2

У караульной будки Чарли Педерсон сбавил скорость, показал часовому пропуск и, не останавливаясь, хотел было ехать дальше. Но солдат окликнул его и подбежал к машине.

— Вы в больницу, доктор Педерсон?

— Да.

— Тут есть письмо Луису Сакслу. Срочное. Его заберут минут через двадцать, но я подумал, что...

— Правильно. Где оно?

Солдат побежал в будку. Тихонько урчал мотор машины, работавший вхолостую. Педерсон сидел неподвижно, не сводя глаз с слабого зарева над ярко освещенной Технической зоной. Солдат прибежал обратно и протянул Педерсону толстое, облепленное марками письмо. На конверте был штемпель вокзальной почты Санта-Фе и другой штемпель — чикагский.

— Все благополучно, доктор?

Педерсон перевернул конверт. На обратной стороне было написано «Тереза Сэвидж», без всякого адреса.

— Доктор!..

Педерсон поглядел на солдата и рассеянно кивнул, потом улыбнулся.

— Спасибо,— сказал он.— Я передам.

Может, Дэвид Тил посоветует, как быть с письмом, подумал он. Переводя скорость, он двинул машину вперед. Но в чем, собственно, дело? Почему Луису нельзя получать письма?

— Все-таки я поговорю с Дэйвом,— упрямо сказал он вслух.

Но Дэвида в больнице не оказалось. Педерсон позвонил к нему домой, но и там никто не ответил. Тогда он положил письмо в карман и, выйдя из ординаторской, пошел в другой конец коридора и завернул за

угол. Здесь, в палате, которая третьего дня была превращена в лабораторию, обслуживающую семь пациентов, помещался штаб доктора Новали. Сам он стоял среди микроскопов, предметных стекол и счетчиков, подносы с иглами находились у него в тылу, а банки с красителями — с обоих флангов. У окна виднелись два автоклава; только сегодня днем к ним присоединили вентили для подачи пара. На шатком столе стоял фотометр. Обычно больницу обслуживала большая, прекрасно оборудованная лаборатория, которая находилась возле Технической зоны, на той же улице, что и больница, но в двух кварталах от нее. Во вторник вечером издавна заведенный порядок сразу изменился.

Новали разглядывал вентили автоклава. Он поднял глаза на вошедшего Педерсона и хмыкнул.

На другом столе лежали фанерные дощечки, к которым были приколоты таблицы и листки с записями. Несколько таблиц висело по стенам. Педерсон взглянул на ближайшую. На ней было написано имя Саксла, она состояла из нескольких коротких столбцов цифр под заглавием «Химическое исследование мочи».

— Как дела, Лу? — спросил Педерсон Новали, не отрывая взгляда от таблицы.

Новали пожал плечами.

— Самое интересное, не считая того, что вы уже знаете, это количество белых кровяных телец. Сейчас их больше двадцати трех тысяч — это порядочно. Но долго ли так будет?

— На сколько уменьшится это количество, когда оно станет уменьшаться, вот в чем вопрос,— сказал Педерсон.

— Это не такое уж редкое, хотя и не совсем обычное явление,— ответил Новали с легким раздражением.— Влияние эмоциональных факторов, тревоги и прочего. Но знаете, у японцев в этой стадии болезни у двух пострадавших наблюдалась совсем обратная картина, хотя, конечно, и в аналогичных случаях не было недостатка. На собаках это не подтверждается. На кроликах — да, но не на собаках.

Педерсон кивнул. Он протянул руку к фотометру и потрогал его.

— Ну, а что еще?

— Чего вы хотите, Чарли? Знаете общее положение? Ну, так оно пока не ухудшилось. Он выглядит сравнительно неплохо, даже лучше, чем с утра. И говорит, что чувствует себя хорошо. Днем он поспал.

— Кто у него там?

— Полчаса назад была Бетси. Врачи недавно ушли в «Вигвам» обедать.

— А почему так поздно? Ничего не случилось?

— Нет, Чарли, они просто засиделись, и все. Как только вернутся, мы соберемся.— Он устремил на Педерсона острый взгляд.— Тем более, что и вы вернулись,— добавил он.

Педерсон обвел глазами ряды табличек.

— Как обстоит дело с фосфором? Я тут ничего не вижу.

— Мы прекратили эти анализы, Чарли.

Педерсон уставился на табличку, озаглавленную «Тромбоциты (сто тысяч) — лейкоциты (%)». Он смотрел на нее почти с минуту, а Лу Новали в это время смотрел на него.

— Кто велел бросить фосфор? — спросил наконец Педерсон, снова погладив пальцами фотометр.

— Кажется, Берэн. Мне сказал Моргенштерн, а ему, по-моему, сказал Берэн.— Педерсон молчал, и Новали добавил: — Да, конечно Берэн. Он говорит, это мало что дает. Они используют сывороточный натрий для определения нейтронов.

— Понятно.

Педерсон закрыл ладонью лицо и стиснул пальцами веки. И тотчас же ему вспомнился Бийл, который столько раз сегодня делал то же самое. Педерсон отнял было руку от лица, но, вздохнув, снова прикрыл ею глаза.

— Ну ладно, до скорого, Лу. Я пойду наверх. Что, Луис не задавал никаких трудных вопросов?

— Он допытывался насчет анализа костного мозга.

— А то, что мы говорили ему раньше? Или он нам уже не верит?

— Да ведь что мы ему говорили, Чарли? Только более или менее смягчали то, что есть на самом деле. Должно быть, все-таки верит, даже понимая, что мы смягчаем факты.

— А другие не сказали чего-нибудь лишнего? Что они ему говорят?

— Все то же самое. Только все труднее становится скрывать истину.

Педерсон кивнул. Он дорого бы дал сейчас, чтобы узнать, что думает Новали о положении Луиса. Однако Новали не обмолвился об этом ни словом. Он, как и его стеклышки, знал многое, но молчал. И в то же время он как будто и не намерен был скрытничать — он, казалось, готов был ответить на любые вопросы и даже ждал, чтобы его спросили. Так почему же я не спрашиваю? — подумал Педерсон и уже приоткрыл было рот, чтобы заговорить. Но, точно школьник, которому страшно хочется поцеловать девочку и который боится сказать об этом, не зная, что ему ответят, и заранее смущен, предвидя самое неприятное, Педерсон удержал вертевшиеся на языке слова. И хотя выражение его лица ничуть не изменилось, он покраснел, будто его уличили в чем-то нехорошем.

— Чарли, вы бы прилегли на часок-другой. Вы, видно, зверски устали.

Педерсон опять кивнул и молча повернулся к двери. Оставив Новали в тесной лаборатории, он прошел по коридору к лестнице и поднялся на второй этаж. По пути он спохватился, что Новали, отлично зная, где он провел последние часы, даже не заговорил об этом. Конечно, за это надо только сказать ему спасибо, но Педерсону вдруг стало досадно. Почему Новали так явно уклоняется от этого разговора? Да и от другого тоже... И тут у Педерсона мелькнула мысль, что тем самым Новали, в сущности, ответил на его невысказанный вопрос. Нет сомнения, подумал он в приступе патетического гнева, меня хотят отстранить! Он снова почувствовал себя одиноким, как нынче утром, а потом разозлился и наконец впал в отчаяние, за одну секунду пережив все настроения, владевшие им в течение дня.

Так и не успев как следует определить свои чувства, Педерсон почти дошел до двери Луиса. Он остановился в двух шагах; дверь была закрыта неплотно, и он услышал голос Бетси, что-то читавшей вслух. Педерсон стоял, прислушиваясь к ее голосу — слов он не разбирал,— и вдруг вспомнил, как несколько дней назад Бетси сказала в ординаторской: «Хоть бы скорей прошел вторник двадцать первого числа». Ну, вот он и прошел, и что же? — сказал про себя Педерсон. Удивившись вопросу, он мысленно отмахнулся от него, не вникая в смысл этих слов, не раздумывая, почему они пришли ему в голову,— просто игра воображения, вот и все, а у него сейчас нет сил копаться в этом. Сегодня утром, увидев в окне белый халат Бетси, Педерсон весь как бы ощетинился, но сейчас ее ровный голос, доносящийся из комнаты Луиса, показался ему приятным и успокаивающим, он будто звал: «Сюда, сюда, здесь еще жива надежда». По крайней мере, таково было мгновенно охватившее его и даже не вполне осознанное ощущение, хотя, открыв дверь и войдя в комнату, он поглядел на Бетси с таким же равнодушием, как

всегда. Она умолкла, а Луис, повернув голову на подушке, заговорил слегка застенчиво и в то же время возбужденно:

— Кто к нам вошел, Бетси? Случай, свобода воли или необходимость? Чарли, послушайте, суньте вашу иголку в карман... сядьте... вы и так выкачали из меня всю кровь. Сядьте и слушайте. Это превосходная штука. Прочтите еще раз про ткацкий станок, Бетси. Как там... «День был душный...»

Бетси перевела взгляд с Педерсона на Луиса и, улыбнувшись ему, нашла в книге нужное место и снова начала читать вслух. Педерсон не мог рассмотреть, что это за книга; она была толстая и лежала на коленях Бетси корешком вниз. Бетси нагнулась над книгой, чуть отклонившись в сторону, чтобы свет маленькой лампочки, стоявшей на столике, падал на страницы. Она читала довольно медленно, и голос ее казался глубже и уверенней, чем когда она разговаривала; слушать ее было приятно.

— «День был пасмурный и душный,— читала Бетси.— Матросы лениво слонялись по палубе или стояли, бессмысленно уставясь на свинцовые волны. Мы с Квикегом мирно занимались плетением узкой циновки, которая должна была служить запасным найтовом для нашего корабля. И царила вокруг такая бездыханная, такая недвижная и вместе с тем что-то обещающая тишина, такое колдовство было разлито в воздухе, что каждый из наших примолкших матросов, казалось, ушел в свой невидимый внутренний мир.

Плетя циновку на палубе, я был слугой или пажем Квикега. Я пропускал взад и вперед уток или марлинь через длинные волокна основы, пользуясь собственными руками вместо челнока, а Квикег, стоя сбоку и рассеянно глядя на волны, то и дело просовывал свой тяжелый дубовый меч между волокнами, небрежно подталкивая поперечные нити одна к другой; тишину нарушал лишь глухой, непрерывный стук меча, и такое странное дремотное оцепенение нависло над кораблем и над морем, что казалось, будто само Время ткет на станке свою пряжу, а я — лишь челнок, бездумно снующий в руках Парки. Вот лежат закрепленные волокна основы, от толчков меча они сотрясаются в едином, неизменном, все повторяющемся ритме, и от этого поперечные волокна лишь плотнее переплетаются с нею. Основа — это необходимость, думал я; и вот я собственною рукой, как челноком, вплетаю свою судьбу в эти неуклонно тугие нити. А тем временем капризно-равнодушный меч Квикега толкает уток то вкось, то сбоку, то сильнее, то слабее, как придется; и каждый толчок, каким бы он ни был, соответственно влияет на плотность готовой пряжи. Меч дикаря, думал я, который окончательно сплетает и формирует уток и основу, спокойный и равнодушный меч — это случай; да, случай, свободная воля и необходимость — без всякой разумной взаимосвязи,— переплетаясь, действуют сообща. Прямые нити основы — необходимость, не отклоняясь, строго следуют своим путем, произвольные толчки лишь способствуют этому; свободная воля может как угодно направлять челнок между ровно натянутыми нитями; а случай, хоть игра его ограничена прямыми линиями необходимости, и свободная воля отчасти влияет на его ход,— все же случай управляет и тем и другим переменно и, как удар меча, по-своему определяет лицо событий.

Так мы плели и плели циновку, пока я...»

Бетси остановилась и подняла глаза; Луис одобрительно кивнул головой.

— Разве это не чудесно?! — воскликнул он все с тем же сдержанным волнением в голосе. — Дали бы мне подольше побыть с Бетси и «Моби Диком» — и все было бы в порядке. Кровь, вечно кровь! Оставьте мне

хоть немного крови, чтоб я мог дослушать. Кровь и лед. У нас еще четыреста страниц впереди.

— Мне это нравится, — правда, книгу я не читал, — но меня удивляет, что вы находите это чудесным, — сказал Педерсон; ему хотелось попасть в тон Луису, но он и в самом деле был удивлен.— По-моему, физику такие вещи должны казаться... как бы это сказать... чересчур детскими, что ли... хотя нет,— вернее, слишком романтичными и мистическими.

— Смотря какому физику! — воскликнул Луис. — Во что только физики не верят! Самое прекрасное, что нам дано испытать, — это мистический трепет, истинное начало настоящего искусства и науки. Так думает Эйнштейн! Он очутился в полном одиночестве, все физики отдалились от него, а ведь от него можно услышать такие замечательные вещи! Да, конечно, ткацкий станок Мелвилла — мистика, но тут что-то верно угадано. Образ предельно лаконичен, как все доброкачественные физические теории. В нем есть высокая художественность, как в волновой механике. Он плод живого воображения, но таковы должны быть и законы естествознания. «Случай управляет и тем и другим попеременно и, как удар меча, по-своему определяет лицо событий»... Глубокая истина, подтвержденная наблюдениями... Велика ли доза, Чарли?

Педерсон стоял в ногах кровати и смотрел на температурный лист, приколотый под часами, которые повесила там Бетси. Слушая Луиса и глядя на лист, он, очевидно под влиянием Мелвилла, тоже ушел в свой невидимый внутренний мир и не сразу понял, о чем говорит Луис.

— Какая доза? — спросил он, глядя на запись, сделанную около часа назад; после четырех часов дня температура поднялась на три десятых.

— Доза общего ионизирующего облучения с учетом нейтронов, — сказал Луис.

Педерсон взглянул на него пристально и пытливо. На лице Луиса было насмешливое, но почти веселое выражение.

— Вряд ли кому-нибудь известно, а мне — меньше всех; — пожал плечами Педерсон и перевел взгляд на листок. Там он нашел кое-какие указания: часов в шесть на большом пальце и на ладони левой руки прорвались два волдыря или водяных пузырика; Педерсону надлежало последить, чтобы не возникла инфекция, чтобы сестра промыла вокруг ранок, и так далее. Он снова взглянул на Луиса.

— Главные авторитеты в этом деле — Висла и Дэвид Тил. Что они говорят? — нарочито небрежным тоном спросил он и сделал знак Бетси; та быстро встала со стула, и оба подошли к лотку, где лежала левая рука Луиса.

— Лгут, конечно. То есть, ничего не говорят, а это и есть ложь. Больному не принято говорить правду. Вы это знаете, Чарли.

Став по обе стороны лотка, Педерсон и Бетси медленно снимали полотенца, горкой покрывавшие лед и лежащую в нем руку.

— Ну, значит они и мне лгут, — отозвался Педерсон, не поднимая головы.— Как эта рука, Луис? Боли не беспокоят?

— Ни капельки.

Несколько минут все трое молчали. Бетси зажгла большую яркую лампу, которую утром принес фотограф и оставил в углу, возле кровати. Она наклонила рефлектор так, чтобы свет не бил Луису в лицо, и край светлого желтого круга лег на самую середину кровати. А затем Бетси снова принялась помогать Педерсону, стала по другую сторону лотка, и руки их задвигались взад и вперед, по очереди снимая полотенца, лежавшие крест-накрест в несколько слоев. Лоток слегка покачивался от этих движений, тихо и ритмично шелестели плававшие в воде куски льда; это

был единственный звук в тишине палаты, и только временами где-то за дверью, в коридоре или в одной из соседних палат, слышался приглушенный говор.

Рука, извлеченная из-под полотенец, была синеватого цвета и вздулась; опухоль поднималась вверх по предплечью, где кожа принимала восковой оттенок, лопнувшая кожица на волдырях омертвела по краям, а внутри скопилась желтоватая жидкость.

Луис взглянул на лоток и перекатил голову по подушке направо к окну.

— Знаете, кто вы, доктор Ч. Педерсон? — заговорил он, и хотя с лица его исчезло почти всякое выражение, в голосе по-прежнему звучали насмешливые нотки. — Вы то, что мы, философы-натуралисты, называем доктринером или однобоким дилетантом; вы уверены, что все физики отлиты по одному шаблону, что все мы одинаковы, но среди прочих людей стоим особняком; мы призваны свершать какие-то непостижимые дела, несомненно подозрительного свойства, и нас никак не следует смешивать с прочими людьми. Если я цитирую Шрёдингера либо Де Бройля, да еще с формулами, то на доктринера-дилетанта это производит внушительное впечатление, и он вполне мною доволен. Но если я вздумаю цитировать Мелвилла, он начинает беспокоиться. «Что с вами? — спрашивает он.— Может, вы нуждаетесь в отдыхе?» Или приходит к мысли, что я его морочу и что на самом деле никакой я не физик.

Педерсон и Бетси, занятые осмотром изуродованной руки, невольно засмеялись.

— Но разве у физика нет глаз? Разве он лишен чувств и страстей? Разве он питается, болеет и лечится не тем же, что и другие? Если вы даете нам яду, разве мы не умираем?

— Впрочем, не стоит вдаваться в тонкости,— продолжал Луис и, слегка выгнув шею, повернул к ним голову, потом скользнул взглядом вдоль своего укрытого простынями тела.— Конечно, когда ты чем-то занят, не надо оглядываться на Квикега, который так равнодушно созерцает волны. Меч, как бы его ни называть,— это другое дело, но Квикег слишком отвлекает внимание. Впрочем, от него никуда не денешься. Ты выбрасываешь его из головы, а он лезет обратно, и на все ему наплевать. Ты отводишь глаза в другую сторону, но тогда рискуешь сделать промах в своей работе. Единственный способ избавиться от Квикега — это лишить его человеческого облика, чтоб он перестал глазеть на волны — ведь потому-то он так и отвлекает внимание. Либо столкнуть за борт. Но тогда нужно, чтобы работу выполняли кнопки и автоматы, которые не глазеют на волны.

— Какую чушь вы заставляете меня нести! Это не к лицу и здоровому человеку, не говоря уж о больном. Бетси, вышвырните вон этого медведя. Все равно от него никакого толку.

Луис не ощущал прикосновений к своей левой руке и, мельком посмотрев на нее, больше не взглянул ни разу. Бетси ласково зашикала на него, он почувствовал, что его не слушают, и умолк, отвернувшись к окну, которое выходило на улицу.

Но Педерсон и Бетси управились очень быстро. Полотенца легли на место, и все стало, как прежде. Педерсон напомнил Луису, что время позднее, а сон для него очень важен. Луис возразил, что выспался днем. Вошла одна из ночных сестер; с присущей медицинским сестрам манерой делать из всего тайну она зашептала Педерсону, что в ординаторской его ждут врачи и они считают, что мистеру Сакслу необходимо как можно скорее предоставить полный покой. Луис, расслышав ее слова, возразил, что он устал от покоя. Бетси украдкой бросила на него тревожный взгляд — она вдруг уловила в его голосе капризную раздражительность,

а это значило, что он устал гораздо больше, чем ему казалось. А Луис сердился про себя, поняв, что сегодня больше не будет чтения вслух, и раздумывал, не воспользоваться ли ему правами больного, несмотря на то, что Бетси явно еле держится на ногах. Он поглядел на ночную сестру, особу с тонким, пискливым голосом. Но пока он размышлял, как поступить, Педерсон вышел в коридор, поманив за собой Бетси. Оба исчезли за дверью, и даже их голоса уже не доносились в палату, а Луис угрюмо следил глазами за ночной сестрой, та что-то говорила, переставляла какие-то предметы по-своему, передвинула столик, у которого сидела Бетси, и захлопнула «Моби Дика».

Бедный Квикег, сказал про себя Луис.

В коридоре Педерсон вынул из кармана письмо и протянул Бетси.

— Кажется, это от той девушки, что приезжала к нему на прошлой неделе.

Бетси перевернула конверт обратной стороной.

— «Тереза Сэвидж»,— прочла она. — Не знаю, как зовут ту девушку. Я только один раз видела их вместе на террасе. Как вы думаете, они...

— Не спрашивайте меня об их отношениях. О его личной жизни я ничего не знаю. И не знаю, как быть с письмом. Возможно, Луис ждет его не дождется, но вдруг оно его только расстроит?

Бетси взглянула на Педерсона и снова перевела взгляд на письмо. А Педерсон стоял в нерешительности, думая о том, что уже, наверное, очень поздно, и недоумевая, что заставило его вдруг отдать письмо Бетси, но тут же вспомнил, какая почти уютная атмосфера царила в палате, когда он туда вошел, и каким приятным показался ему голос читавшей вслух Бетси.

— Прочтите ему письмо, — сказал он наконец. — Впрочем, не знаю. Сделайте, как подскажет вам разум.

И уже идя по коридорчику, он понял, что имел в виду не разум, а интуицию — ее женскую интуицию.

3

Через несколько минут ночная сестра вышла из палаты с температурным листком в руках. Сев в углу возле столика и наклонившись так, чтобы свет настольной лампочки падал на письмо, Бетси начала читать:

— Тут вверху помечено «Понедельник вечером».

— «Милый, родной мой...» — Бетси вскинула глаза на Луиса и улыбнулась. — «Милый, родной мой, всего полчаса, как поезд отошел от Лэйми и ты стоял в сумерках на перроне. Субъект с остроконечными ушами и огромной сигарой — вот уж не в моем вкусе! — кончил писать письма и уступил мне место; и, должно быть, все время, пока мы не проедем треть материка, я просижу здесь, буду плакать и писать тебе. Писать тебе. Помнишь «Жалость тирана», книгу, которая свела нас с тобою (а это ты помнишь?), и того человека, который, проведя год в Перу, среди славных людей, привык говорить всем «ты» и боялся, что, вернувшись, не сможет обращаться к какой-нибудь милой ему женщине на «вы». Ты, ты, тысячу раз говорю «ты» твоему лицу, твоим рукам, всему тебе...

Я перестала писать и немножко поплакала, потому что поезд идет так быстро и потому, что ты так удивительно в моем вкусе, а еще и потому, дорогой мой Луис (больше не буду объясняться в любви), что не знаю, как сказать тебе о том, что меня начинает тревожить или даже пугать, и стоит ли вообще говорить об этом. Наберись терпенья, милый. Дай мне высказать все или хоть попытаться, даже если тебе мои мысли покажутся глупыми.

Дело в том, что — нет, лучше я начну с другого. Дэвид рассказал мне

о письме от твоего приятеля, работающего в университете; он пишет, что тебе не разрешат преподавать в университете, так как ты — еврей. Это грустно и противно, и я понимаю, как тебе должно быть больно. И все-таки это мелочь, правда, мелочь очень неприятная, но нельзя же из мухи делать слона. Я знаю, ты никогда не станешь хныкать над собой и растравлять свои раны. Но я больше всего боюсь, что ты примешь самое простое решение — ничего не менять в своей жизни, чтобы не подвергать себя лишним оскорблениям. Быть может, съездив на Бикини, ты опять на много месяцев уйдешь все в ту же работу. Наверное так и будет, потому что ты настоящий живой человек и к тому же настоящий мужчина. А мужчины чаще всего поступают именно так, потому что считают это трезвым отношением к жизни. Но ведь остаться в Лос-Аламосе значит сделать из маленькой мухи слона, и пойми же, пойми, что это вовсе не трезвое решение».

Бетси остановилась, хоть и не подняла глаз; она чуть ли не с первых строк поняла, что рассудок, вернее, как ей думалось, интуиция, на этот раз ее подвела — не следовало бы читать такое письмо тяжело больному человеку, которому, очевидно, предстоит бессонная, длинная ночь; да, зря она взялась читать это письмо. Но что же теперь делать? Может, проявить твердость, потушить свет и уйти? Нет, у нее, кажется, не хватит выдержки. Или дать ему еще снотворного? Вряд ли он на это согласится.

Но ведь когда она по внезапному наитию решила ничего не скрывать и, войдя в палату, сказала о письме, глаза его совсем по-детски засияли от радости. И как порывисто он воскликнул: «О, да, да, пожалуйста!», когда она, подойдя совсем близко к этим сияющим глазам, предложила прочесть письмо вслух.

Бетси взглянула на Луиса — он не сводил с нее пристального взгляда, но молчал — и, не заметив в нем ничего особенного, стала читать дальше.

«Мне не нравится твой Лос-Аламос, его железные ворота, часовые и засекреченные здания. В тот вечер, когда мы вместе с Дэвидом сидели в гостях у Улановых, ты и другие вспоминали о Лос-Аламосе времен войны, рассказывали о волнующих и увлекательных событиях, и это было удивительно хорошо. Потом пошли рассказы и о другом: о воде и прачечных, о ссорах из-за пустяков, об опустошительных набегах на Санта-Фе, и это было удивительно забавно. В те дни Лос-Аламос мог быть— и наверное был — городом свершений. И ни его непроницаемые, уродливые здания, ни железные ворота, ни часовые не могут испортить прелесть тех мест. Ночью — той ночью, когда мы с тобой гуляли по краю плато на незасекреченной стороне, город как бы слился с этой чудесной землей, и нам казалось, что мы идем по цветущему лугу, беспредельному, как сама жизнь. А потом мы наткнулись на ограду и часовой осветил нас фонарем. Стоит ли у тебя еще букетик водосбора, который мы с тобой тогда нарвали? Не надо держать его в комнате долго — нежные цветы умирают быстро... И все-таки мне не хочется, чтобы ты его выбрасывал. Ах, милый!

Но любые места, где живешь ты, будут иметь для меня свою прелесть. Пока я не побывала в Лос-Аламосе, я никогда не думала о нем отдельно от тебя. А теперь думаю, потому что меня тревожит, как тебе живется там без меня. Знаешь, никогда еще я не испытывала такого почти физического ощущения горя, как во время мучительного ожидания на вокзале в Нью-Йорке в тот день, когда началась война. Но если бы я даже знала, что стоит мне сказать одно слово,—и ты останешься, я бы все равно его не сказала. Как ни остра была боль расставания, я видела словно сквозь дымку, но все же достаточно ясно,— ты знаешь, что делаешь, хотя и не говоришь об этом, и тебе необходимо ехать, а я против этой

необходимости бессильна. Тогда я еще не знала, что за город Чикаго, или Джорджтаун, город-сад, город твоего детства, рай среди прерий, но я чувствовала: то, что ты едешь в Лос-Аламос,— хорошо для тебя или, по крайней мере, не так уж дурно.

Но в ту минуту, когда мы, спеша к поезду в Лэйми, выезжали из Лос-Аламоса через эти проклятые ворота, я поняла, что тебе нельзя оставаться здесь. Есть в этом городе что-то очень неправильное. Он как будто создан для людей, отрекшихся от самих себя,— как монастырь. Но монахи готовы на самоотречение во имя господа бога, которого они восхваляют, которому поклоняются и посвящают всю жизнь. Я знаю, ты гордишься своим делом, его удачей и тем, что вы первые добились результатов, опередив других. Это чувствовалось в твоих письмах из Лос-Аламоса во время войны, хотя в них ты умалчивал о своей работе, и в разговорах на вечере у Улановых, когда вы вспоминали прошлое. Но разве не странно, что ни один из вас не говорил о будущем, если не считать того, что все высказывали желание уехать и заняться самостоятельной работой? Ведь не было среди вас человека, который не желал бы этого. А во всем, что было сказано о настоящем, чувствовалось какое-то смущение, виноватость и тревога.

Луис, любимый мой, во имя чего ты обрек себя на затворничество в этом Лос-Аламосе? Кому или чему вы служите нескончаемые обедни в неприступных, как крепость, зданиях, на которые, кстати, никто не совершает нападений? Если смертельная угроза уже миновала, зачем же ученый прячется или позволяет прятать себя за семью замками? Зачем существует Лос-Аламос теперь, через девять месяцев после войны?

Мы едем уже час, а поезд мчится все быстрее и быстрее. За окном совсем стемнело. Должно быть, я все-таки глупа и наивна — берусь рассуждать о том, чего совершенно не понимаю, но ведь это только от любви к тебе. О работе ученого я могу судить лишь по тому, что мне известно о твоей работе, и все, что я знаю о науке, я узнала от тебя. Я очень хорошо запомнила сказанные тобой однажды слова — мы лежали тогда в постели, в твоей комнате у Бисканти, сколько с ней связано дорогих воспоминаний! Это было как раз перед началом войны, накануне того страшного ожидания на вокзале — и ты даже не догадывался, как я была несчастна в ту ночь: ведь ты уезжал, а я никак не могла понять, что тебя заставляет ехать, и все пыталась доискаться, в чем же дело. Помнишь? Я попросила тебя объяснить мне раз и навсегда, что означает для тебя твоя наука? Ты помнишь это? Я спросила, не движет ли тобой стремление утвердить свою волю, и ты ответил — да, конечно, самоутверждение играет тут свою роль. Потом я спросила, может, это своего рода забава, вроде головоломок? Ты ответил — да, для любителя таких забав тут найдется над чем поломать голову. Тогда мне пришло на ум примерно то, о чем писал тебе твой приятель из университета, и я спросила — быть может, научная работа для тебя нечто вроде убежища, тихой пристани? Ты согласился и с этим. Я уже забыла, о чем мы еще говорили (помню только, что помощи от тебя было мало), а потом ты сказал то, что я запомнила навсегда. Если представить себе жизнь как огромную неведомую страну, как первобытный девственный мир, сказал ты, то надо взять в проводники науку, и только наука укажет дороги средь нехоженых дебрей. Их еще не так много, этих дорог, но они приведут на величественные, недоступные вершины и помогут перейти необъятные, непроходимые пространства. Вдоль этих дорог — ты назвал их великими, искусными стройками науки — движутся, соприкасаясь, мысли ученых всего мира. Вот как представляется тебе наука, сказал ты. И это помогло мне пережить и остаток той ночи, и следующий день, когда мы с тобой ждали поезда на вокзале, и все прошедшие с тех пор годы.

Разве теперь в Лос-Аламосе можно услышать такие слова? Мне думается, нет. Тебе тогда было двадцать четыре года (и ты был такой бледный и усталый после нашей прощальной ночи, а тут еще я приставала к тебе с расспросами). Быть может, теперь ты во всем этом разуверился. Трудно сохранить такое представление после того, как были сброшены бомбы на Японию. Но ведь ты вместе с другими учеными подписал петицию на имя президента с протестом против применения бомбы. Ты подписал петицию за два месяца до того, как были сброшены бомбы,— зачем же ты помогаешь делать их теперь?

Боже мой, боже! Мне столько нужно сказать тебе, и я не знала, как сказать, когда мы были вместе, а на бумаге все получается не так. Поверь мне, о, поверь, все это только потому, что я тебя люблю. Я так боюсь — и, вероятно, в этом все дело — как бы не случилось что-нибудь такое, что еще больше затянет нашу разлуку. Что-то вроде того противного письма, а может, причиной тому будут твои собственные мысли и тревоги, если они доведут тебя до ожесточения и отчаяния. В твоем бронированном Лос-Аламосе уже не живет дух самоотречения — во всяком случае, сознательного,— а только дух одержимости, и вы охвачены не возбуждением, а нервозностью, и уже не внешние события, а какие-то скрытые сомнения волнуют души людей. И я хочу, чтобы ты уехал оттуда. Я хочу, чтобы ты не закрывал глаз ни на что. Слышишь?

Сколько времени я зову тебя? С того самого дня, как началась война, в сотне писем — за некоторые мне даже чуть-чуть стыдно, они были эгоистичными и жестокими от тоски по тебе — и во время девяти наших встреч (за семь лет!), вырванных из сложной ткани твоей жизни и вплетенных в ткань моей. Ну, поезжай на Бикини, поскорее возвращайся, и тогда кончится наша разлука и мне уже не надо будет звать тебя.

Но разрешите вам сказать, сэр, что будучи в Лос-Аламосе вашей гостьей, я чудесно провела время. Вы оказались замечательным хозяином, и — я вспоминаю часы, когда время словно останавливалось, как однажды днем, среди цветов и трав, под снисходительным оком Святого Петра — вы старались предугадать малейшее желание вашей гостьи. Смею напомнить вам, что через месяц вы должны отдать визит, на этот раз на всю жизнь, в месте, которое мы выберем, но обязательно там, где есть нехоженые дебри, где еще нужно строить дороги.

О Луис, Луис, Луис, как я по тебе тоскую... поезд летит так быстро и совсем не в ту сторону... за окном так темно, и в этой темноте со мной — ты... Скорей же, милый, скорей! Я люблю тебя. Тереза».

Бетси дочитала письмо до конца. Не раз она в отчаянии останавливалась, но отчаяние не могло подсказать ей иного выхода, кроме как читать дальше. Она не решалась поднять глаза, голос ее под конец упал почти до шепота и был еле слышен даже в мертвой тишине палаты.

4

Бедная Бетси, подумал Луис. И Тереза, бедная Тереза. Волна жалости — к Терезе и к Бетси, пожалуй, не меньшей, чем к самому себе,— нахлынула на него с такой силой, что он содрогнулся под ее тяжестью. Но через мгновенье она схлынула, и мысленно он с удивительной ясностью увидел, как она отступает. А потом уже не волна жалости, а сам он, казалось, отступил куда-то, не слишком далеко, словно бы на несколько ступенек сознания: с этой новой ступеньки и Тереза, и ее письмо, и все, что было в этом письме о них обоих, и боль, с которой Бетси его читала, и сам он, каким он стал теперь, — все это виделось немного со стороны и сверху, словно точки на узоре. Нечто похожее он испытывал иногда засыпая: ощущение бесплотности, когда смотришь на свое спящее тело словно откуда-

то с потолка. Теперь его положение было несколько иным, он просто отделился от самого себя, стал недосягаем для этого письма, уже не слышал его. Едва он так подумал, ему показалось, будто среди точек узора он различает одну, прежде не замеченную, и эта слабая точка — голос, детский и в то же время его собственный, и этот голос твердит: «Ах, если бы, если бы, если бы...» Но из той дали или с высоты, где он был теперь, Луис мог лишь кивнуть не без сочувствия и ответить голосу (а может быть, это было и ответом на письмо):

— Я больше не понимаю тебя... Я тебя почти не слышу. Ты... что ты хочешь сказать?

Прошло, вероятно, минут десять-пятнадцать, не больше, с тех пор как Бетси вошла в палату, остановилась в ногах кровати и, спрятав руки за спину, сказала, что у нее есть для него сюрприз, только пусть он будет умником и обещает сразу же уснуть. Как он обрадовался, увидав в ее поднятой руке письмо, с какой жадностью слушал, когда она начала читать! Но сейчас и эти чувства стали точками узора, который как будто вмещал все, что ни приходило ему на ум. Однако точки не оставались неподвижными: они мерцали и могли в любую минуту исчезнуть; он смотрел, не думая о них, просто смотрел, а тем временем Бетси поднялась со стула и захлопотала около него, и что-то негромко говорила, и вышла наконец, оставив его одного.

Немного погодя он увидел часы, висящие в ногах кровати. Кажется, он уже довольно давно смотрит на них, сам того не сознавая. Но перед тем он, должно быть, спал: стрелки показывали уже половину первого, а ведь, помнится, когда ушел Педерсон, он поглядел на них — и они показывали чуть больше половины одиннадцатого. Невероятно! У него вовсе нет ощущения, что он спал, и он готов поклясться, что голос Бетси, читавшей письмо, умолк всего лишь несколько минут назад. Часы-то, должно быть, верные, но он все же прислушался — вокруг стояла глубокая тишина, можно было уловить смутные, едва различимые шорохи, да вдалеке — низкое, прерывистое гуденье генераторов. И самый воздух такой, какой бывает только после полуночи.

Луис опять задумался о письме — так старик заглядится порой на беззаботно играющего ребенка. Чувство отрешенности не прошло, но стало иным, менее определенным; теперь между ним и письмом Терезы уже не было пропасти, и ему больше не казалось, что он отделился от самого себя и что каждая его мысль с какой-то неестественной точностью укладывается в лежащий перед ним узор. Как старик подчас не меньше ребенка увлечется игрой, не участвуя в ней сам, так Луис мысленно перебирал все подробности того дня, проведенного у Святого Петра... Да, тот день был полон чудес, и Луис ничего не забыл, но ничто теперь словно бы не трогало его. Он прекрасно помнил книгу, благодаря которой они познакомились, и их первую встречу, и хотя много лет прошло с тех пор — целых восемь лет—все это так же ярко и живо в памяти и кажется таким же далеким, как день в гостях у Святого Петра, пять дней тому назад. Странно, Тереза пишет, что за семь лет они встречались всего лишь девять раз... и он надолго задумался над этими годами, припоминая каждую встречу,— но не перебирал их в памяти машинально, а медлил расстаться с иным воспоминанием, и даже улыбался чуть заметно, а при мысли об иной встрече закрывал глаза и морщился точно от боли... Но главное, ему хотелось проверить, неужели было всего лишь девять встреч? Ведь он мог бы поклясться, что больше... но под конец он решил, что Тереза права.

Ее слова о письме от приятеля, работавшего в университете, всколыхнули в Луисе чувства более сложные. Написанное с наилучшими намерениями, дышащее возмущением по адресу университетской процентной

нормы, полное заверений, что пишущий еще поговорит с тем-то и с тем-то, так что, возможно, когда-нибудь... а пока что...—это письмо пришло в день отъезда Терезы, за несколько часов до того, как он отвез ее в Лэйми к поезду. Напрасно он упомянул о письме в разговоре с Дэвидом, а впрочем, не упомянуть было невозможно, ведь они собирались вместе преподавать в университете. А все же следовало повременить, нехорошо, что он именно тогда заговорил о письме. И зачем только Дэвид рассказал Терезе! Дэвида письмо огорчило куда больше, чем его самого; а может быть, он, Луис, огорчился больше, чем сам тогда сознавал, а Тереза это заметила и все выведала у Дэвида. Впрочем, теперь это уже неважно. Что скрывать, письмо больно задело его. К тому же за последние годы он успел позабыть, каково это — получать подобные щелчки. Среди людей, с которыми он жил и работал, этого не водилось, во всяком случае, он никогда ничего такого не замечал и не слышал.

Как и многие евреи, Луис давно уже устроил в душе своего рода водосток, по которому подобные обиды и оскорбления, воспринятые глазом или ухом, скатывались, минуя каналы сознания. Давно уже он постиг ту истину, что еврей не имеет возможности реагировать на оскорбление так, как реагирует всякий нормальный человек. Ведь такова сила предрассудков, что еврея оскорбляют на каждом шагу, и не успеешь справиться с одной обидой, как тебя настигают другие. Однако в душе Луиса этот механизм, слишком долго пробыв без употребления, заржавел и не пропустил обиду, нанесенную четыре дня тому назад. Впрочем, сейчас это уже все равно, снова подумалось ему.

Но нет, не все равно, и никогда не было все равно. Недвижным взглядом Луис смотрел прямо перед собой, поверх часов, висящих в ногах постели, на окно, где стоял цветок. И в эту минуту вид цветка опять вызвал из глубины его сознания тот полусон, что привиделся ему рано поутру, когда он заново пережил жгучую обиду, испытанную давным-давно на школьной лужайке. Но утром он еще не совсем проснулся, а теперь бодрствует и вовсе не намерен пережевывать всякие детские обиды. А может быть, это подсознание шутит над ним шутки — и вот вытащило этот случай из прошлого? Так ведь он может припомнить двадцать подобных случаев. С досадой Луис почувствовал, что если потеряет власть над собой и даст волю подсознанию, оно злорадно подкинет ему все эти двадцать старых обид да еще десятка два сверх того и каждую подчеркнет жирной чертой. Беда с подсознанием, как упорно возвращается оно к оценкам и суждениям детских лет; эта таинственная и неясная область души— точно балованный ребенок, откормленный и ленивый, он порою выходит из своего оцепенения и, тыча пальцем и топая ногой, объявляет негодующе: «А король-то голый!» При этом он иной раз прав, но чаще ошибается и никогда не знает сомнений.

А кроме того, сердито думал Луис, этот несносный младенец все облекает в живые образы, да еще под видом детского простодушия пачкает чуть ли не все, чего коснется. Однако простодушие простодушием, но нельзя же злоупотреблять своим правом судить обо всем с дикарской прямотой. Ну и хватит, подумал Луис. У него зачесался уголок рта, и он повернул голову, чтобы потереться ртом о плечо. А ведь так естественно было бы поднять руку и почесать рот пальцем! Невольно мышцы его правой руки слегка напряглись, и на мгновенье он всецело поддался горькому отчаянию: ну, почему же мне отказано даже в такой малости! Он напряг мышцы обеих рук, но руки оставались бесчувственными почти до самых плеч, не стоило даже смотреть, сдвинулись ли они с места. Голова по-прежнему лежала боком на подушке, и он все еще терся щекой о плечо, хотя рот уже не чесался. Так продолжалось еще несколько минут — медленное, безотчетное движение...

Но ведь он ни за что не остался бы здесь! Не остался бы ни ради этого, ни ради чего другого, Тереза должна бы знать это, должна бы чувствовать всем своим существом, кровью и плотью, ведь непреложность их планов передалась ей от него — от тела к телу, от сердца к сердцу. Это было в субботу, всю субботу они строили планы, обдумывали каждую мелочь. Как все чудесно придумывалось! Какой сияющий был этот день!

— Скажи еще раз, — просила она.

— Я люблю тебя.

— Еще раз!

— Я люблю тебя.

— И через месяц мы поженимся.

— Через месяц.

— А как мы назовем нашего первого ребенка?

Он повернул голову и стал смотреть в потолок... Тереза, сказал он, глядя в потолок, ради этого я не разрушил бы наши планы.

И тут он увидел Терезу. Ему представилось, как она сидит в вагоне за столиком и пишет, наклонив голову, волосы падают на щеки, она вся — напряжение, вся — сосредоточенность, она всегда такая, когда чем-нибудь поглощена. Сейчас ее гложет тревога, и ее письмо — попытка сделать это чувство щитом и опорой для него, для нее, для них обоих. «Сколько времени я зову тебя? С того самого дня, как началась война... Кончится наша разлука, и мне уже не надо будет звать тебя».

Да.

Старику, что смотрит издали на ребенка, иной раз хочется протянуть руку и дотронуться до него — только дотронуться, он сам не мог бы объяснить, откуда это желание, но оно неодолимо... Так и Луису вдруг захотелось протянуть руку — так он потянулся бы к Терезе, будь она здесь. Он видел ее — сосредоточенную, встревоженную, таящую в себе столько любви и обещаний, что сердце его разрывалось, хотя и в эту минуту он чувствовал странную отчужденность. Призрак женщины, склонившейся над письмом, бесконечно взволновал его, но и посеял в нем смятение. Это была Тереза, он узнавал каждую прядь ее волос, выбившуюся из прически, каждую мысль, которую он, казалось, мог разглядеть в склоненной голове: и однако... что-то новое в ней? Или чего-то не хватает? Или изменилось что-то? Он лежал совсем тихо и неподвижно, он не хотел двигаться и словно подстерегал, не придет ли объяснение? Оно не приходило, и он попытался поторопить его: быть может, Тереза для него теперь лишь олицетворение и символ всех женщин вообще, отсюда и это смятение, и чувство отчужденности? Какая-то часть сознания подсказывала ему, что это искусственный домысел и ничего он не объясняет; но что-то в нем ухватилось за этот домысел — и вдруг Луиса объял безмерный ужас: Тереза все еще перед ним — сейчас она оглянется — и не узнает его! Оглянется, чтобы сказать ему все то, что написала, отдать ему навеки свое сердце, заговорить с ним, коснуться его — и не узнает! Или взглянет, как играющий ребенок на старика, — скользнет по нему взглядом и тотчас забудет о нем, и ничто, ничто не остановит ее внимания...

Но видение не обернулось, чтобы встретиться с ним взглядом; Тереза сидела все такая же, какой он увидел ее в первую минуту, и страх его рассеялся: если она обернется, говорил он себе, и вглядится в него, ее глаза и губы скажут ему... скажут... Он не знал, что, он не мог больше думать... Скажут... Теперь он уже хотел, чтобы она обернулась, и раза три кряду быстро открыл и закрыл глаза, пытаясь представить себе, что она повернулась и смотрит на него. Но ему не удавалось увидеть ее лицо, — лица не было, оно ускользало — то расплывалось, то словно таяло в тумане. И каждый раз Тереза медленно принимала прежнюю позу: она писала, склонясь над столиком купе, так напряженно и сосредоточенно, слов-

но дело шло о жизни и смерти. Но что она писала — это тоже ускользнуло из его памяти или уже не было важно. Он прекрасно помнил, что́ именно она писала, но там было так много всего, столько разнообразных замыслов, энергии, деловитости, и так вся эта сумятица жизни утомляла... вот именно утомляла... или, может быть, в этом было слишком много мелких житейских треволнений, далеких от всего, что в жизни по-настоящему важно и значительно? А может быть, это сама жизнь слишком много требовала от него. Да, наверно, все дело в этом, в самой жизни. Несколько минут он вспоминал письмо Терезы, перебирал в памяти то одни строки, то другие, и чем больше вспоминал, тем меньше почему-то все это значило. А потом он просто перестал думать о письме. Ни горечи, ни смятения, только эта странная отрешенность пожирает и сушит все его чувства, и теперь уже ясно: это он не узна́ет Терезу, если она обернется к нему; или, того хуже, встретит равнодушно все, что скажут ему ее глаза и губы. Старик, от которого ждут чувств, на какие он больше не способен, и понимания того, что им уже позабыто, под конец устает следить за играющим ребенком и отворачивается; так и Луис отвернулся от созданного им образа Терезы, и видение, поблекнув, исчезло. Где-то в дальнем уголке его мозга тихо, неразборчиво звучали какие-то голоса. Но и к этой болтовне он был равнодушен, и к тяжести льда, придавившего ему руки и живот, и ко всем сложным извивам своих недавних мыслей.

Минуты шли, а он ни о чем не думал. В дверях послышался шорох; но он снова лежал, отвернувшись к окну, и не видел, кто вошел, да и не хотел никого видеть, кто бы это ни был, — скорее всего, ночная сиделка. Он закрыл глаза, притворяясь крепко спящим, хотя с порога нельзя было рассмотреть его лицо. Что-то шуршало, что-то постукивало. Потом осторожные шаги удалились. Он считал их, пока сиделка не дошла до лестницы, ведущей вниз. Пошла за чашкой кофе, подумал он. И тут же, без всякого перехода, решил, что сейчас он встанет.

Луис сам не знал, почему это пришло ему в голову. Может быть, однажды нарушив закон этой палаты, когда утром вытащил руку изо льда, он вошел во вкус; или уж очень захотелось поддаться минутному порыву, не думая о том, что было и что будет; а может быть, это была попытка побороть одолевавшее его равнодушие. Так или иначе, мысленно перебрав все эти объяснения, он сосредоточился на одной задаче: встать с постели. Он снова прислушался — все тихо, лишь с улицы через приоткрытое окно, что справа от кровати, доносится откуда-то детский плач. И вот без особого труда он напряг мускулы живота и медленно сел на постели. Резиновые пузыри со льдом соскользнули с живота. Гора полотенец, покрывавшая левую руку, колыхнулась и рассыпалась, пока он с усилием высвобождал руки изо льда. Он высвободил их, перекинул ноги, сначала одну, потом другую, за край кровати и встал; кисти рук повисли как чужие. Ноги тоже были как чужие, он шагнул к окну — раз, другой — и выглянул на улицу.

Он увидел далеко слева слабый желтоватый отсвет фонаря, горевшего у пруда за больницей, самого фонаря не было видно: напротив, в «Вигваме», кое-где золотились окна, щупальцы света протянулись поперек пустой террасы, несмело пробиваясь там и сям сквозь тьму, нависшую над широкой лужайкой. Опять стало слышно, как плачет ребенок. Люди боятся смерти, как дети темноты, подумал он. Но тьма за окном казалась мягкой и ничуть не враждебной; ночной прохлады он не замечал, а ветви деревьев слабо шелестели над головой, совсем как в ту ночь, когда они бродили с Терезой. Эта мысль пришла совсем просто, и тотчас он увидел Терезу, теперь уже по-другому, и с нею — себя. Она стояла в дальнем конце широкой лужайки, на которой теперь уже не было ни единого светлого пятна; она убежала вперед, развевалась огненно-красная юбка, ко-

торую она надела для него, длинные волосы рассыпались по плечам, а он шел к ней. Она звала его, манила; потом взялась за краешек юбки и, глядя на него, всжливо присела, закружилась вихрем и опять посмотрела на него — веселая, смеющаяся. Миг — и это видение тоже исчезло, но не совсем: оно как бы отступило, но осталось тепло, и тепло расходилось и ширилось, и осветило другие мысли и картины, которые зашевелились в его мозгу, словно выходя из оцепенения.

Ни одна из них не удержалась в его сознании, они вспыхивали и снова гасли. Но и чувство отрешенности покинуло его; словно оттого, что он встал с постели, — быть может, именно потому, что это было действие, а не мысль, — это чувство, державшее его цепкой, душной хваткой, отпустило, сжалось где-то в глубине души холодным комом, плотным, тяжелым ядром. И как волны бьются о скалу, вздымались и ударяли в него мысли и снова и снова откатывались назад. Неясный говор в дальнем уголке мозга не прекращался, нельзя было не замечать его, но он звучал не настолько громко, чтобы запечатлеться в сознании. Луиса бросало то в жар, то в холод — не физически, это не имело никакого отношения к его оледеневшим рукам, он не замечал их, он даже ни разу не взглянул на них — нет, то был душевный жар и холод. Если упорно думать о Терезе, какой она привиделась мне в последний раз, я опять увижу ее такой, а если сосредоточиться на этой болтовне в мозгу, можно будет даже разобрать какие-то слова и что-то понять... Он чувствовал, что это в его власти, но чувствовал также — странная мысль! — что не надо давать волю этому вновь ожившему в нем интересу ко всему. Ведь ясно — и незачем доискиваться причин,— что в том холодном ядре кристаллизуется нечто такое, что рано или поздно потребует его внимания — всего без остатка; но раз уж он знает об этом, пусть оно пока существует само по себе, а он тоже будет сам по себе.

Так он стоял и смотрел в темноту. Опять перед ним промелькнула огненно-красная развевающаяся юбка. А затем — он и сам не заметил как — мысль перескочила на другое: как же осуществляется в университете процентная норма? Может, оставят по одному месту на каждую кафедру, а химикам — даже два места? В каком-то закоулке памяти шевельнулось воспоминание: в Англии до конца девятнадцатого века всякий, кто добивался ученой степени, обязан был заявить, что он безоговорочно признает символ веры англиканской церкви, ее «тридцать девять статей». Луис не мог припомнить, когда и как отменили это требование, и ему даже совестно стало: что оно существовало, помнит, а когда прекратилось, вспомнить не может. Он-то еще ни разу не пострадал из-за процентной нормы; и уже не пострадаю, подумал он.

Тереза однажды спросила, что́ для него наука — не убежище ли? Что ж, теперь можно сказать, что когда-то наука, пожалуй, была для него своего рода убежищем, но нельзя забывать, что сначала был огонь мисс Оливер, а потом уже лед школьной площадки. Бедная мисс Оливер! Как объяснить даже себе самому, что́ она для него значила? Но она была огнем, другого слова не подберешь, должно быть, потому, что всякий раз, вспоминая о ней — а вспоминалось нередко за эти годы,— он представлял себе, как она объясняет классу знаменитый опыт Лавуазье. Да нет, вздор! Просто однажды она сказала об этом опыте какие-то прекрасные и верные слова, да и в самом деле это великий научный эксперимент. О некоторых же великих экспериментах она рассказывала не слишком вразумительно; прошли годы, прежде чем он разобрался в каких-то вопросах, которые она излагала в классе неточно или неправильно. Но ни разу она не упустила случая указать на величие всюду, где оно было, и не уставала повторять ученикам, точнее — заставляла их почувствовать, как часто великие дела и открытия связаны друг с другом, как перекидывается це-

почка из века в век, от одного народа к другому, от человека к человеку. У него были десятки учителей, знавших во сто раз больше мисс Оливер, но никто так не горел желанием передать все, что знает, другим.

Ферми, безусловно тоже великий ученый, возвращается в Чикаго, он решил сам учить первокурсников физике. Чем раньше молодежь попадет в хорошие руки, заявил он без ложной скромности, тем больше будет ученых. Он бы наверняка понял, скажи я ему, что мисс Оливер одобрила бы его решение, подумал Луис, хотя на нее оно не произвело бы такого впечатления, как на меня.

Он слегка вздрогнул — то ли от холода, то ли от какой-то невзначай налетевшей мысли. Если я сделал и не очень много добра, верю, что зла я сделал еще меньше. Кто это сказал? Не Пиквик ли на смертном одре? О мисс Оливер, если бы и я мог сказать так! Мы потолкуем об этом после, подумал он. Мысли о мисс Оливер согревали; а теперь ему стало холодно — и это за одну минуту, самое большее за две. Он прислушался. Ребенок все плакал, но из-за двери не доносилось ни звука, только громкий храп — должно быть, из палаты Уолтера Гебера. Мне так жаль, что я втравил вас в эту историю, Уолтер, промолвил он почти машинально, он уже не первый раз говорил это. Те четверо, что сегодня выписались, заходили к нему проститься — и он им сказал то же самое. Ему хотелось снова и снова повторять эти слова Педерсону и Бетси тоже.

Как это сказала утром Бетси? У нас тут перепутье — дороги здесь не сходятся, а вот люди сходятся...

— Конечно, она права, — сказал он себе. — Вон стоит Висла. Я не заметил, как он подошел, хотя ничего удивительного в этом нет. Он часто бродит тут даже ночью, как обремененный заботами монарх. Сейчас он вроде Квикега: определяет лицо событий.

5

Висла стоит на другой стороне улицы, поодаль; он, видно, вышел из мрака, окутавшего лужайку, и вот остановился на краю ее. Свет уличного фонаря, горящего перед зданием больницы, как раз посередине — примерно за сотню футов вправо отсюда — падает на лицо Вислы. На нем маленькое полотняное кепи, больше похожее на шлем, шея обмотана плотным шарфом, в руках толстый сук: верно, отломал по дороге, а теперь от нечего делать тычет им в землю под ногами.

Луис все смотрел на него, едва заметно улыбаясь. Однажды, года два назад, в разгар войны, во время одного из бесчисленных кризисов, пережитых атомной станцией, он и сам так же бродил в темноте (который это был кризис? Когда в большом количестве начал поступать материал из Окриджа и Хэнфорда и мы уточняли все измерения констант нейтрона уже не только в теории? Сейчас не вспомнить, да это и неважно)... Он шел домой часа в три ночи и вдруг впереди увидел Вислу. Тихонько, крадучись, он нагнал его и, когда подошел совсем близко и уже мог дотронуться до него рукой, услышал, что Висла напевает себе под нос:

Плутовка красой пленяла,
Она себе цену знала,
Лишь с Иисусом гуляла...

— Да еще с Джоном Джейкобом Астором, — громко подхватил Луис.

Не так-то легко застать Вислу врасплох, но тут это отчасти удалось. Висла окинул его суровым взглядом и сказал, что человеку, не верящему в божественную сущность Христа, не оценить юмора этой песенки. И тогда он в ответ сказал, что Висле, иностранцу, видно, не постичь всего значения такой личности, как Джон Джейкоб Астор.

— Столько свершений... и так забавно, — повторил он вслух слова из письма Терезы. — Ну, не знаю, хотя, пожалуй, было и то, и другое. А теперь ничего такого нет, верно? Вам страшно, Эд? Юрий говорит, что ему страшно, и я знаю людей, которые этого не говорят, но им тоже страшно. И моей Терезе страшно — теперь ей куда страшнее, чем было в тот день, когда началась война... Так мучительны были эти часы ожидания на вокзале, и я виделся с нею только девять раз за семь лет. В тот день ожидания... вы всегда появляетесь как нельзя кстати! Ведь это после встречи с вами я пошел к ней, не так ли? Да, да, верно. Это было предзнаменование! Вы определили лицо событий, вы втравили меня в эту историю, а теперь пришли поглядеть на развязку. Чем же не Квикег!

Висла поднял голову и смотрел на окно. Луис был уверен, что его нельзя увидеть сквозь жалюзи, и все же ему стало не по себе, ведь Висла смотрел как будто прямо на него. И вообще странно, что он стоит тут, у окна, почему он вдруг решился на такую глупость и встал с постели... Он и сейчас не понимал, почему сделал это, да и не пытался понять.

— Упрямый вы человек, как я погляжу, — продолжал он. — Хотя, когда человек упрям, главное — это в чем он упорствует. Не представляю, как вы там ладите с политиками, вернее — как они ладят с вами. Наверно, они только руками разводят: вот, мол, с кем никак не сговоришься. Ну, и, разумеется, вы не знаете, что за штука платежная ведомость. Ученые нынче в моде, это облегчает вам жизнь, и ничего плохого тут нет. Но лет шесть-семь назад было не так. Упрямый, да. А что до страха — конечно, тогда было страшно на свой лад, но и теперь тоже страшно, только по-другому. Или страх — всегда страх? Тогда было страшно за человечество, потому что немцы могли сделать бомбу, а теперь страшно за человечество, потому что бомбу сделали мы. Вам было страшно в тот день, когда началась война, я видел это, хотя чувствовал я больше, чем видел, — и уж наверно вам страшно теперь, наверняка страшно.

Детский плач внезапно оборвался; Луис слегка улыбнулся, ему так ясно представилось, как младенцу сунули грудь или соску; он улыбался еще и мысли, что почти все знакомые ему родители осудили бы столь несовременные, устарелые и вредные для ребенка приемы, а кое-кто счел бы все это ужасной докукой. Висла повернул голову в ту сторону, где только что плакал ребенок; почему-то он все еще стоял на том же месте и тыкал палкой в землю, совсем как слепой, который стучит тростью на углу людного перекрестка, чтобы привлечь внимание прохожих.

Теперь, когда ребенок умолк, до Луиса слабо, но явственно донеслась откуда-то из-за лужайки хорошо знакомая музыка; должно быть, это от Улановых, только они заводят патефон в такой поздний час. Джерсилды, живущие подальше в той же стороне, тоже нередко слушают музыку, но им больше по вкусу джаз, а это Бетховен. Интересно, что Бетховена всегда узнаешь сразу, с двух-трех тактов.

Очевидно, Висла тоже слушал. Он уже не тыкал палкой в землю и стоял неподвижно, глядя туда, откуда доносилась музыка. И вдруг музыка смолкла — это был не конец, она словно собиралась с силами для нового взлета; и тут Луиса осенило: Висла слушал ее все время и не просто без всякого смысла стучал своей палкой, а отбивал такт, точно дирижируя про себя, и перестал, как только вступил хор: и вот высокие чистые голоса взлетают над лужайкой, они звучат еще слабо, но уже яснее и проникновеннее, вознося Девятую симфонию в такую высь, куда не подняться оркестру.

Луис не мог бы расслышать, если б не затаил дыхание, и он старался не дышать — впрочем, может быть, отчасти и потому, что ночь была холодная.

Перепутье, да... все дороги скрестились здесь, именно здесь, но это все равно что сказать: где делают эти бомбы, там распутье, и мир должен выбирать дорогу... А здесь сейчас единственное место в мире, где их делают,— вот эти несколько квадратных миль между пустыней и горами, где плачет младенец и звучит Девятая симфония. Тереза говорит, что боится за меня, но ей не только поэтому страшно. Эти ворота и часовые, эти проклятые ворота и таинственные здания... место, где люди отрекаются от себя ради служения — чему или кому? Объясните ей, Эдвард, сумеете ли вы объяснить ей? А мне?

Но Висла наконец пошел прочь, в темноту широкой и пустынной лужайки.

Суть в том, подумал Луис, что никто из нас ничего больше не может сказать другому. Мы уже израсходовали всю свою изобретательность, все немалое уменье рассуждать, все благовидные объяснения — нам остались только неблаговидные — те, которых никто не хочет высказать, от них отворачиваешься или бормочешь их нечленораздельно. Место, где от всего отрекаешься, и на каждом шагу часовые. Впрочем, насчет построек она не права; они не безобразны; это недурное местечко, пожалуй, наряду с уродством в нем есть и красота, и самое безобразное здесь не постройки, их уродство еще можно объяснить.

— Эдвард,— сказал он вслед уходящему Висле, почти уже затерявшемуся в темноте,— помните ту слепую девушку в Альбукерке? Она увидела зарево у себя в комнате, когда взорвалась бомба в Аламогордо, больше чем за сто миль. «Что это было?» — спросила она. Эд, черт побери, Эд, не уходите! Так что же это было? Но теперь зарево видно в каждом доме,— прошептал он. Потом усмехнулся горько и смущенно: — Вот это я и хотел сказать вам сегодня,— прибавил он, обращаясь к тому месту, где еще недавно стоял Висла.

Висла навестил Луиса среди дня, примерно за полчаса до того, как ему начали делать капельное вливание. Они говорили о том, что произошло, и примерно столько же — о приключениях Вислы в Вашингтоне. Что до случившегося, заявил Висла, то он ни разу не делал этого опыта и даже не присутствовал при нем, а потому ничего на этот счет не знает и ни о чем не может судить. А затем он задал Луису с полсотни вопросов, обругал опыт как совершенно идиотскую выдумку, а заодно, примерно с той же горячностью, и военные власти, которые допускали такое безобразие, как этот опыт, и Луиса — за то, что он брался его делать.

Висла, разумеется, немало знал об опыте, хотя и в самом деле ни разу не видел его собственными глазами. Все научные работники Лос-Аламоса хотя бы в общих чертах знали, как это делается. Это был один из решающих экспериментов, благодаря которым великое достижение науки — цепная реакция ядерного распада — привело к великому военному достижению — атомной бомбе. Компоненты, используемые в нем, составляли, в сущности, примитивную бомбу, хотя подобным путем можно было бы также рассчитать поведение нейтронов для мирного применения неисчерпаемой энергии. Они не были заключены в плотную оболочку и потому не могли взорваться; до известной степени ими можно было маневрировать и таким образом определить количество и конфигурацию располагающихся материалов, способных дать цепную реакцию,— это и было назначением опыта, но, доведенный до известного предела, он давал уже саму цепную реакцию, вспышку ничем не сдерживаемой и неуправляемой радиоактивности. Коварство и опасность эксперимента заключались в том роковом обстоятельстве, что лишь едва уловимая

грань отделяла его завершение от катастрофы — от внезапной вспышки радиоактивности.

Как измерить всю глубину опасности, таящейся в подобном опыте? Надо сказать, что в известном смысле он даже безопаснее других. Всем, что происходит, непосредственно управляет один человек, и при этом всегда можно предвидеть, какого рода реакция произойдет, и даже примерно предсказать, какой силы она достигнет. Опасно сунуть голову в пасть льву, потому что лев, если ему того захочется, может сомкнуть челюсти; опасно делать тысячи вещей, если при этом зависишь от подвижной части механизма, которая может отказать, или от помощника, который может зазеваться, от той или иной случайности, которой не предусмотришь. Опасно было находиться в Хиросиме шестого августа тысяча девятьсот сорок пятого года, но там никто ни словом не был предупрежден о том, что должно случиться, и ничего не подозревал, а неведение удваивало опасность. В опыте, который проделывал Луис, ни одной из этих опасностей не было; в сущности, здесь опасно было только одно: совершить оплошность, самую малую, неуловимую оплошность.

— Вы ведь знаете,— сказал Луис, когда Висла (в который уже раз) вышел из себя,— автоматическое управление и любое защитное устройство, достойное этого названия, сделали бы опыт куда более громоздким. Тут все было, как на войне,— состряпано на скорую руку и подчинено одной цели, вроде здешних построек. У нас делается еще немало опасных экспериментов.

— Но этот — самый опасный.

— Пожалуй, что и так. Но подумайте, он почти всегда прекрасно удавался. Это так быстро. И так просто.

— Ну, еще бы.— Висла нахмурился, ему не нравился тон Луиса.— Я совсем не уверен, что автоматическое управление сделало бы его таким уж громоздким. Если бы...

— А пока установили бы автоматическое управление, работа бы застопорилась. Это отняло бы у нас несколько месяцев. Вот защитное устройство необходимо.

— Тил говорит, что вы не очень его и добивались.

— Добивался. А если в полсилы, так потому, что от этого не было ровно никакого толку.

— Чистейшее идиотство, — наверно, уже в десятый раз с досадой сказал Висла.

Всякий сразу увидел бы, несмотря на эту досаду, а отчасти как раз благодаря ей, что Висла очень озабочен случившимся. Луис, который хорошо знал Вислу, видел, что тот озабочен еще по одной причине и ему нелегко высказать то, что его заботит. Дело в том, что, хоть он и очень огорчен за Луиса (ему и это не так-то просто высказать), он к тому же еще и зол. Конечно, в таком виде опыт — чистейшее идиотство, и возмутительно, что не налажено автоматическое управление, но при всем том Висла не в силах понять, как Луиса могла постигнуть неудача, и не в силах с этим примириться. Не такой человек Луис, чтобы с ним мог произойти несчастный случай, а значит, это был не просто несчастный случай... нет, Висла не в состоянии этому поверить.

Автоматическое управление и надежное защитное устройство? Да, конечно, вне всякого сомнения, идиотство, что ничего этого нет, и об этом следует поговорить, но суть не в них. Даже и без них опытный научный работник не должен был допустить ошибки...

— Сколько раз вы это проделывали?

— Дэйв подсчитал, что этот был шестьдесят четвертый. Шестьдесят три раза я проделал все как следует.

...в шестьдесят четвертый раз — точно так же, как и в первый... и Луис такой опытный работник, другого такого не сыскать... у кого еще столько уверенности, столько выдержки... пусть этот опыт остался со времен войны, все равно, в этих делах ученый не должен допускать ошибок... ни в коем случае... Если уж это случилось с Луисом, это может случиться с каждым... Такой невероятный случай... нелепость!

Висла шагал по комнате, поглядывая на лотки со льдом, и не прямо, а лишь намеками высказывал свои тревожные соображения, а Луис слушал, и сперва это его почти забавляло, а под конец даже тронуло. Он понял, что виной волнения Вислы не он, Луис, а то, что случилось, самая возможность подобного случая, и Висла не решается высказать свои чувства из страха, как бы Луис не принял их на свой счет. Хотел бы я помочь ему, подумал Луис, но он и сам не умел найти нужные слова.

— Расскажите, что было в Вашингтоне.

Висла невесело покачал головой:

— Вы не поверите.

— Но ведь вы как будто ладите с конгрессменами. О чем вы с ними беседуете?

— Ха! Я им говорю про политику, а они мне — про атом. Так мы и развлекаем друг друга, только, пожалуй, этого не надолго хватит.

— Я в жизни не встречался ни с одним конгрессменом, но мне рассказывали о них странные вещи. Вилли Тайкен прошлой осенью говорил мне, что его представили одному сенатору, и этот сенатор сказал — там, кроме Вилли, было еще несколько человек с нашей станции — сенатор сказал так: «Братья американцы, знайте, что я всегда, *во все времена* был другом атомной энергии!» Неужели это правда?

— Чистейшая правда. Мы с Вилли могли бы порассказать еще кучу таких анекдотов, но они больше относятся к прошлой осени, чем к нынешней весне.— Висла строго посмотрел на Луиса.— Недаром мы столько времени проторчали в этом окаянном городе.

— Да, конечно,— сказал Луис, в раздумье глядя на Вислу.

«Д-да-а...— подумал он,— а может, я хотел сказать — нет?»

Но блестящий успех деятельности ученых физиков в кулуарах парламента, как стало известно, выразился со всей очевидностью в провале безответственного билля Мэй-Джонсона, который оставил бы атомную энергию в распоряжении военных властей, и в успехе законопроекта Мак-Магона, который передавал контроль над атомной энергией народу в лице его гражданских представителей — проект этот с минуты на минуту должен был быть утвержден; свидетельство этого успеха также тысячи ораторских выступлений, бесконечные разговоры, беседы с глазу на глаз, памфлеты, листовки, просветительные кампании, конференции, даже семинары по физике для членов конгресса и многое другое. Все это задумали, предприняли и осуществили ученые, у которых не было ни опыта в подобных делах, ни сколько-нибудь значительных средств, и они добились своего наперекор бесчисленным вымыслам, предрассудкам, благодушию, лжи, дезинформации, дикарским представлениям о природе и назначении атомной бомбы.

— Да,— повторил Луис, безотчетно глядя в упор на Вислу и не замечая, что тому уже стало не по себе под этим пристальным взглядом.

Ибо ученые, зажегшие атомные огни, знают историю своей науки и знают, что никто не властен удержать молнию и никто не может помешать огню гореть для всех людей; и эти истины они провозглашали вновь и вновь, точно Kyrie eleison * — здесь нет секретов, от этого нет защиты, тут не может быть монополии — и снова и снова объясняли и твердили:

* Господи, помилуй *(греч.)*

речь идет о жизни человечества, время дорого, это серьезнейшая политическая проблема. Конечно, все это делалось не напрасно. Слова эти стали уже знакомы, как ежедневная газета, и хотя люди, заслышав эти слова, еще беспомощно переглядывались, иные уже начали понимать, насколько они разумны; нет, все это делалось не напрасно.

— Да,— в третий раз сказал Луис.— И все-таки мы до сих пор фабрикуем бомбы.

— Это так,— нетерпеливо сказал Висла.— Но разве вы не понимаете? Теперь этим вопросом должна заняться Организация Объединенных Наций. И мы придем туда с более или менее чистыми руками. Во всяком случае, не с генералами во главе.

— А может быть, нас провели?

— Что значит провели?

— Мы все еще делаем бомбы,— повторил Луис, не отвечая Висле,— а главное, пускаем их в ход. Мы с вами подписывали петиции, в которых просили президента не сбрасывать бомбу на Японию, во всяком случае — не на большой город, это ведь не военный объект. А все-таки бомбу сбросили... и не одну, а две, и не на один город, а на два... да притом без всякого предупреждения... И это после того, как Япония пыталась начать мирные переговоры. Нет, руки у нас очень даже нечистые. Сэм Элисон говорит, что то была великая трагедия. Сенаторы и генералы уверяют, что такова современная война, то же самое говорили немцы, когда бомбили Роттердам. Помните газетные передовицы? Ужас не столько в том, что было сделано, сколько в том, как быстро мы к этому приспособились. Роттердам подготовил нас к Хиросиме и Нагасаки... с той лишь разницей — всегда ведь найдется разница,— что Роттердам разбомбили немцы, а Хиросиму и Нагасаки — мы. Я не знаю и, должно быть, уже не узнаю, верно ли, будто мы этим ускорили конец войны и сохранили человеческие жизни, как нам тогда говорили, — кстати, немцы утверждали то же самое про Роттердам. Но ведь, как выяснилось, вторжение в Японию намечалось на ноябрь, а мы сбросили бомбы в августе. Мы не теряли людей в августе и, стало быть, сберегли те жизни, что были бы потеряны в ноябре, но раз так, почему же мы не подождали хотя бы с Нагасаки, разве нельзя было сперва посмотреть, каков будет эффект от бомбы, сброшенной на Хиросиму? Мы спасли бы тогда жизнь шестисот студентов-медиков. Но, разумеется, на это есть лишь один ответ: у современной войны свои законы, и когда Хатчинс, римский папа и еще кое-кто утверждают, будто, пустив в ход атомную бомбу, мы утратили свой нравственный престиж, они говорят не о главном — и, однако, в газетах я все время читаю, что обладание бомбой облекает нас священной миссией. Было время, когда мы могли выбирать, и я не знаю, кто выбрал тот путь, по которому мы пошли, знаю только, что те, кто создал бомбу, высказали свое мнение впустую, совершенно впустую. Впрочем, все это, разумеется, дело прошлое, а сейчас нужно думать о будущем, будущее важнее прошедшего.

Луис говорил очень быстро, ровным голосом, без пауз и почти без выражения. Он все время смотрел на Вислу и лишь изредка бросал взгляд в сторону окна, но ни разу не повернул головы. И вот поток слов иссяк, но и Висла молчал: он приоткрыл рот да так и замер, словно хотел что-то сказать и забыл, что именно. Минута молчания, беспомощности, и вновь зазвучал голос Луиса.

— Если упорно искать, как, по-вашему, отыщется ли ключ, единственно возможный ответ на все вопросы, объяснение всему, что происходит и здесь, и в Вашингтоне, в мире звезд и в нашем внутреннем мире? Мы ищем, ищем упорно, хотя все меньше понимаем, чего же мы ищем, да, пожалуй, этого и не понять. Во вторник я тоже искал, я пытался вспом-

нить, как все было, когда только что кончилась война и когда умер Нолан. Должно быть, меня навели на эти мысли день и число, ведь после вторника двадцать первого мая в первый раз вторник пришелся на двадцать первое число, и все мы так или иначе вспоминали и думали об этом. Я не думал о несчастье с Ноланом, а только о том времени, о первых днях после войны; тогда еще не поздно было спохватиться, задуматься над тем, что же мы делаем, прежде чем все страны возьмутся за так называемые необходимые меры предосторожности и весь мир с головой уйдет в эту нескончаемую гонку вооружений; и так оно и получилось теперь, после того как та возможность упущена. Наверно, это странная мысль для еврея, но было время, примерно при Лукреции, когда Христос еще не родился, а старые боги уже умерли и остался только человек — он смотрел на мир, лишь смутно его понимая, ибо теперь, когда боги умерли, ничто не подсказывало ему, какими еще критериями пользоваться, кроме тех, что рождались в его собственном мозгу. Именно в ту пору сделало кое-какие успехи учение о спасительности здравого смысла и о животворящей силе природы... И вот во вторник я думал: если бы в ту неделю после конца войны — ведь в такие дни боги, любые боги, на все смотрят сквозь пальцы — так вот, что если б тогда, следуя учению о здравом смысле и о животворящей силе природы, все мы сказали, как говорили Юрий и некоторые другие в те дни или чуть позже, что будущее ведь важнее прошедшего, а его здесь заранее отравляют, накапливая день ото дня все больше бомб, их фабрикуют только здесь, и на каждой пометка: «Сделано и пущено в ход США»... Но мы не сказали этого. Быть может, выбор, сделанный раньше, предопределил и все дальнейшее. Во всяком случае, мы ничего не сказали. Мы продолжали войну. Я не мог найти ключа, разве только одно: тогда слишком мало раздалось голосов протеста. Мне все вспоминались чьи-то слова: «Во времена слабости высшей добродетелью становится сила», — но я не могу припомнить, кто это сказал и где. Пожалуй, это и есть ключ. А насчет того, что нас провели...

— Луис! — позвал Висла.

Он подошел ближе, стал между кроватью и лотком и опять, уже громче, окликнул Луиса, но тот, казалось, не слышал и все говорил, говорил... Висла круто повернулся и вышел из комнаты; он не затворил дверь, и даже в коридоре его настигал голос Луиса — ровный, лишенный всякого выражения, но громкий и ясный:

— ...ссылаются на то, что все остальные страны заняты тем же и только атомных бомб не производят. Но в атомный век это несравнимые величины — то, что делаем мы и что делают все остальные, хотя, впрочем, очень скоро и они будут делать то же самое, года через три-четыре уж во всяком случае. И мы еще рассуждаем о контроле, а сами делаем бомбы, и рассуждаем о мирном использовании атомной энергии, а сами делаем бомбы...

Стоя в коридоре, в каких-нибудь пяти шагах от палаты Луиса, Висла испуганно озирался по сторонам и, увидев наконец, что по лестнице поднимается Чарли Педерсон, кинулся к нему.

— ...назвали «Операцией Перепутье» такую военную демонстрацию как Бикини,— доносилось из палаты.— А между тем перепутье давно уже пройдено, и вы двинулись в совершенно определенном направлении, ибо решились на демонстрацию, о которой каждый ученый в стране твердо знает, что она не имеет никакого научного значения, зато с идеальной точностью рассчитана на то, чтобы лишить какого-либо смысла все наши предложения о контроле, которые мы готовимся через месяц внести в Организацию Объединенных Наций. Это значит продолжать войну...

— Он не умолкает ни на минуту,— говорил Висла Педерсону.— Я никогда ничего подобного не слышал. Он не в себе.

Они быстро пошли к палате.

— Бред? — вслух подумал Педерсон, как бы проверяя звучание и смысл этого слова.

— Но это вовсе не бессвязная болтовня. Он говорит вполне связно. И очень разумно.

У самой двери они остановились.

— ...не быть близорукими, продумать все с начала и до конца. Но даже если взять начало, этот новый закон, который должен был всех нас удовлетворить как образец государственной мудрости,— что хорошего, если в нем закреплено заблуждение, будто у нас есть секреты, которые необходимо хранить, тогда как эти наши секреты раскрываются всюду и везде, где циклотроны высвобождают протоны по столько-то в секунду? Дважды ура в честь нового закона! Быть может, те же «великие умы», которые ведут такую политику, санкционировали и уничтожение японских циклотронов в конце войны? Но если циклотрон следует уничтожить, потому что кто-то считает его орудием войны, и если отныне считается изменником и подлежит смертной казни всякий, кто посмеет огласить сведения о количестве нейтронов, высвобождаемых при расщеплении плутония, хотя это открытие стало возможным, между прочим, благодаря трудам немцев, австрийцев, датчан, итальянцев и венгров, тогда и всякий, кто мыслит, становится изменником, а если кто-либо, кроме нас, пускает в ход орудия мышления, то это — неслыханная провокация...

— Ужасно! — сказал Висла.

Педерсон взглянул на него.

— От японских циклотронов и следа не осталось. Такую глупость сделали.— Висла пожал плечами.— А всё военные власти,— прибавил он.

— Это не бред,— сказал Педерсон.

Придерживая Вислу за плечо, чтоб тот не трогался с места, он пригнулся и сквозь щель неплотно прикрытой двери заглянул в палату.

— ...гражданский контроль — но над чем? У нас все растут и растут запасы бомб, бомба уже дважды была пущена в ход, а мы всё еще отказываемся разделить свои открытия даже с англичанами, которые передали нам все свои сведения и тем самым облегчили нашу задачу; а какие же предложения в области международного контроля можно выдвинуть при условии, что мы и дальше будем делать бомбы, но никому другому их делать не дадим, хотя, разумеется, все примутся за это энергичнее, чем когда-либо, и, конечно, преуспеют. Вы хотите не быть наивными, хотите смотреть на жизнь трезво и использовать с толком хорошую вещь, раз уж она попала вам в руки, и, наконец, вы преисполнены сознания своей добродетели, которая всегда на стороне сильных во времена слабости. Но заодно, ради всего святого, будьте последовательны, помните и о том, к чему все это ведет, поймите, что думать только о войне и готовиться к войне полезно и даже разумно лишь при определенных условиях, но ведь сама по себе война — величайшее безумие, безумие при всех условиях, верх безумия, на него способны только те, что боятся и ненавидят всех себе подобных, всех жителей единственной обитаемой планеты, а завтра возненавидят и самих себя. Установить контроль? Лучше чтоб был контроль, чем чтобы его не было, но от контроля не будет толку, пока делают бомбы... не будет...

Голос умолк. Педерсон взглянул на Вислу и отвел его подальше от двери.

— Вернитесь туда,— шепнул он.— Заговорите с ним. Сделайте вид, что вы не выходили из палаты. Я сейчас приду.

— Многое тут верно,— сказал Висла, глядя на дверь.— В другое время было бы о чем поспорить. Но многое...

— Эд! — позвал из палаты Луис и тотчас окликнул почти резко:— Бетси, вы?

Висла вошел в палату.

— Я выходил в ванную,— сказал он.

— Вот как? Только сейчас? У меня было какое-то странное чувство, голова кружилась, что-то вроде обморока. А потом я посмотрел вокруг... Может, и правда был обморок. Но мы ведь разговаривали.

— Да, конечно. И сейчас разговариваем, только, по-моему, вы говорите слишком много. Больному не следует так много говорить. А голова еще кружится?

Луис помотал головой сверху вниз и из стороны в сторону.

— Все в порядке,— сказал он.— Прошло.

Потом растерянно посмотрел на Вислу и улыбнулся застенчиво, почти робко.

— Я слишком много болтал, да?

— Вы говорили много интересного,— сказал Висла.— Впрочем, я не со всем могу согласиться.

— Мне кажется, я наговорил больше, чем... чем думал, что говорю. Вы что-нибудь поняли?

— Вы забываете, что перенесли сильное потрясение, — сказал, появляясь в дверях, Чарли Педерсон. — К тому же, — продолжал он, входя, — вы не очень-то хорошо усваиваете пищу. Поэтому мы сейчас введем вам порцию отличной, укрепляющей организм глюкозы, это вам сейчас очень полезно. Не возражаете?

— Не возражаю, — сказал Луис.

Штатив с бутылью и трубкой для капельного вливания стоял в углу палаты. Педерсон занялся им и наконец, перехватив взгляд Вислы, успокоительно кивнул. Через минуту вошла Бетси с бутылкой. Висла еще немного походил взад и вперед по палате, но больше никто не произнес ни слова, и вскоре он вышел.

Голоса, звучавшие в ночи над лесными ветрами и пением струн, внезапно смолкли. Кто-то вмешался, подумал Луис, кто-то сказал: «Послушайте, дружище, может, вы дадите хоть раз ночью выспаться, чтобы утром я мог встать и заняться бомбой?» Покойной ночи, Улановы! Прощай, Бетховен! Покойной ночи и тебе, слепая девушка из Альбукерка! То зарево в твоей комнате было лишь мимолетной вспышкой, кратким мгновеньем в познании человеком природы, а у процесса познания нет ни начала, ни конца, есть лишь миги великих озарений, и такой миг был тогда. Но вот нынешнее зарево — это нечто иное, и тут мы так же слепы, как и ты.

Покойной ночи, прощайте!

Он ощутил пульсирующую боль в кисти левой руки и ровную, тупую боль в правой. Оказалось, он весь дрожит. Он медленно отвернулся от окна, и как раз в это время фонарь у дальнего крыла больницы погас. Час ночи, подумал Луис, его гасят в час. Сиделка осторожно поднималась по лестнице, а может быть, ему только послышались шаги, и он еще раз взглянул в окно. В ночной тьме — никого и ничего. Он постоял так еще с минуту, и тут-то заметил, что болтовня в дальнем уголке мозга стихла и холодный твердый ком распался. Луис не ощущал ни жара, ни озноба. Трепетная и несмелая, точно осенний лист, проплыла в сознании мысль: «Ты получила телеграмму, Тереза?» — и тут же исчезла, и он даже не подумал, что, если сосредоточиться, он мог бы представить себе и Терезу, и все, что захочет. С непреложностью научной истины, как открываются свободной игре воображения сокровеннейшие законы при-

роды, у него вдруг возникла уверенность, что скоро он умрет — и это потребует от него напряжения всех сил души и, быть может, длительного, ведь это не на день и не на два. Снова он отвернулся от окна; он совсем закоченел, и походка у него была деревянная. Он подошел к кровати и лег. Руки теперь сильно болели, но он просто положил их в лед; если станет невтерпеж, подумал он, можно позвать сиделку; а будет терпимо, так подожду, она и сама придет, рано или поздно.

Ждать пришлось недолго. Стараясь не шуметь и все же отнюдь не бесшумно она вошла в палату через несколько минут после того, как он снова лег, и день кончился, как начался — тревожными восклицаниями, приведением в порядок простынь и полотенец. Боль усиливалась; вызвали двух врачей; Луису дали снотворное.

Но ему казалось, что все это где-то далеко — так, должно быть, рев и стремительность урагана не задевают того, кто находится в его неподвижном центре. Луис отвечал, когда его о чем-либо спрашивали, делал все, что требовалось, чтобы помочь сиделке и врачам. Но сознание его оставалось в самом центре урагана, в немоте и неподвижности, одинокое, всему чуждое. Он знал, что этот клочок тишины мчится вместе с ветром и через какой-то срок промчится над ним, сквозь него и унесется прочь. Но сейчас он в сердце тишины, она поглотила его. Глубокое внутреннее волнение, которое поднялось в нем вечером, казалось ему тогда бессмысленным, но, видно, оно было лишь преддверием к этому, так же как и безразличие и отчужденность, охватившие его, когда пришло письмо Терезы, полное жизни — жаркой, сложной, требовательной.

Все эти треволнения, вся сумятица жизни была лишь частью шума и движения, которые не касались его и не могли коснуться здесь, в немом сердце урагана, где он был один, куда ничто не могло проникнуть.

6

— Голыми руками, — сказал полковник Хаф.

— Голыми руками, — повторила миссис Хаф и записала эти слова.

— Голыми руками он... нет, лучше молодой ученый... молодой ученый разбросал подопытные материалы...

— Молодой ученый разбросал подопытные материалы.

— И прекратил излучение. Прочти мне все сначала.

Миссис Хаф прочла вслух написанное, полковник внимательно слушал.

— Отлично, — сказал он, когда она кончила. — Идем дальше. Этот геройский поступок стоил ему серьезных ожогов обеих рук, и весь организм пострадал...

— Не так быстро, дорогой, — прервала миссис Хаф. — Этот геройский поступок...

— Да, да, хорошо.

Так они трудились, пока не довели дело до конца. Они принялись за работу около одиннадцати, и после всех поправок, переделок, а подчас и споров о том, как бы получше выразить ту или иную мысль, за полночь сообщение для газет было готово.

— Ну, теперь можно и лечь, — сказала миссис Хаф. — Только сперва я приготовлю тебе что-нибудь поесть.

— Не стоит, — ответил муж.

— Тогда ложись скорей, мы и так сегодня засиделись.

— Я сейчас поднимусь наверх, — сказал полковник и на прощанье поцеловал жену в щеку.

Когда она вышла, он взял черновик и еще раз перечитал его с начала до конца. Потом подошел к двери и распахнул ее. С минуту он

смотрел на пустынную улицу; наконец шагнул за порог и ступил на дорожку, ведущую к дому.

Он смотрел на город. Больница отсюда не была видна, но полковник мысленно увидел ее, и всего явственней представилось ему темное окно той палаты, где лежал Луис.

«Бедняга Луис, — подумал он. — Черт побери, мой милый, я отдаю тебе честь». Он произнес это про себя и мысленно вытянулся и взял под козырек. С искренней грустью и уважением думая о Луисе, он невидящими глазами смотрел на дома напротив и отвел взгляд только после того, как звуки музыки постепенно дошли до его сознания.

Это Улановы, решил он, они всегда заводят патефон. Слишком громко для такого позднего часа. Бесцеремонная публика эти Улановы. Может, пойти и сказать ему, чтоб он перестал крутить свой патефон? Но потом, сам не зная почему, полковник передумал. Как-нибудь в другой раз.

Бедняга Луис. Надо же, чтоб стряслась такая беда, такая гнусная история, да всего за день до того, как тебе уезжать, и на другой день после отъезда той девушки... Полковник Хаф видел девушку. В воскресенье вечером он смотрел издали, как она танцевала на другой стороне широкой лужайки, что перед «Вигвамом»; она была в чем-то красном, и так хороша... да, хороша, и веселая, и с огоньком, тут не ошибешься даже издали, очень хороша, сразу видно, сколько в ней жизни и любви... Полковник подумал тогда, что неплохо бы провести с нею ночь или воскресный день, а то и годик... сейчас, слишком усталый, он не уследил за своими мыслями, и от этого воспоминания, выскочившего словно из-за угла, его ожгло стыдом: боже праведный, а Луис лежит там...

Вот он лежит там сейчас, как лежал вчера ночью, как будет лежать завтра, совсем один, и если не спит — о чем он думает? О чем я думал бы на его месте?

О чем думал бы я?

О чем думал бы я сегодня, и завтра, и все дни, пока этот Бийл сидит тут и ждет, и остальные врачи тоже ждут, и то, что стряслось, то стряслось, черт бы его побрал, оно идет своим чередом, и ты не в силах помешать, ты даже не чувствуешь ничего, пока... а потом...

Смерть срывает столько покровов.

Что же такое знает Дэйв Тил, чего не знаю я? Бывают же просто несчастные случаи! Телеграмма была той девушке. Бывает же иногда — просто несчастный случай. Но что думал бы я?

Хаф мысленно перебирает одно, другое, третье, но это все не то; и немного погодя он медленно возвращается по дорожке, входит в дом и медленно затворяет за собою дверь.

(Окончание следует)

Жигмонд Мориц

Мадьярские новеллы

Перевод с венгерского Агнессы Кун.
Под редакцией Н. Немчиновой.

Творчество крупнейшего венгерского прозаика Жигмонда Морица (1879—1942) пока еще недостаточно известно советскому читателю. На русский язык переведены лишь два его романа «Родственники» и «Золото в грязи», драма «Господский пир» и сборник рассказов. В ближайшее время в Гослитиздате должен выйти двухтомник сочинений Морица.

Переведенные на русский язык произведения писателя не составляют и двадцатой доли его огромного творческого наследия; им написано около тридцати романов, сорок драм, несколько сот рассказов.

Жигмонд Мориц — один из самых любимых и популярных в Венгрии писателей. Только за последние два года в Венгрии вышло из печати полное собрание его рассказов в 7 томах (1955 г.), новое издание драм в 6 томах (1956 г.), переизданы романы. Ряд произведений венгерского прозаика переведен на румынский, словацкий, чешский, английский и немецкий языки; его драмы с успехом ставятся в театрах Венгрии, некоторые экранизированы.

Героев своих произведений Мориц брал из различных слоев венгерского общества; он рисовал быт крестьян, помещиков, интеллигенции. Но ближе всего ему было крестьянство, — в его изображении талант писателя достиг особенной силы. Из его произведений о крестьянстве особенно значительны романы «Золото в грязи» (1910), «Счастливый человек» (1932), повести «Бедные люди» (1916), «Сиротка» (1940), сборники рассказов «Семь крайцаров» (1909), «Трагедия» (1911), «Хоть раз досыта наесться» (1933).

В романах «Господский пир» (1927), «Не могу жить без звуков музыки» (1914), «От зари до зари» (1924) автор обличает паразитизм помещиков, показывает социальную бесполезность дворян, их неспособность найти себе место в жизни.

Роман «Родственники» переносит нас в сферу деятельности городской буржуазии; здесь описываются мошеннические махинации тузов города — «родственников в одной большой афере».

Мориц изображал жизнь Венгрии не только в ее настоящем, но и в прошлом. Он написал ряд исторических романов и драм о господстве крупных феодалов в стране, о борьбе Венгрии за независимость, о становлении капитализма.

Каждая из этих тем решалась Морицем по-новому. Особенно новаторским было его изображение крестьянства. Ближайшими предшественниками Морица были известные романисты Мор Иокаи (1825—1904) и Кальман Миксат (1849—1910). Они с сочувствием рисовали горькую долю венгерского крестьянина, но это было сочувствие гуманных дворян, отделенных от народа почтительным расстоянием.

И Миксат, и Иокаи большое внимание уделяли богатству действия и занимательности сюжета. В отличие от них Мориц не боялся показывать жизнь народа во

всей ее будничности и однообразии, со всеми насущными нуждами и наболевшими вопросами.

Сын крестьянина, он превосходно знает быт, нравы и обычаи венгерской деревни и описывает их не как сторонний наблюдатель, а как человек из народа, говорящий о родных, понятных и близких ему людях. Мориц знает силу своего народа и любит его. Посмеиваясь порой над тугодумом-крестьянином, писатель не позволяет усомниться в своем глубоком уважении к труженику деревни, к его обычаям и порядкам. Противопоставляя мелкие и подчас надуманные конфликты барского мира подлинным трагедиям, переживаемым его героями из народа, Мориц рассказывает, как из-за прихотей и капризов господ разбиваются и калечатся жизни простых людей, судьбы целых семейств.

Мориц умеет правдиво, несколькими штрихами обрисовать характер своего героя. В его произведениях раскрывается сложный душевный мир простого венгерца.

Страстно любя свой народ, писатель, однако, далек от его идеализации. На протяжении всего своего творческого пути Мориц показывает, как господствовавшие общественные отношения калечили простого и честного труженика. «Жизнь — грязь, а человек — золото в грязи... На ком же лежит вина за то, что из золота ничего не вышло?» — так заканчивает автор свой первый роман «Золото в грязи». Эта мысль проходит как лейтмотив во многих произведениях Морица. Всем своим творчеством он ставит вопрос — «кто виноват?»

Еще в своих ранних произведениях писатель восстает против частной собственности, заставляет читателя задуматься над тем, к чему приводит власть денег над человеком, как жажда наживы развращает людей и приводит к расслоению деревни. С большим мастерством описывает Мориц жестокость и алчность кулаков, готовых пустить по миру любую крестьянскую семью.

Но засилье эксплуататоров, власть собственнических отношений, забитость венгерского села — все это не кажется Морицу извечным, неизбежным злом. Даже на самых мрачных страницах, где повествуется об ужасных, нечеловеческих страданиях крестьян — страданиях, «о которых невозможно слушать, не сжимая кулаков», он не впадает в пессимизм. Большинство его произведений дышит уверенностью в революционном возрождении деревни. Эта вера чувствуется и в первом сборнике рассказов Морица «Семь крайцаров», хотя в этот период сам автор был еще далек от освободительной борьбы народа.

В годы первой мировой войны, отрезвев от шовинистического угара, Мориц начинает понимать, что только революция может изменить жизнь страны. В повести «Бедные люди» солдат-крестьянин постепенно прозревает и видит, что его враги — не по ту сторону фронта, а у него дома, и надо «их всех перестрелять».

Мориц восторженно отнесся к революционным событиям 1918—1919 г. в Венгрии. В этот период он написал сборник замечательных статей под названием «Создадим новый мир»(1919). В этих статьях писатель приветствует разложение старого и рождение нового мира, с новыми взаимоотношениями людей и новой моралью. Он одобряет начинания Венгерского Советского правительства и особенно — создание земледельческих кооперативов.

Мориц тяжело пережил разгром революции. Он на время поддался пессимистическим настроениям, стал выдвигать абстрактный принцип «доброты» как основной закон человеческих отношений. Но вскоре понятие «доброты» наполняется в его творчестве новым содержанием. Именно во имя доброты к простому человеку писатель обличает существовавший строй, требует гражданских прав для народа. Эта мысль утверждается в романах «Будь добрым до самой смерти» (1920), «Вино бродит» (1930), «Счастливый человек» (1932).

В романе «Счастливый человек», повествуя о жизни крестьянина, Мориц сумел показать судьбу всей Венгрии. Каким грозным обличением всему режиму Хорти явилась эта книга! Любуясь цельностью и душевной красотой Дьердя Йоо («йоо» значит «хороший»), романист в то же время возмущается покорностью своего героя, его смирением перед власть имущими.

В последние годы своей жизни Мориц вновь обращается к проблеме революции. В романе «Шандор Рожа» (1940—1942), посвященном освободительной борьбе 1848—1849 годов, автор критикует буржуазную ограниченность и половинчатость некоторых ее деятелей, готовых остановиться на полпути. Этот роман — одно из выдающихся произведений писателя.

Публикуемые рассказы знакомят советского читателя с мастерством Морица-новеллиста.

В лице Жигмонда Морица венгерский народ чтит большого художника слова, крупнейшего мастера критического реализма в литературе Венгрии.

Е. Кривякина

ПО-МАДЬЯРСКИ

Молодой учитель защелкнул складной нож. Он один пообедал в пустой, неуютной и холодной комнате, напоминавшей не то спальню в семинарии, не то тюремную камеру. «Ладно, сойдет. Когда женюсь, жена обставит все как надо».

Женщинам он пришелся по вкусу, они за два года так воспитали его, что из неловкого простака он превратился в наглого, развязного, грубого учителя. Но что поделаешь — молодых людей мало, даже и хромые, и кривые теперь нарасхват.

Поначалу учитель очень радовался своему большому успеху, стал даже задаваться. Оно и понятно, ведь все по нему с ума сходили — и самые первые барышни, и захудалые крестьянские девки. А он маху не давал. Не бежал любовных радостей, не боялся, что они могут ему боком выйти, и бывал ошеломлен только тогда, когда приключалась какая-нибудь беда. Пока он всегда вылезал сухим из воды, но нынче был очень встревожен. Старуха, хозяйничавшая у него, рассказала, что кузнецова дочка вчера вечером хотела кинуться из-за него в колодец. Вот беда! Отец девушки человек очень порядочный, дочку свою непременно хочет выдать замуж. К тому же он и не мужик, а из какого-то обедневшего дворянского рода. Словом, история неприятная.

Учитель скрутил себе цигарку и погрузился в невеселые размышления: не выйдут ли серьезные неприятности из этой комедии, и даст ли корчмарь бутылку вина в кредит?

Старуха убрала все со стола. Он подошел к окну. Стоял великолепный зимний день. Из видневшегося напротив большого крестьянского дома вышел хозяин — церковный староста, в огромной лохматой сермяге, и перешел через улицу, очевидно решив потолковать с учителем перед поздней обедней. Нынче воскресенье — времени хоть отбавляй.

— И зачем только он идет, — досадливо проворчал учитель. — Видел, небось, что вина мне не приносили.

Он уже изучил своих мужичков: церковный староста обычно выслеживал, принесли ли учителю вино к обеду или нет; ежели принесли — он тут же заходил к нему побалакать, а коли не приносили, у церковного старосты всегда находились дела где-нибудь в другом месте. Ему-то что — живет напротив, но другим богатеям села приходилось полагаться только на свой нюх, а в последнее время он их иногда подводил. Теперь ведь не то что раньше, когда учитель был еще новичком.

— Как живете-можете, господин учитель? — спросил рослый сосед, входя в комнату.

— Спасибо, господин староста.

— Дай-ка, думаю, загляну к нашему господину учителю...

— И хорошо сделали, господин староста.

Церковный староста сел на лавку, не снимая сермяги, — я, мол, зашел ненадолго, да к тому же у нищего учителя не жарко, не запаришься. Уж конечно не жарко, а кто тут виноват? Сам староста. Печка никуда не годится, надо ее починить, а он ни в какую: «Нет у прихода денег», «Учителю и так сойдет». Уставившись глазами в пол, сидели они друг против друга. Обоим не хотелось говорить. Утром уже виделись, с тех пор ничего примечательного не произошло.

— Что теперь будет-то, господин учитель?

— А что? После дождика грязь, — шутливо ответил учитель. Он сам был из крестьян и умел разговаривать на их языке.

— Хе-хе! Вижу, нынче мы тут не напьемся, не развезет нас, — тактично намекнул староста.

— Да, нынче мы перейдем Красное море посуху, как в библии.

— Ах ты, дьявольщина! Что ж, мы евреями станем?

— Немножко бы не мешало.

— Рано еще. Когда женитесь, успеете трезвенником стать.

Пришел новый гость, святоша Арон Вак, дружок старосты. Они обычно вместе подстраивали разные шутки. Оба славились тем, что как соберутся вместе да войдут в раж, так кого хочешь со свету сживут.

Пришло еще человека три-четыре, все в огромных сермягах и полушубках, точь-в-точь медведи. Здоровались, перебрасывались словами и по очереди рассаживались на лавке, на стульях, кто где попало.

— Так, стало быть, и посидим, да ничего не высидим, — заговорил Арон Вак.

— Как так? — буркнул церковный староста.

— Да вижу, что горла не дадут промочить.

— Хе-хе, видно, нынче так повелось.

— Плохо повелось. Несмазанная телега скрипит, а непромоченная глотка хрипит, умному слову из нее не выскочить.

Мужики засмеялись, кисло посмеивался и учитель. Прежде стоило ему услышать одно или два таких замечания, как он тут же посылал за вином. Но за два года учитель понял, почему у этих мужичков амбары ломятся от хлеба. У иного хозяина и десять пар волов, а он не пошлет за пинтой вина, хоть ему и до смерти выпить хочется, потому что за это деньги плати. Так неужто он, учитель, будет таким дурачком, чтоб они на нем ездили?

Когда гости выяснили, что нынче тут говори не говори, а все равно уйдешь не солоно хлебавши, они повернули беседу на другой лад. Коль не разживешься ничем, так хотя бы удовольствие получить. Для чего же, спрашивается, собирается вместе столько людей, как не для того, чтобы кого-нибудь из присутствующих слопать живьем! Мужик ведь не станет каркать за спиной, это бабье дело, он, ежели взъелся на кого, прямо тут же обгложет, одни косточки останутся.

Святоша Арон Вак покачивал головой, словно задумался о чем-то, потом встряхнул сермягой и заговорил:

— Слыхали, что ввечеру Мукичева дочка чуть в колодец не упала?

— Не упала, а сиганула, — бросил кто-то из угла.

— Да что ты говоришь? Неужели? Вот уж истинно светопреставление! — Все заговорили наперебой, притворяясь, будто ничего не знают, хотя весь день только и было разговору о том, что девчонку «пришлось силком удержать». «И понапрасну удерживали, раз уж она так порешила, — вынесло свой суд общественное мнение. — Ишь чего ей захотелось! Учительшей вздумала стать, когда наш учитель погнушался даже девками из богатых домов. Да и позор свой ей нечего было на весь свет выставлять. И получше девки в беду попадали, а все же не выхвалялись».

Учитель покраснел как рак и очень обрадовался, что никто на него не смотрит.

— С чего это она, бедняжка? — спросил церковный староста.

— Бог ее ведает. Накатило на нее, вот и задумала в колодец сигануть.

— Искупаться, должно, захотела.

— В феврале — самое подходящее время.

— Кому как. Мне даже в шубе, и то не хотелось бы искупаться.

— Так ведь кому что нравится.

Все засмеялись, кое-кто злорадно улыбнулся в усы. Арон Вак метнул взгляд на церковного старосту.

— У нее на то другая была причина, — сказал Вак.

— Да ну?

— Слыхал я, будто тут парень замешан.

— Парень?

— Не без того.

— Что ж, у того парня губа не дура, девчонка ладная.

— Будь я помоложе лет на тридцать, на сорок, и я бы от нее не отказался.

— Ах, старый пес, чтоб вам пусто было!

— Старым был мой дед, что помер во сто лет, а не я! Пока человек ногами дрыгает, он еще не старый,— сказал Арон Вак и засмеялся.

Все засмеялись, загоготали.

— Только знаешь, кум, — продолжал свое староста, — прежде чем ногами дрыгать, ты б сперва еще подумал.

— Это я-то?

— Ты! Отец ведь у нее кузнец.

— Ну и что ж?

— А то, что молоток ему сподручен! А молоток — не цветок, к носу поднесут — ахнешь!

— Ну, этого он делать не станет!

— Не станет? Да ведь коли не врут, старик Мукич поклялся святой троицей, что проучит того, кто его дочку испортил, покажет ему, где раки зимуют.

Хоть и выдумывал староста, но выдумка была очень похожа на правду, и учитель побелел как полотно. У него даже руки затряслись. Он окинул взглядом всех этих извергов, так беззастенчиво копавшихся у него в душе, и обрадовался, что они смотрят в другую сторону, словно не замечая его. Будто человек не видит, если не смотрит на кого-нибудь в упор! Сердце у молодого человека екнуло, и он вспомнил про револьвер, который держал под подушкой.

Кто-то из гостей сжалился над учителем.

— Неправда! Мукич не такой человек.

— А я не от Мукича слыхал, — оправдывался церковный староста.

— От него и не услышишь, — с коварным смирением подхватил Арон Вак.— Старик — тихий человек. На нем хоть землю паши. Да и какая для него беда? Ну, в крайнем случае, присудят платить на ребенка. А тогда старик обрадуется, расцелует своего благодетеля.

Учитель встал, выглянул в окно, непринужденно подошел к кровати, вытащил из-под подушки револьвер и сунул его в карман. Никто ничего не заметил.

Но на душе у перепуганного учителя стало легче, будто он панцырь надел на себя. Тут же он вмешался в беседу и хвастливо произнес резким и хриплым голосом:

— Это не так-то просто! Грозиться легко, да не легко пристукнуть человека. Мы не где-нибудь живем, а в культурной стране. У нас законы есть.

— Конечно, конечно.

— Да что там! — воскликнул учитель. — Попытаться-то можно, да можно и на такое напасть, что не обрадуешься.

В тот же миг распахнулась дверь, и вошел кузнец Михай Мукич.

Худой, нервный учитель стоял за столом как раз напротив дверей. У него язык прилип к гортани, на вошедшего учитель уставился, как на привидение.

— Добрый вечер, — тихо и печально произнес кузнец, сильный, плотный мужчина, одетый в толстый суконный костюм. В нем чувствовалось что-то барское; даже бедность во многих поколениях не могла вытравить из него чувства собственного достоинства, которое питалось многовековыми традициями.

— Тебе что нужно? — заорал на него учитель, тут же потерявший голову.

— Я вам не «ты», господин учитель. Я вам не «ты».

— Мне нет дела до вас, сударь!

Кузнец глубоко вздохнул.

— Хорошо, кабы и мне не было дела до вас, сударь.

— Что вам нужно, господин Мукич? — примирительно спросил церковный староста.

— Мне? Господи боже, как так «что»? Дурного я не хочу. Я желаю только напрямик спросить у господина учителя перед всем честным народом... Ведь и так все больше моего знают...

— Мне до вас дела нет! — Учитель нервно заерзал, запустил руку в карман, потом снова выхватил ее, испугавшись холодной стали револьвера.

— До меня-то нет... а вот дочь...

— Уходите отсюда!

— Погодите, сначала поговорим.

— Уходите отсюда! — заорал учитель.

— Сударь, разве я обижаю вас? У меня шестеро детей, я им нужен... Сударь! Я хочу по-дружески сказать. Женитесь на моей дочке! Женитесь на моей дочке!

Голос его вдруг зазвучал сурово и повелительно. Все ошеломленно глянули на него.

— Женитесь, господин учитель, — предложил кузнец мягче, — не пожалеете. Девушка она красивая, сами знаете. Добрая девушка, верно вам говорю. Работящая, сердечная, умная и не мотовка. Сущий клад! И из хорошего рода. Все мои родичи до сих пор господа; даже знатные есть среди них, а по матери, так она и вовсе из именитой семьи. Я-то, конечно, человек простой. Что с того? Живу я честно, работаю механиком и кузнецом... Зять у меня священник.

— Да и вы, господин Мукич, могли бы в священники пойти, — перебил его Арон Вак, у которого желчь готова была уже разлиться при одной мысли о том, что здесь еще, чего доброго, все к лучшему обернется. У него у самого была дочь на выданье, но ему даже в голову не приходило, что она может учительшей стать. А этот голодранец приходит сюда, похваляется и, того гляди, добьется своего.

— Священником? — услышав слова кума, церковный староста облегченно вздохнул.— Получи он приход, сразу пошел бы.

— У него и сейчас есть своя кафедра, и звонкая какая! Даже говорить с нее не надо, сама напроповедует хлеб насущный.

ЖИГМОНД МОРИЦ

(К 15-летию со дня смерти)

Кузнец озирался, оглядывая всех дикими глазами, словно бык, на которого наседают собаки. Учитель отрывисто рассмеялся: слава богу, деревня встала на его сторону.

— Ступайте, господин Мукич, убирайтесь восвояси! Нам с вами до сих пор не было дела друг до друга; пусть и впредь не будет.

— О, коли бы не было, коли бы не было! Ведь нам с вами хватило бы места на этом свете... Эх, много мерзавцев развелось на земле! — сказал кузнец, махнув рукой.

— Что такое?! — запальчиво воскликнул учитель.

— Мерзавец! — пробормотал кузнец и отвернулся.

Учитель, который вышел в баре из мужиков, так и вскипел, в нем разыгралась барская спесь.

— Вы, сударь, лучше прикусите язык, не то я вышвырну вас.

— Кого вышвырнете? — глаза старика загорелись за пепельно-серыми ресницами.

— Вас, пьяную свинью!

— Сам ты свинья, сукин сын! Пьяница! — но кузнец тут же овладел собой. — Каждое слово мне глотку жжет, но я назову твое имя, все скажу как надо, по-мадьярски.

Учитель побледнел, задрожал, судорожно засунул руку в карман.

— Выдать дочку за такого человека? Тьфу! Да на тебя и плевка жалко, сопляк!

— Ха-ха! — захохотал вдруг учитель, но лицо у него оставалось неподвижным. — Хочешь людям показать, как надо дочек выдавать замуж. Пусть, мол, с девкой поиграют, а как беда случится, мы поднажмем... Так, что ли? Поганый мужик!

— Это твой отец мужик! — завопил кузнец, ударяя кулаком себя в грудь. — Мой был дворянином!

И он угрожающе двинулся вперед.

Учитель сунул руку в карман и выхватил револьвер. Наставил на старика.

— Ни шагу, а то убью! — крикнул он пронзительно.

— Что, револьвер наставлять на меня?! — взревел старик. Глаза его налились кровью, и очертя голову он ринулся на учителя, прямо на револьвер.

Раздался выстрел.

Пуля вонзилась в стену, а учитель упал навзничь, сраженный ударом кулака.

Он был мертв.

Мужики сидели на лавке, на стульях, на кровати, прямо в шубах и сермягах. Ни один из них не шевельнулся. Пораженные, испуганные, смотрели они на то, что произошло.

С улицы донесся колокольный звон.

Кузнец смотрел вокруг безумными глазами, не понимая, что случилось.

Наконец заговорил церковный староста:

— Да, господин Мукич, слово свое вы сказали, истинно по-мадьярски.

Все поднялись. Арон Вак сказал:

— Бога вы не боитесь, господин Мукич, ведь теперь сгноят вас на соломе, в каталажке сгноят, и поделом! Конца службы церковной не могли дождаться.

Буркнул и третий мужик:

— Да, господин мастер, не так бы это надо. Теперь затаскают нас по судам как свидетелей; чумы на вас нет...

1909.

СТЫЧКА

Михай пристально следил за неводом. Белокурые волны Тиссы так и загоняли в него рыбу; сеть разом оживилась, и Михай вытаскивал из нее великолепных жирных сазанов. Такое было изобилье, что мелочь он кидал обратно в воду — пусть подрастает. Попалось в плен и несколько сомов, степенно топыривших свои большие усы. Под конец обнаружилась и стерлядь, красивая, стройная стерлядь с серебряной спинкой.

— Боже милостивый, что за уха выйдет! — воскликнул Михай и подумал о своей женушке, которой был премного доволен (конечно, за месяц жену не распознаешь), и только с одним никак не мог примириться: не любит она рыбы. Как можно не любить рыбу! На Тиссахате есть два священных блюда: пшеничная каша, которую едят во время жатвы, и уха. Оба эти блюда — божья благодать; когда они стоят на столе, так и знай, перед тобой семя земли и дар воды. Но только умей их приготовить! А не умеешь — лучше не берись, иначе это будет святотатство.

Михай сложил рыбу в кошелку, подгреб к берегу, привязал лодку к свае водяной мельницы и крикнул мельнику:

— Дай тебе бог, дядя Гергё! Спасибо за одолжение.

— Хоть толк-то был? — крикнул мельник в окно.

— Да поймал несколько никудышных уклеек, линей и еще всякую мелочь, — закричал Михай в ответ.

Зачем знать рыбачьему старосте, какой большой выдался улов по его милости? Он и без того на всех зубы точит. Но, черт побери, он сам что ли Тиссу сотворил, никто не смей в ней даже головастика выловить!

Михай весело трусил домой с набитой до отказа парусиновой кошелкой, а дома снял со стены деревянное корытце и высыпал в него рыбу.

— Ну, голубка,— сказал он жене, состроившей кислую рожицу.— Свари-ка ушицы! Добрая выйдет уха!

Бабонька отвернулась, покрутила носиком. Выкинуть бы это корытце вместе с мужем! Но молодая еще не больно-то смеет перечить хозяину, не знает еще, какой у него нрав. Тем более Михай не из их деревни, из другой. У них на масленицу свадьбу играли, пришли и соседние парни из Корода, и Михай с ними. Тогда они и познакомились и влюбились друг в друга. А во время копки да жатвы повстречались в поле, играли-играли — и до свадьбы доиграались. Только родители невесты поставили условием, чтобы Михай переселился к ним в деревню. Он был не прочь. Дома у него тесно, семья велика, а здесь им с женой выделили домик, потому что и у тестя с тещей в хате тоже не было места.

Получилось, что Михай переехал к жене вроде как гостем. Не было у него ничего, одежду и ту ему не отдали, оставили для младших братьев. Пришел в чем был да принес с собой новую сермягу. Молодице в первую же неделю пришлось кое-что пошить для мужа, когда она захотела переменить ему исподнее. А свекровь велела ей так передать; пусть, мол, шьет, ей все равно больше делать нечего, а у нее, у свекрови, растут еще четверо парней, и она не может транжирить добро. Хватит и того, что дали за сыном телегу да двух волов и теперь мучаются без них.

Вышла из этого большая обида; но и она улеглась. Молодица недолго ворчала. Увидела, что муж добрый и сговорчивый — должно быть, и дома была над ним крепкая бабья рука. Но все же приходилось пока кое в чем потакать ему, например не мешать ходить на рыбалку, раз уж он так охоч до рыбки.

Пока жена варила обед, Михай нашел себе дело на задах, возле сарайчика. Солнце клонилось к закату; мужик, когда голоден, перекусит что-нибудь и ждет, пока обед будет готов. Только у господ урчит брюхо в определенный час.

Уха не удалась.

Михай хлебал ложкой, макал в уху хлеб, но уха ему не нравилась. С первой ложки пришлась не по душе. То ли соли в ней недоставало, то ли перцу, то ли луку, но чего-то не хватало. Да и пригорела малость. Черт бы побрал все эти железные кастрюли! Небось, в глиняных горшках у матери ничего не пригорает, а жене обязательно железную посуду подавай.

Словом, уха не понравилась. Михай после первой ложки почуял, что сегодня беды не миновать, и большой беды; как тут удержаться и не попрекнуть, коли жена понапрасну извела столько чудесной рыбы. Это ведь грех!

Но раз уж ссоры все равно не миновать, так он хоть, по крайней мере, налопается всласть. Однако после каждой ложки он отпускал какое-нибудь язвительное словцо.

— Не вкусно, Жужи! Чего-то не хватает! Лук поджаривала и жиру, верно, пожалела. Да и соли мало.

— Всего вдоволь положила.

— Черта с два! Ничего не положила. Мякина — и та, верно, вкуснее. Эх, состряпала бы моя мать уху из этой рыбы! Вот была бы уха!

Когда парень хвалил свою мать, молодицу в дрожь бросало. В глазах сына мать все лучше всех умела делать, жене далеко до нее.

— Уж состряпала бы мать уху из этой рыбы! — повторил Михай, отправляя в рот добрый кусок стерляди.

Молодушка разозлилась, раскудахталась, как курица.

— Ну и нес бы домой! Неси домой! Чего ж ты не отнес матери?

— Очень жалею, что не отнес, — сказал Михай, вытаскивая из наперченной красной жижицы еще один кусок стерляди.

— Ты не попрекай меня своей мамашей! Ступай домой! Я за тобой не побегу! Никогда не бегала. Леший тебя возьми!

Михай замолк. Дошли до скользкого места. Жена тоже замолчала, испугавшись, что скажет еще что-нибудь лишнее, и только буркнула:

— Не хуже твоей мамаши стряпать умею.

Михай поковырялся в кастрюльке, как сытый поросенок в ведре с помоями.

— Оно и видно!.. Испортить такую рыбу! Много ты умеешь! Доказала. Это тебя, наверно, твоя мать так научила! По правде сказать, она в этом деле тоже ничего не смыслит.

— Ты мою мать не тронь!

— Да что там мать! Даже бабка твоя не умела варить уху. И бабушка, и прабабушка, и прабабушкина бабушка, и то не умела! — продолжал привязываться Михай.

Ошеломленная молодушка стояла и только озиралась вокруг, чем бы запустить в голову возлюбленного муженька.

А тот хладнокровно поддел складным ножом добрый кусочек рыбы и сунул в рот.

— Это разве рыба? — пыхтел он, набив рот. — Рыба? Пра-пхапре! — и поперхнулся.

В горле у него застряла косточка, он начал кашлять, крякать и чихать, как кошка. Бросил нож, ложку, вскочил и заплевал всю комнату. Только этого и надо было молодице. Она залилась смехом и, шатаясь от хохота, падала то на стол, то на кровать.

Наконец Михай с грехом пополам пришел в себя, утер слезы, разок-другой прочистил глотку и хрипло простонал:

— Смеешься? Стало быть, смеешься? Над мужем своим смеешься? Уху сварить не умеешь, только смеяться горазда? И чтоб я жил с такой бабой? Никогда! Чтоб я мучился с тобой? Да ни за что! Есть у меня два вола, телега, новая одежа — все это мое. Заберу с собой, а ты подыхай здесь одна. Что настряпаешь, то и слопаешь.

Он схватил с кровати сермягу и вышел. Вывел из стойла двух низкорослых волов, запряг, бросил сермягу на телегу, сам сел сбоку и, не говоря ни слова, выехал со двора. Даже ворота не запер за собой.

Молодица стояла у окна, но, увидев рассерженное лицо мужа, снова залилась смехом так, что не могла даже слова вымолвить.

А два низкорослых вола шагали, шагали себе по деревне. Возле школы свернули на Кородскую дорогу и, потихоньку выехав к кукурузному полю, поплелись до большого орехового дерева.

— Стой! — крикнул Михай. Ему, очевидно, что-то на ум пришло.— Беда!

Он окликнул волов, повернул их обратно и даже объяснил им почему:

— Печку-то ведь я сложил — я и сломаю!

И поехал обратно. Приплелся на двух волах. Ворота все еще стояли настежь. Ох, и злость же его взяла! Жена и вправду порядка не знает, даже ворота не замкнет после мужа. Ну, не беда, сейчас все одно. Он так и так не станет в них въезжать. Остановился перед домом, соскочил с телеги, зашел во двор, а со двора в сад. Там среди слив, под плетеным навесом, стояла печка, которую он сам сложил. Он завалил бок печки и, как человек, славно справившийся со своей работой, вышел на улицу. Вскочил на телегу и уехал — теперь уж навеки.

Когда он с двумя маленькими своими волами прибыл в родительский дом, вечерняя звезда стояла уже высоко.

— Ты как сюда попал? — накинулись на него. — Жена прогнала? Говорил я, что она чересчур бойка! Ну, сынок, быстро твоя служба закончилась! Стоило из дому уезжать! Всего неделю только и пожил с женой?

Так подтрунивали, подсмеивались над ним отец, мать и братья.

Михай крутил так и сяк, но не говорил о том, что случилось и почему он бросил жену.

— Характером не сошлись,— пробормотал он, когда пришлось все же признаваться. — С меня довольно.

— Ладно, сынок, ты ведь дома. Для тебя тут всегда место найдется,— сказала мать. Она, словно добрая наседка, рада была видеть всех детей возле себя; без Михая она все глаза проплакала, печалясь, что судьба его так далеко занесла: ведь пешком до них полчаса ходу, а на телеге с волами и вовсе три часа, потому что надо объезжать Халваньское болото.

Михай не хотел и самому себе признаться, что под добрым старым отчим кровом он уже не чувствовал себя, как дома.

Но когда вошел в стойло и привязал волов на прежнее место, он похлопал их по крупам и сказал:

— Не беда! Печку я все-таки сломал!

Прошел день, два, неделя. Все уже привыкли к тому, что все идет по-старому, и все как будто хорошо, только Михаю то одно, то другое не по нраву... Он уже привык быть хозяином, командовать хорошенькой молодушкой, как ему вздумается, а тут вдруг опять стал холостым парнем и попал под власть отца. Он уже привык и к вкусной еде, ведь как жена старалась состряпать получше, угодить мужу, старалась, чтоб ему

полюбилась еда,— а теперь живи опять на тощих материных харчах. В доме вот сколько ртов, каждому понемногу достается. А хуже всего, что опять пришлось ночевать в хлеву вместе с братьями-горлопанами, на жесткой, кривой плетеной скамье. Ляжешь на нее и даже представить себе не можешь, что где-то любовно ждет тебя мягкая, теплая перина.

Словом, в субботу на заре Михаю вдруг что-то пришло на ум.

— Стой! — сказал он. — Беда!

Он кликнул тут же волов, запряг их в телегу. Даже сермягу кинул на телегу. Ему было немного стыдно перед мирными животными, боязно, а вдруг они превратно поймут его (ведь, кроме них, вокруг никого не было), поэтому он начал им объяснять:

— Поедем обратно, малышки! Надо печку починить, а то жене не в чем будет в понедельник хлеб испечь.

Волы, очевидно, одобрили его решение, ибо тут же тихо поплелись по пыльной дороге... Да и вправду в понедельник пекут хлеб, так оно заведено у каждой доброй хозяйки.

Ворота уже не стояли настежь, заботливо были заперты и даже заложены перекладиной. Но жена увидела в окно, что хозяин приехал. Выбежала, отворила ворота, и муж молча въехал во двор.

Соскочил с телеги, пошел в сад, взялся глину месить и мешать со стеблями подсолнечника.

К полудню управился. Хорошо сложил печку, даже сам удовлетворенно замотал головой. «Вот сложу еще несколько раз, — подумал он, — и любого цыгана переплюну».

Из сада он вышел во двор.

Но волы уже стояли в стойле, и сермяги не было в телеге.

Жена шла ему навстречу как ни в чем не бывало.

— Муженек, пойдемте-ка в дом. Уха на столе...

Михай почесал голову под шляпой и посовестился что-либо сказать.

Вошел, сел к кастрюльке и отведал уху.

— О! — сказал он. — Вот это дело другое! Это мне по душе! Видишь, голубка!..

И молодица, тихо, ласково улыбаясь, смотрела, с каким удовольствием ест ее муженек. Ждала, что̀ оставит он ей от превосходной ухи. Коли не оставит, и то не беда! Кушай, дружок, на здоровье, кушай уху, да не бегай из дому!

А Михай глотал рыбку, как цапля. Ничего не скажешь — что хорошо, то хорошо!

1909.

УЗОРЧАТЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПЛАТОК

Маленькая горбунья Верон все вертелась у ворот дома Дюри Варги. Сынишка хозяина скакал по снегу на дворе. Увидев горбунью, он закричал:

— Кыш-ш отсюда, вонючка!

Верон и с места не сошла, только поманила его рукой.

Мальчишка вышел за ворота с кнутиком в руке и ударил им горбунью.

— Вон! — крикнул он, отлично зная, что обижать Верон дозволено. Мать намедни тоже надавала Верон пинков и оплеух, когда она приходила звать отца к бабушке.

Верон показала красивое мороженое яблоко.

Мальчик притих, точно собака, которая скалилась, скалилась и вдруг завидела кость.

— Где отец? — спросила Верон.

Парнишка догадался, что ответ на этот вопрос и есть плата за яблоко. Он призадумался, потом, быстро оглянувшись на дверь в кухню, спросил:

— Отдашь?

— Отдам.

— Он в сарае, на задах.

И мальчик схватил горбунью за руку, чтобы отнять свою, теперь уже законную добычу. Но Верон не отдавала.

— А где мать?

— В хате. Сейчас же отдай!

Верон отдала яблоко. Мальчишка повертел его в руке, надкусил и, забыв обо всем на свете, запрыгал на одной ножке, посапывая покрасневшим носом и чавкая.

— Я пойду к тетке Юльче! — сказала горбунья и, ковыляя, вошла в соседние ворота, но в дом и не заглянула. Торопливо пройдя через двор и через сад тетки Юльчи, она огородом, мимо забора, повернула во двор Дюри Варги, в стоявший на задах сарай.

Многим, многим уловкам научили Верон ее горб и искалеченная, непригодная к работе правая рука. Трудно было обмануть ее. Да и не хотелось ей больше получать оплеухи, как на прошлой неделе.

Горбунья, крадучись, вошла в сарай. Дюри Варга трудился в поте лица над каким-то бревном и заметил девочку только тогда, когда она остановилась у него перед самым носом.

— Чего тебе? — накинулся он на нее.

— Тетушка послала... — заговорила девочка. — «Ступай, говорит, Верон, к сыну и передай: хочется ему или нет, но чтоб обязательно пришел. Мне нужно сказать ему что-то важное, очень важное».

Варга не сразу ответил. Поплевав себе на ладони, взял топор и снова принялся тесать бревно; из него могла выйти и балка, и полоз для саней.

Не прерывая работы, Варга бросил:

— Скажи, что приду.

Девочка, не проронив ни слова, повернулась и вышла. А Дюри Варга продолжал свое дело. Да, полоз для саней выйдет!

Час спустя он положил топор, стряхнул стружки и сор, надел полушубок и тронулся в путь. Не сказавшись домашним, он вышел прямо на улицу и зашагал в село.

Возле деревянной колокольни он свернул к стоявшей неподалеку лачужке. Там и была усадьба его родителей. Здесь он рос, в этой лачуге, в этом ласточкином гнезде, и вырос прожорливым коршуном, мужем кулацкой дочки, решительным, ни перед чем не останавливающимся, предприимчивым хозяином. Тогда-то и зародилась вражда между его женой и матерью.

Он дернул веревочку на дверях и вошел. Темная, душная хата. Окошки замазаны глиной, заклеены бумагой. Дымится дырявая железная печурка, а все-таки собачий холод!

Варга бросил взгляд на постель, где под грязной периной лежала исхудавшая, высохшая, бледная мать. Увидев сына, она закашлялась и долго не могла уняться.

— Садись,— сказала больная тоненьким, слабым голоском.

Крепкий, румяный мужик стоял смущенный.

— Ох, ох, — вздохнул он, махнув рукой.

Старуха приподняла сухую, бессильную руку и устало махнула.

— Теперь уж все одно. Садись.

Кто-то сзади подставил ему стул и бесшумно выскользнул за дверь. Это была Верон.

— Чем я могу помочь вам, матушка?

— Ты?.. Ничем. — И синеватые губы старухи искривились. — Как-нибудь сама уберусь.

Долго длилось молчание. Старуха снова закашлялась. Сын, понурившись, смотрел в одну точку.

Наконец мать заговорила.

— Я слышала, ты Тёсег собрался арендовать.

Сын склонил голову набок и пожал плечами. Он почувствовал облегченье, что речь зашла о таком обыденном деле.

— Да, думал было.

— Ну и что ж?

— Не дает.

— Не дает?

— Нет.

— Ах он, пес этакий! — пронзительно закричала вдруг старуха, и ее опять стал бить кашель.

Сын удивленно уставился на мать.

— Да что... Видно, рожа моя ему не приглянулась, вот и не дает, — сказал он, будто хотел еще пуще растравить старуху. — Он ведь барин, Генчи. Вот уже восемьдесят лет все барин! А я кто? Мужик сиволапый, какой-то Дюри Варга.

— Пес он, вот он кто! — зашипела старуха. — Пес поганый! Собака!

— Кто?

— Да этот старый хрыч. Он! Чтоб ему провалиться! Чтоб небо рухнуло на него! Ух, собака!

— А кто ему прикажет? Хочет дать — даст. Не захочет — не даст,— буркнул сын.

— Кто прикажет? Я, я! Я ему прикажу, собаке! Я! — крикнула старуха и приподнялась на кровати, худая, страшная. — Ты не нужен ему? Не нужен? А я нужна была? Нужна? Что? А? Плох ты для него, плох! Гнушается, гнушается!.. А я нужна была? Старый пес! Старая свинья! Я ему по вкусу пришлась! Мною-то попользовался! А ты ему не нужен. Мать нужна была! А сын не нужен! Родной сын! Старый пес, старый пес!

Сын вскочил. У него надулись жилы на шее, и он заорал:

— Что вы мелете? Про кого это вы?

— Про Генчи, про старика Генчи, про барина, про отца твоего, про старую свинью!

Сын пошатнулся. Онемел. Сердце тяжко и часто заколотилось в груди.

Долго стояла тишина.

Сын рухнул на стул. Сидел молча, тупо уставившись куда-то вдаль.

Старуха плакала. Потом чуть слышно, прерывистым шепотом произнесла несколько слов:

— Я красивая была. Вот он и позарился на меня. Гонялся за мной. У него со всей деревни бабы в любовницах перебывали. Шелковый платок мне посулил, узорчатый шелковый платок... — и даже сейчас блеснули у старухи глаза, жалкие бабьи глаза — тусклые, водянистые, старческие.

— А почему вы, матушка, мне этого раньше не сказали? — хрипло спросил сын после долгого томительного молчания.

Мать махнула рукой.

— Совестно было, сынок.

И оба горестно и мучительно умолкли.

Сын вскинул голову. Только сейчас дошло до него то, что сказала мать давеча.

— А что он дал вам? Что он тогда вам дал... матушка?

— Что? Ничего, — враждебно ответила мать, отведя глаза в сторону. — Он и тогда был сущим псом. Лгуном. Посулился мне подарить шелковый платок, узорчатый шелковый платок, какие в ту пору носили. И то не дал. Посулил, а не дал.

— Это правда? Верно говорите?

— А ты разве видел когда-нибудь на мне шелковый платок? Видел его, что ли? Неужто я бы выбросила его? Дважды просила я его, негодяя. Посулил, а дать не дал. А ведь знал, что я понесла! С той поры он и смотреть на меня не хотел. Мужа тогда не было дома, он полгода проработал в берегских лесах. Как я только срам свой прикрыла!.. А старый хрыч все знал, и в глаза мне не глядел... Я в третий раз пришла к нему, за тебя стала просить. Как раз ты школу кончал, и голова у тебя была такая хорошая, что учитель сказал: «Надо его в коллегию отвезти». Надо, говорит, отвезти, разок заплатить, а больше вам и забот никаких не будет. Сам епископ будет платить за него. Только первый раз, мол, надо самим заплатить. Пошла я к старику Генчи, попросила у него несколько несчастных пенгё. Дай, мол, сейчас, а там и бог с тобой! Никогда я сыну не скажу, что меж нами было. Да разве он даст! Ему душа не позволяет. Так и сказал: «Сын твой мужик, пусть мужиком и останется». А я ему в ответ: «Знайте, барин, — говорю, — так и знайте, этим дело не кончится. Сын мой еще выйдет в люди. Растут еще палки в лесу!»

Сын вскочил, топнул ногой, взмахнул кулаком, точно быка хотел оглоушить. И задышал часто-часто, словно разъяренный буйвол.

— Ступай к нему, — пронзительно закричала старуха, — ступай к собаке! Скажи, что я просила сдать тебе в аренду Тёсег. Скажи, что я на смертном одре наказала, пусть отдаст Тёсег, а не то его сгложет лихая смерть.

Старуха захрипела, осипла, глаза у ней выкатились, руки задрожали, будто ее била, колотила бессильная злоба, накопившаяся за всю долгую, горемычную жизнь.

Сын нахлобучил шляпу и вышел. Оставил мать еле живую, задыхающуюся от кашля и крика.

Он помчался домой.

А дома жена рвала и метала. Она уже знала, где он был. Сын, болтливый, злобный мальчишка, донес ей, что приходила Верон. Точно разъяренный дракон, накинулась жена на мужа, когда он вошел.

— Что, не вытерпела душа? Домой потянуло? К матери под юбку?

— Молчать! — заорал муж, да так, что оконные рамы задрожали. У жены слова застряли в горле. — Молчи, а не то раздавлю тебя! Мать моя помирает. Отнеси ей поесть. Горячего супу. И сиди там, пока я не вернусь! Да смотри, не перечить, иначе вышибу отсюда! Дрянь такая! Кто ты по сравнению со мной? Поганая мужичка! Барахло!

Жена чуть в обморок не упала. Но, заглянув мужу в глаза и увидев, какое в них полыхает неистовое пламя, она сникла, присмирела, точно ребенок, испугавшийся большого, сильного человека. Она выбежала в кухню, остановилась там чуть не в беспамятстве и разрыдалась. Потом у нее побежали мурашки по спине, забила лихорадка, и она взялась выполнять мужнино приказание.

Нарядившись во все праздничное, муж вышел вскоре из горницы и даже янтарную трубку с кисточкой не забыл положить в карман.

Кинув на жену горячий как пламя печи, обжигающий взгляд, он ушел.

Направился прямо в усадьбу к Генчи.

— Где барин? Где его благородие, господин Пал Генчи? — громко и решительно спросил он.

— В черной комнате.

Он вошел без стука; оказался прямо перед знатным барином.

Дряхлый восьмидесятилетний старец в поношенной венгерке сидел в кресле и курил трубку. Равнодушно глянул он на вошедшего, который, коротко поздоровавшись, остановился перед ним.

— Тебе чего? — равнодушно спросил Генчи.

— Я пришел передать вам кое-что.

— Ладно.

Мужик молчал. Только в глазах его полыхало неукротимое пламя: казалось, оно выпускает когти, хлопает крыльями.

Старого дворянина, бывшего мелкого феодала, бывшего судью, испортившего на своем веку тысячу девушек и запечатлевшего свои победы в завещании, которое хранилось в капитуле, все больше брало нетерпение. Он вдруг крикнул хриплым, осипшим голосом:

— Ну, выкладывай, чего тебе!

Мужик по-прежнему молчал.

— Чего тебе надо?

— Пришел вам передать кое-что.

— Это я уже слышал.

— От матери.

Старик взглянул на него. Из-под красных век блеснул острый колючий взгляд черных глаз.

— Ну и что ж?

— Мать велела сказать, чтобы вы, господин Пал Генчи, передали мне, Дюри Варга, в аренду Тёсег.

— Вот как? Гм... — И старый барин несколько раз примял черным указательным пальцем горячий пепел в трубке. — Что ж, кланяйся матери, сынок, да только поздно догадалась она мне это передать. Жаль, не сказал ты ей то, что я говорил тебе вчера. Тёсег я уже пообещал Шаму, Шаму Шварцу.

— Ну нет! — взревел мужик и стукнул изо всех сил кулаком по столу. Толстая дубовая доска треснула по всей длине. — Вы, барин, матери моей тоже кой-что пообещали и не сдержали слово. Вот и это слово также не придется вам сдержать!

Старый гайдук испуганно приоткрыл дверь. Седовласый помещик махнул рукой, — нет, мол, в нем нужды.

Сам он спокойно сидел в кресле. Ни один мускул не дрогнул у него на лице.

— Что это я пообещал твоей матери? — спросил он глумливо и строго.

— Узорчатый шелковый платок! — прохрипел мужик.

Старик задумался.

— И не отдал?

— Никто не видел, чтобы мать его носила.

Старик разгладил усы и задумался: то мигал глазами, то супил брови и наконец заговорил:

— Раз она ничего не получила, разумеется, следует ее уважить.

Он взглянул на мужика и отрывисто спросил:

— Дашь столько же, сколько Шварц дает?

Под ногами у Варги земля ходуном заходила. Хотелось все, что было под руками, швырнуть в лицо старому негодяю... Но потом в нем заговорила, взяла верх материнская, мужицкая кровь.

— Так что же? — крикнул старый деспот.

Варга потупился, лицо у него побагровело от прилива крови.

— Коли он дает... так почему мне не дать?

— Тогда ладно. Ступай к приказчику.

Старик потянулся за трубкой и больше не взглянул на мужика.

А мужик повернулся и, пошатываясь, неверными шагами вышел за дверь.

1909.

ИНВАЛИД

Мы стояли посреди хутора.

Кругом раскинулась бескрайняя степь. Земля стлалась так плоско и ровно, что вокруг нас, казалось, вилась только узенькая полоска, а над нами широким кругом раскинулось ярко-синее, прекрасное небо; огромные белые облака свисали с него, словно стяги счастья, словно шелковые покрывала фей; казалось, вот-вот они упадут нам на голову.

Но мой друг не замечал неба, он строго и сурово оглядывал землю. Было на что посмотреть: вся земля вокруг — тысяча хольдов — принадлежала ему.

— Трудно, очень трудно по нынешним временам обработать тысячу хольдов,— сказал он.— Цены на наш товар волочатся по земле, как зад у лягушки, а на промышленные товары вскочили до самых облаков. Вот взял я кредит, обязался вернуть из выручки с пшеницы. Однако пшеница стóит сейчас не тридцать шесть, а шесть пенгё, а расходы на нее прежние.

Он потыкал палкой землю, которая тоже была прежней, ибо рожала так же, как в те годы, когда пшеница стоила тридцать шесть пенгё.

— Но вся беда от этих негодяев. То и дело бастуют. Прибавь да прибавь им поденную плату. Им и дела нет, что у меня доходы упали.

Он погрузился в свои размышления и уныло покачал головой. Потом вдруг заговорил:

— Зимой я им задал, подкузьмил этих мерзавцев. Зимой в усадьбе у меня три с половиной человека переделали все дела.

— Как так?

— Да так. Великолепно... Осенью запахали землю, посеяли пшеницу, рожь... А остальное в руках божьих. Лишнюю скотину я продал... Корму было мало, а я еще не сошел с ума, не стану кормить скот покупным сеном. С весны скотина дешевле, чем была осенью, вот я и куплю, сколько мне надо. Выбирай любую, да лучшую. А зимой и троих работников хватало, чтоб ходить за скотиной и чистить конюшни.

Я взглянул на него с недоумением. Стало быть, этой зимой тысяча хольдов кормили всего только троих людей!

— А что это за полчеловека, о котором ты сказал давеча?

— А...— улыбнулся мой друг.— Это инвалид... Есть у меня один инвалид... В прежние времена он у меня батрачил еще ребенком... А как провели эту самую земельную реформу, мы, хозяева, могли спасти свою землю только тем, что заключали бессрочный договор с каким-нибудь инвалидом. Кто брал к себе инвалида, тому оставляли столько земли, чтоб доход от нее мог прокормить одну семью. Вот я и приютил инвали-

да — и тем самым спас шестьдесят хольдов... Да и ему повезло, теперь жизнь несчастного калеки обеспечена... У него была одна нога, и он был стопроцентный.

Шестьдесят хольдов за одного инвалида! Недурная сделка.

Мы проходили мимо громадного хлева для волов, мне бросился в глаза какой-то странный домишко. Это была глинобитная мазанка; даже крыша ее снаружи была обмазана глиной. Я подумал, что это погреб для хранения картошки, моркови или пшеницы. Но на крыше торчала и даже дымилась труба.

— Что это такое? — спросил я.

— Здесь инвалид живет,— ответил хозяин.— Инвалид.

— Можно мне к нему заглянуть?

— Пожалуйста.

В лачужку вела крохотная дверца, такая низкая, что войти можно было только согнувшись. Внутри оказалось два крохотных помещеньица, малюсенькая прихожая и кухонька, бо́льшую часть которой занимал о́чаг и ушат с помоями.

Справа, через маленькую дверцу, можно было пройти в комнатку, из которой как раз выходила румяная, веселая баба.

— Добрый день, сударь,— весело поздоровалась она.

— Добрый день,— ответил я,— не разрешите ли посмотреть ваш дом?

— Пожалуйста, пожалуйста. Домик хороший,— и она посторонилась, чтобы мы могли пролезть.

Чердака не было. Потолок был тоже тщательно обмазан глиной и побелен. Окошко в комнатке было величиной с носовой платок. Вся обстановка состояла из кровати, стола, двух стульев и маленького платяного шкафа.

— Сколько народу здесь живет?

— Мы с мужем да трое детей.

— Да, они горазды детей разводить,— ворчливо проговорил хозяин.— Трое детей за четыре года, куда больше.

— Мы уже пять лет женаты, сударь,— сказала баба, стыдливо прикрывая рукой щербатый рот, в котором не хватало передних зубов.

Кто-то пришел сказать хозяину, что корова телится. Он встревожился и поспешно ушел; это вполне понятно; что может быть важнее для хорошего хозяина?

— Соблаговолите присесть,— сказала баба, обтерев рот фартуком.

Я присел на стул.

— Как же вы здесь спите вчетвером? — спросил я хозяйку.

— Очень хорошо. Муж с мальчиком на кровати. Я каждый вечер приношу солому, расстилаю ее на полу и сплю там с двумя детишками.

— И зимой тоже?

— И зимой. Домик хороший, тепло у нас, как на печке.

Она с гордостью стала показывать все свое добро: прибитый к стене ящик с солью, ларь с мукой под кроватью, маленькую керосиновую лампу над столом. Ни разу в жизни я не видел хозяйки, которая так гордилась бы своим жилищем.

Я побеседовал с ней, расспросил, как ей живется. Она рассказывала обо всем откровенно, разумно и милым звонким голоском.

— Как вы познакомились с вашим мужем? — спросил я, когда мы разговорились.

— О,— ответила она,— очень у нас удивительное знакомство было, прямо как в книгах пишут... Мне сосватали его... Вот, говорят, подходящий тебе жених. Не пьет, не грубиянит, заработок у него хороший и обеспечен навек. Я жила здесь неподалеку на одном хуторке, муж у меня

на войне погиб... Дай, думаю, погляжу, может, он мне богом суженый. И вот, знаете, сразу я ему полюбилась. И я тоже вижу — человек очень хороший.

— И что ж, приехал он за вами в телеге с колокольцами, как принято в здешних краях?.. Хозяин запряг четверку лошадей, и вас привезли в дом к жениху?

— Ой, нет,— ответила хозяйка,— счастью моему тут же позавидовали и задумали жениха отбить у меня. Насплетничали, будто я модница, мотовка какая и не гожусь бедняку в жены.

Она гордо вскинула голову.

— Это я-то не гожусь в жены бедняку? Да у меня все родичи в батраках жили по хуторам. Мы всегда жили до того бедно... И всегда-то мы бедовали, даже есть было нечего. И вдруг такое наговорили про меня!.. Всё зависть людская... Хотели ему девку одну подсунуть, да такую, что и сказать стыдно... Сама грязнуля и кругом только грязь разводит... Сказали, что она ему под стать... А он-то, дурной, чуть было не обвенчался с ней... Но мне вдруг точно в голову ударило: что, мол, с моим инвалидом стало? Куда он подевался? Ни слуху от него, ни духу. А ведь как приветливо встретил меня.

Она передохнула и быстро, быстро заговорила.

— Мне это как в голову ударило, я в тот же вечер отправилась пешком и заявилась к нему. А он, сударь, ночной сторож, больше его никуда не приставишь... Я знала, что по ночам он не спит... Ну вот, изволите ли видеть, рассказал он мне обо всем по порядку, и я ему тоже обо всем... Так мы с ним побеседовали... Снова я ему очень по душе пришлась. «Не уходи, говорит, оставайся у меня»... А я говорю: никак, мол, нельзя, должна я с родней попрощаться, да и добро свое, хоть и мало его, а все же взять с собой...— «Да ты хоть ночку переночуй»... Так я и осталась...

Хозяйка снова поднесла руку к губам и улыбнулась.

— Тогда у меня еще и зубы целы были, так очень я ему в ту ночь полюбилась... А наутро попросил он телегу, и поехала я за своими пожитками, да бумагу выправила.

Скромно и стыдливо рассказывала она обо всем, а лицо ее так сияло, что, казалось, в темной комнатушке стало светлее.

— А где ваш муж? — спросил я.

— Ой, он сейчас в городе, с ним беда приключилась. С лестницы упал. Хоть он и одноногий, а пришлось ему пособлять сено укладывать. Он и соскользнул со стога. Разбился, и повезли его в больницу. Два месяца пролежал, и тогда врачи сказали, чтоб ехал домой, другим, мол, койка нужна. А он как слез с койки, снова упал. Не мог на ногу встать. Тогда осмотрели его и заметили, что нога у него сломана, даже сгнила уже у бедняги. Вот и отрезали вторую ногу, а теперь он поправился. Была я у него в больнице, когда приходила в город за четырьмя пенгё — это он пенсию получает как инвалид войны... Теперь он здоровехонек, совсем как огурчик стал. На той неделе, когда телега в город пойдет, и его, душеньку моего, привезут.

В комнату вошла девочка. Она несла на руках шестимесячного младенца. Потом вошел мальчик. Дети были румяные, как яблочки, и веселые, словно хорошенькие беленькие поросятки.

Они окружили мать, уцепились за ее фартук. Мать послюнявила кончик фартука и обтерла им личики.

Я почувствовал, стыдясь, что нахожусь на острове блаженства.

1936.

КАСАТКИ*

Когда Кубо получил место скончавшегося илошвайского трубочиста, он потащил своего нового подручного по всем окрестностям, чтобы познакомить его с работой. Пустить подручного одного он не мог никуда, ибо Матэ в своих скитаниях пришел в Илошву из Альфельда и ни звука не знал по-словацки.

Молодые трубочисты весело шагали по горным тропинкам. Тихий словак Кубо был смышленым, понятливым парнем. Он обо всем расспрашивал своего товарища и, услышав что-либо толковое, серьезно говорил:

— Это практично. Право-слово!

А если узнавал у своего спутника о каких-нибудь новых нравах или обычаях, то умиленно говорил со странным илошвайским выговором:

— Это шикарно! Право-слово!

Они быстро подружились, потому что оба были молоды, и хотя долговязый Кубо вел себя степенно, как и подобает будущему мастеру, однако и он был трубочистом. А печальных трубочистов, как говорил Матэ, еще свет не видал.

Сам он был сущим бесом. Стоило ему заговорить о девушках, как долговязый словак останавливался и смеялся до упаду. Особенно он хохотал, когда Матэ рассказывал о своих уловках с девушками. Стоит, мол, ему только глянуть на девчонку, как ей тут же крышка. Истории он и вправду рассказывал смешные, поведал даже об одном случае, когда он прямо от алтаря увел чужую невесту. Дескать только глянул на нее, и она уже не посмела сказать: «Да!»

Рассказывал он эти истории препотешно, но добряк Кубо, насмеявшись вволю, тут же говорил, качая головой:

— Ладно, ладно, друг, но это еще не все! Что же девушка-то сталась?

— Девушка сталась? — воскликнул Матэ, смеясь тому, что Кубо чудно́ говорит по-венгерски.— А то, дружочек, что она и поныне живет и здравствует, коли не померла. Ишь, что выдумал. Не могу же я жениться на каждой девушке, с которой поцеловался.

— Вот это практично,— сказал Кубо, рассмеявшись.

Они взобрались на вершину горы, откуда открывался чудесный вид. Матэ остановился передохнуть — ему не нравилось лазать по горам, — а отдышавшись, громко затянул заливистую песню альфельдских трубочистов:

Я — касатка-птица,
Обожает меня, любит молодица,
Эх, когда полощет и стирает!
То, что в саже,— она любит, обожает!

Пер. Л. Мартынова

— Шикарная песня,— сказал Кубо, выражавший все двумя словами: шикарно или практично.

Матэ подставил ножку верзиле словаку, и тот упал в высокую горную траву. Потом Матэ разбежался и перепрыгнул через Кубо, да не поперек, а вдоль.

— Ну, дружище, больше не вырастешь! — крикнул Матэ.

Кубо лежал ничком на траве и смеялся так, что у него даже под ложечкой заныло.

— Это ты практично пожелал! — простонал он в конце концов, протирая глаза.

---

* Касатками называли в Венгрии трубочистов.

Ходили слухи, будто Кубо уволили из армии из-за того, что для такого длинноногого парня не нашлось подходящих штанов.

Друзья малость передохнули. В лесу было тихо, только ветви деревьев шелестели да пели птицы. А над головой у них скрежетали вагонетки подвесной железной дороги.

Матэ следил за тем, как летят по длинному натянутому тросу маленькие чугунные вагонетки, переправлявшие руду с горы в долину, на металлургический завод, который дымил на краю города.

— У нас такого не увидишь,— заметил Матэ.— Эх, и расскажу я дома, как по железной проволоке летят до края света тысячи центнеров железа.

— Да, конечно! — согласился Кубо.

Матэ смотрел не отрываясь.

— Вот и нам бы тоже по этой проволоке до рудников добраться,— сказал он.— Или домой вернуться по ней.

Кубо громко рассмеялся.

— Чтоб только оштрафовали и арестовали?

— Только? — Матэ захохотал.— Ну, это невелика беда!

— Нет, конечно. Не надолго посадят! — Кубо тоже развеселился.— А ну, прибавим шагу,— сказал он.— Скоро полдень. Мы так до вечера не поспеем. А закон велит в рудничном поселке закончить все до Троицы, иначе из жалованья вычтут. Мы только утром вернемся, потому как луны ночью не будут. А впотьмах такой долгий путь по лесу не пройдешь — медведи съедят.

— Это было бы, конечно, непрактично! — пошутил Матэ.

Кубо рассмеялся.

— Понятно, нет! А вот практично, что в поселке есть баня, шахтерская. Вечером можно хорошо вымыться, побреешься... Есть парикмахер, только пять крайцаров — и раз, побрит! Вот как, дружочек. А утром, как только рассветет, обратно идти. Шикарно! Ого!

Кубо поднялся, и они молча зашагали дальше. Матэ с нетерпением ждал конца долгого пути. Кубо шагал по склону живописной горы спокойно и ровно, точно мул.

— Завтра для меня придет счастье,— сказал он наконец, и все лицо его преобразилось. Он вспомнил о своей невесте и не удержался, чтобы не заговорить о ней.

Матэ молчал. Казалось, перед глазами у него мелькнули льняные волосы невесты Кубо, ее голубые глаза и свежее румяное личико.

— Как же эта девчонка подцепила тебя? — спросил Матэ, кинув недовольный взгляд на своего товарища.

— С такой маленькой знаю ее! — ответил Кубо, показав, какой крохотной была девочка, когда он познакомился с ней.

— Красивая девчонка,— сказал Матэ.

— Красивая,— убежденно подтвердил Кубо.

Помолчали. Потом заговорил Кубо:

— Дружок, я ведь был еще только учеником трубочиста, а ее отец мастер. Очень злой человек был. Ай, ай, ай. Я сразу полюбил Эвелинку, когда она еще такой маленькой была. Но я не смел попросить у ее отца, он все равно не отдал бы мне... Ай, ай, ай. И я остался ему подручный навсегда. Я не шел никуда, и даже ни в Сомбат, ни в Мишкольц, ни в Кашшу, ни в Будапешт, а всегда хотел, потому что ездить и много учиться есть очень практично. Ай, ай, я только остался, и только хотел, чтобы руку просить, но не смел, он мне все равно не отдаст. Четырнадцать лет я только жду, когда же можно попросить руку Эвелинка. Когда прошлого года в троицу умер мастер, тогда сказала мастерова женка: «Кубо, ты только остается здесь, дальше работать. Если тебя в новый год

выбирают мастером, я отдают тебе Эвелинка». И я сказал: «Ладно, хорошо, я остается здесь». В новый год меня выбрали, но только заместителем, бургомистр сказал, как только свадьба будет, сразу выбирают, потому что он хочет, чтоб муж Эвелинка был мастером трубочистом, а если меня сейчас выбирают, я не возьмет Эвелинка. «Ай, ай! Что я не возьмет?!» Сказал я про то женке мастера, и тогда она мне так сказал: «Ты только остается здесь, Кубо, и когда пройдет год траура, я отдают тебе Эвелинка». Потому она до тех пор получит жалование. Я только заместитель, но это мне все равно.

Подавшись вперед, он прислонился к утесу, по которому вилась тропинка. На лбу у Матэ вздулись жилы, глаза его сверкнули.

— Завтра, на Троицу, кончается год траура,— сказал Кубо,— мы состоим обручение. Вот это будет шикарно, дружок!

Матэ кипятился, его даже в жар бросило. Вот стукнуть бы в грудь этого долговязого плоскогрудого парня, да так, чтоб тот кувырком слетел с горы! И надо же, чтоб такому увальню досталась эта чудесная девчонка и хорошая должность!

Такое самому Матэ, и то было бы под стать!

И вдруг он понял, что никогда не видал такого белого личика, таких белокурых волос и голубых глаз, как у Эвелинки.

Эх, и хорошо, наверно, целовать такое личико!

Матэ искоса глянул на товарища, который шел, опустив голову, точно бык, врезаясь каблуками в горную тропинку. И надо же! Такой увалень поцелует своими толстыми губами ее персиковые щечки!..

Да что там! Неужто не отбить девчонку у этого тюфяка! Ведь она и так больше льнет к нему, к Матэ, чем к неуклюжему Кубо. А если б как-нибудь вечерком обнять ее, как это у них дома заведено... Ведь дома говорили, что красавец-трубочист сущий бес...

И ножки-то у нее какие белые... точно снег... И все тело наверно!..

Что, если б не возвращаться домой, а наняться здесь мастером-трубочистом. Тут ведь и молодушка наготове, да еще какая... И место неплохое... А дома ему разве что только бабенка достанется так же легко...

Когда вместе с Кубо они зашли в канцелярию рудничного поселка, чтоб показать контрольную книжку, он уже прислушивался ко всему так, будто сам хотел научиться делу мастера-трубочиста.

И только тогда пал он духом, когда услышал, что здесь одни только господа говорят по-венгерски. Стало быть, ему всю жизнь придется жить среди чужих? С беспокойством и тревогой думал он о будущем... А может, ему и дома сыщется местечко? Люди ведь и там смертны, старые мастера помирают, а по нынешним временам трубочисты в редкость... Да тем более такие, что весь мир обошли и наплести могут с три короба.

Неплохо было бы забраться тайком в вагонетку подвесной дороги и еще нынче вечером вернуться в город. Живо он девчонке голову закрутит, она опомниться не успеет.

И с этой минуты Матэ весело посвистывал, озорно приставал к словацким молодушкам, а те ничуть не сердились на заигрывания венгерца. Что он говорит, не понимали, зато отлично разбирались в прикосновении его рук; ведь и на этом языке можно разговаривать!

Почему бы не забрать к себе вот эту молодицу? Эх, и подивились бы дома на белокурую бабенку! Уж и прославилась бы на всю округу беленькая жена трубочиста. Вот я и увезу ее... Пусть наши девки лопнут от зависти...

Одно только смущало его. Он не видел здесь ни одной красивой бабы. Словачки, видно, рано старятся,— заключил он и крепко призадумался.

— Лучше всего будет поиграть, и дело с концом. А там пусть дурак-словак поведет ее к алтарю и живет с ней до самой смерти... У меня ведь дома, в Ясбарате, есть своя зазноба. Она хоть и не кисейная барышня, зато и в шестьдесят лет будет не баба, а огонь... Э-э, да что там! Надо сегодня же попасть в город да подкатиться к этой беляночке. Хоть нынешний вечер, да мой!

В голове у него роились отличнейшие и преподлейшие планы и мысли. Девке соврать — не грех! Сманить невесту от жениха — удаль! Тогда он зря сболтнул об этом Кубо, а вот сейчас как раз случай подвернулся, и попытка не пытка!

Справившись к вечеру со всеми делами, Матэ отправился домой и увидел, что Кубо идет вслед за ним. Матэ заметил его еще издали и спрятался, удрал от него. Хоронясь под кустами, он тайком пробрался в лес, который начинался сразу за поселком, и разыскал линию подвесной дороги. Трос висел на высоких столбах. По тросу, визжа, неслись чугунные вагонетки. Матэ взобрался на столб, похожий скорее на лестницу, и залез в одну из вагонеток. Он с радостью увидел, что вагонетка пуста: в ней всего несколько кирпичей и груда мешков. Эх, и чудесно будет лететь в ней до самой Илошвы! Вагонетка неслась, приятно покачиваясь даже на самых опасных участках. Она летела высоко над ущельем, где не было никаких столбов, подпиравших трос, и соколом пронеслась в вышине между двумя кручами гор.

— Стану рассказывать дома, никто не поверит, как я летел к моей зазнобе словачке! — сказал Матэ, рассмеявшись, и глянул вниз, в ущелье.

В тот же миг донеслись могучие гудки из поселка. Это гудели шахты. Наступил вечер, работа кончилась.

Вагонетка пошла тише.

— Тьфу ты, черт! — воскликнул Матэ.— Да она еще встанет, чего доброго.

Он угадал. Весь ряд вагонеток остановился. Вагонетки повисли в воздухе, точно пуговицы, нанизанные на шнурок.

Матэ замер, уцепившись за борт вагонетки.

— Что же я теперь делать буду?

Но ответить было некому. Внизу, на глубине двадцати саженей, пролегло ущелье. До ближайшего столба, подпиравшего трос, было так далеко, что по тросу до него никак не доберешься.

— А завтра воскресенье! — воскликнул вдруг Матэ, окончательно все уразумев.— Да какое еще воскресенье! Троица!.. Двойной праздник!.. Спасите! Спасите!

Звук его голоса отгласил склоны гор, и слабым эхом донесся с дальних скал.

Но какой толк! Опечаленный, Матэ привалился к стенке вагонетки. Так и придется ему провести праздник!

Быстро смеркалось. Видно было, как внизу спускаются с горы шахтеры, размахивая горящими фонариками. Кто-то из них заметил в вагонетке Матэ и крикнул по-словацки:

— Черт!.. Черт!..

Горняки, сбившись в кучки, глазели на черта, сидящего в вагонетке, и, боясь, что он свалится им на голову, с содроганием проходили под ней, торопливо крестясь, хотя все были лютеране.

Но Матэ это не утешило.

Не утешился он и тогда, когда после томительно долгой и прохладной ночи он пробудился от птичьего пения в час рассвета, окропившего траву студеной росой, и, глянув вниз, увидел быстро шагавшего такого же чумазого черта, как и он сам,— своего дружка.

Матэ состроил кислую рожу, но вспомнил, что печального трубочиста свет еще не видал; неужто ж ему первому увидеть, да еще самого себя? Нет, шалишь! И он звучно запел свою песенку:

Я — касатка-птица...

Мастер Кубо глянул вверх, посмотреть, откуда несется песня, и сразу же признал своего товарища.

Сперва он только рот разинул от удивления, но потом засмеялся:

— Это очень шикарное место! — крикнул он наверх.

— Весьма шикарное! — уныло крикнул в ответ Матэ.

Кубо сел на землю, потому что с утра пораньше, да еще на голодный желудок, ему трудно было устоять на ногах от хохота. Но потом, нахохотавшись, он снова крикнул:

— И это очень практичная поездка!

— Да еще какая! — согласился Матэ.

Кубо протирал глаза тыльной стороной рук, которые он так тщательно отмыл, что теперь мог бы даже пекарем наняться. Да и лицо его выглядывало из черного капюшона, точно светлая луна из темных туч.

— Кланяйся своей невесте! — кисло сказал Матэ.— Скажи, чтоб оставила мне кусок пирога с помолвки. Я это заслужил!

— Хорошо, дружочек! — сказал Кубо, мигом забыв про все страхи, что пришлось пережить за эту ночь.

Потом он пустился в путь и зашагал весело, вприпрыжку, задорно смеясь и посвистывая, словно птица. За четырнадцать лет впервые пришло ему в голову, что кто-то может отбить у него Эвелинку...

1911

СТРИГУНОК

Капольнский конский завод в те времена славился повсюду. Чистокровные английские жеребцы графов Карои были приманкой и для господ любителей лошадей, и для крестьян-конокрадов. Те и другие наезжали сюда из самых дальних краев.

На Верхнетиссенской низменности в ту пору царил Дюрка Шош. Случалось, что об этом мужике-бетяре * годами не слышали ничего. Всем известно было только то, что у него полнадела в Кишаре и он занят своим хозяйством. Но иногда за какой-нибудь месяц он наводил такой страх на три округи, что только звон стоял, и толковали об этом несколько лет подряд.

Как-то раз Дюри Шош вздумал раздобыть себе графского жеребца. Попытка окончилась не очень удачно, но все же он заарканил превосходного годовалого жеребеночка, или, как называют в Кишаре, «стригунка».

Шош ехал домой веселый. От графских земель до притиссенской деревушки далеконько, и до сих пор тамошние жители если хоть раз в жизни совершат такую поездку, поминают о ней до самой смерти. Только для Дюрки Шоша все было нипочем!

Уже светало, когда на росистом лугу навстречу бетяру попались два пандура** с красными петлицами на воротниках. Парни сразу же сообразили, что жеребенок рожден не какой-нибудь кривоногой тощей мужицкой клячей, и погнались за Дюри Шошем. Тот не замедлил свернуть в соседнее вонючее болото.

Но пандуры настигли его очень скоро. Шош долго пробирался через топь, камыш, рогозу, ситник и заросшие чилимом воды. Жеребеночка

* Бетяр — разбойник.

** Пандур — полицейский в сельской местности.

жалел. Слаб ведь он еще для такой перебежки! Как бы не пожалеть потом, что такой долгий путь прошли без роздыху. Нет, разве можно губить животину!

Шош выехал на лужайку, остановился, слез с коня и приготовился к встрече со своими преследователями. Будь что будет!

Только он успел почистить дрожащего жеребеночка, как подъехали пандуры, у обоих пистолеты со взведенными курками.

— Здорово! — дружески приветствовал Шош выбравшихся из болота пандуров.

— Здорово! — ответили они, сразу смекнув, что тут надо действовать умно, видать, бетяр не хочет лезть в драку.

— Что это вы забрались сюда? — спросил бетяр.

— Да вот за жеребенком гонимся, — ядовито бросил пандур, что был повыше ростом.

— За этим?.. За этим стóит! Он добрых кровей!

— А откуда он?

— Этот-то? Из славных мест. С завода графа Карои, — непринужденно ответил бетяр.

— Говорил я тебе! — крикнул маленький пандур большому.— В Кочордском заводе такие не водятся! Я еще издалека приметил.

Высокий пандур повесил ружье на плечо, вынул кисет, трубку и, пока набивал ее табаком, исподтишка разглядывал жеребенка.

— В Кочордском? — спросил бетяр.— Тоже хороший табун, ничего не скажешь, но только этот не оттуда. Сами поглядите.

Устыдившись своего невежества, высокий пандур замолчал. Второй, соскочив с коня, разглядывал стройного жеребенка, заставлял его шагать.

— Высоконький он, поди не меньше шестидесяти четырех дюймов,— заметил он.

— Я думаю, — самодовольно согласился бетяр, «хозяин» жеребенка.

— Через год за него и три сотенных дадут,— сказал пандур.

— Да еще и тысячную в придачу,— процедил сквозь зубы «хозяин» жеребенка.

Все замолкли. Разглядывали жеребенка.

Глазевшему по сторонам низенькому пандуру пришло что-то на ум.

— А вы откуда так хорошо понимаете толк в лошадях?

Бетяр криво улыбнулся.

— Не мало коней повидал на своем веку.

— Ну ладно, была не была, а я скажу, кто вы такой!

— Неужто скажете?

— Скажу... Провалиться мне на месте, коли вы не Дюрка Шош.

Прославленный бетяр скромно улыбнулся.

— Что, отказываться думаете?

— Я? Зачем мне отказываться?

Оба пандура молча уставились на него — глазам своим не верили! Привел же господь встретиться с глазу на глаз с пресловутым бетяром, которого вблизи еще ни одному пандуру видеть не довелось. Глаза обоих сверкнули, как у волков в поле. Ведь за голову Шоша деньги назначены, да еще какие! Эх, если бы удалось схватить его и доставить в Дярмат!

Но низенький пандур быстро остыл и, приложив палец к полям шляпы, представился:

— А я муж Эржи.

Бетяр, насупив брови, оглядел его с головы до ног. Эржи была дочерью его старшей сестры.

— Так это ты, племяшек?.. Ну и поганым же ты делом занялся.

— Что поделаешь! — пандура даже в краску бросило, и он тотчас

перевел разговор на другое.— Моя Эржи часто поминает вас, дядюшка.

— Сестренка Мари еще жива?

— Нынешней весной померла от чахотки. Уже прошлой осенью кашляла, задыхалась и все твердила: дал бы господь еще разок попасть в родные края; братца, говорит, охота повидать. Кроме братца, никого у меня на свете нет. Хорошо, что померла, бедняжка. Смерти я ей никогда не желал. Но ей самой уже в тягость жизнь была.

— А дети есть у вас?

— Два мальчика и девочка.

Бетяр кивал головой.

— Что ж, тогда дело у тебя не такое уж плохое,— сказал он, возвратившись к своей первоначальной мысли.

— Все лучше, чем свиней у барина пасти,— согласился пандур и шумно вздохнул, будто застонал. — Не по мне была эта ленивая жизнь. Характер у меня не тот. Когда женился, услыхал я, что вы, дядюшка Дюри, приходитесь Эржи родней, и подумал: «Дай-ка и я пойду в бетяры!» Только где ж вас было искать. Ладно, думаю, что поделаешь! Вот и стал я пандуром.

— А ты не жалей об этом,— задумчиво сказал помрачневший седоусый мужик-разбойник,— так все же вернее!

Сидевший верхом высокий пандур тоже задумался. Что же теперь делать? Приятель-то, оказывается, состоит в родстве с бетяром! Не в драку же лезть с ними. Да ведь и не справиться с двумя. А, шут их подери! Где наша не пропадала! Все равно от денег, добытых такой ценой, счастья не будет. Да и выгоды от них никакой. Во-первых, ему даже половину этих денег не отдадут. Так что ж, для сотского, что ли, стараться? Вторую половину тоже придется пропить. Неужто ради кабатчика выставить себя на позорище... И высокий пандур подал знак приятелю: «Едем дальше». Низенький пандур вскочил в седло.

— Уезжаете? — спросил бетяр.

— Приходится,— сказал как бы в оправдание свояк,— к полудню надо в Дярмат попасть.

— Тогда поторапливайтесь.

— Дай вам боже, дядюшка Дюри!

Они попрощались за руку.

— Дай тебе боже, племянник... Эй! Погоди, отвези дочке гостинец.

Шош запустил руку за пазуху и вытащил оттуда что-то завернутое в красный платок. Это была пестрая, выкрашенная в красный, белый, зеленый цвета жестяная погремушка. Такие погремушки были еще в редкость.

Пандур взял в руку хрупкую игрушку, да так осторожно, будто мыльным пузырем собрался позабавиться. Потряс игрушку и засмеялся.

— Дочурка моя все ладошки себе отхлопает — вот будет рада! Как же она попала к вам?

— Да я вез ее своей крестнице, но теперь все одно, возьми ее ты.

— Благослови вас господь, дядюшка! Коли Эржи услышит, что я встретился с вами, не будет знать, куда от радости деваться.

— Доброго здоровья!

Пандур еще раз оглянулся.

— Дай вам бог счастья с жеребенком! Загляденье, а не животина!

Второй пандур уже шлепал по болоту, но и он, обернувшись, крикнул непринужденно, веселым голосом, точно добрый знакомый:

— Да, жеребенок хоть куда! По всем статьям хорош!

Бетяр самодовольно улыбнулся и похлопал жеребенка по морде.

— Да, добрый стригунок!

1912.

«МАЙСКАЯ НОЧЬ»

Рис. Е. Бургункера

Джордже Топырчану

Баллады

Перевод с румынского Арк. Штейнберга

При первом знакомстве со стихами и прозой румынского писателя Джордже Топырчану создается впечатление, что они полны радости, постоянного хорошего настроения, даже несколько легкомысленного отношения к жизни. Но это только первые впечатления. В творчестве Д. Топырчану скрыто и много грусти. Как говорит сам поэт в стихотворении, открывающем один из его сборников, — слезы, наполняющие его душу, часто предстают в форме шуток, как «символические мыльные пузыри», которых не надо трогать, потому что тогда лопнет обманчивая оболочка и останется только соленая капля — слеза, из которой родились стихи!

Топырчану будто стеснялся, боялся выражать страдание и скорбь; он иронизировал и старательно скрывал свою грусть от современников, скрывал с последовательностью чувствительного человека, глубоко раненного враждебным ему обществом, которому он отвечал такой же враждой.

Родился Топырчану в 1886 году в Бухаресте, еще будучи гимназистом стал сотрудничать во многих журналах, выступив в румынской литературе с редким в те времена жанром—пародией. Отталкиваясь от некоторых отличительных черт современных ему поэтов — специфических приемов и образов или просто стилистических причуд, Топырчану создавал совершенные подражания, воспроизводя художественные особенности автора, его стиль, словарь и структуру стиха. Поэт обладал тонкой наблюдательностью, разнообразием выразительных средств, способностью схватывать самое характерное в литературном произведении. Книга, в которую он включил произведения этого жанра, по праву названа «Оригинальные пародии».

Одновременно с пародиями Топырчану писал «Веселые и грустные баллады», в которых получила полное выражение его печаль, скрытая шуткой и иронией. В третьей книге стихов, названной «Горький миндаль», поэт продолжает линию своих первых баллад.

Топырчану был знаком торопливый ритм жизни столицы, которая быстро преображалась на западный лад, порывала с традициями и неистово усваивала без разбора всякие новшества, и хорошие и дурные. Топырчану жил в этом ритме. Но в 1911 году его пригласили работать в Яссы, в редакцию журнала «Вяца ромыняскэ». Поэт нашел здесь более благоприятную обстановку, в которой его лирический талант мог свободно развиваться.

Во время первой мировой войны поэт был взят в плен турками, и жил около двух лет в лагере в Болгарии. Этому периоду посвящены три книги прозы: «Воспоминания о битвах в Туртукае», «У них в когтях» и «Пирин-Планина»—записки и статьи, осуждающие империалистическую агрессию.

Умер Топырчану 7 мая 1937 года, сраженный продолжительной болезнью. Многие стихи поэта посвящены жизни маленьких живых существ: букашек, цветов и трав, птиц, драмы которых приводят нас непосредственно к мысли о людях, безоружных перед жестокостью жизни. На букашек и на цветы обрушивается осенний иней, предвещающий немилосердную зиму; скорый поезд несется сквозь лес, пугая воем и дымом несчаст-

ных птиц; вьюга заносит кузнечика, оставшегося без пищи, — вот о чем рассказывается в балладах Топырчану. Все это так же близко душе поэта, как и грусть, окутанная дымкой трагической веселости, которая заставляет бедного сапожника, утомленного работой и заснувшего на своем стуле, перенестись во сне в мир самых соблазнительных иллюзий.

Народ, находящийся во власти сильных, которых он не понимает, но постоянно чувствует их враждебность,—этот народ населяет поэтические произведения Топырчану, где веселье, с одной стороны, утверждает симпатии поэта к простым, чистым и хорошим людям, с другой — еще более подчеркивает драматизм их существования.

Топырчану рисовал и трагические картины —в «Балладе смерти» дано потрясающее описание смерти обыкновенного человека, несчастного и измученного; в «Балладе воронов» разоблачаются провокаторы войны.

Стих Топырчану похож на быструю речь с редкими метафорами.

Баллады Топырчану строятся на длинном ряде контрастов, едва уловимых намеков, на легкой неожиданной рифме; они написаны мастерски отобранными словами, воссоздающими звук, движение. Все это создает своеобразное обаяние, привлекающее читателя. Познакомившись со стихами Топырчану, читатель не забудет поэта с его грустной веселостью, в которой скрыто столько слез.

Бухарест. *Михай Гафица, румынский литературный критик*

МАЙСКАЯ НОЧЬ

Эх, чеботарь!
Каким проклятым колдовством
Ты осужден сидеть, как встарь,
На табуретишке твоем?..

Тебя в убогом закоулке
Весенней ночью, полной света,
Тревожит смутный гомон гулкий...
Двенадцать бьют куранты где-то,
Звенит асфальт под ритм чечетки
Высоких дамских каблучков,
И глухо бухают подметки
«Американских» башмаков.
Ты сыт по горло этим склепом,
Твоя каморка так тесна!
Над лампой с колпачком нелепым
Клубится дымная волна.
Сентиментальной сказкой властной
Заворожен в который раз,

Ты с бальной туфельки атласной
Усталых не спускаешь глаз.
В ее изысканной подкладке
Живую ножку видишь ты
Неведомой аристократки —
Владычицы твоей мечты...
. . . . . .
Танцоры кружатся, мелькая,
Изнемогают музыканты.
Она — высокая такая,
Свежа, как ландыш элегантный.
И ты во сне — красивый, дерзкий,
Удачно улучив момент,
С уверенностью офицерской
Ей шепчешь тонкий комплимент.
— Позвольте вас просить на танец...—
Ты с ней вступаешь в пестрый круг;
На лаковых ботинках глянец,
Безукоризнен твой сюртук.
С улыбкой обнимая стройный
Девичий стан, одетый в шелк,
Средь светской роскоши пристойной,
Ты ждешь, чтобы оркестр умолк,
И, людный зал покинув жаркий,
Ее ведешь во мрак ночной
Уединиться в тихом парке,
Где веет страстью и весной...

При мысли, что ты мог бы ночью,
В чаду осуществленных грез,
Хозяйку туфельки воочью
Без счета целовать взасос,—
Твоя рука дрожит от боли...
О, эта грубая рука,
Где, как наждак, тверды мозоли,
А кожа сызмальства жестка,
Дубленая, как юфть воловья!..
Теперь ты гонишь сладкий бред
Из жизни высшего сословья
И, пнув ногою табурет,
В слепом неистовстве бунтарства
Ты жаждешь только одного:
Швырнуть колодкой в государство
И в пух и прах разбить его!
Ты нынче хочешь, охмеленный,
От ненависти сам не свой,
Призвать к восстанью миллионы
«Несчастной черни трудовой».
В горячечном воображенье,
Потоком пламенных речей,
Ты нищету ведешь в сраженье
На штурм твердыни богачей.
В развалинах — дворцы счастливых,
Победно факелы горят,
И толпы женщин бурногривых
Возводят сотни баррикад.

Он сбылся — вещий сон предместий!
Кострами город озарен,
И ветер смерти, ветер мести
Несется с четырех сторон!..

Но, погрузясь в мечтанья эти,
До дней возмездия, как встарь,
На колченогом табурете,
Ты дремлешь...
Бедный чеботарь!

ЭКСПРЕСС ПРОШЕЛ...

На густые кроны буков
Тени падают навесом.
Чащу молча убаюкав,
Сумерки крадутся лесом.
Средь ветвей тускнеет алый
Огонек заката малый,
И едва звучит в кустах
Замирающий, усталый,
Робкий щебет запоздалый
Певчих птах.

Словно россыпь влажной пыли,
В небе звезды проступили...

Вдруг,
Из глубины равнины сонной,
Возникает странный звук,
Отдаленный, монотонный,
Будто плеск реки студеной,
Грозный ропот вешних вод,
Приближается — и вот
Вырастает и ревет,
Наполняет небосвод...
Идет!

Черный смерч! На крыльях вьюги
Он проносится сквозь ночь.
И пространству всей округи
Уместить его невмочь!
И состав

Распластав,
Дым и пламя изрыгая,
Вдаль скользит змея тугая,
Через лес
Наперерез!
В смутном поле, в тьме бездонной,
Грузный гул тысячетонный
Затухает,
Затихает,
Смолк,
Исчез...

Из кустарника, в испуге,
Вдоль железной колеи,
Появляются пичуги,
Всклочив перышки свои,
И лепечут обалдело:
— Что случилось?.. В чем же дело?.. —
Слышен изо всех углов
Щебет славок и щеглов.
Лишь на самой верхней ветке,
Смело выйдя для разведки,
Зяблик маленький сидит;
Он взъерошен и сердит
И пищит: — Вы, словно детки,
Всполошили целый лес!
Пустяки,— прошел экспресс...

ИДУТ ЦЫГАНКИ В РОЩУ...

В рощу по цветы идут,
Юбки подвернув, цыганки.
Дети с ними, тут как тут,
Бродят по лесной полянке.

Там, на склонах
Озаренных,
Ветер пахнет первоцветом.
Меж стволов, залитых светом,
И в чапыжнике раздетом
Словно жар горят, сгуя,
Пятна пестрого тряпья.

А цыганки все поспешней
Собирают в роще здешней
Каждый стебель на пути,
Талым снегом окропленный,
Чтобы горсть весны зеленой
Горожанам принести...

— Есть подснежники на диво!
Есть фиалки! Есть крапива,
Свежий, молодой кипрей,
Самый лучший, самый ранний,
Девушкам для умываний,
Чтобы шли к венцу скорей!..

БАЛЛАДА ГОР

1

Спозаранок, издалече,
На тропе у края ската
Показался гурт овечий —
Матки, ярочки, ягнята...

Не стихает у кошары
Гомон колокольцев звучных,
А погонщик Тома старый
Двух ослов выводит вьючных.

У него в руках веревка,
И на спинах у животных
Он пристраивает ловко
Целый ворох свертков плотных.
Котелки, мешки, постели
Громоздит с боков и с тылу,—
Длинноухим еле-еле
Этот тяжкий груз под силу.

Баста! Каждый вьюк испытан...
Гуртоправ примолк, склоненный.
Осенясь крестом, глядит он
На безлюдные загоны,
На скалистые отроги,
На зубчатый гребень синий...
И тихонько по дороге
Стадо тронулось к долине.

Небо платье вдруг сменило.
Видно, близок дождь... Меж елей
Ветер шелестит уныло,

Как вода на дне ущелий,
И, прислушиваясь к шуму,
Замер Тома у обрыва,
Снова погруженный в думу...
Вот шагает боязливо
За овчаром вереница
Всех его друзей молчащих.
Медленно стучат копытца
В сумрачных сосновых чащах,
Мимо русел каменистых,
Вдоль тропинок, под откос,
Мимо луговин тенистых
И мечтательных берез,
Крупный гравий осыпают,
По крутым сползая склонам,
И тогда чабан ступает,
Как по углям раскаленным,
И кричит: — Потише, детки!
Близко к пропасти не лезьте,
Чтоб не сгинуть напоследки
С вашим старым батькой вместе!..

2

Так в назначенные сроки
С гор стада спешат в долины,
Покидая одинокий
Первозданный кряж пустынный.

И поныне, как вначале,
В незапамятные годы,
Чабанов не раз встречали
Эти горные проходы —
В дождь и зной, теперь и прежде,
На подъемах и на скатах,
В тех же шапках и одежде
Из овечьих шкур косматых.
Вновь бредут живые мощи!
Скалы им кивают, словно
Узнают знакомцев, рощи
Их приветствуют любовно.
Катятся, подобно волнам,
Сумерки, а там, вдали,
В одиночестве безмолвном
Дремлют горы-бобыли.

В туфельках скользя охряных,
Осень мечет ржавый сор
В дебрях бора, на полянах;
Серебро — по склонам гор;
И растут на перекрестках,
Посреди лесных дорог,
Груды мертвых листьев жестких,
А ревущий Тополог *
Меж камней, в ущелье диком,

* Река в Румынии.

Мчится вдоль речного ложа,
Человечьим, зычным криком
Сон седых вершин тревожа.
Тучи день за днем все ниже,
Горы чуть видны в разрывах.
Бисеринки мутной жижи
Моросят с небес дождливых,
И густеет с каждым часом
Волокно туманной пряжи,
Растекаясь по террасам,
Где стоят леса на страже.
Ни пичуги в дебрях сонных!
Ветви — словно неживые,
Лишь одни, в набрякших кронах,
Шепчут капли дождевые.
Папоротник пахнет пряно,
Гриб древесный, мох плакучий
Средь белесого тумана
Источают запах жгучий.
Пни с торчащими корнями
И валежник буреломный,
К ночи странными тенями
Населяют бор огромный...

Сквозь кусты, из чащи хмурой,
Выпрыгнул на мокрый луг
Олененок светло-бурый
И в испуге замер вдруг.
И застыло все, как будто
С временем расторгнув связь,
Стала вечностью минута,
Навсегда остановясь.
Бор творит молитву тихо...
Там, за соснами, в овраге,
Появилась лешачиха
На поваленной коряге.
Но никто не видит эти
Желтые наросты щек,
Ноги — прутья, руки — плети,
Нос — обрубленный сучок.
Лешачиха дышит хрипло,
Мох волос перебирая,
И со лба, где грязь налипла,
Сыплется щепа сырая.
Опершись на пень корявый,
Запрокинулась назад,
С плеч, с колен сухие травы
Рваным рубищем висят;
В бледной мгле, теряя силы,
Дрогнет ведьма под сосной.
Молча взгляд ее застылый
Призывает мрак ночной...

3

Дни и ночи проплывают,
И пласты листвы гнилой
Густо землю укрывают,
Накопив за слоем слой.
И Негóй * туманногривый
Дремлет, лежа на боку,
Избывая в дымке сивой
Вековечную тоску.
Вот и хлопья полетели.
Спит природа крепким сном
В снеговой своей постели...

Позже, ясным зимним днем,
На апостола Андрея,
На рассвете видишь ты,
Как встают вдали, серея,
Лучезарные хребты,
Как, дыша пустыней вольной,
Полыхает их гряда
Из-за рощи тонкоствольной
Тысячами граней льда,
И, подобные монистам,
Сосны в снежном серебре
Над обрывом каменистым
Пламенеют на заре...

* Гора в Румынии.

Л. Симонян

От имени поколения

«Путник, когда ты придешь в Спа...» — так называется один из лучших рассказов немецкого писателя Генриха Бёля. Случай, изображенный в рассказе, происходит к концу второй мировой войны. Место действия — немецкий город, в городе — классическая гимназия, помещение которой занято под госпиталь.

Раненого солдата на носилках вносят в госпиталь. Он узнает ту самую школу, из которой всего три месяца назад ушел на фронт. На школьной доске видна неоконченная надпись мелом: «Путник, когда ты придешь в Спа...». Эта надпись никак не давалась солдату, когда он еще был учеником.

Раненого разбинтовывают, и он видит, что у него нет обеих рук и правой ноги. В пожарнике, склонившемся над ним, он узнает швейцара, в каморку которого на перемене бегал пить молоко. Солдат тихо просит: «Молока!»

«Путник, когда ты придешь в Спарту, поведай там, что мы здесь лежим, как велел нам закон». Эти слова высечены на надгробном камне в Фермопильском ущелье, где триста спартанцев пали смертью храбрых, защищая родину от персидского нашествия.

В 1955 году в Бонне была издана книга генерала Манштейна «Потерянные победы». Слова, в которых запечатлен героический подвиг патриотов-спартанцев, гитлеровский генерал осмелился предпослать эпиграфом к главе о поражении немецко-фашистских войск под Сталинградом. Даже западногерманский журнал «Франкфуртер хефте» указал Манштейну на кощунственность этого недопустимого сопоставления.

Генрих Бёль написал свой рассказ до того, как Манштейн, с благословения боннских издателей скорбя о «потерянных победах», попытался выдать преступление за подвиг. В Западной Германии, где живет Генрих Бёль, реваншисты заинтересованы в легенде, которая облегчила бы им трудную задачу вовлечения молодежи в возрожденный вермахт.

Бёль ненавидит ложь потому, что он любит обыкновенных людей, достойных счастья. Художника волнуют трагические судьбы этих людей, обманутых и обманываемых Ради них и вместе с ними он ищет правду.

Немало западногерманских писателей называют себя антимилитаристами, но не все они заслуживают этого названия. Многие книги, рекламируемые прессой ФРГ как антивоенные, окольными путями приводят к противоположной цели: к оправданию войны. «Важно самому остаться хорошим, даже если участвуешь в скверной войне», — говорит герой романа Вилли Гейнриха «Золотой стол». Мысль, выраженная в этих словах, открывает лазейку, которой особенно охотно пользуются мнимые антимилитаристы из числа западногерманских писателей. Исходя из такой предпосылки, нетрудно усмотреть героизм там, где его нет и в помине: в бесславной смерти за неправое дело. Для Герда Гайзера, автора романа «Умирающие истребители», герои — это люди, внутренне хорошие, которые стоически умирают на скверной войне. То обстоятельство, что гитлеровские летчики-истребители не только умирали, но, прежде чем умереть, убивали, представляется Гайзеру второстепенным. Великие жертвы советского народа не волнуют мнимых антимилитаристов Западной Германии. Больше того, в их книгах ложная аргументация в пользу соучастников преступления, совершенного гитлеровцами, нередко сопровождается возмутительной клеветой на советских людей.

Однако среди западногерманских писателей есть и такие, которые создают книги, заслуженно называющиеся антивоенными. Анна Зегерс отмечает, что эти книги «пробуждают в молодежи чувство, нужное ей в борьбе против подготовки новой войны, — отвращение к войне». «Но мир, — добавляет Анна Зегерс, — это гораздо больше, чем просто отвращение к войне. Жить в прочном мире и в дружбе со всеми народами — значит постичь, в чем корни войны, и вырвать их из народа».

На западе Германии пользуются известностью книги Герта Ледига и Ганса Вернера Рихтера, далекие от какого бы то ни было воспевания войны. Эти книги вызывают отвращение к войне вообще, но не возбуждают ненависти к фашизму, виновнику захватнических войн. Рихтер, автор известного романа «Не убий», ограничивается натуралистической фактографией. У Ледига, автора романов «Stalinorgel»* и «Возмездие», иная творческая манера, но он исходит из концепции, согласно которой во второй мировой войне не было ни правых ни виноватых.

Генрих Бёль идет своим путем. Мучительно переживая историческую трагедию своего народа, он глубже вникает в ее причины.

Генрих Бёль родился в 1917 году в Кёльне. Он и в настоящее время живет в своем родном городе. С 1947 года Бёль целиком отдался литературной деятельности. Его первая книга — «Поезд пришел вовремя» — издана в 1949 году. Он принадлежит к тому поколению, которое называют «немым». Это слово прочно вошло в обиход западноевропейской журналистики; им определяют то поколение немцев, которое с детства предназначалось главарями фашистской Германии в солдаты. В школах, в трудовых лагерях, в гитлеровской армии у молодежи вытравляли собственные мысли, заменяя их фальшивыми лозунгами стандартного образца.

Те, кто уцелел из этого «немого поколения», молчали, подавленные прошлым, растерянные перед будущим.

Первым писателем, который заговорил от имени «немого поколения», был гамбуржец Вольфганг Борхерт. Он умер в 1947 году, двадцати шести лет. Свое лучшее произведение — пьесу «За дверью» — он создал в 1946 году.

Бывший унтер-офицер гитлеровской армии Бекман, герой пьесы, олицетворяет собой прошлое, о котором он не в силах забыть. Полковник отдавал приказы, унтер-офицер Бекман передавал их, солдаты убивали и умирали. Как жить человеку, обремененному непосильным грузом проклятого прошлого? Пьеса полна вопросов, требующих ответа. Почему сегодня полковник благоденствует, когда Бекмана терзает сознание вины, когда он не знает покоя ни наяву, ни во сне? Почему у полковника полное благополучие в доме, а у Бекмана ни работы, ни семьи, ни хлеба, ни радости? Как жить тем, кого в своей стране снова и снова выбрасывают за дверь? Куда идти?

Борхерт не отвечал. Он только спрашивал. Но и это означало, что мертвой тишине пришел конец: «немое поколение» заговорило В одном из писем, полученных Борхертом после передачи его пьесы по радио, было сказано: «Если ни один театр не будет ставить твои пьесы и ты никогда не услышишь аплодисментов зрителей, все равно оставайся на избранном тобою пути, пиши для нас, для твоих товарищей, пиши для тысячи бекманов, для одиноких и заброшенных, для тех, кто, вернувшись на родину, не нашел родины...»

Генрих Бёль, как и Борхерт, говорит от имени тех немцев в Западной Германии, которые, вернувшись на родину, не нашли родины. Начиная с первой своей книги, Бёль уличает во лжи тех, кто окружает ореолом чудовищное преступление немецких фашистов: войну. Правда, в настоящее время даже в ФРГ почти никто — кроме, разве, престарелого Ганса Гримма, автора пресловутой книги «Народ без пространства» — не решается в открытую восхвалять Гитлера. Но в Западной Германии в моде иной способ идейной реставрации прошлого: Гитлера для приличия осуждают, а детищем гитлеровского режима — второй мировой войной — всячески восторгаются, усматривая в ней проявление героической верности солдатскому долгу.

«...Ничто не было мне так ненавистно, как героическая смерть в колосистом поле, она чересчур напоминала мне стихотворение, а я не хотел умереть, как в стихах, не хотел умереть героической смертью, как на картинке, рекламирующей эту грязную войну». Так думал Андреас, немецкий солдат, когда он, раненый, лежал на чужой земле, где колосились чужие хлеба. Андреас — герой книги «Поезд пришел вовремя», первого романа Генриха Бёля. Однажды, во Франции, он выжил, а потом, между Львовом и Черновицами, погиб. Герой Бёля — из «немого поколения». Год его рождения 1920-й.

Андреас едет в поезде, переполненном солдатами, возвращающимися из отпуска на фронт. Звонкий голос объявляет названия станций. «Славный голос, добрый голос, немецкий голос, который с тем же успехом объявил бы: «Следующие десять тысяч на бойню, пожалуйста...» — думает Андреас. Вся книга заполнена его размышлениями, то горькими, то грустными. Действие существует в романе постольку, поскольку внешние впечатления врываются во внутренний монолог героя.

Андреас в своих мыслях снова и снова повторяет: «они». «Они» распоряжаются миром и войной, жизнью и смертью, событиями и судьбами. «Они» виноваты в том, что Андреас живет и умирает никчемно и бесславно. А он сам? А другие, такие, как он? Какой смысл вкладывает Андреас в понятия «мы» и «я»? Герой первой книги Бёля делит всех немецких солдат на «чудовищных болтунов» и «чудовищных молчунов». Болтуны, как попугаи, твердят то, чему их выучили: «сегодня нам принадлежит Германия, а завтра будет принадлежать весь мир» А молчуны знают, что все это ложь и что они погибнут из-за этой лжи. Знают, но молчат. Молчит и Андреас.

Совершенно очевидно, что реальная действительность неизмеримо шире, чем

* Так в гитлеровской армии называли советские гвардейские минометы («катюши»).

ограниченное мировосприятие Андреаса. Среди солдат гитлеровской армии помимо «болтунов» и «молчунов» были и другие люди. Известно, например, что Вольфганг Борхерт, будучи солдатом, не молчал, и за это его дважды бросали в тюрьму и отправляли в штрафной батальон. Борхерт не был коммунистом, а среди коммунистов, героев антифашистской борьбы, были и такие, которые, не жалея жизни, вели подпольную агитацию в армии.

Все это остается за пределами книги Бёля. Писатель ограничивается изображением трагической судьбы Андреаса, у которого фашисты отняли все, чем прекрасна жизнь.

Однако Бёль делает ошибочные выводы из достоверных фактов. Конечно, Андреас — жертва фашизма, но из этого еще не следует, что во второй мировой войне для немецкого народа не было проблемы вины и возмездия. Бёль пытается снять эту проблему ложным финалом, который бросает тень на всю книгу.

Полька Олина оказывается участницей движения Сопротивления. Поняв Андреаса, полюбив его, Олина говорит: «И когда я увидела тебя, стоящего у окна, твою спину, твой затылок, твою юную фигуру, согнувшуюся, будто тебе много тысяч лет, тогда лишь мне пришло в голову, что и мы убиваем только невиновных...». Такая постановка вопроса оправдывает всех участников захватнической войны. Это всепрощение, приписываемое автором его героям, простирается так далеко, что Андреас молится за всех заблудших, в том числе и за... эсэсовцев.

Роман «Где был ты, Адам?», изданный в 1951 году, свидетельствует о том, что эсэсовцы уже не представляются писателю заблудшими овечками. Они знаменуют собой зло, которое можно выжечь только каленым железом.

Перед нами нацист Фильзкейт, утонченный знаток музыки, любитель церковного пения. Когда в концлагерь прибывает очередная партия заключенных, Фильзкейт сортирует ее по-своему: тех, кто умеет петь, — в хор, остальных в крематорий. Дирижируя хором смертников, Фильзкейт не жалеет труда, чтобы добиться верного звучания каждой ноты. Что это? Гротеск? Да, но сколько в нем убийственной правды! Эта правда заключается в том, что фашизм, извращая все человеческие ценности, превращает прекрасное в чудовищное.

Стоя перед раскрытым окном, за которым заключенные ждут своей очереди, венгерская девушка Илона поет хоралы. Фильзкейту эта девушка представляется живым опровержением расовой теории: она обладает красотой, талантом, верой. Ее пение настолько совершенно, что Фильзкейт стреляет в нее в упор. Фашизм убивает прекрасное потому, что он бессилен перед ним.

Фашизм настолько бесчеловечен, что никакое человеческое чувство несовместимо с ним, — это одна из основных мыслей книги.

Генрих Бёль — писатель трагедийного мироощущения; таким его сформировала германская действительность последних десятилетий. Это не противоречит склонности к гротеску, свойственной Бёлю. В его творчестве гротеск нередко оказывается художественным приемом, благодаря которому трагедийное начало выявляется с большой силой. Бёль находит гротескные ситуации, в которых с особой наглядностью отражаются человеческие судьбы, изуродованные общественными условиями.

Роман «Где был ты, Адам?», действие которого происходит тоже в годы войны, представляет собой как бы совокупность человеческих трагедий. Судьбы у героев романа разные, а причина их бедствий общая. Эти хорошие люди, говорит автор, жили бы, работали, любили, если бы не фашизм. Тема «немого поколения» остается и в этом романе центральной. Солдат Файнхальс, герой романа, принадлежащий к этому «немому поколению», погибает на пороге родного дома в последние часы войны: гитлеровцы подвергли дом артиллерийскому обстрелу, потому что родители Файнхальса вывесили белый флаг. Фашизм убивает и тогда, когда срок его существования измеряется считаными минутами.

Правда, слово «фашизм» не употребляется автором. Писатель явно предпочитает обходиться без каких бы то ни было политических формулировок.

Роману предпослано два эпиграфа. В одном из них говорится, что война — это болезнь, подобная тифу. Смысл другого заключается в том, что мучения, перенесенные на войне, могут послужить для человека своего рода оправданием перед богом. «Где был ты, Адам?» — «Я был на мировой войне».

Однако идея книги уже не укладывается в эту всеоправдывающую формулу. Воздействие ее на читателей и сильнее, и вернее: она возбуждает ненависть к фашизму, повинному в трагических судьбах миллионов людей разных национальностей, в том числе и самих немцев.

Бёль остается художником трагического мироощущения и тогда, когда он в своих произведениях обращается к послевоенной действительности, к сегодняшней Западной Германии. И это происходит не только потому, что трагедия войны неисчерпаема для вдов и сирот, а также и для бывших солдат, искалеченных физически и морально. Писателю ясно, что социальные условия Западной Германии порождают новые трагедии.

«И не сказал ни единого слова» (1953), «Дом без хозяина» (1954), «Хлеб ранних лет» (1955) — все это книги, по которым можно судить о творческом росте художника. Углубленное восприятие реальной

действительности выражается в отчетливости психологических характеристик, более цельных, более сложных. Внутренний монолог по-прежнему преобладает, но в манере повествования больше ясности, больше простоты. Герт Калов, западногерманский критик, с упреком отмечает, что в творчестве Бёля усиливается склонность к типизации, а тяготение к субъективизму ослабевает. Калов пишет об этом с сожалением, но факт, на наш взгляд, отрадный, подмечен им правильно.

В романе «И не сказал ни единого слова» двое героев. Фред и Кэтэ Богнер женаты пятнадцать лет, но их любовь сильна, как в молодости. И все-таки Фред уходит из дому, чтобы не кричать на жену, чтобы не бить детей. И Фред, и Кэтэ измучены безысходной нуждой. Но Кэтэ изо дня в день снова и снова борется за жизнь, а Фреду после войны все кажется бесцельным и бессмысленным. Все, кроме любви, ради которой он в конце концов возвращается к жене и детям, хотя ничто не изменилось: та же теснота, та же нужда, та же тоска. Нет, и этот роман Бёля не причислишь к книгам с счастливым концом. Это произведение никак не ассоциируется с модной легендой об «экономическом чуде», будто бы осчастливившем в ФРГ всех и каждого.

«Дом без хозяина» — книга, в которой склонность к обобщениям, присущая Бёлю, проявляется наиболее ярко. Роман шире охватывает настоящее, больше углубляется в прошлое. Он завершается вопросом: «Для чего мы существуем на земле?»

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно пробить стену лжи, заслоняющую правду. Мартину и Генриху, подросткам-школьникам, живущим в Западной Германии после войны, это еще не под силу, но они делают то, что могут: пытаются понять, где правда и где ложь. Альберт, дядя Мартина, единственный настоящий друг среди взрослых, помогает им в этом. В уста Альберта автор вкладывает гневные слова о «фальшивой легенде», которая должна быть разрушена.

Что же это за легенда? Рай, отец Мартина, талантливый поэт, погиб в 1942 году, участвуя в захватнической войне против России. Перед войной он не опубликовал ничего, кроме стишков, рекламирующих мармелад, изготовляемый на фабрике его тестя. Поэт из года в год молчал, потому что не хотел быть подголоском гитлеровцев. Ему не приходило в голову, что промышленники будут поставлять армии не только орудия и боеприпасы, но и мармелад. На фронте он на каждом шагу натыкался на пустые жестянки из-под мармелада, украшенные его стишками. А ведь только в том, что он писал эти стишки, и выразился его протест против войны. Альберт вспоминает, как Рай за две недели до смерти с горечью сказал ему об этом. После войны нашлись люди, которые заработали на мертвом Рае: создали легенду, героизирующую его жизнь и смерть. Литератор Шурбигель, в прошлом нацист, заново сделал на этом карьеру.

Так тема «молчунов» получает в творчестве Бёля новое решение. Писатель понимает, какова цена так называемой «внутренней эмиграции». Художник производит переоценку ценностей, пользуясь для этого своим излюбленным приемом: он показывает трагическое в обличии смешного.

Шурбигель и ему подобные внушают писателю презрение. Книга Бёля полна воинствующего презрения к фашистам старой и новой формации. Его возмущает тайное и явное стремление реставрировать фашизм, показательное для современной действительности Западной Германии.

Гезелер, гитлеровский офицер, послал Рая на верную смерть. Этот случай не остался у самого Гезелера в памяти. Он вообще предпочитает не вспоминать об ужасах войны, но не без удовольствия называет генерала Роммеля по имени. «Случается иногда, что впадаешь в жаргон прежних лет», — говорит он жене Рая. «Да, — отвечает она, — это именно жаргон прежних лет».

«Я должна была бы ненавидеть вас, если бы не перестала жить тогда, когда умер мой муж, — говорит вдова Рая, — я хотела этого: ненавидеть *его* ненавистью, потому что он, если бы знал вас сегодня или тогда, дал бы вам пощечину. Если бы мне удалось делать то, что он делал бы, действовать за него, думать так, как он меня учил, — раздавать пощечины людям, которые позабыли войну, но в то же время со школьнической сентиментальностью называют генералов по имени».

Не только героям романа, но и самому писателю не легко ответить на вопрос: «для чего мы существуем на земле?» Можно, однако, сказать, что он твердо знает, чего не должно быть на земле: кровопролитных войн, после которых остаются вдовы и сироты; постоянной нужды в самом необходимом, без чего человеку не прожить; несправедливости во всех ее формах. Бёль пишет книги для того, чтобы это убеждение передать молодежи.

Западногерманский критик Герт Калов, чье имя уже упоминалось, разработал концепцию творчества Бёля, которая в основном сводится к следующему: во-первых, Бёль пишет в манере Хемингуэя, и это значит, что он «сейсмографически уловил требование времени»; во-вторых, Бёль — правоверный католик, и это означает, что его «оппозиция к реставрационному развитию Западной Германии» не настоящая, а кажущаяся.

Религиозность Бёля — особого рода. Илона, героиня романа «Где был ты, Адам?», говорит: «надо молиться, чтобы утешить бога». Герои Бёля верят в бога, но ответственность за то, что происходит на земле, они возлагают на людей. Больше того, писатель убежден, что вера в бога не уменьшает, а увеличивает эту ответственность: во имя бога человек должен жить с незапятнанной совестью. В книгах Бёля изображено немало католиков с запятнанной совестью. Не случайно в романе «Дом без хозяина» глашатаем католицизма становится не кто иной, как бывший нацист Шурбигель, процветающий и в новые времена. Нет, книги

Бёля находятся не в кажущейся, а в подлинной оппозиции «к реставрационному развитию» Западной Германии!

Бёль учился художественному мастерству у Хемингуэя. Кое-что в творческой манере Бёля от Хемингуэя, а иногда, к сожалению, и от «хемингуэевщины»: удлиненные фразы, загромождение ассоциациями, нередко нарочитыми; короткие фразы, намеренно, в расчете на подтекст, недоговоренные. Такими приемами Бёль стремится воссоздать «поток сознания» со всеми его «подводными течениями». Говоря о тех, чье творчество оказало воздействие на Бёля, можно было бы назвать и Ремарка, но важно другое: Бёль обладает талантом в достаточной мере своеобразным. Бёль-сатирик не похож ни на кого, кроме самого себя. Сплетение трагического и комического в творчестве Бёля приводит к тому, что подоплекой гротеска оказывается трагедия.

Если Бёль в чем-то — далеко не во всем — уловил требование времени, то причину этого надо искать не в литературных влияниях, а в том, что художник стремится воспроизвести человеческие трагедии, в которых виноваты фашизм и война.

Бёль-рассказчик не менее, а иногда и более талантлив, чем Бёль-романист. «Путник, когда ты придешь в Спа...» — первый сборник рассказов Бёля, изданный в 1950 году. В коротком рассказе Бёля, как художника, влечет не столько изощренность сюжета, сколько тонкий психологический рисунок переживаний героя. Продолжая совершенствоваться в жанре короткого рассказа, Бёль обновляет свои творческие приемы.

Бёль создает рассказы о войне и о мире, о тех, кто погиб, и о тех, кто уцелел, о том, как трудно умирать, и о том, как трудно жить. Нередко в основе рассказа лежит незначительное событие, и тогда читатель прислушивается к эмоциональному подтексту, в котором вся сила и весь смысл повествования. А иной раз остроумная выдумка приводит к тому, что известные факты, освещенные с неожиданной стороны, по-новому врезаются в память. Бывает и так, что действительное, теряя обычные очертания, преувеличивается и сатирически заостряется фантазией художника; гротеск, любимый прием Бёля, в рассказах встречается еще чаще, чем в романах.

Блестящим примером такого творческого приема служит рассказ «Мое грустное лицо». Поначалу в этом рассказе все обыкновенно: человек, стоя в порту, грустно следит за полетом чаек. А потом происходит необыкновенное: человека арестовывают за то, что у него грустное лицо. В рейхе все подчинено приказам: и грусть, и радость. Избитый в полиции, истерзанный, человек думает: если ему удастся прожить ближайшие десять лет, он постарается совсем не иметь лица. Заостренная сатира бьет по фашистскому режиму, отличительные признаки которого читатель определил бы и в том случае, если бы полицейские и судебные следователи не были в рассказе одеты в коричневую форму.

Современная действительность Западной Германии художественно отображена в рассказах «Смерть Лоэнгрина», «Человек с ножами», «Молчание доктора Мурке»*, «Торговля есть торговля». У доктора Мурке, работника Дома Радио в Бонне, есть прихоть: он «собирает молчание». В выступлениях, зафиксированных на пленке, встречаются случайные паузы. Вырезая из пленки куски, Мурке составляет коллекцию этих пауз. У себя дома он включает микрофон, чтобы «слушать молчание». Это — несомненный гротеск, но в его основе лежит реальное ощущение действительности. Мурке полюбил молчание потому, что он возненавидел пустозвонство всех, кто вещает по западногерманскому радио. Олицетворением этого демагогического пустозвонства, широко распространенного в ФРГ, является в рассказе Бур-Малотке, процветающий литератор, книги которого так же не нужны людям, как и его речи. Герою рассказа Бур-Малотке ненавистен не менее, чем самому автору.

В рассказе «Торговля есть торговля» снова говорится о тех, кто благоденствует в современной Западной Германии: «...они выскочили из войны, как из трамвая, замедлившего ход возле их дома, выскочили, даже не заплатив за проезд...», — рассказывает Бёль, не жалея красок для сатирически нарисованной картины. — «Все шло прекрасно — они продолжали получать пособие, потом разрешали себя слегка денацифицировать, как позволяют парикмахеру сбрить бороду, которая стала стеснять, рассказывали об орденах, ранах, о своем геройстве, и все кругом находили, что они славные ребята: «В конце концов, они только выполняли свой долг».

И в генеральских мемуарах, и в обывательских разговорах одна и та же ложь, преследующая одни и те же цели: оправдать былые преступления, возродить преступное прошлое. Рассказы Бёля, так же как и его романы, изобличают ложь, препятствуя осуществлению этих целей.

Перечитывая Бёля, книгу за книгой, ощущаешь многое, но прежде всего надежду. Это надежда на то, что «немое поколение» не останется «потерянным поколением»: оно ищет правду.

---

* См. «Иностранную литературу» № 7 за 1956 год.

О. Савич

Моление о жизни

В области литературы франкистский режим дебютировал убийством Гарсиа Лорки. Ныне в Мадриде вышло собрание сочинений убитого поэта.

С помощью своих зарубежных друзей фашисты долго пытались доказать, что они к этому убийству непричастны, не останавливаясь и перед тем, чтобы набросить тень на доброе имя Лорки. Но согражданам поэта удалось расследовать все обстоятельства его смерти. Его ученик, принадлежащий к самой влиятельной фалангистской семье Гренады, предложил ему убежище. При явном попустительстве членов этой семьи Лорка был арестован в их доме по ордеру, выданному властями, передан палачам и расстрелян вместе с протестантским священником. Тело его было похоронено во рву, а в ров был отведен протекавший рядом ручей.

Мигель Эрнандес, один из лучших молодых поэтов, умер во франкистской тюрьме в 1942 году тридцати двух лет от роду. Ныне в Мадриде вышло его «Избранное». Но в критико-биографическом очерке, предваряющем книгу, не упоминается, что Эрнандес был коммунистом и комиссаром республиканской армии, а среди стихов нет политических, отчего облик поэта получился искаженным: из революционера, разделившего с народом его трагический путь, он превращен в трагического неудачника-одиночку.

Франкистские журналы охотно перепечатывают стихи поэтов-эмигрантов. Их любезно приглашают вернуться на родину или посетить ее.

Воскрешая голоса мертвых, хотя бы и искаженные, публикуя иностранных писателей, франкисты вынуждены либеральничать и с собственными авторами. Пропаганда требует, чтобы иллюзия терпимости распространялась и на современную литературу.

Необходимо дать возможность зарубежным покровителям франкизма, американцам в первую очередь, разглагольствовать о «демократизации» и «либерализме» режима и доказывать, будто бы франкистская Испания является чуть ли не оплотом «духовной свободы», а не основным оплотом американских баз. Издержки, которые при этом несет режим, невелики и окупаются с лихвой за границей.

Испанский народ не читает ни книг, ни журналов, потому, во-первых, что процент неграмотных и малограмотных в стране огромен (больше чем в королевские времена, когда две трети новобранцев не знали азбуки), и во-вторых, потому, что книга и даже газета не по карману голодным. Тираж любой из больших мадридских газет до фашизма был больше, чем общий тираж всех газет, выходящих ныне в испанской столице, хотя население ее сильно выросло. Даже орган фаланги «Арриба» печатается всего в 10 000 экземпляров, причем сюда входят и обязательная подписка учреждений, и номера, рассылаемые партийным организациям бесплатно. За чтением, как и вообще за умами франкистских подданных бдительно следят католическая церковь, без рекомендации которой нельзя получить работу, добровольная шпионская организация "Opus Dei" (господнее дело), корпорации, заменяющие профсоюзы, квартальные уполномоченные и т. д. Кстати, основной тираж «свободомыслящих» изданий отправляется за границу, главным образом в латиноамериканские страны, что позволяет извлекать из пропаганды и материальную выгоду.

Испанское кино не дало ни одной маломальски значительной картины, пока не появился режиссер Бардем и не создал несколько фильмов в духе итальянского неореализма. Бардема посадили в тюрьму, потом выпустили. Одним из лозунгов студенческих демонстраций было: «Свободу Бардему!» В его фильмах, конечно, нет так называемых призывов к свержению существующего строя. Но в них проступают разоблачение этого строя через созданный им быт, осуждение эгоизма правящей верхушки, глубокое разочарование тех, кто когда-то поверил в фашистскую демагогию, глубокое сочувствие простым людям, вера в сердце и разум народа. Бардем стал — и не только в искусстве — своего рода «власти-

телем дум», а за границей его фильмы сделали для знакомства с испанской жизнью, с бытом и настроениями народа, с его неистребимой человечностью куда больше, чем все путевые очерки.

Имеются ли явления, подобные фильмам Бардема, в литературе, в частности в поэзии, которая обычно первой «рождает свой отклик в воздухе пустом»? Этот отклик может быть только намеком: образный язык и язык эзоповский — братья. Намек прекрасно поймут читатели, немногочисленные, но все же опасные: интеллигенция, студенчество. Время от времени в Испании подавала свой голос подпольная поэзия. Однако количественно она, во всяком случае, не идет в сравнение с поэзией, печатающейся легально. Может ли правда пробиться через цензуру? О чем говорит гласная поэзия?

Недавно в Мадриде, в широкоизвестном издательстве Агиляра, вышла «Антология испанской поэзии. 1954—1955». Сто шестнадцать поэтов представлены здесь 182 стихотворениями, опубликованными в отдельных книгах и журналах. Среди ста шестнадцати есть Гарсиа Лорка. Но прекрасные стихи Лорки никак не могут быть причислены к сегодняшней испанской поэзии, хотя бы они и были напечатаны впервые в прошлом году. Есть в сборнике и одно стихотворение Хуана Рамона Хименеса, недавно получившего нобелевскую премию по литературе.

Хименесу исполнилось 75 лет. Он покинул родину еще в 1936 году, жил одно время на Кубе, а теперь преподает в университете Пуэрто-Рико. Это чистейший лирик, никогда не писавший на политические или гражданские темы. Его поэзия нежна, задумчива, очень музыкальна. Всю жизнь его волновали темы ранней молодости: первая любовь, первая разлука, первое разочарование, слезы девушки, «смутное влеченье чего-то жаждущей» молодой души, юношеское «открытие мира». Его философия проста, слегка печальна. В нескольких строках он умеет создать точный и тонкий пейзаж. Всем этим он отчасти напоминает Фета. Его также всегда занимали вопросы языка, его чистоты, ясности, «испанскости». Он опубликовал десятки стихотворных сборников — из испанских поэтов XX века он самый плодовитый. Опубликованное в антологии стихотворение ничего не прибавляет к его славе и не имеет никакого отношения к современности.

Среди ста шестнадцати есть и менее прославленные поэты, имена которых были известны до франкизма: Мануэль Альтолагирре, Эмилио Прадос, Хуан Хиль-Альберт, Висенте Алейхандре. Как и Хименес, большинство из них живет не в Испании, их стихи перепечатываются из латиноамериканских изданий. Да и не они определяют общую физиономию сборника и основные течения современной испанской поэзии.

В кратком предисловии эти течения перечислены так, как они мыслятся составителю: «лирическое, социальное, религиозное, неонародное, сюрреалистическое и т. д.».

В первый раз я прочитал антологию залпом и не почувствовал разницы не только между поэтическими направлениями, но даже между отдельными поэтами. Когда я отложил книгу, мне почудилось, будто она написана одним человеком, беспредельно одиноким, замкнувшимся в себе, отчаявшимся, отворачивающимся от жизни, которая не приносит ему ни общения с людьми, ни личной радости, охваченным ощущением смерти и лишь изредка позволяющим себе поговорить о простых вещах, о простых чувствах, обратиться к ближним. Разнообразие (не столь уже большое) форм (не столь уж новых) показалось мне только попыткой сказать то же самое по-иному. Но перечитав книгу второй и третий раз, я понял неверность первого впечатления.

Конечно, по одному и даже по пяти стихотворениям нельзя составить себе представление о поэте, а тем более о целом течении, хотя много тем и форм повторяется (в особенности сонеты). Чаще всего в книге встречаются слова «смерть» и «кровь». Это традиционные темы-образы испанской поэзии, но настойчивое возвращение к ним создает ощущение болезненности. Все же «различные», как говорит составитель, хотя и не совпадающие с его классификацией течения налицо. Более того, вчитавшись — и порой не столько в самые строки, как в то, что скрыто между ними — я увидел, что в антологии есть нечто большее, чем различие направлений, а именно живая жизнь, намек на протест и борьбу, робкая надежда.

Не стоит останавливаться на любовной лирике — ею составитель, по-видимому, исчерпывает понятие лирического течения. Не потому, что я не обнаружил нового Петрарки или нового Гейне,— я и не искал их. Но потому, что современность этих стихов определяется только стоящей под ними датой.

Моя подруга, знай, что жизнь
твоим лишь именем зовется.*
(Хуан Перес Креус, «Только ты»)

Ну что ж! Это сотая и тысячная подруга...

Я не буду задерживаться и на религиозной лирике, и тоже не потому, что не нашел новой святой Терезы, а потому, что эти стихи показались мне анахронизмом: это повторение старых образов и мыслей, это риторическое обращение к божеству, бегство в строй чувств и мыслей прошлого, не молитва, льющаяся из сердца, а заученное бормотанье, потерявшее силу заклинания. Такой молитве нечего искать в жизни, поэтому она обращается к смерти. Хосе Луис Мартин Дескальсо в стихотворении «Другой» сообщает нам, что Сатану не следует искать ни в глубине колодцев, ни в глубине морей или веков — Сатана запросто гуляет по улицам и рогов у него нет;

* Все переводы стихов принадлежат автору статьи.

он там, где кровь, ненависть и знамена (не все, но многие); он занимается тем, что «крадет нас у нас самих»; и когда нам невмоготу, мы, оказывается, молимся, как дети: «Освободи нас от зла, которое так нас давит». Стоит отметить, что Луис Росалес, тот самый ученик Лорки, который его предал, ныне — один из обласканных режимом поэтов, тоже представлен в антологии сонетом «Мертвому Христу». (Насколько известно, Иуда-предатель сонетов не писал.) Когда рядом со всем этим Висенте Гаос восклицает:

Господь, о сделай так, чтоб жизнь
не умирала никогда!
(«Жизнь»)

то это кажется глотком чистого воздуха.

Выделяя из социальной поэзии особую, «неонародную», составитель, видимо, имеет в виду два-три подражания народным мотивам и те из бытовых зарисовок, которые не подсказывают читателю никаких выводов. К сюррелизму составитель относит несколько маловразумительных и устаревших переводов с французского, это строки, составленные из странных, а то и непонятных словесных сочетаний, разбираться в которых надо по Фрейду. Впрочем, сюда же относится, вероятно, и такое, вполне понятное произведение Хоакина Фернандеса:

Я вышел из дому в сопровожденьи
гражданских прав, которыми владею...
...Я счастлив: прошлого нет у меня.
Хочу сказать, что нет воспоминаний...
...Мне 27, в чем я не виноват
отнюдь. Я не люблю моя года.
Я верю одному календарю,
который бешено стучит в груди...
...Люблю я жизнь, как самую дорогую,
круговорот и сладкое мученье.
Но как слепец за ней кружусь,
и тем доказываю, что живу.

Такие стихи когда-то писали эсэсовцы. Они расшифровываются без Фрейда.

Зато расшифровать рубрику «и т. д.», которая дается в предисловии, мне не удалось. Однако пусть у читателя не создастся впечатление, будто все остальные стихи в антологии — «социальные» или гражданские. Нет, это просто стихи, в которых есть собственное авторское чувство, собственная мысль, собственные образы, пусть не всегда глубокие. Это стихи, написанные нашими современниками, хотя порой — нашими врагами или людьми, нам чуждыми.

Следует сказать о том, чего в антологии нет. Нет прямых и даже косвенных восхвалений режима. Нет стихов, в которых проступала бы идеология фалангистской партии. Составитель пренебрег казенной поэзией. Когда поэты касаются этих тем, то лишь для того, чтобы выразить горькое разочарование фалангистов.

Много стихов написано в форме писем к другу, иногда анонимному, чаще — названному. Часто говорится, что посылать эти письма не стоит: не поймет, не утешит и друг.

Я давно должен был написать тебе,
сказать, между прочим: в нашей провинции
дождь,
моя сестра постриглась в монахини,
а я потерял работу.

Далее цитируется предполагаемый ответ друга, жалеющего сестру, радующегося дождю, который обеспечит урожай, и обходящего вопрос о потере работы. Затем новое ненаписанное письмо и новый предполагаемый ответ — оба на ту же тему. И наконец:

В провинции по-прежнему идет дождь
для твоего удовольствия, а моя сестра
никогда не вернется из монастыря.
Я все бормочу о несчастьях в мире.
Скажи, можно ли еще писать письма?
(Габино-Алехандро Каррьедо, «Вечернее извещение»)

Некоторые поэты подчеркивают свое одиночество тем, что пишут не только от первого лица, но от собственного имени, называя себя:

Я, Хосе Иерро, человек,
каких много...
...Я, Хосе Иерро, человек,
признающий себя побежденным
без борьбы
(Хосе Иерро, «В любой вечер»)

К воплю о человеческом одиночестве примыкает вопль об одиночестве поэта, ненужного людям.

Среди мусора, кирпича,
ящериц и пыли
человек говорит: «Услышьте меня,
слушайте, братья мои!»
Но никто не слышит его.
(Хуан Рицс Пенья, «Поэт»)

А затем, естественно, возникает вопрос о причинах того, почему поэта не слушают. Рамон де Гарсиасоль в стихотворении «Лжец» рассказывает, что он звал людей выпрямиться, очеловечиться, но они ему не поверили и даже обвинили его в стремлении бередить их раны, чтобы выслужиться.

Они хотели, чтоб я показал им
все то, на что в словах я намекал
чтоб делом стало то, что обещал я,
что праведники дом свой обрели,
голодные за стол уселись...
И так как этого поэт не смог, то —
меня лжецом зовут те, кто страдает,
не видя, что я плачу их слезами.

Читатели, видимо, настроены более революционно, чем поэт...

Но есть уже ряд поэтов, настойчиво подчеркивающих не свое различие, не избранничество, а свою общность с людьми.

Каждый человек в мире —
я. Каждое слово —
мое. Каждая улыбка —
моя. Каждый плач,
унижение, боль
я чувствую на себе,
потому что я — каждый человек.
(Хесус Лопес Пачеко, «Каждый человек»)

Как все. Не все, быть может,
такою горечью живут,
и не у всех несчастье
свело уста.
Но я — как все.
Я знаю: создан
я из того же теста,

обманываюсь так же,
как все. И так же,
как все, обманут...

(Хасинто Лопес Горхе, «Неужто я из тех»)

Все, да не все. Не с каждым может
объединиться поэт.
Ужели я из тех, кто призывает
К борьбе вседневной, сам же безразлично
проходит мимо?..
...Кто забирает не принадлежащее ему,
когда он полагает, что его не видят,
живет обманом, коль обман не виден,
и убивает, если надо, и когда закон
не осуждает этого убийства?
Неужто я из тех, неужто я —
один из видов тех зверей?

(Карлос Саломон, «Могу сказать...»)

Надо ли расшифровывать, кого именно имеет в виду автор, говоря о «видах зверей»? Думается, что образный или эзоповский язык в данном случае достаточно прозрачен.

Распознав «зверей», поэты не могут не обратиться в первую очередь к тем, кто страдает больше всех от звериного бешенства.

Не толкайте этого человека.
Не обижайте этого человека.
Этот человек — Перес, Антонио, Суарес —
с его нетвердой походкой и удрученным
жестом,
это — трамвайный человек.

Он едет в трамвае на работу, и расписание трамвайного движения для него — священное писание. На работе он дрожит перед начальниками. Когда солнце глянет в окно, он прикрывает пишущую машинку, чтобы не выцвела лента. О том, что делается в мире, какие происходят события и какие есть радости, он узнает только из газеты, которую время от времени читает в парикмахерской.

Но он — как мы. Такие ж лоб и руки,
и наша боль, и наша в нем тоска...
...Друзья, посторонитесь, дайте сесть ему.
Устал он, как весь мир...
...Спасем его, чтоб он не задохнулся
бескрылой птицей в клетке.
Спасем его.. неся ему любовь
и воскрешенную надежду.

(Рафаэль Мансано, «Трамвайный человек»)

Судьба «трамвайных людей», беспризорных детей, труд крестьянина, идущего по полю, «держа в руке слезу» (Карлос Мурсиано. «Человек в поле»), несчастье женщин — эти темы есть и у итальянских неореалистов и в фильмах Бардема. Несколько поэтов рассказывают о погибших подростках, полудетях, полупреступниках, нищих, голодных, испорченных. Если при этом Анхела Фигера Аймерич уверяет, будто бы после смерти одного из таких подростков к нему спустился прекрасный архангел и проделал над ним очистительные обряды, после чего мальчик, наконец, улыбнулся и попал в рай, то вряд ли это может кого-нибудь примирить с судьбой умершего «не то от очень короткой болезни, не то от очень длительного голода» («Правосудие ангелов»). Альфонсо Каналес («Воры в песке») рассказывает, как группа беспризорных, босых, одетых в лохмотья, «какие еще никогда не покрывали человеческого тела», копали гору, тайком забираясь в пещеру, грозившую обвалом, чтобы найти немного металлического лома; пещера обвалилась, одного из подростков вытащили мертвым. Каналес не делает выводов, ни божеских, ни человеческих; но нужны ли они?

Никто не обвиняется в «Солдатской поэме» Анхелины Гатель. Но...

Господь, я жил, склоняясь к борозде,
и солнце грело спину и посевы...
...Но вот пришли, чтоб жечь меня огнем,
слова и люди страшные такие,—
я тех людей и слов не понимаю...
...«Мигель Мигель!» — их голоса, как эхо,
как эхо мрачное меня позвали.
И мне они сказали: «Рань!»
И закричали: «Убивай!»
Так надо. Убивай! Оставь зерно на поле,
Оставь жене и семена и заступ,
«Война пришла»,— они сказали и запели
гимны.

В другой стране это, может быть, покажется довольно невинным крестьянским пацифизмом. Но фашизм уверяет, что война — естественное состояние человека. Образный язык опять прозрачен...

Антологию открывает (случайно — оно было впервые напечатано в октябре 1954 года) стихотворение Хосе Карлоса Гальярдо «Моление о жизни». Как и многие другие стихи, оно написано без рифм и без размера.

...Нас зовут Маноло, Дьего, Франсиско,
часы мы получаем только по наследству,
мы боимся, как бы у нас не родился ребенок,
потому что хлеба и мечты становится все
меньше;
мы чувствуем приход зимы раньше всех
и сохраняем жизнь под одним одеялом.
Вот мы здесь.
И когда вы говорите: «Бедняки Испании»,—
это мы.
Мы всегда, мы везде присутствуем, бедняки,
дети жесткого ложа и скудного хлеба.
И если вы слышите, что кто-то убегает от
преследования,
это мы.
Мы слышим, как молятся о хлебе для всех,
а у нас есть братья, которые смеются, когда
мы умираем.
А когда надо кого-нибудь убивать,
то ведь мы уже убивали,
мы, кто собирает валежник, чтобы сварить
обед,
и спит, растянувшись на камнях.
Но мы существуем, и мы здесь.
Мы всегда будем здесь,
те что день за днем ждем рассвета,
чтобы пойти на работу и промочить горло,
и забыть, что мы —
беднейшие из беднейших в веках и
тысячелетьях.

Скажут: нищета испанского народа общеизвестна, в таких стихах нет ничего нового. Так ли это? «Вот мы здесь» звучит, как мне кажется, если еще недостаточно грозно, то неотвратимо Получив однажды хлеб и рубашку, бедняки пошли убивать и заплатили за это кровью, а затем остались снова без хлеба и рубашки. Человек сперва осознает свою судьбу, и только потом перестает покоряться ей...

В «Молении о жизни» нет никакой мольбы. Ее нет и в стихотворении Леопольдо де Луиса «Окно», одном из самых сильных в книге. Я ограничусь пересказом его. Безумные строители создали слепую архи-

тектуру, воздвигая тысячи стен между мечтами и злобой, строя помещения, где только мрак и одиночество. Двери никуда не ведут. Стены закрывают солнце. Мы идем по лестницам и переходам, которые возвращают нас на то же место. Мы ищем выхода, но его нет. Нет улиц, городов, мира; есть только бесконечные коридоры, по которым проходит жизнь. Везде злоба, каждая стена — стена ненависти. Мы это знаем, но говорим себе: в следующем помещении будет выход. Мы мечтаем, чтобы стены раскрылись. Мы воображаем улицы и пейзажи будущего, залитые светом. И мы чувствуем огонь в руках, мы хотим пробить бреши в стенах. Ранеными руками мы мечтаем построить окно к чистому свету, которое завтра откроет наш сын.

Это видение «слепой архитектуры» преследует читателя во всей книге. Но вместе с тем он чувствует, что по темным коридорам идут люди, ищут выхода, бьются головой о стены ненависти, ощупывают камни в поисках места, где можно пробить брешь. Они знают, что выход должен быть, что он есть, что те, кто построил эти стены,— преступники, которых они пока могут назвать только безумцами...

И не случайно три поэта: Рафаэль Монтесинос, Луис Хименес Мартос, Хулио Гарсес — посвящают стихи памяти Антонио Мачадо, в 1939 году пешком ушедшего из Испании, потому, что он не хотел жить среди слепой архитектуры франкизма, и умершего через несколько недель у самой испанской границы.

Когда мне уж нечего будет
сказать, назову твое имя,
и вечер станет светлее.

(Рафаэль Монтесинос, «В честь поэта»)

По мере того, как эти заметки близятся к концу, голоса отдельных поэтов снова сливаются для меня если не в один голос, то в некий общий хор, в котором каждый исполняет свою партию, порой совершенно иного характера, чем партия соседа; но в этой партитуре есть единая основная тема. Это трагическая тема, порою гневная, порой смиренная, иногда ослабленная равнодушием, беспечностью, бездумностью, иногда поднимающаяся до ясной, четкой мысли. Эта тема — хождение испанского народа по мукам. И как всякая подлинная трагедия, крестный путь Испании освещен звездой надежды, звездой далекой, но путеводной.

Рядом с книгой, вышедшей в Мадриде, на моем столе лежит другая, неизданная. Это рукопись подлинного наследника Мачадо и Лорки, их близкого друга и бесспорно первого испанского поэта наших дней Рафаэля Альберти. Его стихов в мадридской антологии нет. Голос эмигранта, почти восемнадцать лет оторванного от родины, конечно, невесел. Но я перечитываю его стихи, и вечер Испании, действительно становится светлее. Не только потому, что это голос большого поэта, рядом с которым в Испании пока некому стать. Нет, этот голос продолжает и развивает тему всей испанской поэзии. В нем верность и надежда вырастают из трагедии, как естественное человеческое разрешение ее. Мне кажется уместным закончить эти заметки стихотворением Альберти «Баллада, сложенная человеком, который никогда не бывал в Гранаде» Гранада — родной город Гарсии Лорки, город, в котором он был убит. Но, конечно, Гранада здесь — только символ.

О, как ты далека за морями, полями, горами!
Голова побелела, и солнце чужое над нами.
Никогда не бывал я в Гранаде.
Голова побелела, нет праздников, только поминки.
Все ищу я былые, запретные ныне тропинки.
Никогда не видал я Гранады.
Не фонарь, а зеленую ветку мне дайте в дорогу
и коня, и уздечку,— галопом помчусь от порога.
Никогда не вступал я в Гранаду.
Вот и башни ее. Кто враги, что толпятся на стенах?
Кто свободное эхо сковал перекличкой измены?
Никогда не бывал я в Гранаде.
Кто сады ее держит сегодня в плену под замками?
Кто фонтаны лишил языка, заковав их цепями?
Никогда не видал я Гранады.
О придите скорей, все, кто не был ни разу в Гранаде!
Посмотрите: здесь кровь пролилась и зовет нас к осаде.
Никогда не вступал я в Гранаду.
Эта кровь на пороге любого гранадского дома,
Эта кровь на листве во дворах, на воде водоема.
Никогда не бывал я в Гранаде.
Это кровь дорогого и лучшего друга и брата,
и бегут по Хенилю и Дарро* кровавые пятна.
Никогда не видал я Гранады.
Высоки эти башни, но выше всех башен отвага.
Так вперед по морям, по полям, по горам и оврагам!
И вступлю я в Гранаду.

---

* Река Дарро впадает в Хениль у Гранады, Хениль впадает в Гвадалквивир.

Т. Мотылева

О некоторых вопросах реализма XX века

«Реализм предполагает широту, а не узость... Правда может быть многими способами утаена и многими способами высказана».

Бертольт Брехт.

I.

В последнее время много спорят о реализме. Спорят о точном смысле и границах этого понятия, спорят о том, в какой мере оно применимо к искусству наших дней. Одной из особенностей литературных споров истекшего года является то, что принципиальные противники реализма обнаружились не только среди деятелей реакционного буржуазного искусства, но и в демократическом лагере. Те литераторы стран народной демократии, которые взяли на себя неблагодарную роль новых Климов Самгиных, пытающихся упразднить социалистический реализм (а был ли мальчик-то? Быть может, мальчика и не было?) — нередко по сути дела отрицают или объявляют устаревшим не только реализм социалистический, но и реализм как таковой. Искусство минувшего столетия представляется им безнадежно отжившим. Новое время, утверждают они, требует радикального разрыва с художественным наследием прошлого.

Носителем таких воззрений выступает, например, польский критик Артур Сандауэр, изложивший недавно в печати теоретические основы литературно-художественной группы «Новейшие». И Сандауэр, и его единомышленники находятся, по его словам, в «оппозиции к искусству XIX века». Современное искусство, говорит он, отличается от классического тем, что стремится воздействовать на людей «не кружным путем, через интеллект, а непосредственно — как музыка или физическая сила». Он поясняет эти слова: «Чтобы содержание фразы могло дойти до нас, мы должны прежде всего ее понять, а для того, чтобы поддаться действию музыки или физической силы, не требуется понимать их — достаточно испытать их на себе». Глядя на произведение абстрактной живописи, зритель, по мнению Сандауэра, не должен спрашивать: «Что здесь изображено?», он должен просто поддаться «потоку ассоциаций, музыке фигур и красок». Подобные же эстетические принципы Сандауэр распространяет и на литературу. Представляя, по собственным словам, «наиболее рационалистическое крыло» той группы, от лица которой он выступает, он считает вполне законным в литературе и выражение иррационализма, «творчество интуитивное или экстатическое».

В цитированной статье Сандауэра слово «реализм» не встречается ни разу. Но отношение автора к реализму очень ясно вытекает из хода его рассуждений.

Само собой разумеется, что современное искусство и не может и не должно быть простой копией классических образцов. Однако А. Сандауэр отвергает не только те конкретные художественные средства и приемы, которые были выработаны реалистами прошлого столетия, — но и самые коренные, общие для разных эпох, принципы реалистического искусства. Зритель, читатель, с его точки зрения, не должен задумываться над тем, «что здесь изображено». Следовательно, и художник, и писатель вправе не заботиться о правдивости своих образов, о соответствии их действительности. Писатели-реалисты разных поколений — от Бальзака до Шолохова и от Пушкина до Броневского — отразили громадное многообразие человеческих дум и чувств, отношений и переживаний. Они помогли и помогают людям познать окружающий мир и самих себя, и в этом великая их заслуга. Но Артур Сандауэр с легкостью отказывается от познавательного назначения искусства. Более того, — он отрицает за писателем и художником право будить и обогащать человеческую мысль. Он признает за ними лишь право — действовать на чувство, на инстинкт, подобно «музыке или физической силе». Сама эта аналогия в высшей степени неправомерна, — неужели симфония Бетховена или Шостаковича способна вызвать в человеке лишь столь же элементарную духовную реакцию, как толчок или удар? Неправомерна и аналогия между музыкой и другими родами искусства, которые, по самой своей природе, дают более непосредственное и конкретное отражение реального мира. Понятно, что картина беспредметного характера, рассчитанная на то, чтобы действовать на зрителя не содержанием, не смыслом, а только «музыкой

фигур и красок», — может в лучшем случае возбудить лишь весьма несложные эмоции... Недаром же сам А. Сандауэр говорит о сходстве творчества модернистов с первобытным искусством. Долой завоевания великих художников, чьи творения учили понимать мир, назад к примитиву! «Вот смысл философии всей».

Во время фашистской оккупации Польши Артур Сандауэр переводил поэму Маяковского «Хорошо!» Трудно себе представить, чтобы его привлекли к этой поэме только сила ритмов и новаторство созвучий. Трудно себе представить, чтобы он был вовсе равнодушен к тем *реальным* событиям, которые отражены в Октябрьской поэме Маяковского, к тем великим идеям, которые одушевляют ее. Тем более прискорбно, что в своих нынешних эстетических концепциях Сандауэр ушел так далеко от идейного наследия советского поэта, чье слово было для него духовной опорой в годы гитлеровского гнета.

Художественное воспроизведение действительности несет в себе определенное отношение к изображаемому, хочет этого автор или не хочет. Если же художник отказывается от постановки проблем реальной жизни, предается «чистой» игре красок и звуков, то он тем самым лишает себя возможности вынести свой приговор жизненным явлениям. Отказ от реалистических принципов неминуемо ведет к утрате или снижению идейности искусства.

Артур Сандауэр утверждает, что «современное» — то есть модернистское — искусство отличается большей «активностью», нежели произведения тех писателей и художников, которые он считает устаревшими. Однако, отнимая у искусства задачу познавать действительность, он тем самым обрекает его на крайнюю социальную *пассивность*, бесконечно умаляет его роль в поступательном движении человечества.

Статья Сандауэра, как и некоторые другие аналогичные выступления напоминают нам о том, что реализм — понятие отнюдь не академическое. Наша критика долгое время исходила из того, что ценность реалистического метода — такая же бесспорная истина, как 2×2=4. Искусство должно отражать действительность, оно должно быть правдивым, это само собой разумеется, что же тут, дескать, доказывать? Но реализм не такое уж азбучное понятие: он является в наши дни предметом весьма острой идейно-литературной борьбы.

У нас в критике одно время бытовало догматическое представление, будто все передовые литературно-художественные силы в разных странах твердо стоят на позициях реализма, а сторонниками антиреалистических, модернистских течений выступают исключительно отъявленные реакционеры, с которыми нечего и разговаривать. Однако дело обстоит не так просто. С врагами, конечно, дискутировать не о чем. Но с заблуждающимися друзьями дискутировать необходимо. Защита реалистических принципов творчества, и в особенности защита социалистического реализма — большая, очень актуальная задача советской критики. Но защита эта вряд ли может сводиться к простому повторению общеизвестных истин. Она требует выяснения многих вопросов, которые долгое время мало ставились нашим литературоведением и которые многим людям — не только за рубежом, но и у нас — представляются запутанными и неясными.

В советском литературоведении споры о реализме имеют свой аспект. Имеются сторонники термина «реализм» в широком толковании, согласно которому реализмом надлежит считать всякое правдивое отражение жизни в искусстве,— и сторонники более узкого толкования, согласно которому реализм является лишь одним из направлений в искусстве нового и новейшего времени. Одни считают, что начало реализма следует искать у Бальзака или у Пушкина, другие, — что черты его можно обнаружить уже в «Илиаде» или «Слове о полку Игореве». Однако никто у нас не отрицает, что правдивое отражение жизни заложено в самой сущности всякого большого искусства; никто не отрицает, что реализм (пусть не как законченный художественный метод, а хотя бы как тенденция) присутствует в творчестве многих крупных писателей разных эпох.

Неверно и схематично рассматривать всю историю мировой литературы — как историю борьбы «реализма» и «антиреалистических течений»: нельзя отрицать, что и классицисты, и сентименталисты, и романтики внесли в свое время существенный вклад в художественное освоение мира. Однако столь же неверно рассматривать реализм на равных основаниях с другими, гораздо менее важными направлениями искусства. Иные противники социалистического реализма за рубежом говорят примерно так: пусть-де и реализм, и социалистический реализм существуют на одинаковых правах с импрессионизмом, сюрреализмом, «абстрактной» живописью и так далее. Такое умаление места, занимаемого реализмом в современном искусстве, объективно представляет собою, конечно, атаку на реализм, и в особенности на реализм социалистический.

Нельзя стирать своеобразие отдельных направлений в литературе и искусстве разных стран. Недопустимо предавать анафеме все то, что не укладывается в ту или иную схему или формулу реализма. Однако следует, думается мне, оценивать отдельные литературные направления и творчество отдельных писателей исходя из того, насколько правдиво и полно они отражают жизнь, насколько ясно видят основные тенденции ее развития, насколько умеют открывать *новое* в действительности. (Ведь нередко у больших художников и за романтическими, и за символическими образами стоит определенное жизненное содержание!) И важно учитывать, конечно, что само понятие «реализм» исторически изменяется. Реализм XX века во многом отли-

чается от реализма Бальзака или Гоголя; реализм послеоктябрьской эпохи (не только социалистический, но и критический) имеет свои исторически обусловленные черты. Во всем этом поучительно разобраться.

2.

В эпоху империализма и пролетарских революций борьба двух культур внутри каждой национальной культуры принимает исключительно сложные, запутанные формы. Иной раз реакционные литераторы завоевывают доверие читателя именно тем что придерживаются внешне вполне реалистической манеры письма и освещают новые участки действительности: достаточно вспомнить многие рассказы Киплинга. Иной раз субъективно искренний, по-своему сильный протест писателей против империалистического варварства облекается в декадентски-сумбурные образы: достаточно вспомнить антивоенную поэзию немецких экспрессионистов. Порой художники, чье творчество проникнуто искренней неприязнью к буржуазным, собственническим нравам, вместе с тем кровно привязаны к классу собственников: пример тому — Джон Голсуорси. Порой художники, с мучительной искренностью обнажающие беспомощность и бесплодие модернистского искусства, сами находятся под немалым влиянием идеологии и эстетики декаданса: пример тому — Томас Манн.

Западная литература XX века порождает немало подобных запутанных ситуаций. Но они не должны заслонять от нас главного. Декадентские течения, взятые в целом, выражают глубочайший кризис буржуазной культуры творчество лучших писателей-реалистов, взятое в целом, отражает протест широких народных масс против империализма, его социальных устоев, его политики. И именно эти писатели-реалисты — Франс, Роллан, братья Манны, Драйзер, Голсуорси, Шоу, Нексе, не говоря уже о нашем Горьком, создают уже в начале века устойчивые и бесспорные художественные ценности, становятся первыми классиками литературы XX столетия.

Кризис буржуазной культуры налагает свой отпечаток даже на самых крупных западных писателей этой эпохи, нередко в той или иной мере затемняет их кругозор, затрудняет их творческие искания. Но поступательное развитие реализма не прекращается. Оно идет диалектически сложным путем Мастера критического реализма XX века в чем-то уступают своим великим предшественникам — и в чем-то превосходят их.

Новизна реализма XX столетия порождается уже самим своеобразием исторической обстановки. Противоречия капиталистического общества приобретают в эпоху империализма особо острый, более обнаженный характер — и литература обогащается новыми темами, новой социальной проблематикой. Крупнейшие писатели-реалисты протестуют против подготовки империалистических войн (Г. Манн, Шоу, Франс), изобличают лицемерие буржуазной демократии в ее новейших формах (Франс, Драйзер), с тревогой раскрывают вырождение буржуазной культуры (Т. Манн, Роллан, Уэллс), стремятся показать роль народных масс в исторических судьбах человечества (Роллан, Дж. Лондон) и в особенности — историческую роль пролетариата; в этом смысле, конечно, очень велики заслуги Мартина Андерсена Нексе.

Однако новаторство западных реалистов, выступивших в начале нашего столетия, обнаруживается не только в тематике, но и в области художественного мастерства. В двадцатом веке, как это было и в девятнадцатом, реалистическая литература стремится постичь человека и общество в их взаимодействии, передает через человеческие судьбы коренные социальные конфликты эпохи. Но она делает это во многом новыми средствами.

В XIX веке реализм развивался в сторону все большей достоверности. Он все более последовательно стремился не только к правдивости в широком смысле слова, но и к правдоподобию — вплоть до мельчайших подробностей. Это стремление порождалось и теми большими познавательными задачами, которые ставила перед собой литература, — и, вместе с тем, внутренней логикой развития искусства: реализм XIX века тщательно отмежевывался, отталкивался от романтизма. В противовес творчеству романтиков, которые искали свой социальный и нравственный идеал *вне* повседневной действительности, тяготели к фантастике, экзотике, к изображению невероятных ситуаций и исключительных личностей, — реалисты XIX века сознательно стремились к тому, чтобы создать летопись современной жизни, в ее повседневных событиях и конфликтах. Верность передачи типических характеров и обстоятельств они сочетали с правдивостью деталей. Это осознанное тяготение великих реалистов прошедшего столетия к точной передаче повседневных людей и событий, постепенное преодоление черт романтизма нетрудно проследить на множестве примеров, на самых высоких образцах французского реализма от Стендаля до Мопассана, английского — от Диккенса до Харди, русского — от Пушкина до Толстого.

Реализм XIX века был одушевлен неутолимой жаждой познания действительности. Он стремился всюду проникнуть, все осветить, все охватить; именно это стремление внушило Бальзаку титанический замысел «Человеческой комедии» и подсказало Теккерею слова «романист знает все». Тяготение к универсальности, синтетичности сказалось — вслед за классиками западного реализма — и в реализме русском формула Белинского «энциклопедия русской жизни» применима к «Войне и миру» и «Воскресению» еще в большей мере, чем к «Евгению Онегину». Поступательное движение реализма XIX века шло одновременно *вширь* (в сторону все более всестороннего охвата социальной действительности, включая и «верхи» и «низы») и *вглубь* — в сторону

все более основательного проникновения во внутренний мир человека. На Западе в пору торжества натурализма познание жизни «вширь» продолжалось и дало новые успехи — не только в «Ругон-Маккарах», но и в драмах Гауптмана, в романах Реймонта. Но познание человека «вглубь» в эту пору шло вперед заторможенно и с остановками: писатели натуралистического склада отнюдь не были психологами и не могли ими быть. В русском же реализме конца XIX — начала XX вв. освоение действительности и «вширь» и «вглубь» плодотворно развивалось — от Толстого и Достоевского через Чехова к Горькому.

Многие видные западные реалисты XX века унаследовали от своих предшественников в прошедшем столетии тяготение к универсальному охвату жизни. Об этом свидетельствуют и монументальные полотна Теодора Драйзера, и широкая картина французских политических будней в «Современной истории» А. Франса, и эпический разворот многотомной «Саги» Голсуорси, и то мастерство, с каким передан ход общественного развития Германии в «Будденброках» Томаса Манна. В реализме XX века несомненно усилилась социальная емкость романа, возросло умение больших прозаиков умещать в рамки *одного* большого повествования (а не только цикла или серии романов) множество разнообразных фактов социального бытия. Но развитие реализма натолкнулось в XX веке на серьезные препятствия, заложенные в мировоззрении ряда крупных писателей. И братьям Манн, и Голсуорси, и Франсу — каждому из них по-своему — мешала неясность социальных воззрений. В XX веке — не только после, но и до Октябрьской революции — уже становилось невозможным охватить общественную жизнь в ее целостности, не понимая той миссии, которая была возложена историей на рабочий класс. В эпоху империализма и пролетарских революций новую «Человеческую комедию» мог создать художник, владеющий социалистической перспективой. Таким художником явился Горький. Закладывая основы социалистического реализма, он попутно решал и такие задачи в области реализма критического, какие переставали быть посильными его современникам на Западе: именно он — глубже и сильнее, чем Голсуорси, Драйзер или братья Манн, — раскрыл историческую обреченность эксплуататоров, ибо его взору была доступна революционная будущность эксплуатируемых.

В свое время у Золя, как и у других писателей, так или иначе связанных с натурализмом, расширение социального диапазона отчасти шло за счет психологической глубины: существенное, социально-типическое в человеке в известной мере подменялось случайным, индивидуальным, биологическим. У Толстого, отчасти у Достоевского, у Чехова, впоследствии и у Горького расширение социального диапазона словесного искусства влекло за собой новую полноту и глубину психологического анализа. И в этом, пожалуй, с наибольшей силой проявилось всемирное значение русской литературы. У каждого из великих русских реалистов новейшего времени открытия в области душевной жизни тесно связаны с большими *социальными* масштабами их творчества. Достоевский показал писателям мира, какая бездна внутренних конфликтов может таиться в рядовой, казалось бы, личности; и как бы ни пытался автор «Братьев Карамазовых» мотивировать остроту этих конфликтов извечными и непостижимыми тайнами человеческой натуры, — силой своего реализма он неминуемо выводил трагедии индивидуального бытия из кричащих противоречий бытия социального. Толстовская «диалектика души» неотделима от большой социально-философской проблематики толстовского реализма. Духовная эволюция Андрея Болконского и Пьера Безухова направляется могучим патриотическим движением масс; сложные искания Нехлюдова из «Воскресения» приобретают особый драматизм именно во взаимодействии с повседневной жестокостью угнетателей и повседневными муками угнетенных... Еще более обнаженно-социальный характер имеет человековедение Горького — от контрастной обрисовки классово-психологических типов в «Мещанах» до изощренной интеллектуальной анатомии «Жизни Клима Самгина».

Если бы искусство познания человека в XX веке не пошло вперед, мы вообще не имели бы права говорить о поступательном движении реализма в текущем столетии. В тех разнообразных приемах изображения личности, какие мы находим у западных сверстников Горького, можно видеть очень сложное сочетание побед реализма и его поражений. Повышенная роль биологических факторов (скажем, у Драйзера), налет мистифицирующей аллегоричности (скажем, на последних страницах «Жан-Кристофа»), частичное или полное выключение индивидуума из социальных связей (скажем, в романах Г. Манна о герцогине Асси или в поздних романах Джека Лондона) — все это отражало кризис буржуазной мысли, шло за счет антиреалистических и антинародных влияний. Но многие сильные, талантливые страницы, созданные мастерами западной литературы XX века, свидетельствовали о возросших психологических возможностях реализма. Вслед за Толстым и Достоевским — и в значительной мере благодаря им — повысился интеллектуальный уровень литературного героя: напряженные умственные искания современного человека, биение тревожной социальной мысли, столкновение философских и эстетических взглядов — все это прочно вошло в орбиту повествовательного искусства у Франса, Роллана, Т. Манна, отчасти у Уэллса, вошло в орбиту драматического искусства у Шоу (продолжившего в этом смысле достижения Ибсена и Чехова). Достоянием всей большой литературы XX века стало изображение человека в его внутренней противоречивости, изменчивости, «текучести»: достаточно вспомнить, как многосложна у Роллана эволюция Жан-Кристофа или насколько

диалектичнее, многограннее обрисован буржуа-эгоист Сомс Форсайт в сравнении с его литературными предками, изображавшимися «блестящей школой» английских романистов прошлого столетия. Тонкие, гибкие приемы психологического анализа, в свое время новаторски примененные русскими реалистами, и в особенности Толстым, неслышная внутренняя речь, отражающая непринужденный, подспудный ход мысли, искусство психологически окрашенного портрета, будничный по форме диалог с многозначительным подтекстом — все эти и иные средства изображения внутренней жизни людей, разрабатываемые разными писателями на разные лады, вошли в плоть и кровь реалистического искусства XX столетия, определяя собой новую ступень в художественном познании человека.

Нет, реализм XX века не явился простым повторением классических образцов! И тут мы подходим к очень нелегкому и спорному вопросу. В XX веке само понятие реализма качественно меняется. Оно перестает включать обязательное требование эмпирической достоверности.

Мы привыкли относить к критическому реализму XX века не только Голсуорси, но и Шоу, Уэллса, не только Драйзера, но и Дж. Лондона, как и, разумеется, Франса, Роллана, обоих Маннов, Чапека. Однако эти писатели далеко не всегда стремились к правдоподобию.

Если в реалистической литературе XIX века поиски простоты, естественности, строгого соответствия жизненным фактам отчасти порождались отталкиванием от романтической ходульности, то в реалистической литературе начала XX века сильно сказывалось другое стремление: оттолкнуться от натурализма, с его огрубленностью, приземленностью, эмпирически плоской приверженностью к фактам. Анатоль Франс резко осудил «Землю» Золя, молодой Ромен Роллан критиковал современных ему живописцев за мелочное копирование и неумение «проникнуть в суть вещей», Г. Манн в раннем романе «В земле обетованной» зло пародировал мнимоправдивую пьесу из народного быта... На рубеже XIX и XX столетий принцип строгой достоверности был сильно опорочен практикой натурализма. И некоторые крупные писатели, вступившие в литературу в этот период, порой не только отвергали натурализм, но и придавали весьма мало значения правдоподобию в искусстве.

Роман Г. Манна «В земле обетованной» был написан под сильным влиянием французских писателей. В нем есть типы и ситуации, очень близко напоминающие эпизоды из романов Золя или «Милого друга» Мопассана. Однако оригинальность молодого писателя проявилась не только в том, что он изобразил германскую столицу, немецкие нравы. Жизненные факты, знакомые читателю по литературе предшествующих десятилетий, он подал и истолковал по-новому, внеся в обрисовку типов и развитие действия налет эксцентрики, неверо-ятности, — недаром через весь роман проходит фольклорно-сказочный мотив Schlaraffenland'a — страны кисельных берегов. И хищник-банкир, и молодой литератор-карьерист, и аморальная светская дама — все эти традиционные типы западного романа XIX века приобретают у Г. Манна неожиданную полуфантастическую окраску. И гиперболизм характеров, и нарочито стремительное развитие фабулы не уводит читателя в сторону от социальной действительности, а помогает яснее увидеть нелепость, противоестественность буржуазных нравов.

Этот пример характерен. Писатели-реалисты Запада, начавшие творческую деятельность на рубеже столетий, по-своему очень живо реагировали на социальные противоречия своего времени. Они, как правило, не видели перспектив общественного развития, но видели грандиозность социальных столкновений, свойственных новому веку, хотели осмыслить эти столкновения и отразить их в искусстве. Поиски эффективных, доходчивых способов воздействия на сознание читателя обусловили и бурное вторжение публицистики на страницы многих художественных произведений этой эпохи: вспомним пространные философско-политические диалоги персонажей Франса, развернутые публицистические отступления «Жан-Кристофа» и революционную риторику ранних ролландовских драм, вспомним знаменитые развернутые ремарки и предисловия к драмам Шоу. В сочетании поэтического слова с обнаженной публицистичностью проявлялось новаторство этих писателей; вместе с тем иногда они посредством публицистики досказывали то, что им не вполне удавалось выразить посредством образов. Но в то же время они очень хотели высказать свое активное, как правило, очень непримиримое, отношение к буржуазной действительности именно силою образов. И они искали для этого свежих художественных средств.

Реализм XX века принимает исключительно разнообразные стилевые и жанровые формы. Наряду с обстоятельным, безукоризненно точным изображением повседневной жизни в «Будденброках» или «Саге о Форсайтах» мы находим в литературе той эпохи и фантастические, утопические сюжеты (в «Острове пингвинов» или «Железной пяте»), и парадоксальные, часто невероятные фабулы пьес Шоу, и гиперболические образы с отрицательным знаком (например, у Г. Манна в «Учителе Унрате»), и гиперболические образы с положительным знаком («Жан-Кристоф»), и причудливое сочетание научности с необузданным вымыслом в романах Уэллса, и пеструю приключенческую романтику рассказов Дж. Лондона, и монументально обобщенные образы поэзии Верхарна... Только безнадежный упрощенец мог бы сказать, что все эти явления западной литературы идут от лукавого, то есть от декаданса, и поэтому заслуживают осуждения. Нет, во всем этом сказываются, в первую очередь, *поиски новых форм реализма*, которые помогли бы отразить сложную, многообразную социальную действительность

XX века и передать отношение художника к ней.

В недавно опубликованных фрагментах из литературных дневников Ю. Олеши есть интересные замечания об Уэллсе. «Если мы говорим, что в капиталистическом мире техника подавляет человека, то лучше всего это подавление, этот страх человека перед машиной выражен, конечно, автором «Борьбы миров» — романа, где есть сцена, в которой смятенный человечек в пиджачке и кривом галстуке, прижавшись к какой-то жалкой городской стене, с ужасом смотрит на приближающийся к нему сквозь развалины стальной щупалец марсианина»... Олеша прав, когда говорит о наличии в фантастике Уэллса «свойств подлинности». Опыт развития реализма в предшествующем столетии не прошел бесследно, конечно, и для тех писателей нашего века, которые предпочли условные формы изображения действительности. Очень характерно, что марсиане Уэллса сталкиваются с *реальными* будничными людьми наших дней, с вполне обычными «человечками в пиджачке и кривом галстуке». Фантастика у Уэллса почти всегда сочетается с верно найденными штрихами повседневного быта, и это придает ей особую силу убедительности. И в конечном счете фантастика эта, как и свидетельствует приведенный Олешей пример, становится средством реалистически точного изображения буржуазного мира или хотя бы некоторых сторон его.

Для нас не безразлично, что восставшие ангелы у Анатоля Франса разгуливают по реальному, отчетливо обрисованному Парижу эпохи Третьей республики, что «Железная пята» начинается с очень правдивых картин общественного быта Америки Мы почти не найдем у больших писателей XX века произведений, где действие происходило бы — как это было у романтиков — в мире «чистой» экзотики или сказки. Но мы часто найдем у них произведения, где условность, гипербола, гротеск, вырастая из осмысления реальной жизни, сочетаясь с картинами реальной жизни, целеустремленно используются для того, чтобы рельефнее воссоздать подлинные тенденции социальной действительности.

Реалисты XX века не игнорируют законов современного им общества, как это часто делали романтики. Но они нередко раскрывают эти законы через неправдоподобные, казалось бы, образы. Утопический сюжет «Железной пяты» отражает существенные тенденции общественной жизни США; легендарно-карикатурные образы «Острова пингвинов» заключают в себе большую силу реалистического обличения, затрагивающего основы государственного устройства Франции; гротескные фигуры Упрата и Дидериха Гесслинга у Г. Манна предвосхитили подлинные черты немецких фашистов; Ромен Роллан, наделяя Жан-Кристофа и Кола Брюньона необычайной одаренностью и жизнестойкостью (вспомним, как Кола, наперекор медицине, силою духа превозмогает чуму!), утверждает таким путем реальную мощь и бессмертие прогрессивных сил народа.

Не следует видеть в каком-либо из названных произведений единственно возможную форму реалистического искусства. Но ведь тем более нельзя выводить Франса, Шоу или Уэллса за пределы реализма. Значит необходимо, не только на словах, но и *в критической практике*, признать историческую правомерность того стилевого и жанрового многообразия, каким отличается реализм XX века.

3.

Октябрьская революция и связанные с ней события всемирной истории (углубление всеобщего кризиса капиталистической системы, рост революционного движения на Западе, национально-освободительная борьба в колониях) сильно сказались на развитии мировой литературы.

В послеоктябрьские годы выросла плеяда талантливых писателей нового типа — художников-борцов, открыто связанных с революционным пролетариатом, создающих у себя в странах литературу социалистического реализма; о них еще речь впереди.

События революционных лет вызвали глубокие сдвиги в сознании крупных мастеров культуры старшего поколения — таких, как Барбюс, Роллан, Франс, Драйзер, Шоу, Г. Манн. Идейная сущность этих сдвигов давно выяснена нашей критикой. Однако при анализе творчества этих писателей очень важно иметь в виду верное замечание, высказанное в свое время Алексеем Толстым: «...понять, освоить политически еще не значит освоить художнически. Очень часто художническое освоение отстает от современности или охватывает ее по поверхности, внешне и даже в том случае, когда художник политически стоит как будто на высоте». Крупные западные художники, понявшие величие социалистического строя, далеко не всегда могли претворить новые социальные истины, усвоенные ими, в полнокровные художественные образы; отчасти именно этим объясняется и политически нейтральный характер последних книг Франса, и идейная недосказанность таких романов Драйзера, как «Стоик» или «Оплот», и крайняя хаотичность, неясность замысла многих поздних драм Шоу, и рецидивы декадентского иррационализма на иных страницах «Очарованной души» Роллана, и явная художественная слабость некоторых поздних произведений Г. Манна (например, его посмертно вышедшего романа «Прием в свете»). Все названные художники проделали в послеоктябрьские годы большой путь политического и творческого развития, создали ряд значительных книг. Но путь каждого из них был негладким и неровным И тут играли роль, конечно, не только издержки политических исканий, не только чуждые социализму идейные веяния, но и те внутренние творческие трудности, в силу которых «художническое освоение» передовых идей подчас отставало от требований эпохи.

Барбюс, а вслед за ним и Роллан в результате нелегких поисков пришли к художественному утверждению социалистического идеала. У Генриха Манна новый положительный идеал получил очень неожиданное художественное преломление в ярких романах о Генрихе IV, проникнутых духом воинствующего демократизма и гуманности. В «Американской трагедии» Драйзера, в лучших из поздних пьес Шоу (за исключением «Святой Иоанны», где появляется новый для Шоу героический народный образ) влияние передовых идей эпохи выразилось не прямо, в утверждении идей социализма, а косвенно — в более резком *отрицании* буржуазного строя. Уважение этих писателей к новому миру заставило их острее почувствовать гнилость старого мира.

В нашем литературоведении проблема влияния Октябрьской революции на зарубежную литературу не раз толковалась упрощенно: в сферу этого влияния включались только писатели, понявшие значение великого Октября и ставшие друзьями Советской России. На самом деле влияние это было значительно шире. Октябрьская революция обострила ощущение противоречий буржуазного общества не только у тех писателей, которые встали на ее сторону, но и у тех крупных художников-реалистов, которые на ее сторону не встали. Социальный критицизм реалистической западной литературы в послеоктябрьскую эпоху не ослабевает, — он усиливается. Усиливается не только у таких крупных старых мастеров, как Томас Манн или Голсуорси, но и в творчестве многих писателей, достигших зрелости в 20-е или 30-е годы. Литература *критического реализма* — очень важная составная часть мировой литературы послеоктябрьского сорокалетия, включая и наш сегодняшний день.

Обращаясь к современной литературе критического реализма на Западе, мы сразу наталкиваемся на трудную методологическую проблему — о соотношении мировоззрения и творчества художника в наше время. В самом деле, и Хемингуэй, и Ремарк, и Колдуэлл, и Мориак, и Моравиа, и Артур Миллер, и даже такой бесспорный классик реализма, как Роже Мартен дю Гар, — все эти большие художники стоят на неясных или неверных позициях в своем понимании многих важных проблем современности. Эти писатели ценятся, печатаются, изучаются у нас. Но мы не можем — и не должны! — становиться на ту точку зрения, будто взгляды писателя, его политические симпатии или антипатии несущественны для его творчества. Есть много истины в тезисе А. Лефевра о «конце эстетической бессознательности», о том, что позиция Бальзака, создавшего реалистические шедевры вопреки своим политическим предрассудкам, сегодня уже невозможна. В нашу эпоху зависимость творчества художника от его мировоззрения становится гораздо более прямой, более непосредственной, чем в прежние времена. Писатели, которые закрывают глаза на такую очевидную реальность, как победа социализма в Советском Союзе, рост мирового коммунистического и рабочего движения, существование мировой социалистической системы, — *не могут* дать целиком правдивую картину действительности. Положение современных буржуазных беллетристов в этом смысле несравненно сложнее, чем положение Бальзака... Кстати сказать, и Бальзак, конечно, не стоял на позициях «эстетической бессознательности». Гуманистические, демократические элементы его мировоззрения торжествовали и в правде образов, а легитимистские и католические предрассудки Бальзака, оттеснявшиеся силою реалистического постижения жизни, могли исказить лишь отдельные детали в созданной им величественной картине. Однако в наши дни мы уже не можем представить себе художника, который, будучи отягощен подобными предрассудками, был бы способен создать обобщение такого масштаба, какое создал автор «Человеческой комедии». Эти предрассудки сразу пришли бы в конфликт с самыми элементарными, очевидными жизненными фактами. Ведь теперь пути борьбы за лучшее будущее человечества обозначились с несравненно большей ясностью, чем столетие или полстолетия назад!

Однако и сегодня связь между мировоззрением и творчеством художника — это именно *связь*, а не тождество, не механическое соответствие. Творчество писателя и в наши дни нередко оказывается богаче, содержательнее, глубже, вернее по своей направленности, чем его политические декларации.

Писатель, не разделяющий идей марксизма-ленинизма, может тем не менее ощущать неблагополучие в современном капиталистическом мире, может осуждать империалистическую агрессию, расизм, различные формы политического и религиозного мракобесия, лицемерия буржуазной морали. На этой *идейной* основе и возникают книги, которые логикой своих образов ставят под сомнение капиталистическое общество, подрывают устои капиталистического мира, хотя бы авторы их и не задавались сознательно такой целью. Иногда даже частичное постижение социальной истины — даже неполное, не вполне последовательное выражение гуманистических идей — может дать в искусстве весьма положительные результаты.

Социальной базой критического реализма в современной западной литературе в наши дни, как и в начале века, является протест широких демократических масс против империалистического гнета. Этот протест отражается у разных художников с неодинаковой силой, неодинаковой идеологической ясностью — но именно он лежит в основе лучших произведений западных реалистов, определяя их проблематику и направленность.

Начиная с первой мировой войны и по сей день, исключительно важное место в литературе Запада заняла антивоенная тема. Понятно, что в разработке этой темы мастера социалистического реализма — Бар-

бюс, Шолохов — достигли такой глубины и силы, какая недоступна для писателей, придерживающихся буржуазного мировоззрения. Понятно, что особая сила бессмертного Швейка — в том пафосе подлинной народности, каким было одушевлено творчество Гашека. Но не следует недооценивать книги, где — пусть и без революционных выводов — правдиво освещается и осуждается варварство империализма — от романа Хемингуэя «Прощай, оружие» и первых вещей Ремарка до новых повестей западногерманских прозаиков, например Г. Бёля, и романа французского писателя А. Лану «Майор Ватрен». Протест народных масс против фашизма вдохновил таких не схожих друг с другом мастеров, как Карел Чапек и Фейхтвангер; антифашистская тема не потеряла своей актуальности и по сей день, о чем свидетельствует, например, книга Р. Мерля «Смерть — моя профессия». Новую остроту и философский размах приобрела в произведениях новейших критических реалистов тема кризиса буржуазной культуры, которая логикой событий связывается в сознании художников с борьбой против войны и фашизма: достаточно напомнить о такой сильной и мудрой книге, как «Доктор Фаустус» Томаса Манна.

В послеоктябрьское сорокалетие значительно усилилось, приняло самые разнообразные проявления недовольство угнетенных масс, их стремление к политическому, социальному, расовому полноправию. И литература критического реализма в разных формах, в разных тематических областях подняла свой голос в защиту порабощенного человека. Ярко сказалось в этой литературе обличение национальной и расовой дискриминации (у ряда американских писателей; с другой стороны, у Фейхтвангера), подчас даже обличение колониализма («Тихий американец» Гр. Грина). Возросла чуткость реалистического искусства к переживаниям «маленьких людей», прозябающих в нужде, зависимости, вечной неуверенности; эти люди предстали перед читателями и зрителями в разнообразных обличьях — от героев чаплинских фильмов, персонажей новелл Колдуэлла и Шервуда Андерсена и первых романов Фаллады до героев «Римских рассказов» Альберто Моравиа или пьес Э. Де Филиппо. Даже писатели, сильно скованные буржуазным мировоззрением, не могли остаться безучастными к нарастанию глухого гнева среди трудящихся, измученных безработицей и нуждой, к борьбе рабочих масс за свои элементарные права; об этом по-разному свидетельствовали такие романы, как «Звезды смотрят вниз» А. Кронина или «Гроздья гнева» Стейнбека; об этом свидетельствовали и лучшие вещи Эптона Синклера.

Именно в послеоктябрьские десятилетия, когда значительно усилилась притягательная сила демократических, антибуржуазных идей для интеллигенции, в литературе смогла появиться тема, которую можно условно назвать «темой молодого человека XX столетия» — изображение духовного роста личности, порывающей, или пытающейся порвать, с буржуазным миром. В ряду этих молодых людей XX столетия — Марк Ривьер у Ромена Роллана и братья Тибо у Роже Мартен дю Гара, отчасти и Эроусмит у С. Льюиса и Эрик Горин у Митчела Уилсона... Притом примечательно, что в «Семье Тибо», как и в «Эроусмите» и в романах Уилсона, изображение идейных исканий молодого интеллигента тесно связано с конкретным, очень одухотворенным и драматическим показом творческого труда. И повышенный интерес к теме труда, и стремление показать творческую личность в процессе идейного созревания и роста — яркое свидетельство влияния передовых идей эпохи на литературу критического реализма. А образ Марка Ривьера, как и финал исканий Аннеты Ривьер, — один из ярких примеров перерастания реализма критического в реализм социалистический.

Эрнест Хемингуэй однажды сделал признание, подкупающее своей искренностью. Об одном из его героев, Роберте Джордане,— американце, сражающемся за республиканскую Испанию, — говорится: «Он собирался написать книгу, когда все это кончится... Но, чтобы справиться с этим, мне придется стать гораздо лучшим писателем, чем теперь, подумал он. Вещи, с которыми он столкнулся на этой войне, не такие уж простые». Здесь переданы, конечно, раздумья самого Хемингуэя. «Стать лучшим писателем» не значит здесь стать тонким, самобытным мастером слова, — ведь Хемингуэй уже был им, когда писал эти строки. Стать лучшим писателем тут явно значит — подняться на новую ступень *идейной* зрелости. Для художника, воспитанного во взглядах и нравах буржуазного мира, соприкосновение с революционным народом означало очень многое: заставляло по-новому задуматься над многим и ставило задачи необычайной сложности. Задачи эти, как мы знаем, оказались не во всем посильны для автора романа о Роберте Джордане: психология передовых людей нашей эпохи далеко не полностью раскрылась ему. Однако героика народной борьбы, в которой Хемингуэй принял участие, все-таки повлияла на его мироощущение и творчество — хотя бы тем, что повысила его внимание к простому человеку. И это сказалось в повести «Старик и море». В этой повести есть не только сочувствие к бедным людям (что не раз бывало в литературе и раньше, даже в прошлом столетии), но и определенный подтекст *уважения* к рядовому труженику, вера в его силы. Именно в этом уважении, в этой вере — знамение *нашей* эпохи.

Даже самый беглый тематический обзор произведений, созданных писателями-реалистами Запада за последние десятилетия, помогает опровергнуть воззрения догматиков, согласно которым критический реализм в современной литературе представляет незначительную или убывающую величину. Он помогает опровергнуть и воззрения эстетов, которые считают, что новейшая литература Запада ценна главным

образом благодаря своим формальным экспериментам, — и не желают видеть, что творчество многих выдающихся писателей нашей эпохи представляет интерес именно как отклик на вопросы, выдвинутые самой жизнью, как отражение событий и конфликтов, порожденных самой жизнью. Именно в этом смысле можно и должно говорить о реализме таких мастеров, как Хемингуэй, Мориак, Моравиа, Ремарк, Колдуэлл: каждый из них — при всей своей идейной и творческой противоречивости — внес свою долю в познание современной жизни, и притом существенных сторон ее, средствами словесного искусства.

Творчество критических реалистов наших дней знаменует рост художественного освоения действительности не только вширь, но и вглубь. Правда, это можно утверждать лишь с одной существенной оговоркой. Писатели, далекие от социалистического мировоззрения, как правило, не могут проникнуть во внутренний мир передовых людей современности, борцов за лучшее будущее. (Отчасти именно в этом коренятся те творческие трудности, с которыми столкнулся Хемингуэй, работая над романом «По ком звонит колокол»). Но в новейшей литературе критического реализма есть свои психологические открытия.

Роже Мартен дю Гар, Фейхтвангер, отчасти Синклер Льюис, отчасти и Митчел Уилсон очень тонко и многосторонне передали сложную умственную жизнь интеллигентов-искателей, нравственно здоровых, деятельных людей, любящих творческий труд, относящихся нетерпимо к социальной несправедливости, косности, мракобесию. У другой группы прозаиков психологическое новаторство сказалось преимущественно в исследовании трагических явлений душевной жизни человека, в передаче настроений и чувств людей внутренне разорванных, придавленных тяжелой жизнью, униженных, ущемленных. Сюда относится и послеоктябрьское творчество Т. Манна, и произведения Стефана Цвейга, Ремарка, Мориака, ранние вещи Хемингуэя. Если Роже Мартен дю Гар и другие западные писатели, исследующие психологию морально здоровой личности, более или менее тесно связаны с традицией Толстого, то у художников, тяготеющих к изображению людей травмированных и душевно ущербных, несомненна связь с искусством Достоевского.

Притом традиция Достоевского у разных писателей Запада интерпретируется по-разному. Если художникам-реалистам автор «Преступления и наказания» близок как обличитель капиталистического варварства, как психолог, по-новому проникший в переживания униженной и угнетенной личности, — то беллетристы декадентского типа продолжают и усугубляют то худшее, что есть в наследии Достоевского, любуются мрачным подпольем изломанной, эгоцентрической души. Именно так подходил к изображению человека Франц Кафка, именно так подходят к нему в наши дни писатели типа О. Хаксли.

Творчество многих критических реалистов на Западе имеет существенные точки соприкосновения с литературой декаданса — это факт прискорбный, но настолько очевидный, что замалчивать его никак нельзя. Иные новые произведения крупных западных писателей представляют исключительно причудливое сочетание реалистических образов и мотивов с мотивами декадентскими. Характерный пример тому — вышедший в 1956 году роман Ремарка «Черный обелиск», действие которого происходит в Германии вскоре после первой мировой войны. В романе есть блестящие антимилитаристские страницы. Исключительно рельефно, выразительно воссоздана и послевоенная разруха, и смятение в умах маленьких людей, не оправившихся еще от перенесенных бедствий, и первые шаги фашизма. В эпилоге даны меткие сатирические штрихи, характеризующие современную политику западногерманских милитаристов. И вместе с тем роман изобилует натуралистически грубыми сценами, где автор детально и беззлобно, с каким-то грустным цинизмом демонстрирует низменные нравы мещан; единственный чистый, неиспорченный человек в романе — сумасшедшая девушка, в бессвязных речах которой, по очевидному замыслу автора, раскрывается некая высшая мудрость. Эти ущербные черты романа Ремарка не уничтожают его реалистической основы, но все-таки в немалой мере затемняют ее.

Влияние декаданса на писателей-реалистов Запада не следует усматривать в каких-то отдельных чертах художественной манеры: важно помнить, что реализм XX века отличается большим художественным многообразием, и отход от эмпирического правдоподобия, гротескные, аллегорические, условные приемы вовсе не противопоказаны ему. Главное не в отдельных приемах, а в общем взгляде писателя на жизнь и человека, в умении распознать и запечатлеть типические жизненные явления.

Думается, что повесть Дж. Стейнбека «Жемчужина», где есть столь заметная и столь привлекательная для читателя фольклорно-легендарная струя, вполне реалистична по своей природе. В своеобразной поэтической форме эта повесть воспроизводит весьма типическую для буржуазного мира ситуацию: трудящийся человек напряженно и упрямо борется за хлеб, за благополучие своей семьи, против хищников, которые грабят и порабощают его. С другой стороны, другие вещи современных буржуазных беллетристов, где с тщательным соблюдением бытового правдоподобия проводится мысль об извечной и непреодолимой испорченности рода человеческого, — весьма далеки от реализма.

Тенденции, враждебные художественной правде, в современном буржуазном искусстве проявляются по-разному. Существуют открыто антиреалистические течения, подменяющие изображение действительности мрачной или идиллической фантасмагорией, причудливым словесным хаосом. Но гораз-

до более широкое хождение имеют подделки под правду искусства — *псевдореализм* в различных вариациях.

Псевдореализм — современная разновидность натурализма. Его главный принцип можно определить так: «правда частностей ради неправды целого».

Вспомним опять о Киплинге. Широкие писательские круги у нас знают его прежде всего как автора «Книги джунглей». Но Киплинг служил империализму прежде всего, конечно, своими книгами нефантастического характера. В его солдатских стихах и рассказах об Индии немало верно схваченных подробностей, но они включены в ложную систему образов и подчинены ей. Киплинг правдиво показывал тяготы военной службы — для того, чтобы прославить подвиги «Томми», готового терпеть всяческие лишения во имя королевы и Империи. Он правдиво изображал бедственное положение индийцев — но, в конечном счете, лишь для того, чтобы «доказать» их неспособность к самоуправлению и возвеличить цивилизаторскую миссию британской колониальной администрации.

За последние полвека буржуазная литература, и тем более кинематография, накопила большой опыт в области мнимоправдивого изображения действительности. Псевдореалистическая книга или фильм, подкупающие доверие читателя и зрителя показной, фальшивой достоверностью, могут с гораздо большим успехом затемнять умы, нежели какое-нибудь сверхсложное формалистическое произведение. Иной раз авторы псевдореалистических романов старательно воспроизводят ужасы жизни для того, чтобы привести читателя к пессимистическому выводу о безнадежности борьбы. Иной раз заканчивают горестное повествование обманчивым хэппи эндом, чтобы примирить читателя с буржуазной действительностью.

Псевдореализм очень распространен в ходовой буржуазной беллетристике, рассчитанной на широкую публику. Но он имеет свои соблазны и для одаренных художников. Примером может служить вышедшая не так давно книга талантливого писателя А. Кронина «Превыше всего». Действие ее происходит в современной Англии. В начале романа развертывается острый конфликт: неимущий молодой человек мужественно и безуспешно добивается пересмотра дела своего невинно осужденного отца. Тут есть страницы, полные глубокого драматизма; с характерной для Кронина проницательностью обнажаются социальные и психологические пружины, движущие поступками людей. Но неожиданно появляется добрый и влиятельный журналист. Он начинает кампанию в печати в защиту невинно осужденного; все препятствия к пересмотру дела устраняются исключительно легко, как бы сами собой; справедливость торжествует легко и беспрепятственно. Правдивость деталей соблюдена, но правда искусства нарушена.

Все сказанное напоминает, что эмпирическая, бытовая достоверность в современной литературе далеко не всегда может служить критерием реализма. Главное, из чего следует исходить при оценке произведений, — не мелочная правда фактов, а глубокая правда целого, соответствие изображаемых событий внутренним законам современного общества. Главное — не те или иные приемы построения образа, а идейная позиция писателя, раскрывающаяся в образах.

Даже в творчестве крупных западных писателей, близких к идеям гуманизма и демократии, мы можем видеть иногда примесь ложных взглядов, идущих в ущерб правдивости и художественности их книг. Давление декадентских воззрений порой побуждает художников переносить ответственность за мерзости капитализма на греховную человеческую природу (что мы видим у писателей-католиков, например, у Мориака), рассматривать империалистическую войну как непостижимое стихийное бедствие (отголоски такого взгляда есть в ранних вещах Ремарка), отыскивать истоки фашизма в роковой обреченности немецкой нации или в действиях «взбунтовавшейся черни» (от таких воззрений не был вполне свободен Т. Манн), видеть в трудовом народе по преимуществу людей слабоумных и слабовольных (что иногда сказывается в произведениях Колдуэлла). Многие крупные западные реалисты создают лучшие свои произведения в итоге трудных исканий, сложной внутренней борьбы, которая ведется с переменным успехом. И отсюда вытекает задача нашей критики — детально, вдумчиво анализировать творчество таких писателей, уметь разграничивать — где их поражения, а где — настоящие победы.

Чешский критик Иржи Гаек справедливо пишет: «Мы отрешились, — надеюсь, окончательно — от неверного представления, будто в капиталистических странах вся литература (кроме писателей, политически созревших до идей коммунизма) автоматически и обязательно — загнивает... Мы учимся оценивать не-социалистических западных писателей на основе единственно возможного критерия — отношения их художественного творчества к действительности». К этому стоит лишь добавить, что отношение художника к действительности особенно ясно раскрывается в изображении *человека*. Декаданс по своей природе антигуманистичен. Он несет с собой равнодушие к человеку, а то и прямое человеконенавистничество. Мера и качество гуманизма художника, проявляющегося в его образах, — вот что особенно важно для суждения о ценности творчества художника, о способности его проникнуть в суть жизненных явлений.

4.

Изучая современную литературу критического реализма на Западе, мы убеждаемся, что стремление миллионов людей к достойной человека жизни, протест масс против варварства империализма очень разнообразно, очень ярко отражается в творчестве многих крупных писателей, далеких

от социалистических идей. Вместе с тем мы убеждаемся, что буржуазная ограниченность мировоззрения, неспособность до конца противостоять влияниям декаданса, идет во вред многим даже большим талантам. И что, следовательно, понять современную действительность во всей ее полноте могут именно писатели, одушевленные передовым мировоззрением нашей эпохи.

Советскими критиками написан ряд статей о социалистическом реализме в зарубежной литературе. Этим статьям (в том числе и моим) присущи некоторые общие недостатки. Творчество писателей, одушевленных социалистическим мировоззрением, часто рассматривалось в них изолированно от всей остальной литературы: в силу этого порой утрачивались эстетические критерии, переоценивались произведения, в художественном отношении не весьма сильные. Как правило, слабо раскрывалась связь передовых зарубежных прозаиков и поэтов с их национальными традициями, и в особенности — связь с традициями литературы XX века. Вместе с тем — недостаточно ясно раскрывалось и новаторство этих писателей. А это новаторство особенно ясно видно именно тогда, когда литература социалистического реализма рассматривается во взаимодействии и сопоставлении с не-социалистической литературой тех же стран.

Художники, связанные с освободительным движением рабочего класса, среди творческой интеллигенции Запада составляют меньшинство. Становление нового творческого метода наталкивается в каждой стране на немалые трудности: творческая работа таких художников, как Арагон или П. Неруда, — это поистине езда в незнаемое, непрерывные нелегкие поиски. Ведь ри ать современную капиталистическую действительность как неизбежное господство зла несравненно легче, нежели показывать в действии те силы, те факторы национальной жизни, которые должны привести к поражению этого зла.

Разумеется, неверно думать, будто социалистическое мировоззрение само собой, как бы автоматически, может привести писателя к крупным творческим успехам. Мы знаем, — и у нас, и за рубежом — немало случаев, когда недостаточно тщательная работа литератора над словом и образом, недостаточно глубокое знание жизни или недостаток таланта сводит на нет те преимущества, которые даются передовым мировоззрением. Но ошибочно было бы не видеть, что крупнейшие мастера социалистического реализма, работающие за рубежом, оказываются способны решать такие *художественные* (а не только идеологические) задачи, которые не под силу писателям иного идейного склада, даже очень большим.

Ведь факт, что ни один из наиболее прославленных французских поэтов нашего времени не смог выразить патриотические чувства с такой силой, как это сделали в своей лирике военных лет Арагон и Элюар! И факт, что ни один из крупнейших французских прозаиков не смог создать такую мощную синтетическую картину жизни Франции в трагический момент ее истории, как это сделал Арагон в «Коммунистах»! Повествовательная проза новейшего времени в сильной мере тяготеет к монументальному эпическому жанру. И один из наиболее высоких образцов этого жанра создан в наши дни именно Арагоном. Не случайно, конечно, что именно художник, владеющий социалистической перспективой, умеющий видеть общественное развитие в его динамике, понять внутреннюю логику и движущие пружины этого развития, — сумел создать национальную реалистическую эпопею большого размаха — одно из крупных достижений современной прозы.

Передовой художественный метод помогает писателям, одушевленным социалистическими идеалами, осмысливать исторические судьбы своих стран, разбираться в запутанных проблемах национальной жизни. О фашистской Германии написано много романов. Причины зарождения гитлеровской диктатуры, пути борьбы с гитлеровским варварством — эти «проклятые вопросы» недавнего германского прошлого волновали писателей разных идейных оттенков. Будни «третьей империи» были талантливо воссозданы мастерами критического реализма, которые в годы фашизма остались в стране (Б. Келлерманом в «Пляске смерти» и Г. Фалладой в романе «Каждый умирает в одиночку»). Однако даже эти художники — очевидцы показанных ими событий — не сумели вскрыть социальные истоки фашизма с такой ясностью, исследовать поведение немцев из разных общественных слоев с такой психологической зоркостью, как это сделала писательница социалистического реализма Анна Зегерс в романах «Седьмой крест» и «Мертвые остаются молодыми».

Противники социалистического реализма часто говорят о том, что на основе этого метода можно рисовать события общественной жизни, но нельзя глубоко проникнуть в сложные, драматические переживания личности. Это неверно. Достаточно вспомнить о «Репортаже» Фучика, чтобы убедиться, что именно метод социалистического реализма способен с новой, недоступной прежней литературе глубиной постигать душевный мир *передового* человека современности. О людях внутренне надломленных, носящих смерть в душе, современные мастера критического реализма, начиная с Хемингуэя, создали много блестящих страниц. А вот показать духовное *торжество* человека над силами смерти — эта новаторская художественная задача оказалась под силу писателю-коммунисту, носителю горьковской традиции... Познание умственной и эмоциональной жизни передового человека наших дней, человека интенсивно мыслящего и деятельного, с широкими горизонтами, с большими нравственными запросами, — одна из серьезных творческих заслуг современных поэтов социали-

стического реализма: тут можно вспомнить и Назыма Хикмета, и Неруду, и Гильена, и Броневского, и Незвала — поэтов, внесших немалый вклад не только в словесное искусство собственных стран, но и в само *понятие* лирики, которую они обогатили новыми идейно-эмоциональными мотивами.

Новаторство социалистического реализма проявляется, конечно, не только там, где перед нами в качестве героя выступает пролетарский революционер. Новизна этого метода — как, впрочем, не раз уже говорилось — заключается не столько в теме, материале или герое, сколько в подходе к изображаемому. Писатель вовсе не обязан в каждом произведении формулировать свое политическое кредо: оно должно вытекать из образов и проявляться в том аспекте, в той степени, как это вытекает из замысла художника. Вспомним «Самостоятельные люди» Халлдора Лакснесса. Тема народной борьбы здесь менее заметна, чем в «Атомной станции» того же автора. Лишь эпизодически, под конец романа, появляются рабочие-стачечники и говорится о растущем влиянии социалистических идей. Но гораздо важнее то, что судьбы крестьянства осмыслены здесь принципиально иначе, нежели в произведениях критического реализма на темы деревенского быта. Мечта сельского труженика о «самостоятельной» жизни развенчана сурово и бесповоротно — с идейных позиций рабочего класса. И в то же время фанатик «самостоятельности» Бьяртур — личность сложная и многогранная, со многими шероховатостями и острыми углами — обнаруживает такую красоту души, такую силу своего колючего и непокорного характера, что в образе его раскрывается большая потенция созидательных и боевых качеств, заложенных в трудовом народе Исландии. Лакснесс по-своему разрабатывает одну из важнейших сфер искусства социалистического реализма: выявление тех духовных богатств, которые таятся в простых, трудовых людях.

У Чернышевского есть важное замечание (относящееся непосредственно к Толстому и его «диалектике души»): «...Он умеет играть не одной этой струной, может играть или не играть на ней, но сама способность играть на ней придает уже его таланту особенность, которая видна во всем постоянно». Иначе говоря: если художник осветил по-новому важную область жизни, то это умение определенным образом сказывается во *всем* его творчестве, какую бы тему он ни затрагивал. Эту мысль можно применить и к искусству социалистического реализма, взятому в целом. Это искусство, как правило, тяготеет к большой гражданской тематике, к постановке коренных общественных проблем. Однако у художников, работающих на основе этого метода, способность видеть жизнь в революционном развитии сказывается и тогда, когда пролетарская революция или строительство социализма не являются в прямом смысле темой их произведений. Присущий социалистическому реализму пафос жизнеутверждения, острейшая непримиримость к силам, враждебным человеку, чистота нравственной атмосферы, которую он несет с собой, — все это проявляется у передовых художников наших дней, работающих в самых различных, даже, казалось бы, нейтральных тематических областях. Дух социалистического реализма живет и в великолепных пейзажах Сарьяна, и в любовной лирике Исаковского или Мартынова, и в веселых детских стихах Джанни Родари, и в легендарных или условных сюжетах «эпического театра» Брехта. Нелепо было бы искать программу социалистического строительства в драме Брехта «Мамаша Кураж», переносящей нас в эпоху Тридцатилетней войны. Но в этой драме есть такое острое осуждение военных авантюр, такая прямая постановка вопроса об ответственности *каждого* простого человека за судьбы народа, — какие возможны именно в произведении писателя, вдохновлявшегося передовыми идеями нашей эпохи, создавшего и «Песню единого фронта» и стихотворение «Хвала партии»... Было бы смешным сектантством — выводить за пределы социалистического реализма все те произведения, где не говорится прямо о победе социалистического строя, и еще более смешным сектантством — не причислять к социалистическому реализму те произведения, где активное, революционное отношение художника к действительности, подлинная логика развития этой действительности передается гротескными или условными приемами. Если уже критический реализм XX века, как мы видели, тяготеет к большому многообразию художественных средств, то к реализму социалистическому это относится еще в большей мере!

XX век принес возросшую политическую и культурную активность наций, считавшихся ранее «малыми» или «отсталыми». В круг явлений мировой культуры все шире входит литература и искусство самых различных стран. И нельзя считать случайным, что некоторые крупные писатели, намного усилившие международное звучание своих национальных литератур, являются мастерами социалистического реализма. Ни один поэт Чили или Кубы не пользовался такой всемирной известностью, какой пользуется Пабло Неруда и Николас Гильен, ни один поэт Турции не имел такого международного значения, какое приобрел Назым Хикмет, ни один писатель Исландии не прославил свою страну в литературе так, как удалось это Халлдору Лакснессу. Все эти примеры ярко показывают, насколько благоприятен метод социалистического реализма для выявления национальной специфики самых различных народов. Трудящиеся массы разных наций стремятся к свободе и счастью, — и передовые художники каждой нации выражают это стремление на свой лад, внося в культурную сокровищницу человечества свои собственные, неповторимые краски. И этим еще больше усиливается богатство, прису-

щее международному искусству социалистического реализма. Не говорим уже о том обилии самых разнообразных сюжетов и форм, какое присуще многонациональной советской литературе.

Противники социалистического реализма иногда говорят: нельзя, мол, узаконивать одно направление в искусстве, как единственно возможное. Но социалистический реализм, как известно, не суживает инициативы художников рамками одного направления: он представляет собою не течение и не стиль, а *метод* искусства. Понятие метода нельзя подменять понятием мировоззрения: ведь у поэта или живописца мировоззрение выражается иначе, нежели у политика или ученого, — на *языке образов*. Художественный метод — совокупность *основных* принципов, определяющих подход к действительности, отбор и освещение жизненных фактов в искусстве. Метод социалистического реализма требует от художника правдивости, партийности, — то есть идейной целеустремленности, но допускает и даже предполагает многообразие тематики, стилей, жанров, более того — многообразие способов художнического видения мира.

Это многообразие проявляется и в том, что каждый писатель — и в Советском Союзе, и за рубежом — на свой лад перерабатывает традиции своей национальной культуры. И притом, — традиции не только классические, восходящие к прошлым векам, но и более близкие по времени. Эта сторона дела до сих пор совершенно недостаточно учитывалась нашей критикой.

По меньшей мере односторонне видеть в творчестве Арагона преемственные связи только с Бальзаком или Гюго, в творчестве Линдсея — только с Диккенсом. Многие крупные писатели социалистического реализма, опирающиеся на свое национальное классическое наследие, существенными сторонами своего творчества связаны и с окружающей их литературой XX века.

Приведем пример. Советскому читателю известен рассказ Альберта Мальца «Смех звонкий, как колокольчик». Весь он построен на диалоге, очень спокойном по тону, но заключающем в себе исключительно напряженный, тревожный, временами даже трагический подтекст; в нем очень откровенно трактуется интимная, несколько рискованная, физиологическая тема. Все это очень сближает рассказ Мальца с американской новеллистикой двадцатых, тридцатых годов, — тут есть нечто родственное художественной манере Хемингуэя или Колдуэлла. Но тут есть и нечто своеобразное, характерное для Мальца именно как передового художника. Те приемы, которые другими писателями не раз использовались для того, чтобы показать слабость человека, его зависимость от разного рода темных сил, — у Мальца в конечном счете служат для того, чтобы утвердить стойкость угнетенных, их способность противостоять темным силам. По своему внутреннему пафосу, отчасти и по теме, рассказ Мальца родствен «Рождению человека» Горького. Но и тема, и пафос рассказа реализуются своеобразными, глубоко национальными средствами — с учетом (не с рабским копированием, а лишь с учетом!) новейших форм американского повествовательного искусства.

Лучшие писатели социалистического реализма умеют подчинять своему идейно-творческому замыслу самые различные художественные средства. Арагон, а затем и Элюар преодолели влияние модернистских школ французской поэзии — но именно преодолели, а не механически отбросили! Брехт отталкивался от поэтики экспрессионизма — но, отталкиваясь, что-то и использовал, и сохранил... Разумеется, в каждом отдельном случае необходимо конкретно исследовать сложные взаимоотношения передовых писателей с их непосредственными литературными предшественниками и их национальным литературным окружением. Но важно видеть, что социалистическая идейность не изолирует писателя от остальной литературы, а раскрывает перед ним наиболее широкие возможности творческого использования всего ценного, что создано мировым искусством в давние и недавние времена.

Современная мировая литература социалистического реализма включает в себя много разных индивидуальностей, много тематических, стилевых и жанровых вариаций. Пути ее развития нелегки, не свободны от просчетов и неудач. Но вся она вместе взятая показывает, что действительный путь к богатству искусства лежит не в самодовлеющем формалистическом экспериментировании, а в идейной содержательности, глубоком проникновении в действительность, умении видеть и поддерживать то подлинно передовое, что есть в этой действительности. Новаторство социалистического реализма — не в отдельном приеме или сумме приемов, а в революционном взгляде на жизнь, дающем основу для смелых поисков и больших художественных обобщений.

Обсуждение романа Яна Отченашека „Гражданин Брих“

Недавно, в одной из статей, газета чехословацких писателей «Литерарни новины» совершенно, на мой взгляд, справедливо покритиковала отношения, которые были между советскими писателями и писателями Чехословакии. Они строились, разумеется, на дружеской и взаимно доброжелательной основе. Но деловая критика, являющаяся основой всякой истинной литературной дружбы, созидательная критика произведений подменялась в них порой взаимным амнистированием недостатков того или иного произведения, настоящие творческие обсуждения превращались иногда во взаимное восхваление.

Я своими словами передал смысл статьи. И думается мне, что советские писатели разделяют это мнение своих чехословацких коллег. Некритическое отношение к слабым, серым, фальшивым лакировочным книгам, которые порой заносило в наши страны в общем потоке переводной литературы, не только дезориентировало читателей обеих стран, но и невольно искажало их представление о художественных и идейных достоинствах литературы дружеского народа. А это в свою очередь мешало расширению культурных контактов наших народов, связанных узами великой дружбы, дружбы на вечные времена.

Вот почему товарищеское, деловое, критическое обсуждение романа «Гражданин Брих», принадлежащего перу нашего чешского коллеги Яна Отченашека, состоявшееся в Союзе писателей СССР, кажется мне плодотворным проявлением тех не просто дружеских, но и по-настоящему творческих, братских отношений, которые устанавливаются сейчас между советскими писателями и их коллегами из братских, зарубежных социалистических литератур.

Роман «Гражданин Брих», переведенный у нас совсем еще недавно и в короткое время уже успевший обратить на себя внимание советского читателя, как мне кажется, дает отличный материал для такого обсуждения. В советской литературе и братских литературах стран, вставших на социалистический путь, уже немало написано о превращении либерального интеллигента, критически наблюдающего жизнь как бы сверху и со стороны, в сознательного активного гражданина социалистической страны. Это большая и боевая тема. И в новой книге нашего чешского коллеги она нашла новый, сильный и совершенно оригинальный отклик.

Роман начинается в знаменательные дни Февраля 1948 года, когда силы реакции, вдохновляемые и подстрекаемые из-за океана, пытались опрокинуть в Чехословакии народно-демократическую власть. Мне привелось в те дни быть в Чехословакии. Я видел, какое смятение царило тогда в умах многих интеллигентов. И я видел, с каким великолепным мужеством, с какой могучей сплоченностью пролетариат, а за ним и трудовое крестьянство, направляемые славной Коммунистической партией Чехословакии, встав на защиту своих завоеваний, отстояли мир и социализм. Ян Отченашек с большой

---

* В Союзе писателей СССР состоялось обсуждение романа чешского писателя Я. Отченашека «Гражданин Брих». Роман был опубликован в журнале «Иностранная литература» и вышел отдельным изданием. Ниже мы публикуем сокращенные выступления участников обсуждения.

силой, напоминающей в отдельных главах отличное мастерство Ивана Ольбрахта, рисует эти дни, расслоение интеллигенции и ту борьбу за душу доктора Бриха, которая ведется, с одной стороны, людьми уходящей, капиталистической Чехословакии, еще питающими надежду на свое возвращение, и строителями новой Чехословакии, коммунистами, борцами.

Нет ничего нелепей, как в обсуждениях подобного рода пересказывать сюжет или обсуждать его коллизии. Могу сказать лишь, что давно уже не читал романа такой занимательности и жизненной правды. И в то же время он очень актуален, этот роман, актуален в лучшем смысле этого слова. Он говорит, говорит умно и честно о той острой идейной борьбе, которая происходит среди интеллигентов народно-демократических стран, предостерегает против вражеской замаскированной агентуры и внутри компартий. Этот роман, глубоко оптимистический по содержанию, по всей своей направленности, не успокаивая и не убаюкивая, говорит о тщете усилий реакции в ее попытках повернуть колесо истории вспять.

Но, с удовольствием поздравляя нашего коллегу Яна Отченашека с творческой удачей, а братскую чехословацкую литературу с новой хорошей книгой, мы, отвечая на призыв «Литерарних новин» к деловой и дружеской критике, не можем, как мне кажется, не отметить, что роман местами несколько растянут и что, достигая во многих главах, как например в главах, рисующих собрание эмигрантов в пограничной избушке, большой глубины, автор местами как бы отпускает вожжи повествования, и оно приобретает черты некоторой, совершенно не свойственной ни строю, ни стилю романа рыхлости и расплывчатости.

Мне кажется, что «Иностранная литература» делает большое дело, публикуя материалы этой критической дружеской дискуссии, завязавшейся вокруг одного из лучших произведений социалистических литератур, вышедших в прошлом году.

Б. Полевой

З. Чекулаева

Наш советский читатель всегда проявляет большой интерес к новинкам мировой литературы. Его привлекают произведения авторов, которые обладают большим талантом и своеобразным писательским почерком. Поэтому-то так и популярен сейчас в Советском Союзе роман молодого чехословацкого писателя Яна Отченашека «Гражданин Брих».

В чем же смысл этого произведения? Ян Отченашек говорит, что он пытался в своем романе затронуть «острую проблему о позиции интеллигенции, точнее говоря, одной ее части в наше время».

Автор предупреждает читателя, что он ни в коем случае не пытался сразу разрешить весь этот сложный вопрос. Он говорит: «Я удовлетворяюсь задачей гораздо более скромной: это роман о нескольких людях, об их конфликтах, относящихся ко времени героических и революционных февральских событий и нескольких месяцев после Февраля; роман о том, как эти события ворвались в их жизнь, как перед ними вставали вопросы, ответа на которые нельзя было избежать... Это повествование о времени упорной борьбы, болезненных превращений, но вместе с тем о времени, полном активного и нового гуманизма, гуманизма борьбы за человека».

Основной идеей романа является марксистское положение о том, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, что в классовой борьбе нельзя занимать нейтральные, промежуточные позиции.

Это общее положение наполняется сегодня актуальным политическим содержанием, определяет ход и исход политической борьбы, определяет и личные судьбы.

Я не анализирую подробно характеры героев романа, так как это уже прекрасно сделали такие чехословацкие литературные критики, как Сергей Махонин, Иржи Гаек, Михал Седлонь, Святослав Свобода и другие.

Обратимся к главному герою — Франтишеку Бриху. Со страниц книги смотрит на нас, говорит и думает с нами живой человек. Франтишек образованный, умный, необыкновенно душевный человек, прошедший долгий и болезненный путь от рядового обывателя до сознательного гражданина народно-демократической Чехословакии.

Образ Бриха глубоко индивидуален, но вместе с тем и заключает в себе черты, свойственные определенной части интеллигенции современной Чехословакии. Поэтому-то этот образ предстает перед нами не только как отдельная индивидуальность, но и как тип, имя которого, о чем уже совершенно справедливо сказал критик С. Свобода, станет нарицательным для обозначения колеблющегося, шатающегося

интеллигента. В этом и заключается сила воздействия главного героя книги Яна Отченашека на читателя.

Сильное впечатление на читателя производят образ рядового коммуниста рабочего Патеры, который Франтишеку Бриху всегда казался воплощением тихой, спокойной силы и духовного здоровья, а также сложная и многогранная фигура коммуниста-руководителя Бедржиха Бартоша.

Ирена Мизинова является не менее интересным и полноценным образом, но в какой-то мере мы с ней уже знакомы, так как у нее много общего, как верно заметил Иржи Гаек, с Агатой Карафовой, героиней романа Ивана Кржижа «Девичье поле».

Ирена Стракова предстает перед нами глубоко эмоциональной, лиричной, по-женски чуткой и проникновенной, она живет в замкнутом личном мирке, далека от политики. Однако февральские дни 1948 года заставляют Ирену разобраться в событиях и в людях, окружающих ее. В конце романа мы видим, что после долгой и утомительной борьбы в одиночку она приходит к правильному пониманию пока одного, но очень важного вопроса — вопроса о гражданском долге перед своей родиной, о верности своей стране. Ирена Стракова, по-моему, очень близка по своему духу Кате, героине трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам», а потому как-то ближе советскому читателю.

Марии Ландовой отведено немного места в романе, но то, что сказал автор, оказалось достаточным, чтобы представить себе образ любящей матери, немного сентиментальной и наивной, полной всяких предрассудков женщины. Есть в ней, по любимому выражению Ромен Роллана, душевная упругость, вечно живой огонь, который заметил и горячо полюбил чуткий Бартош.

Хотелось бы поподробнее остановиться на художественных достоинствах романа и на его недостатках.

Особенностью композиционного построения этого романа Отченашека является ретроспективность, то есть показ автором развития событий не путем прямого описания судеб героев, прослеживания их шаг за шагом, а путем вклинивания побочных линий, путем возвращения к предыстории событий. Этим автор почти всюду достигает полноты в изображении развития главного героя и остальных персонажей романа. Правда, может показаться, что все это прерывает динамику развития событий. Но это только кажущийся недостаток, ибо почти все авторские отступления и включения побочных линий ни в коей мере не ослабляют интереса читателя, а с точки зрения главной темы романа являются его неотделимой частью. Больше того, всем этим автор достигает композиционного единства, что в свою очередь во многом усиливает роман. Говоря о композиции произведения, нельзя не упомянуть о его ритме и стиле, ибо и композиция, и ритм, и стиль тесно связаны друг с другом. Анализируя ритм романа, надо согласиться с Сергеем Махониным в том, что ритм этого произведения волнообразный, с приливами и отливами. В целом роман усиливается к концу.

Писатель постоянно меняет палитру своих красок: то он грустно задумчив в изображении Бриха или Ирены, то едко сатиричен в повествовании о Мизике, Лазецком и других приверженцах буржуазной «свободы», то мудр и спокоен в обрисовке Бартоша, Мареды.

Поскольку речь идет о внутренних переживаниях героев, постольку писатель использует не только диалог, и точнее сказать, не столько диалог, сколько внутренний монолог героев. Этим же объясняется и беглая зарисовка портретов его героев, а затем неоднократное повторение какой-либо одной характерной для портрета данного героя или героини черты. Этот прием выделения портретных особенностей и заострения на них внимания читателя помогает живо представить себе тот или иной образ, задуманный писателем.

Отченашек пользуется и опосредствованным, психологическим показом событий и героев, и в этом достигает настоящего мастерства. Так, февральские события Отченашек не описывает специально, а передает их через поведение людей.

Описывая речь Готвальда на Староместской площади, писатель почти не приводит слова самой речи, почти не показывает самого Готвальда, а лишь дает картину того, как люди реагируют, воспринимают эту речь. Уже через их реакцию на слова говорящего мы составляем себе представление о самой речи.

Ян Отченашек, стремясь показать читателю душевное состояние Бриха, влюбленного в Ирену, как бы вскользь упоминает, что Франтишек бросает чтение Достоевского и увлекается Ромен Ролланом, и этот короткий штрих говорит нам об очень многом.

Для приближения своих героев к читателю Ян Отченашек использует также прием поэтизации текста. Эпический текст он приближает к поэтическому путем выделения в отдельную строку одного или нескольких слов и фраз. Этим, так же как и в поэзии, достигается огромное ударение на нужных, по мнению автора, местах. Кроме того, поэтизация текста достигается лирическими отступлениями, описаниями природы, особенно, когда автор делает это в момент наибольшего напряжения действия.

Нельзя сказать, что с художественной точки зрения роман Яна Отченашека «Гражданин Брих» лишен недостатков.

Так, на мой взгляд, автор иногда злоупотребляет композиционным приемом возвращения в прошлое героев. Описывая семью Бориса Тайхмана, Отченашек начинает подробно рассказывать о судьбе его матери, о том, что она вместе с другими белогвардейцами бежала из России в 1917 году и т. д. Для понимания основной темы романа это ничего не дает, а следо-

вательно, лишь загромождает произведение. Лишним, совершенно ненужным в романе является и такое эпизодическое лицо, как Маркуп. Вацек Страка — незаконченный образ и, как мне кажется, нужен автору лишь в качестве резонера, поучающего свою сестру Ирену.

Неоправданно и желание автора поскорее над всеми «и» поставить точки. Читателю ясно, что после возвращения Бриха с Шумавских гор он изменит и свое отношение к работе и ко многим людям и т. п. Но автор не успокоился, пока не показал всего дополнительно сам, хотя в этом не было никакой необходимости.

Но все недочеты книги Яна Отченашека ни в коей мере не могут заслонить роста его художественного мастерства, особенно если сравнить этот его роман с первым, вышедшим в 1952 году под названием «Широким шагом».

Художественные приемы, используемые автором в первом романе, очень однообразны. Так, для выяснения характеров героев, автор почти всюду обращается к диалогу. Правда, уже в первом романе намечается авторская манера ретроспективно показывать развитие, и, как мы видели, во втором романе Ян Отченашек продолжает совершенствовать ее; в первом же романе намечается прием поэтизации эпического текста путем выделения строк и отдельных слов в строках. Вот эти общие черты, роднящие оба романа Яна Отченашека, и показывают, что автор вырабатывает собственный творческий почерк.

Единственно, что огорчает читателя при знакомстве с двумя романами этого, несомненно талантливого писателя,— это стремление Отченашека, умышленно или случайно, вновь использовать свои прежние художественные находки.

Судя по обоим романам Яна Отченашека, можно с уверенностью сказать, что писателю по плечу решение больших и сложных художественных задач.

Н. Замошкина

«Гражданин Брих» — второй роман Яна Отченашека, свидетельствующий о значительном росте молодого чешского писателя. Роман посвящен революционным событиям Февраля 1948 года и участию в них различных слоев общества: здесь и интеллигенция, и революционный пролетариат, и мещанство. Основная тема романа — вопрос о партийности интеллигенции, о ее отношении к революции — раскрыта писателем во всей ее сложности, правдиво и глубоко, на обширном жизненном материале. Роман «Гражданин Брих» это книга, которой веришь, которая увлекает и заставляет думать. Это произведение, которое в свете событий осени 1956 года в Венгрии приобретает особый интерес, еще более актуальное звучание.

Ян Отченашек создал живые, типичные и оригинальные образы людей современной Чехословакии. Это не только Брих или Ирена, являющиеся главными героями книги. Из образов коммунистов, созданных чехословацкими писателями, своей характерностью и теплой человечностью выделяется образ Бартоша. Он дан в развитии, и в этом также несомненная удача Отченашека. Вначале Бартош — суховатый, замкнутый человек; своей пунктуальностью, своей безупречностью он нагоняет на людей тоску и даже возбуждает в них чувство протеста (вспомним, к примеру, сцену партийного собрания, в конце которого Мареда с досадой говорит ему: «Ты прав, как всегда»). У Бартоша нет друзей, а коммунисты обращаются к нему только официально: «товарищ Бартош» и никогда не называют по имени. Первые разговоры Бартоша с Брихом, который сразу заинтересовал его и вызвал в нем чувство симпатии, а также встреча в саду с Марией Ландовой положили начало переменам в характере Бартоша. Встречи с людьми, чувство, рождающееся у него к Марии Ландовой, преображают духовный облик Бартоша, он становится более человечным, теплым.

Вместе с тем, хочется сказать о том, что отношения Бартоша к Марии Ландовой, отношения очень сложные, к концу романа показаны несколько прямолинейно, и потому менее убедительно. Мария и Бартош в конце книги вместе едут к матери Бартоша. В этом чувствуется стремление автора непременно досказать все, привести все линии к благополучному концу, и автор при этом утрачивает чувство меры. Это я считаю его промахом и определенным недостатком романа.

Язык Отченашека образен и богат, но, на мой взгляд, он иногда злоупотребляет одним и тем же образом, что очень досадно.

К числу композиционных недостатков романа следует отнести ряд длиннот, которые, на мой взгляд, вредят этому интересному и талантливому произведению и только утомляют читателя. Нет сомнения, что указанные недостатки не могут заслонить достоинств этой актуальной, умной и во многих отношениях новаторской книги.

Р. Орлова

Я знаю только русский текст романа и считаю книгу очень интересным и сильным художественным произведением. Об этом я могу судить не только на основании своих личных впечатлений. В последнее время мне пришлось проводить много читательских конференций, посвященных обсуждению журнала «Иностранная литература», в самой разной аудитории — с учителями, библиотечными работниками, с рабочими

и т. д. Роман пользуется большой, заслуженной популярностью среди читателей.

Но я хочу сказать о другом. Тов. Замошкина говорила о том, что в последние месяцы роман зажил как бы своей второй жизнью. В свете венгерских событий роман приобрел своего рода особую актуальность. Основная и, я считаю, самая важная заслуга молодого чешского писателя состоит в том, что он поставил одну из важнейших политических проблем современности — как страны народной демократии становились на путь социализма. Сосредоточив действие вокруг февральских дней 1948 года, таких важных и значительных для Чехословакии, Отченашек поставил этот вопрос, используя чешский материал. В основе романа «Гражданин Брих» лежит классовый конфликт. Автор раскрывает этот конфликт в сложных жизненных опосредствованиях, в противоречивых человеческих судьбах. В романе нет и следов плакатности, примитивного деления на положительное и отрицательное — и в этом очень большая заслуга автора, хотя линия двух лагерей проведена в романе с предельной четкостью. Мне хочется подчеркнуть в разной степени и то обстоятельство, что автор помещает важнейший конфликт современности в центре повествования, и то, что решает он его средствами подлинного искусства.

Если позволительно воспользоваться математическим сравнением, то я бы сказала, что этот роман — не аксиома, где доказательства излишни. Открывая роман, не знаешь, на какой стороне окажется гражданин Брих. Это скорее теорема, доказанная художественными средствами. Здесь вывод вытекает из всего большого жизненного полотна. Это мне кажется очень важным достоинством всего творчества молодого писателя, не только идейным, но и художественным.

Далее мне хотелось бы обратить внимание на то, что в центре романа — проблема интеллигенции и личной свободы, свободы подлинной и мнимой. Тема интеллигенции, которая прежде всего страстно ищет свободы, была очень характерна и для молодой советской литературы 20-х годов. Читая роман Отченашека «Гражданин Брих», я вспомнила «Города и годы» Федина, несмотря на все различие этих книг. Мне кажется, что Брих очень сродни Андрею Старцеву, хотя тот и стал предателем в противоположность Бриху. Общими являются искания героев, их путь, то, от чего они вынуждены отказываться, и то, что их пугает в новом строе. Это даже не творческая общность, а общность самой действительности, потому что сама действительность и само положение интеллигенции в революции обусловливают сходные художественные находки.

Мне представляется важным подчеркнуть, что колебания Бриха и его путь это не просто колебания какого-то одного интеллигента. Колебания Бриха, так же как колебания Григория Мелехова или других таких же героев советской литературы, связаны, в конечном счете, с колебаниями, которым подвержены народные массы, и прежде всего крестьянство, в его приятии и неприятии революции, в его боязни очень многих сторон диктатуры и в его органическом тяготении несмотря ни на что — к диктатуре пролетариата.

Мне представляется художественно очень интересным, что сомнительный рай индивидуальной свободы, который столько времени мерещится Бриху и ради которого Брих идет на огромные жертвы (он очень тяжело расстается с родиной), этот рай иллюзорной свободы в пределах маленькой пограничной избушки оборачивается страшным крушением человеческих идеалов, буржуазными джунглями, и Брих внезапно осознает, куда он попал.

Актуальность романа сегодня заключается и в том, что многие венгерские Брихи и Брихи других стран не нашли еще верного пути. Им помешала сила давних привычек, связь с идеологией господствовавших классов, бешеная империалистическая пропаганда. Им помешали и последствия культа личности, коснувшиеся, в частности, и интеллигенции, ошибки в руководстве интеллигенцией.

Несколько слов в заключение. На съезде писателей Чехословакии тов. Минач и другие говорили о гипертрофии действия в современном чешском романе, считая это недостатком. Они говорили о том, что герои романов очень мало мыслят. Это свойственно и некоторым нашим книгам. Как утверждала чешская критика, «Гражданин Брих» является известной реакцией на роман гипертрофированного действия. Это роман мысли, роман большого духовного мира. Отсюда — многие специфические художественные средства, которые присущи этому роману, именно как роману мысли. В этом отношении не случайно то, что внутренний монолог занимает значительное место в романе: это естественно, поскольку духовный мир героя находится в центре. Не случайно и книги, которые сопутствуют Бриху на всем протяжении его пути, занимают в романе такое большое место.

Автор ищет в романе новые изобразительные средства. В ряде случаев он использует старое, обращается к чешской классике. Мне кажется, что в использовании внутреннего монолога у Отченашека есть что-то общее с Чапеком. Но вместе с тем он, возможно, использует достижения американских и французских романов в изображении психологии, внутреннего мира героя. И в еще большей степени ощущается здесь воздействие русской классики — прежде всего Толстого и Достоевского — опять-таки в изображении внутреннего мира героя.

И. Бернштейн

Тема романа «Гражданин Брих» очень значительна и остро актуальна. Это не только вопрос о месте интеллигенции в социалистическом государстве, но и более широкий вопрос о судьбах страны, о путях ее общественного развития.

Однако я думаю, что и тема первого романа Отченашека — «Широким шагом» была тоже в достаточной мере значительной и весьма актуальной. Там было затронуто множество важных и сложных проблем, связанных с построением новой жизни.

Для того этапа роман был интересным произведением и свидетельствовал о несомненном таланте автора. Но в нем проявилось то, что было характерно для отдельных произведений чехословацких писателей, так же как и некоторых советских книг; человеческие судьбы служат прежде всего иллюстрацией весьма прямолинейно изображенной общественной закономерности и поэтому неизбежно тяготеют к схеме.

В «Гражданине Брихе» появилось такое качество, которое выделяет его, по справедливому, на мой взгляд, мнению чехословацкой критики, среди многих чехословацких романов последнего времени. Многие писатели стремятся раскрыть большие общественные закономерности через конкретные человеческие судьбы, но не всем удается показать эти человеческие судьбы, глубоко раскрывая внутренний мир героев, изображая их индивидуальное человеческое своеобразие.

Большим достоинством Отченашека является то, что во многих образах романа достигнуто подлинно реалистическое изображение человека во всей сложности и многообразии его связей с жизнью, а тем самым неповторимых особенностей его личности и судьбы.

В «Гражданине Брихе» сложная и естественная гамма человеческих чувств звучит в унисон с основной общественной темой романа. Достаточно вспомнить, какими тонкими нитями связаны капризные и, казалось бы, неуловимые переходы и зигзаги в отношениях Ирены и Бриха с поисками этими мятущимися людьми своего места в общественной борьбе. То же можно сказать и об отношениях Ирены и Ража, хотя здесь угасание чувства Ирены поставлено в связь с общественными событиями более прямолинейно. Менее глубоко раскрыт, на мой взгляд, и «общественный» смысл конфликта между Бартошем и Ландовой, хотя и здесь автор идет по тому же плодотворному пути.

Полноценное реалистическое изображение человека проявляется в этом романе Отченашека и в смелом анализе мысли героев, особенно Бриха. Очень важно то, что автор позволяет герою искать и сомневаться. Он знакомит читателя и с такими его размышлениями, которые весьма далеки от правильной оценки действительности, а благодаря этому трудный и часто болезненный процесс познания истины показан «изнутри», и потому убедительно. Чехословацкие критики говорят об этой черте романа, как о большом достижении, именно потому, что в последние годы писатели часто отказывались от анализа мыслей героя, и особенно героя отрицательного или заблуждающегося. Отченашек не боится представить врагов умными и достаточно сильными, как Ража или адвоката Лазецкого. И тем ярче и несомненнее победа нозой правды. Сама жизнь опровергает в романе ухищренные и далеко не лобовые аргументы врагов. В последнее время чехословацкие критики и писатели настойчиво говорят о необходимости большего внимания к человеческой психологии. Мне кажется, что «Гражданин Брих» и в этом отношении является достижением. Я тоже думаю, что в раскрытии внутреннего мира человека сказалось положительное влияние достижений мастеров слова на Западе.

Но еще важнее, как мне кажется, что Отченашек использует в данном случае традиции чешских писателей-реалистов, не получавшие большого развития в современном чехословацком романе. Я думаю, что тут надо сказать не об одном Чапеке, но прежде всего об Ольбрахте, в частности, о его романе «Странная дружба актера Есения». С этим произведением «Гражданина Бриха» сближает прежде всего то, что одной из важных линий романа является борьба за сознание, за душу героя.

Важно также и то, что в романе достигнуто равновесие двух моментов реалистического изображения человека; показано и определяющее влияние общества на человека и то, что человек в конечном итоге не может не нести ответственности за устройство общества. А именно эта проблема стоит в центре современной прогрессивной литературы.

Действие романа сосредоточено вокруг центрального героя, Франтишека Бриха. Это не мешает широте охвата действительности. Отченашек не только отличается мастерством изображения второстепенных персонажей, но, что еще важнее, каждый из них помогает раскрытию основного конфликта Так, исключительно большую роль играют в романе острые и разнообразные зарисовки тех людей, которые собрались в заброшенной избушке на границе. Брих видит перед собой отвратительные лики хищников и предателей, и это способствует его прозрению. С большим реалистическим мастерством изображено все, что окружает героев: и пражские улицы, и шумавские леса, и мещанские апартаменты дядюшки Мизины. Великолепно передана атмосфера Праги в революционные февральские дни. Все это также способствует многогранному реалистическому изображению человека.

Я уже говорила, что все линии романа связаны и с Брихом и с основной темой книги, и мне кажется, что растянутость появляется в том случае, когда эта связь нарушается.

Это относится к эпизоду Патеры с Поляком. Я думаю, что появление этого эпизода связано с тенденцией охватить как можно больше общественных конфликтов. Но значительный сам по себе общественный конфликт, связанный с деятельностью врага, пробравшегося в высшие органы партии, не имеет внутреннего отношения к основной теме романа. Ни внутренне, ни внешне линия Патера — Поляк не связана с линией Бриха, и поэтому оказывается лишней.

Другой недостаток, о котором тоже много говорят чехословацкие товарищи, — это стремление к обязательному счастливому разрешению всех конфликтов. Для чего надо улаживать «под занавес» и даже после завершения основной линии действия сложные и явно далекие от счастливого конца отношения Бартоша и Ландовой и воскрешать тяжело раненого брата Ирены и торжественно примирять его с сестрой? В конце получается искусственный привесок, и хорошо, что в журнальном тексте заключительная глава отсутствует.

Думаю, что длинноты связаны с указанными недостатками, а не с неторопливостью повествования, что присуще индивидуальной манере Отченашека и не уменьшает напряженной драматичности романа. В целом роман «Гражданин Брих» несомненно выдающееся произведение чехословацкой литературы, оно отражает новые и очень плодотворные тенденции ее развития.

Н. Арэсева

Я согласна с общей оценкой романа, данной выступавшими товарищами. Мне хотелось бы сделать только несколько частных замечаний о художественных и композиционных особенностях этой книги.

Тов. Чекулаева недостаточно охарактеризовала такую сложную фигуру, как Ирена. Мало сказать об Ирене, что она очень душевная женщина, очень мягкий человек, что она старалась найти свое место в жизни. На мой взгляд, она вовсе не старалась найти своего места: Ирена — натура пассивная, и сам ход событий неизбежно поставил ее на то место, которого она не могла не занять, потому что она человек честный и хороший. Но каких-либо активных усилий с ее стороны нет, хотя она страдала и металась, раздираемая разноречивыми чувствами. Ведь она не переставала любить Бриха, и это чувство связывалось у нее с мыслью о родине и с сознанием того, что муж толкал ее на измену родному народу.

Что касается истории с Поляком, который предлагал Патере стать директором завода, то вряд ли было бы оправданным изменять эту линию. Ведь для классовой борьбы в Чехословакии такой вражеский прием, как дискредитация народной власти и ее выдвиженцев-директоров из рабочих, был очень характерным и весьма распространенным. Можно только упрекнуть автора за то, что эта история тянется слишком долго, и читатель не сразу понимает, чего хочет Поляк и почему прав Патера, когда он в конце концов отказывается от его предложения.

Хочется отметить мастерство, с каким Отченашек рисует пейзаж. Я никогда не была в Шумавских горах, но так ярко представила себе эти чащи, многозвучную тишину лесов, величавые горы, покрытые лесами, и хотя это описание занимает много места — тут не скучно!

Мне кажется, в романе нет лишних фигур. Есть только недостаточно ясно обрисованные или недостаточно последовательно раскрытые образы. Это касается, в частности, Маркупа. Маркуп — эпизодическая, но очень характерная фигура для интеллигента из деревни. Показательно, что почти вся интеллигенция в романе Отченашека — выходцы из рабочих и крестьянских семей, из народа. «Потомственные» интеллигенты, например Лазецкий, — второстепенные фигуры.

М. Юнгман
(чешский критик)

Я передам товарищу Отченашеку все услышанное здесь. Ему, несомненно, будет очень интересно узнать мнение советских критиков о его новой книге.

Ко всему здесь сказанному о нем, как о писателе, я хочу добавить, что он очень хорошо знает советскую литературу, очень много читает. Некоторые товарищи указывали на такой недостаток романа, как растянутость отдельных сцен Мне не кажется, что это так. До того, как им был написан первый роман, он написал много повестей и рассказов, которые не были им опубликованы, несколько чемоданов, как он говорил мне.

Я хочу сказать несколько слов о романе «Гражданин Брих». По-моему, он нравится читателям потому, что впервые за последние годы в чешской литературе автор не побоялся показать подлинный конфликт. До сих пор авторы изображали дело так, будто путь героя не был тяжел, а социальная среда была для него во всех отношениях благоприятной. Они не видели или не хо-

тели показать, что, переступив известную грань, колеблющийся человек может стать врагом. Отченашек впервые в чешской литературе сказал об этом открыто. Но здесь возникли проблемы, и разрешение их автором обусловило некоторые недостатки произведения.

Например, когда назревает конфликт Бриха с Бартошем, читатель ожидает, что произойдет столкновение. Какова будет в дальнейшем политическая линия поведения Бриха? Писатель не смог показать их столкновения. И вот он вводит нового героя, Алека, для дальнейшего развития действия.

Так же обстоит дело с Маркупом. Он является, чтобы повлиять на Бриха, когда кажется, что никакого выхода уже нет. Автор вводит новую фигуру, чтобы «подтолкнуть» своего героя. В подлинно художественном произведении надо стремиться к тому, чтобы герой двигался вперед в соответствии с внутренними законами развития его характера, а не включать искусственно новое лицо. В результате таких подключений количество второстепенных фигур слишком разрослось, причем писатель недостаточно четко проводит грань между главным героем и второстепенными.

Автор часто прибегает к методу косвенной характеристики героя. Так, например, Мизина выведен в романе, чтобы ярче подчеркнуть честность Бриха. Если бы автор показал Бриха без Мизины, мы не увидели бы, в чем проявляется его честность.

Мизина — подлинно художественный образ, он выполняет одновременно и свою самостоятельную и вспомогательную функции. Функция Алека иная — подсобная. Обилие таких чисто подсобных персонажей, как мне кажется, делает роман несколько растянутым.

Мне хотелось бы также сказать, что любовная линия романа неудачна. Автор не справился с этой задачей. Например, чтобы выяснить взаимоотношения Ландовой и Бартоша, он заставляет заболеть дочку Ландовой. Это — примитивный прием: соединение двух любящих героев над кроваткой больного ребенка.

Я бы хотел сказать, что́ мне особенно нравится в романе. Тип Бриха — очень распространенный у нас тип интеллигента. Он прожил тяжелую жизнь, во время войны был в Армии Сопротивления, но коммунистом все-таки не стал. Таких людей у нас немало.

Отченашек хотел показать, почему Брих стал таким замкнутым, ушедшим в себя человеком. И вот он показал, как жизнь всегда отталкивала его в сторону, как он жил в одиночестве, не надеясь на то, что общество может поддержать его. Автор показывает, что его герой изучает языки и сам хочет пробить себе дорогу. Но из этого ничего не может получиться, так как он сам отстраняется от участия в общественной жизни и не ищет себе поддержки у коллектива.

Я бы хотел подчеркнуть, что язык у Отченашека прекрасный. Он использует языковые средства, найденные нашей поэзией. Уже на первой странице романа встречаются выражения, которые невозможно употребить, не зная поэзии Галаса. При чтении романа читатель ощущает динамичность действия. Упрек, сделанный автору в отношении повторений, возможно, справедлив, и хорошо, что он был сделан. Вместе с тем хочется сказать, что Отченашек — один из наших самых талантливых молодых писателей.

С. А. Шмераль

Роман «Гражданин Брих» — безусловно, актуальная и нужная сегодня, именно сегодня, книга в связи с последними международными событиями.

Одно из основных достоинств романа в том, что люди показаны в процессе роста. Тем не менее, я не согласна с оценкой отдельных типов. Образ Марии Ландовой не кажется мне очень хорошо выписанным, а образ дочки Мизины, напротив, очень понравился. Это удачно написанный образ типичной чешской девушки из мелкобуржуазной семьи. Он характерен для многих старых романов, но у Отченашека эта девушка идет дальше, делая решительный шаг к новому, чего нет у старых чешских авторов.

Хочется сказать несколько слов о языке романа. Я считаю, что язык книги заслуживает всяческих похвал. Что мне особенно нравится в нем? Отченашек, как правило, употребляет не ходовые или уже вышедшие из употребления, а более редко встречающиеся слова, использует синонимы, и оттого язык его свеж и не трафаретен. Роман очень труден для перевода, особенно описания природы. Речь персонажей Отченашека предельно индивидуализирована. В журнальном переводе, мне кажется, это было недостаточно показано. Например, Адамек, рабочий, председатель завкома, говорит в романе совсем особенным профессиональным языком, а в переводе он изъясняется так же, как интеллигент Брих.

В заключение скажу, что выступавшие здесь товарищи высказали много ценных и интересных соображений, дающих верную оценку романа Отченашека «Гражданин Брих».

Людвик Ашкенази

Бабье лето

Перевод с чешского В. Петровой и В. Савицкого

Книга писателя Людвика Ашкенази «Бабье лето»— очерки о буднях современной Америки, своеобразные и яркие миниатюры, посвященные изображению жизни простых людей в Нью-Йорке, где автор был в 1954 году.*

«Бабье лето» — это нечто вроде лирического дневника, — рассказывает Л. Ашкенази в своем письме в редакцию нашего журнала. — Не репортаж и не беллетристическое произведение, а скорее попытка изобразить атмосферу Нью-Йорка, где я провел три месяца — три месяца, полных увядающей красы «бабьего лета» и переживаний таких скромных и малозаметных, что я думал, стоит ли вообще все это публиковать. Название «Бабье лето» не аллегорично. Речь действительно идет о времени года, о последней вспышке уходящего лета, о поре опадающих листьев. В этом названии проведена и параллель с названием моей первой книги-репортажа «Немецкая весна»... Я не ставил своей задачей написать книгу об Америке — для этого я был там слишком недолго и слишком мало видел. Мне была выдана виза только для пребывания в пределах Нью-Йорка...»

Перевод очерков из книги Л. Ашкенази «Бабье лето» сделан по тексту издания 1956 года, «Чехословацкий писатель», Прага.

ТУМАНЫ МАНХАТТАНА

Манхаттан возник перед нами внезапно, и панорама, раскрывшаяся впереди, так поразительно отвечала сложившемуся, всем известному представлению о нем, что первое чувство, которое охватило меня, было разочарование.

Мы ждем от незнакомых стран новых пейзажей, но обычные открытки с видами заранее лишают нас сюрпризов.

Правда, они приближают к нам далекие страны, но зато мешают сердцу забиться сильнее при встрече с незнакомыми берегами.

Мы в Америке.

Черные иглы небоскребов пронзают мягкий бархат небес. И кажется, не будь этой железобетонной колоннады, свод, подпираемый ею, подломится и погребет под собой город. Но *«Куин Мери»* подходит все ближе, и это отдаляет небосвод, подымает его ввысь.

Чем ближе небоскребы, тем выше над ними небо. К нам возвращается чувство перспективы, и все становится на свои места. Ведь небоскребы принадлежат одному Нью-Йорку, а небо над ними — всему земному шару.

Нью-Йорк сошел с открыток — живой город в пронизанном солнцем полуденном тумане.

Море кишит небольшими пароходами, геликоптерами; на розовом горизонте промелькнула стайка реактивных бомбардировщиков.

На катере прибывают таможенники; малый мирок *«Куин Мери»* входит в огромный мир Америки...

ПРИСЛУЖИВАЮЩАЯ ЕВРОПА

Отель расположен в центре Манхаттана, между Медисон авеню и Пятой авеню, неподалеку от Сентрал-парка. Это тихий и дорогой отель с традициями; здесь привыкли к постояльцам из хороших семей, которые делают вид, что им безразлична стоимость комнат.

* В оригинале книга Л. Ашкенази называется „Индейское лето". Это выражение заимствовано из английского языка (Indian Summer) и соответствует понятию „бабье лето".

Для миллионеров, знающих подлинную цену деньгам, такой отель слишком дорог, подобная нью-йоркская гостиница предназначена скорее для наследников семейных капиталов, чем для их приобретателей.

Иностранцев, особенно прибывших из стран, о которых в этом фешенебельном доме не говорят, принимают здесь весьма неохотно.

Они вносят беспокойство, и по их пятам следуют детективы. Кроме того, у них маленькие чемоданы, а у кого нет солидного багажа, тот в американском отеле доверием не пользуется.

На лифте нас поднимал старик лифтер, которому мальчишеское облачение «лифтбоя» очень не шло. Это был поседевший сутулый человек с открытым интеллигентным лицом.

— Вы откуда? — спросил он на плохом английском языке.

— Из Праги, — ответили мы.

— Я это знаю, — сказал он. — Мы об этом знаем. Нам сообщили.

— К чему же тогда ваш вопрос?

— Дело в том, что сам я из Вены, — ответил он.

— Ах, из Вены! В таком случае, почти земляки!

— Да, — ответил он с грустной улыбкой, — почти земляки. — Как он себя здесь чувствует? Хорошо. Превосходная страна Но то, что здесь называют венской кухней, вовсе не венская кухня. Хочется вас заранее предостеречь. А то, что называют *heuriges* *, вовсе не *heuriges*...

Потом он остановил лифт, вынес чемоданы, проводил нас в комнату, которая выглядела так, как выглядят все номера в гостиницах. И меня сразу же охватило чувство безотчетной тоски.

— Ну, всего доброго! — сказал лифтер.— Будьте у нас как дома.

Поклонился, взял доллар и промолвил уже в коридоре:

— Работа на лифте — не такая уж плохая профессия. Находишься внизу, но точно знаешь, что через минуту очутишься наверху.— Он прибавил с тонкой усмешкой: — В этом, земляки, преимущество «лифтбоев» перед остальными людьми.

И включил свет.

ГОРНИЧНАЯ ИЛИ ОДИНОЧЕСТВО

Итак, моя комната. Зеленый тяжелый бархат портьер; старомодные супружеские кровати и ультрасовременный холодильник; библия и телевизор.

Помимо этого, безвкусные белые шифоньеры, роскошная почтовая бумага, а на ночном столике — сюрприз: сброшюрованная молитва о погибших при атомном нападении. Это маленькая, искусно оформленная серая брошюрка на меловой бумаге. На первой странице надпись:

ПУСТЬ МОЛЯТСЯ ТЕ, КТО ОСТАНЕТСЯ В ЖИВЫХ.

Я прилег на кровать. Не раздеваясь. Мне захотелось почитать. Молитва была нудная: несколько пророчеств, цитаты из евангелия и совет посещать храм св. Патрика в Лос-Анжелосе.

Из всего прочитанного вытекало, что час человечества пробил и на крыльях мировых бурь скоро разнесется радиоактивная пыль.

Черный крест подействовал на меня угнетающе. Я лежал, не снимая ботинок, и меня с новой силой охватила тоска, знакомая лишь чужестранцу.

Потолок казался маленьким белым небом, а пятно на нем напоминало облако. Вдруг мне стало казаться, что оно походит на самолет.

Неожиданно вошла горничная Бетти, немка, недавно приехавшая сюда из Дуйсбурга. Она прибыла в США к сыну, который выслал ей билет, но умер, прежде чем ее самолет приземлился на аэродроме Ла Гардиа. Ей шестьдесят лет, она сильно накрашена, нижняя губа у нее слегка отвисла, волосы рыжие, крашеные.

Чувствуется, что это — женщина не без прошлого и с претензиями на будущее. Она говорит по-немецки и немного стыдится своей службы.

— Вы желаете чего-нибудь? — спрашивает она.

— Благодарю, ничего, — отвечаю я.

— Вы звонили?

— Нет, не звонил.

— Извините, — говорит она. — Тогда я пойду.

Она взглянула на открытый молитвенник, лежавший на высокой подушке, и многозначительно, как посвященная, усмехнулась:

— Молитвенник?

— Да, молитвенник, — отвечаю я.

— На лестнице стрелки указывают путь в убежище, — сообщила она. — У нас убежище «люкс»: ванны, телевидение, лампы дневного света.

Потом прибавила, что комнат, которые она должна убирать, много, слишком много для одной женщины; было сказано что-то и о старости, и о Дуйсбурге. У нее был модный оттенок волос, а лицо покрыто неприятно толстым слоем пудры.

— Это действительно аристократический отель, — заключила она скорее для соб-

* Heuriges — молодое вино *(нем.)*.

ственного утешения, — начинаешь чувствовать себя членом приличного семейства.

Под конец она рассказала, что на аэродроме ее никто не встретил, что она ходит каждое воскресенье на могилу сына, но цветы здесь очень дороги, и она их никогда не покупает. Зашла она без звонка, как заходит человек к человеку. Возможно потому, что Дуйсбург ближе к Праге, чем к Нью-Йорку...

HAM AND EGGS AND COFFEE* ИЛИ ИНОСТРАНЕЦ В ДРАГСТОРИ

На следующий день, обнаружив непомерную дороговизну завтраков в отеле, иностранец разыскивает ближайшую *драгстори*. *Драгстори* встречаются на каждом шагу. Это — аптека, которая в результате постепенной эволюции перешла от продажи слабительного к продаже бутербродов, омлетов и яичницы с ветчиной. А также к торговле сигаретами, книгами, предметами туалета, брезентовыми туфлями, плащами от дождя, детскими игрушками и безалкогольными напитками. Это удивительная, чисто американская аптека с высокими табуретами и стойкой, как в баре, — порождение постоянной спешки, которой охвачены люди в этой стране. Достаточно побывать здесь один раз, чтобы постичь разницу между медлительным европейским чревоугодием и американским отношением к еде, как к заправке горючим.

Драгстори — это бензоколонка для людей: прохожий останавливается, поспешно набирает горючее и мчится дальше.

В связи с этим возник и особый тип обслуживающего персонала. Человек в белом фартуке — личность, более или менее сходная с фокусником: в одно и то же время он варит кофе, разбивает дюжину яиц, обжаривает шницели и комментирует очередную статейку сплетника Уолтера Уинчела** из газеты *«Дейли ньюс»*. Этот поразительный человек, нечто среднее между официантом и заботливой мамашей, обслуживает около тысячи посетителей в день. Утром его заспанное лицо освещает любезная улыбка, к вечеру она сменяется явной, все растущей неприязнью к вечному пожирателю яиц и бифштексов, вечно спешащему посетителю. Посещение *драгстори* — первое, что вводит иностранца в стремительный темп американской жизни. Избалованный европейский гурман, привыкший к дружеским беседам с официантами и совещаниям с метрдотелем, проходит здесь крещение огнем. Это особый огонь — огонь электрической плиты, на которой человек в фартуке жарит кровавые шницели и яичницу с ветчиной. Драма иностранца в *драгстори* выглядит приблизительно так.

Он входит, здоровается, усаживается на высокий кожаный табурет и бросает на себя испытующий взгляд в зеркало.

«Что-то у меня сегодня странный цвет лица», — думает иностранец и тихонько рассматривает, что заказал себе человек, сидящий на ближайшем табурете. Каждому иностранцу известно, что новичку следует заказывать себе то же самое, что заказывает сосед.

Тот просит *ham and eggs and coffee*, иностранец бодрым тоном, который тотчас же показывает человеку за стойкой, с кем он имеет дело, заказывает себе то же самое. Официант уже заранее насторожился, поставил нос по ветру и бросил на иностранца долгий, изучающий взгляд. При этом он успевает зажарить пять шницелей сразу, нарезать хлеб, приготовить одиннадцать порций компота, два бокала апельсинового сока и один — замороженного какао.

— Кому *ham and eggs?* — бросает он вопрос в пространство.

— *Me**,— сдавленным голосом отвечает иностранец, и человек за стойкой запоминает его.

Неофициальная статистика отмечает, что средний иностранец выдерживает яичницу с ветчиной и кофе приблизительно неделю, самый упорный — десять дней.

Потом европейская натура в нем бунтует и чужестранец требует меню:

— Кто требует меню? — предостерегающе спрашивает человек за стойкой.

— *Me*,— отвечает иностранец.

Итак, перчатка брошена.

Затем иностранец принимается изучать меню. На это уходит довольно много времени, он обходит блюда с загадочными названиями и выискивает, если можно так выразиться, ароматы родины.

В это время человек за стойкой, бросая на него зловещие взгляды, разбивает яйца, а в свободную минуту точит на электрической точилке ножи.

Иностранец со вздохом облегчения находит два слова, вызывающие приятные воспоминания, например: *liver wurst.*

Liver wurst! Да ведь это же ливерная колбаса, — радуется он про себя и робко благодарит бога. Он жаждет поскорее со всем этим покончить.

Затем поднимает голову и решительно произносит:

— *Liver wurst and coffee, please!*

Человек за стойкой отвечает на это:

— *Уай о ай?*

В этом вопросе нет никакого скрытого коварства, человек за стойкой хочет лишь знать, какой сорт хлеба к завтраку желает джентльмен на табурете. Белый или черный — *white or rye?*

Иностранец не понимает, но не желает признаваться в этом.

---

* Ham and eggs and coffee — Яичница с ветчиной и кофе *(англ.)*.

** Уолтер Уинчел — реакционный американский журналист и радиокомментатор.

* Me — Мне *(англ.)*.

— Да нет, — отвечает он с обезоруживающей улыбкой. — Я прошу только *liver wurst and coffee, please!*

Человек за стойкой поражен. Он нервно разбивает еще девять яиц, обслуживает четырех других посетителей и снова обращается к иностранцу. На этот раз его вопрос звучит уже более резко:

— *Уай о ай?*

«Боже правый! — ужасается иностранец. — Не лучше ли сказать, что я приду завтра?»

Но потом он вспоминает, что поблизости только такая же *драгстори*. Там человек за стойкой делает шесть омлетов на трех сковородах сразу — вот и вся разница!

— *Liver wurst and coffee, please,* — говорит он еще раз как можно тверже, чтобы на сей раз произвести желаемое впечатление стопроцентного американца.

Надвигается катастрофа.

Входят несколько новых посетителей, человек за стойкой мечет тарелки, как диски, грозно колотит шницели, и, как всегда в таких случаях, у него что-нибудь не ладится: он разливает содовую воду. Тогда он, уже не сдерживаясь, устрашающе орет:

— *Уай о ай?*

И в этом крике звучит вся трагедия его профессии.

В большом зеркале иностранец ловит сочувственный взгляд очаровательной блондинки; он замечает любопытство девушки-подростка в коротких лиловых брюках и недовольство мужчины, который походит на страхового агента. Чужеземец охотно удалился бы с честью. Но, как говорится, надо спасать лицо.

Безнадежно махнув рукой, он заказывает яичницу с ветчиной и кофе. Внезапно он обнаруживает, что человек за стойкой тяжело дышит, бледен и покрыт испариной. И иностранец впервые понимает, что разбивать яйца и выжимать сок из апельсинов — дело вовсе не пустяковое.

Когда иностранец наконец уходит, он щедро оставляет «на чай», и человек за стойкой, поднимая красные от утомления глаза, приветливо кричит ему вслед:

— Приходите опять, будем вам очень рады!

КОГДА ОПЯТЬ ПРИЕДЕТ АНТОНИО МУЦЦИ?

Парикмахера в отеле зовут Джованни Маруццо, он итальянец. Это чистенький, смуглый старичок с унылым выражением лица. У него мало посетителей и язва желудка. Чаще всего он сидит один, в своем большом светлом зале, выкрашенном в синий и белый цвет, цвета корпорации парикмахеров. Помещение это весьма презентабельное, и парикмахер Джованни платит за него отелю около трети всей выручки. Но ему кажется, что существование его обеспечено, а честолюбие — удовлетворено.

— Я брею немногих клиентов, — говорит он, — но каждый из них в Америке что-нибудь да значит.

Потом из вежливости добавляет:

— И в Европе также.

Он утверждает, что в таком модном отеле можно неожиданно получить огромные чаевые и что однажды это произошло с ним, с Джованни.

Останавливался тут некий Антонио Муцци — букмейкер из Мессины, земляк, который в один прекрасный день сказочно разбогател; так вот он-то и положил на этот самый мраморный столик стодолларовую бумажку.

«У меня нет сдачи», — сказал тогда Джованни. — «Оставьте себе, земляк», — заявил вышеупомянутый разбогатевший букмейкер Антонио Муцци из Мессины.

— Вот как это произошло, с вашего разрешения, — заканчивает парикмахер.

В итальянском квартале такого случиться не может, это — событие большого света.

Он долго стриг, брил, массировал и причесывал нас; а в это время какой-то бледный веснушчатый кандидат в миллионеры чистил нам обувь.

И еще мы узнали, что парикмахер Джованни уже тридцать пять лет обручен, но они с Лючией до сих пор не могут обвенчаться, потому что семью содержать он не в состоянии.

За это время Лючия лишилась ноги: она спешила на свидание с женихом и хотела побыстрее сесть в автобус. Но автобус набрал скорость, и теперь у Джованни одноногая невеста.

Сейчас Лючия стóит Джованни много денег. О, мадонна, сколько денег!

Почему же Джованни не женится на своей невесте, если он все равно ее содержит?

— Невеста, — говорит Джованни, — это все-таки чужой человек. На невесте можно еще кое-что сэкономить.

— А видитесь вы часто?

— Нет, она уже не любит меня, — отвечает Джованни. — Я не проявил решительности, а женщины любят решительных мужчин. Вы это, верно, тоже заметили?

В парикмахерской у Джованни стоит вращающийся столбик с красно-бело-синими полосами, расположенными наискось, — это какой-то герб американской корпорации цирюльников.

Многоцветная спираль непрерывно стремится куда-то вверх, все дальше и дальше, без конца. Но это лишь оптический обман, прекрасная иллюзия: полосы всего-навсего кружатся вокруг столбика.

Уходя, я оставил у Джованни деньги с великим стыдом.

— Пожалуйста, — сказал я, — не обессудьте, я — не из Мессины.

— Благослови вас господь, — ответил он вежливо, но разочарованно. — Антонио обещал найти меня в этом отеле. «Оставайся тут, говорит, чтоб я тебя сразу нашел, чтобы мне не пришлось тебя разыскивать где-нибудь в Бронксе или на Бауэри». Вот

почему я и остаюсь здесь, хотя арендная плата в этих местах выше, чем в других районах Нью-Йорка.

— Когда же он был у вас в последний раз?

— Постойте, — задумался Джованни, — кажется, это было в 33-м году. Или же в 34-м.

На прощанье он показал мне фотографию своей невесты Лючии. Это была женщина с типично итальянским лицом, хранящим следы былой красоты.

ТАЙМС-СКВЕР, ИЛИ СИЛА РЕКЛАМЫ

Первый вечер всякого иностранца принадлежит Таймс-скверу. Мой приятель М., который приехал днем раньше и, следовательно, уже знает Америку процентов на сто лучше, нежели я, сидя рядом со мной в такси, заклинает меня не поддаваться чарам неоновой феерии на Таймс-сквере.

— Свежему человеку, — говорит он, — труднее всего устоять перед этим.

И с оттенком тщеславия прибавляет:

— Но уже во второй раз ему все становится ясно.

Он разъясняет мне, что реклама — это средство эксплуатации трудящихся. Между тем мы подъезжаем к Таймс-скверу, и мне внезапно начинает казаться, что я очутился в центре бомбардировки.

Вас обстреливают самые мощные световые батареи в мире, и вам не остается ничего другого, как жмуриться, моргать, таращить глаза и снова жмуриться.

На вас низвергается неоновая буря, буря без грома и без дождя, но с беззвучными молниями ужасающей силы, которые отличаются от небесных тем, что окрашены каждый раз в иной, часто приятный цвет. И тут мне в голову приходит фантастическая мысль: а что если люди стали бы красить весеннюю молнию в зеленый цвет, а осеннюю — в красный? Ведь тогда любая добрая буря, при нашей влюбленности в различные фейерверки и бенгальские огни, могла бы стать действительно народным гулянием.

Так, наверное, подействовал на меня Таймс-сквер — площадь рекламы.

Площадь эта попирает, кроме всего прочего, все законы гармонии. Краски совершенно не соответствуют друг другу, в них нет, как говорится, ни складу ни ладу, и это неожиданно создает ощущение красоты.

В нашем мире возникло новое удивительное произведение искусства — реклама. Но об этом никто не пишет, даже в Америке. Ее воздействие, особенно в первый раз, поразительно, а ведь это также является мерилом искусства.

Мы беседуем о влиянии рекламы.

— Обратите внимание на эту безвкусицу, — заявляет мой друг, указывая на неонового курильщика фирмы Кэмэл. — Этот человек курит бесконечную сигарету. Каждые несколько секунд из его рта вырываются клубы дыма, которые тут же растворяются в синем сиянии. — Помедлив, он прибавляет, что эта примитивная реклама рассчитана на людей малоинтеллигентных.

Вслед за тем, он с виноватой улыбкой достает пачку сигарет, разумеется Кэмэл, и говорит:

— Не думайте, что и я подпал под влияние рекламы, но в конце-то концов, это лучшие здешние сигареты!

Потом мы рассматриваем неоновую пташку, которая, не взлетая, трепещет крылышками над пивом Будвейзер, и нас охватывает непреодолимая жажда.

Но прежде чем отправиться пить пиво, мы еще долго ждем — не взлетит ли пташка?

Это было бы большим сюрпризом для фирмы Будвейзер. А прохожие на Таймс-сквере, вероятно, этого бы даже и не заметили. Одна пташка тут весны не делает...

ПЕРВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ

Я сказал В., что хотел бы познакомиться с какой-нибудь американской семьей. Я объяснил свое желание чисто профессиональным интересом, но за всем этим скрывалось стремление увидеть квартиру с обычной кухней, где хлопочет женщина, которая смутится, если ее застать в фартуке, квартиру, где резвятся дети и где есть книжный шкаф, а главное, нет белого шифоньера, как в моем отеле.

Он привел меня к приятным, молодым, измученным людям; они не знали — радоваться им моему визиту или нет, ибо, хоть я и очень старался, но с трудом выдавливал из себя слова.

Они старались быть приветливыми и приготовили для меня ледяной джин с содой.

Он — американец; экономист с принципами и поэтому без постоянной работы; она — чешка, синеглазое, доброе и, на первый взгляд, мягкое создание; она чем-то неуловимо отличается от женщин, которых я встречал в отеле и на улице. Он называет ее Божка, с неповторимым американским акцентом, словно перемалывая звуки зубами.

Его зовут Брайан. Он хороший муж и настолько любит правду, что не покупает детям сказок, стремясь оградить их от всякого вымысла.

Божка тайком хранит книги моравских сказок о водяных, сапожниках и принцессах, и таким образом маленькие американцы получают то, что им положено. Беседа велась с помощью Божены, я задавал обычные вопросы, которые наметил

себе еще в отеле: будет ли кризис, каковы в действительности размеры безработицы, велико ли влияние финансовых групп, есть ли у демократов шансы победить на выборах?

Он отвечал коротко и устало, а потом спросил:

— Как долго вы собираетесь пробыть здесь?

— Три месяца,— отвечал я.

— Этого слишком мало, чтобы узнать досконально хотя бы одну улицу на Манхаттане,— сказал Брайан.

К моим планам он отнесся скептически.

— Не сердитесь, — заметил он,— но я не понимаю, как можно, прожив в стране неделю, заявлять, что собираешься писать о ней книгу.

Потом он пошел проводить меня, и мы вместе рассматривали витрины.

На углу 43-й стрит и Пятой авеню, неподалеку от отеля, в здании нового банка *Manufactures' trust Co*, в одной из витрин находится, по слухам, самый большой в мире сейф.

Освещенная табличка утверждает, что одни лишь двери его весят тридцать тонн.

Витрина была залита лиловатым светом, слишком сильным для глаз, и свет этот придавал длинному, пустому помещению с гигантской кассой какой-то зловеще символический и одновременно нелепый вид.

Это был необъятный сейф, куда, казалось, можно упрятать весь земной шар.

— Не бойтесь Америки, — сказал вдруг Брайан,—по сей день здесь еще жив дух наивной гигантомании.

И в эту минуту, стоя перед чудовищной стальной громадой, мы оба внезапно ощутили простое человеческое волнение и симпатию друг к другу.

Этот чужой человек слегка коснулся меня рукою и вдруг стал мне милее всех тех людей, которых я уже имел возможность узнать в Америке.

ORANGE JUICE *

Нью-Йорк благоухает тремя ароматами: бензином, джином и апельсиновым соком. Первые два — унылые, это запахи Нью-Йорка делового и сурового. Они оба, каждый по-своему, как будто усиливают манхаттанский туман.

Апельсиновый сок принадлежит к светлым явлениям города, несмотря на то, что и его выжимают в страшной спешке и, конечно, с помощью электричества.

Но это все-таки поэтический напиток и потому, как видно, у него меньше приверженцев, чем у кока-кола, пепси-кола и севен-ап*, столь популярных в Америке. Кроме того, он дороже.

Вчера я пил апельсиновый сок в небольшом баре напротив отеля; знатоки из нашей делегации выдумали для него название — *«У вора»*.

Здесь обслуживает пожилой, плешивый официант в белом пиджаке с красными отворотами, а в кассе сменяют друг друга две старушки — одна толстая, другая тощая.

Кое в чем они, однако, сходны: во-первых, у обеих волосы отливают синевой; во-вторых, обе берут двадцать пять центов за малый бокал апельсинового сока, хотя это цена большого бокала. Вообще же здесь, за маленькими столиками, скучно и пустовато.

Официанта в белом пиджаке с красными отворотами пришел навестить его сын. Он строен, русоволос и очень красив; вместо рук у него протезы из стальных прутьев, поэтому он не снимает белых шелковых перчаток. Он улыбался жалобно и в то же время бодро. Сын молча подсел к стойке, а отец радостно приветствовал его со своей официантской дорожки между столиками.

— Сейчас приду, *boy!* — воскликнул он.

Затем поставил перед ним бокал апельсинового сока и объявил: *One orange juice for you, mister!***

Это была, как видно, дежурная острота, и произносил он ее, вероятно, всегда одинаково, без малейшего оттенка юмора. Юноша поднял своими стальными пальцами влажный, искристый бокал с апельсиновым соком, но стекло внезапно выскользнуло и с резким звоном упало на синс-белый кафель.

Все сделали вид, что ничего не заметили. Ничего не случилось.

Осколки отливали красивым желтым цветом — это было, должно быть, дорогое стекло. Капли жидкости сияли маленькими апельсиновыми звездочками. Потом пожилая мисс из кассы вытерла пол, и все было кончено.

Ничего не случилось. Только официант с красными отворотами на белом пиджаке, улучив свободную минуту, спросил сына:

— Еще один бокал?

— Спасибо, отец, — ответил тот. — Как-нибудь в другой раз. — И ушел.

ЕСТЬ У ВАС ЦВЕТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ? ИЛИ ПРОПАГАНДА

Шофера такси, судя по табличке в машине, звали Станислав Потоцкий. Но это был не бывший польский князь, а потомок крестьян с Краковщины, до такой

* Orange juice — Апельсиновый сок *(англ.)*.

* Seven-up — Севен-ап — название освежающего напитка *(англ.)*.

** One orange juice for you, mister! — Апельсиновый сок для вас, мистер! *(англ.)*.

степени американизированный, что он не мог даже выговорить название родной деревни.

С этим Станиславом Потоцким у нас состоялась беседа, которая окончилась неудачно.

— Откуда вы? — спросил он меня, определив, что я иностранец.

— Из Чехословакии.

Потом мы ехали и молчали.

— Эмигрант? — спрашивает он.

— Нет, с визитом,— отвечаю я.

— Гость?

— Пожалуй, так, — говорю, — гость.

Мы ехали и молчали.

— Вам здесь нравится?

— Ну, как вам сказать. Кое-что нравится, а кое-что нет.

— Вы — как я, — улыбнулся он. — Мне тоже кое-что нравится, а кое-что нет.

— Что же вам нравится?

— Мэрлин Монро*,— ответил шофер. — Вы знаете эту даму? Вы вообще любите женщин?

— Люблю,— ответил я.

— А вы видели Мэрлин голой?

— К сожалению, нет.

— Вы ее не видели?

— Нет.

Мы ехали и молчали.

— А у вас есть цветное телевидение? — спросил он.

— Нет.

— Вот видите,— обрадовался Станислав Потоцкий,— а у нас есть. И если я захочу, то куплю себе телевизор, господин понимает? Но пока еще не купил.

— Почему? — спрашиваю я.

— У меня жена в родильном доме.

— Ну, и что же? — говорю я.

— Ничего, — говорит он, — жена у меня в родильном доме. Это стоит много денег.

— Сколько?

— Много денег, господин понимает? Все сбережения и еще кое-что.

— Кто у вас родился?

— Девочка,— сказал он разочарованно.

Мы ехали и молчали.

— У нас это бесплатно,— коротко сказал я.

— Что у вас бесплатно?

— Родильный дом.

— Ну, это,— говорит он,— я знаю. Нам тоже о вас кое-что известно, господин понимает? Но ведь детей потом отдают государству, верно?

— Где там,— отвечаю я,— мамашам.

— Ну, ладно,— говорит Станислав Потоцкий,— это я вас просто испытываю.

Мы ехали и молчали.

— Послушайте,— спросил он,— а зубы вам дергают тоже бесплатно?

— Это-то наверное.

— А на рентген тоже можно пойти бесплатно?

— Конечно.

— Каждому?

— Каждому! — говорю я.

— Это я тоже знаю,— заявил Станислав Потоцкий, — я вас просто испытываю, действительно ли вы оттуда.

— Пожалуйста, — сказал я, — испытывайте.

Мы ехали и молчали.

— А детская коляска тоже бесплатно?

— До известной степени,— сказал я.

— Не выкручивайтесь,— говорит он. — Коляска — бесплатно?

— Нет, но они получают деньги.

— Кто?

— Мамаши.

— На коляску?

— На коляску.

— Хватит! — сказал он.— Вылезайте.

— Не вылезу,— сказал я.— Вы должны отвезти меня на Первую авеню.

— Вылезайте,— говорит он,— я для пропаганды не гожусь, понятно? Мне пропаганда противопоказана, *boy*. Я еще, пожалуй, начну раздумывать над вашими россказнями и нарушу предписания.

— Так я вылезу, — сказал я.

Мы ехали и молчали.

— Зачем вы придумываете? — говорит он.

— Я не придумываю.

— Ваша жена бесплатно получила коляску?

— Нет, но она получила деньги.

— На коляску?

— *Yes*!

Мы ехали и молчали.

— Вот мы и прибыли, — сказал он.

— Спасибо.

— Скоро у вас будет цветное телевидение, *boy*? — спросил он.— А у вас есть телефоны в автомобилях?

— Нет.

— Вот видите,— сказал он,— а у нас есть.

И уехал.

ДЕНЬГИ

Вчера вечером, когда мы пили чай у Р., кто-то позвонил: пришла гостья. Это была старая робкая женщина, но с какой-то юной, застенчивой улыбкой. Брайан встретил ее с нескрываемой радостью.

— Каким образом вы меня нашли? — спросил он.

— Это было нетрудно,— сказала старушка,— ведь вы каждый год посылаете мне рождественские поздравления. На своих собственных бланках,— добавила она, явно пытаясь пошутить.

Брайан представил ее нам. Она оказалась его школьной учительницей.

— Вы все еще ведете первый класс? — спросил он.

— Да, все еще веду. А вы все еще занимаетесь экономикой?

— Все еще занимаюсь, — сказал Брайан, — и все так же безуспешно.

Потом он сделал попытку выяснить, зачем она приехала в Нью-Йорк.

* Мэрлин Монро — известная американская киноактриса.

Рут Т. уклонилась от ответа, и вопрос замяли. Все занялись дешевыми конфетами и лимонадом.

Начались воспоминания; то была беседа посвященных, она велась одними намеками.

Брайан расспрашивал о какой-то школе в Западной Виргинии, интересовался, попрежнему ли миссис Рут живет под мастерской химической чистки, что поделывает какой-то Джонс и как поживает матушка миссис Рут.

— Матушка больна,— ответила она.

Потом она рассказывала о своем классе. Она заявила, что семилетний возраст — самый ответственный в жизни ребенка, в эту пору дети вспыльчивы, полны противоречий, нуждаются в любви и в то же время сторонятся ее.

— Им нужна любовь, а я свои запасы нежности уже исчерпала.

— Не верю,— воскликнул Брайан,— вы их вовсе не исчерпали, у вас все еще впереди.

— Я слишком больна,— ответила она,— чтобы иметь возможность любить так, как должен любить учитель.

Но когда Брайан спросил ее, продолжает ли она одевать маленьких оборвышей на свои деньги, она ответила, что конечно продолжает и делает это с радостью; кстати, добавила она, это не оборвыши, а дети бедных родителей.

— А жалованье у вас все такое же? — спросил он.

— Почти, но по субботам и в каникулы я веду счетные книги в небольшом магазине.

— А оборвышей в школе стало меньше? — деловито осведомился экономист Брайан.

— Нет, по-прежнему много. Но время идет: мы старимся, а из бывших оборвышей вырастают профессора-экономисты.

— Да, и при этом нередко безработные, — добавил Брайан.

На это она ничего не ответила. Было видно, что старушка чем-то сильно взволнована, что она хочет что-то сказать, но не решается. Она смотрела испытующим, учительским взором на своего взрослого ученика Брайана, которому в первом классе подарила свитер, а он в знак благодарности принес ей за это сладких корешков. Последний раз они виделись четырнадцать лет назад, когда он уезжал в Нью-Йорк.

— Так-то, Брайан, милый мальчик,— сказала она вдруг этому отцу семейства и тяжко вздохнула.

На лице Брайана появилось мальчишеское выражение.

— У меня больна матушка,— повторила она,— и я перестала учительствовать. Теперь из моего жалованья вычитают плату для моей заместительницы.

— Да, таков закон,— произнес неожиданно сухо Брайан; он сказал это совсем не так, как, мне казалось, должен был сказать.— Пройдемте в соседнюю комнату, я покажу вам своих сыновей.

Жена Брайана Божка спросила ее:

— А зачем вы, собственно, приехали в Нью-Йорк?

Старушка снова ничего не ответила, и снова вопрос замяли.

Хозяева попросили старую учительницу поужинать с ними и послушать новые пластинки с детскими песнями.

Она отказалась, и Брайан пошел проводить ее до дверей. Он вернулся и выглядел таким несчастным, что Божка кинулась обнимать его.

— Она надеялась занять у меня денег,— простонал он,— ей, верно, говорили, что дела у меня идут хорошо.

Он собрался на улицу, хотя шел дождь. И был так грустен, что мы без разговоров отпустили его. Уже надев пальто, Брайан вернулся:

— Она о деньгах и не намекнула. И я тоже. А теперь я кажусь себе самым низким человеком на свете, хотя всего капиталу у меня десять долларов тридцать пять центов.

ЭМПАЙР СТЕЙТ БИЛДИНГ

Каждый должен повидать Эмпайр стейт билдинг, небоскреб из небоскребов! Этого в Нью-Йорке никому не избежать. Меня много раз спрашивали:

— Вы уже видели Эмпайр стейт билдинг?

Кривя душой, я отвечал: да, мол, видел, он действительно необычайно высок...

Но пока еще мой нью-йоркский опыт туриста был крайне ограничен: раскаленные камни Манхаттана, высокий табурет в *драгстори,* окна в номере гостиницы, добряк Купферберг — продавец газет, неон на Бродвее и кино на 58-й стрит... Было совершенно необходимо, хотя бы для поддержания собственного престижа, взобраться по обычаю всех путешественников на Эмпайр стейт билдинг, небоскреб из небоскребов, и взглянуть на Нью-Йорк с высоты полета здешних птиц.

Я отправился на пресловутый угол 34-й стрит и Пятой авеню, заплатил доллар и за 60 секунд взлетел на трехсотвосьмидесятиметровую высоту.

Здесь, наверху, тоже была Америка, жарились шницели и рекою лился кока-кола, коричневый, ледяной. На мужчинах пестрели яркие галстуки, а дамы, ощутив на такой высоте потребность в ласке, слегка прижимались к своим спутникам.

Туристу полагается послать отсюда открытку, сфотографироваться на фоне Нью-Йорка, приобрести миниатюрный металлический небоскреб и посмотреть в запотевший телескоп. Проделав все это, он усаживается на скамейку и глядит на высокое, неинтересное нью-йоркское небо.

Внизу, как детские кубики, — Нью-Йорк! Темный город в зеленоватой мгле со смарагдовым озером Central-парка и коричневым алчным языком Манхаттана.

Вот он, Нью-Йорк!

В его пейзаже таится какая-то ультрасовременная, неизъяснимая прелесть; вместе с тем, этот гигантский памятник людской суматохи и усталости, надежды и покорности, бушующих страстей и одиночества чем-то пугает. Глядеть вниз на людей, на их города не стоит, уж лучше глядеть с земли на звезды — это придает нам больше уверенности в себе.

Приветствую тебя, Нью-Йорк, трагический муравейник, шахматная доска с никогда не заканчивающейся партией! Там, внизу, с трудом продвигаются вперед пешки. В засаде притаился слон. И ждет своей минуты коренастая, терпеливая ладья!

Возможно, у этого города есть и другие оттенки, но у меня в памяти остался цвет старого мха и растрескавшейся рыжей коры, серые арки мостов, черные трубы кораблей, дым желтый и седой...

У одного из телескопов стояла пожилая супружеская пара. Жена — увядающая красавица с кожей оливкового тона. Муж намного старше ее, с бледным некрасивым лицом, полускрытым большой бесформенной шляпой. Он каждую минуту отрывался от телескопа и, оборачиваясь к оливковой супруге, восторженно восклицал:

— Вот это где, Сьюзанн!

— Ах, оставь, карапузик,— отвечала оливковая красавица,— ее нельзя разглядеть!

— Клянусь, Сьюзанн, я вижу ту скамейку,— настаивал старик.— На ней ты обычно сидела и читала книгу. Потому-то я тебя и приметил!

— К сожалению,— ответила она без тени иронии.

Потом деловито добавила, что этот доллар за вход они вполне могли бы сэкономить, что не к чему предпринимать головоломные экскурсии да еще платить за них, и что ту скамейку все равно не видно, пусть Герберт будет любезен не выдумывать. Если бы он не был фантазером, возможно, все вышло бы иначе.

— Ведь мы родились в Нью-Йорке,—сказал старик с пергаментным лицом.— А здесь еще никогда не были!

— Мне здесь неинтересно,— заявила она враждебно,— ничто не интересно, понимаешь? Разве что прыгнуть!

— Полно, Сьюзанн,— испугался муж.— Что ты опять выдумываешь?!

Оливковая красавица упрямо молчала.

Тут достойный супруг заметил мальчугана лет десяти и ласково обратился к нему:

— Красиво, паренек, а?

— Что привязываешься, старая развалина,— огрызнулся этот миловидный мальчик и сплюнул вниз, на город.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДОВОЛЕН

На Бродвее слишком много света, и нищих туда допускают неохотно.

Бродвей — я разумею под этим отрезок между 41-й и 58-й стрит — это проспект красавиц, саксофонов и ослепительного сияния. Это шумная, торопливая, похотливая артерия города. В воздухе носится аромат пудры и алкоголя.

Попрошайничать между 41-й и 58-й стрит — привилегия немногих. Человек, который протягивает руку среди этого светового неистовства, должен иметь особый вид. Он не может быть тонущим, взывающим о помощи. В этом случае никто ему руки не протянет. Он еще должен держаться на поверхности; он может быть даже элегантен — это роли не играет. Напротив, это преимущество.

Он не смеет выглядеть очень несчастным,— если человек не может позаботиться о себе сам, к чему тогда переходнть дорогу людям, которые шагают по жизни, как по Бродвею? Если же этот человек еще способен на что-то и брюки у него выутюжены, то к нему будут благосклонны. Такой еще поднимется. Через лежачего же перешагнут. Кто лежит и над ним уже сосчитали до десяти, тот живой труп.

Если хочешь нищенствовать, вычисти ботинки до блеска и веди себя в соответствии с требованиями Бродвея.

Здесь выстаивает один такой; костюм из серого английского сукна, во рту сигара, котелок на макушке, на груди белый плакат:

Я ИГРАЛ НА БИРЖЕ.

Его никто не спрашивает, когда он играл на бирже, вероятно, это было очень давно. А быть может, и вовсе не было.

Он производит впечатление главным образом на людей, которые процветают. Стараясь сделать это незаметно, они суют ему в руку милостыню, эту малую жертву на алтарь легкомысленного бога американского Просперити, который может столкнуть человека в пропасть и снова вознести до небес.

Мужчина принимает деньги с выражением некоторого презрения, слегка приподнимает свой котелок и говорит:

— Благодарю. Сегодня — вы мне, завтра — я вам.

Его спрашивают:

— Джо, старина, когда вам сноза улыбнется счастье?

И стоит старина Джо на углу среди волн похоти, в парфюмерном водовороте Бродвея, снисходительный, с седой, как старый сиег, головой, даже несколько злорадный. Ему приятно, что подающие исчезают, что-

бы уже больше никогда не появиться, а он все еще здесь. У него есть конкурент, и конкурент солидный. Бывший герой Корреджидора*, высокий слепец с огромной немецкой овчаркой. У слепца красивое мужественное лицо. На нем хороший готовый костюм с претензией на элегантность, воротнички всегда белоснежны, и кажется, что галстуки пестрых американских расцветок он меняет ежедневно.

Слепой возбуждает участие своей военной выправкой, черными очками и даже безукоризненным белым воротничком.

И равнодушные бродвейские прохожие удовлетворенно говорят:

— Смотрите, каким Антони опять франтом!

Антони прохаживается взад и вперед, краснолицый и сытый потому, что зарабатызает он немало и его жизненный уровень высок. В одной нью-йоркской газете появилось интервью с этим бродвейским слепцом.

— Вы довольны своей профессией? — спрашивает репортер.

— Да, доволен, — отвечал незрячий ветеран,— мое предприятие приносит большой доход, и я благодарю бога за то, что он меня не оставил. Напишите, что я глубоко признателен мэру Нью-Йорка, который предоставил мне концессию на нищенство между 41-й и 58-й стрит.

— Чего вы ждете от жизни? — спросили его далее.

— Пищи, — ответил человек.

Однажды возле него остановилась подвыпившая красавица на высоких каблуках, ее сопровождал мужчина.

— Можете обнять меня,— сказала она,— это вам вместо милостыни!

Антони улыбнулся привычной оптимистической улыбкой. У него красивые белые зубы, и он их охотно показывает.

МЕХОВОЙ ВОРОТНИК, ИЛИ РАССКАЗ О СВОБОДНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Бродвей заманчив, и проходит он вблизи отеля.

И я хожу на Бродвей.

На углу 13-й стрит вчера плясали трое маленьких пуэрториканцев. Их было, собственно, четверо, но четвертый не танцевал и не пел, на нем было пальто с меховым воротничком и красные полуботинки.

У остальных не было ни пальто, ни красных полуботинок: они были маленького роста, смуглые, худенькие и босые. Плясали и кувыркались они не слишком весело. Это было кричаще профессиональное, лицемерное веселье, которое не передается зрителям. Но люди, стоявшие на углу 13-й стрит вокруг пляшущих ребятишек, были довольны. Там толпились зеваки, люди мелкого пошиба, наблюдавшие за представлением не столько из интереса, сколько со злым умыслом; продувная бродвейская шатия ежеминутно разражалась громким, недобрым смехом: они смеялись над чужой убогостью.

Стояло на этом углу несколько человек и с добрыми намерениями. Они задержались здесь для того, чтобы в перерыве между двумя танцами маленьких пуэрториканцев бросить на мостовую десятицентовик. Затем они уходили на кружащийся Бродвей, довольные своим хорошим поступком.

Стойло монете звякнуть об асфальт — к ней тотчас же бежал паренек с меховым воротничком. Никто иной — только меховой воротничок с красными полуботинками. Черные босые ноги были здесь для танцев и прыжков. Девятилетний импрессарио — меховой воротничок — заботился, очевидно, лишь о финансовой стороне предприятия. Он не плясал, это был предприниматель. Он закурил даже небольшую сигару, к великой радости зевак.

— Эй, *boss*, — кричали они. — Почему ты не носишь цилиндра?

Тот отвечал им испанским ругательством, и зеваки снова принимались хохотать.

Случилось так, что один из босоногих, маленький барабанщик, увидел серебряную монету в четверть доллара, которая подкатилась совсем близко к нему; полагая, что импрессарио смотрит в другую сторону, он ловко и проворно поднял монету.

— Эй, *boss*,— крикнул кто-то из зрителей. — Дай разок этому, с барабаном, он крадет у тебя входную плату.

И *boss*, маленький девятилетний мальчуган с прелестным носишком и глазами смуглого херувима, точно дикая кошка, бросился на маленького барабанщика. Заимствованным из кинофильмов и телевизионных спектаклей ударом он с комичной, при всей ее дикости, жестокостью свалил малыша на землю. Зеваки смеялись до слез.

— Влепи ему в рожу, ты, тряпка! — вопил чей-то голос.— А не то — катись отсюда!..

Никто не заступился за барабанщика, и маленький пуэрториканец с разбитым носом молча встал и вновь принялся барабанить. Он даже не казался особенно грустным. Как будто вообще ничего не произошло.

В толпе стояла полная, добросердечная дама, та самая, которая бросила роковые четверть доллара. Она не знала, что бы ей такое сказать, но ей очень хотелось произнести нечто достойное ее широкого сердца.

— Вы, конечно, потом разделите деньги?—спросила она наконец.— Правда ведь, вы их разделите, мальчики?

Один из артистов не без гордости ответил, что их нанимает Пьетро, меховой воротник, и они получают жалованье за не-

* Корреджидор — остров, принадлежащий к группе Филиппинских островов, оказавший героическое сопротивление японским войскам в 1942 году.

делю. Да, они служат и получают жалованье: *Sure, Ma'am, thank you...**

— Не трепли языком,— заметил на это Пьетро, меховой воротник. — Идиотик несчастный...

В этом обращении прозвучало даже нечто похожее на нежность.

Затем кто-то из малышей увидел огромного нью-йоркского полисмена, и уличные артисты бросились бежать. Они казались ужасно маленькими среди небоскребов Таймс сквера, а когда убедились, что никакая опасность им не угрожает, побрели потихоньку и принялись шалить, как шалят все дети в мире.

Только бизнесмен, меховой воротник, шел впереди, совсем один, навстречу слепящему сиянию Бродвея.

COMICS

Выяснилось, что маленький Павел, старший сын Брайана, опустошил копилку, в которую откладывались деньги на атлас. Он покупал два раза в неделю в *драгстори* на углу *комиксы* по десяти центов за выпуск и, прочитав их, перепродавал соседским мальчишкам за половинную цену.

Произошла семейная сцена.

— Почему ты не сказал нам об этом? — спросила Божка.— Ведь ты нам обо всем говоришь...

Молчание.

— Зачем ты их читал? — вновь спросила она.

— Их читают все в классе, — хмуро ответил провинившийся.

— Почему же ты скрываешь это от родителей?

— Потому что у вас нет денег, — ответил он,— и вы против убийств.

— А ты — нет? — ужаснулась Божка.

— Когда человек прав, — изрек мальчик, — он должен убивать.

Потом у него отобрали очередной выпуск, и Павел горько плакал. Брайан прочел нам вступление; оно звучало примерно так:

«Был поздний вечер, и в предместье большого города луна освещала одинокую девичью фигурку. Девушка шла вдоль спящих домов.

В такое позднее время может случиться все что угодно...»

Картинок было тридцать семь, они повествовали о том, как на одинокую девушку напал мужчина в черном, повалил ее на землю и стал срывать с нее одежду. Потом шли два рисунка убитой девушки с явными следами насилия. Черный мужчина убегал по улице в неизвестном направлении. Что будет дальше, узнаете в следующем выпуске.

— Зачем он убил ее? — спросил Брайан.

— Разве ты не видишь? — удивился его восьмилетний сын. — Он хотел ее изнасиловать, папочка.

И задумчиво прибавил:

— Может быть, он так поступил, чтобы замести следы.

— Пожалуй, это мог быть и шпионаж,— заметил Брайан.

— Эх, — произнес его сын, — не мучь меня, папа. Только заставляешь придумывать, а потом все равно не позволишь дочитать.

В конце концов, все в этой семье утряслось, как всегда. Ничего ему не запретили, просто читали все вместе и дружно хохотали над разными ужасами так долго, что постепенно стал смеяться и Павел. Ко дню рождения ему подарили абонемент в городскую библиотеку. Он гордился своим абонементом и начал читать настоящие книги. Этому американскому пареньку повезло — он родился в хорошей семье.

Но *комиксы* продолжают выходить. Их продают по десяти центов за выпуск в любой *драгстори*, в каждом газетном киоске. Эти брошюрки предназначены для детей. Не смешивайте их с рассказами в картинках, которые газеты печатают «с продолжением». Газетные рассказы в картинках предназначены для взрослых читателей и отличаются от комиксов тем, что все же проходят некую импровизированную цензуру. Они аморальны лишь настолько, насколько это допускают епископы. В отношении же детей предполагается, что неискушенный грешить не может.

Это огромный, общеамериканский бизнес с годовым доходом в сто миллионов долларов, выгодное торговое дело! Вкладываемый в него капитал соблазнительно мал: несколько графоманов, которых никто не ограничивает, вагоны дешевой бумаги и знание того, что называют *тайниками детской души*. Капитал минимальный, а прибыль сказочная. Поэтому выступать против *комиксов* не следует. Почтенные поставщики яда еще более неуязвимы, чем кто-либо иной, когда дело идет об осуществлении конституционной свободы слова. Это самые рьяные защитники основных американских свобод! Не отнимайте у человека его нивы, говорят они, пусть каждый воспользуется принадлежащими ему плодами.

Они создали даже теорию; ее защитники много писали о непопулярности сказок.

«Сказка чужда детской душе, — утверждает один из таких знатоков. — Дайте ребенку привыкнуть к жестокой правде жизни. У детей жестокая душа. Место драконов и волшебниц теперь в ней заняли убийцы. Но детям это безразлично».

Кое-что от сказок здесь все же осталось. *Комикс* сохранил основные черты сказки. Здесь тоже есть праведники и злодеи, порок наказывается, добродетель торжествует. Здесь есть герои без страха и упрека, которые могут совершить все что угодно, а главное, никому и ни в чем не уступают.

* Sure, Ma'am, thank you... — Конечно, мэм, благодарю вас... *(англ.)*.

Герой современных американских сказок для детей, как правило, блондин высокого роста, он прекрасно боксирует и владеет всеми видами оружия, включая и те, которые еще не существуют. Образы принцесс модернизированы; их место заняла цивилизованная красотка типа Мэрлин Монро с пышной грудью и бесконечным вырезом на платье.

Аль Кэб и Боб Лабберс, люди, создавшие одну из популярнейших героинь *комиксов,* написали небольшую исповедь о творческом процессе, в результате которого возникла Лонг Сэм, звезда *комиксов.*

«Нам хотелось, — пишут они, — чтобы Лонг Сэм была красивой девушкой из захолустной лесной местности, прекраснейшей женщиной в мире, при этом влекущей, но и невинной. На первых рисунках она была блондинкой. Она выглядела очень мило, но не удовлетворяла еще нашим эстетическим требованиям. Мы попробовали завернуть прядь волос у нее на лбу, отчего получился сердцевидный завиток. Мы решили также сделать Лонг Сэм прическу, называемую *«Жеребячий хвост»* — то есть прицепили ей, собственно говоря, два конских хвоста. Это помогло, но Лонг Сэм еще не стала Лонг Сэм. Чего-то не хватало. Она была страстной, но слишком кроткой. Тогда мы решили сделать ее брюнеткой и перебросить один из конских хвостов немного вперед, слегка укоротив его при этом. Оказалось, нужны были волосы черные, как воронье крыло, в этом и заключалось все дело. Но героиня еще не была достаточно дикой. Мы немного растрепали ей волосы, и так как ей следовало выглядеть чуть-чуть демонической женщиной, то мы взбили ей локоны над лбом наподобие рожек. Это было совсем неплохо. Только лицо ее вдруг оказалось, несмотря на всю его красоту, слишком утонченным для нашей Лонг Сэм, как мы ее себе представляли. Мы придали ее чертам немного больше шаловливости. Так, наконец, родилась Лонг Сэм — детски невинная душа в теле современной Венеры. Именно то, к чему мы стремились».

Такова внешность Лонг Сэм, принцессы века телевидения.

Герои сказок всегда изъяснялись лаконично. В сказках никогда много не говорили, чудеса совершались без объяснений, но всегда поэтично. Правило свершения чудес без объяснений было перенято производством *комиксов.* Поэтичность перенята не была.

Герои почти не говорят, диалог максимально сжат. Это объясняют враждебным отношением детей к длинным фразам. Атлет и сопровождающая его женщина-вампир говорят языком, сыгравшим уже свою роль во времена, когда наши предки жили стадами и только начинали проявлять еще смутные, но бурные чувства.

Список основных выражений героев *комиксов* примерно таков:

аргх (если кто-нибудь задушен или душит сам),

глуг-уг (когда кто-нибудь тонет и пускает пузыри),

бумс (удар),

ёу (для чувства боли, радости, удивления и восхищения).

И так далее, и в том же духе.

Действующие лица согласно законам драмы — положительные и отрицательные. Личности задушевные, утопленные, затоптанные до смерти и избитые плетью, снабжаются обычно темным цветом кожи, несоразмерной физиономией и различными биологическими дефектами. Это главным образом негры, итальянцы, евреи, китайцы и корейцы. Они могут быть также косыми, горбатыми, одноглазыми и ходить на костылях.

Коммунисты внешне ничем особенно не выделяются, разве что блеском глаз, соответствующим их страстной преданности идее.

Естественно, что личности, преследуемые атлетом или красоткой, не возбуждают сочувствия, и нормальный ребенок с удовлетворением воспринимает их *уничтожение.* Дети не боятся смерти. Смерть перестает быть событием в жизни ребенка. Это еще не столь обыденная вещь, чтобы не возбуждать в нем любопытство, но это простое любопытство, без страха. Ценность человеческой жизни сведена в глазах маленьких читателей *комиксов* к самому минимуму.

Так раздвигаются границы дозволенного, и в душе маленького человека происходит процесс, последствий которого мы, пожалуй, не можем даже полностью осознать. Ясно одно — человек есть человек; дети в конце концов одолеют это. Раньше или позже в них победит человечность.

Но буквально через день в здешних газетах появляются сообщения: четырнадцатилетний (пятнадцатилетний или шестнадцатилетний) преступник совершил убийство. Соседи в ужасе, учителя заявляют:

«Он был, как все дети. В нем не было ничего особенного».

Родители вне себя от стыда.

«Он был хороший,— рыдают они,— он никого не обижал».

Преступника спрашивают:

— Зачем ты убил?

— Не знаю,— отвечает он,— я хотел посмотреть, как это выглядит...

Границы дозволенного в его душе раздвинулись, перестали работать тормоза.

А началось это совсем просто — ребячьи мечты о геройстве и человеческое стремление выделиться. Да еще восемь часов телевизора каждый день, школа, *комиксы,* улица. И неожиданно из синеокого любимца, из хорошего ребенка порядочных родителей вылупился убийца; враг с точки зрения общества, сенсация с точки зрения газет, а в сущности — оболтус.

Ничего больше, только оболтус.

Я прочел в *«Нью-Йорк геральд трибюн»* любопытные статистические данные. Название статьи — «Все меньше книг читают в Соединенных Штатах».

«Американцы — это нация,— пишет *«Нью-Йорк геральд трибюн»*,— которая читает не слишком много книг. Двадцать пять процентов всех взрослых американцев читают одну книгу в месяц. Недавнее исследование Гэллопа показало, что едва тридцать девять процентов людей с высшим образованием читает «немного книг»; только девятнадцать процентов людей, окончивших среднюю школу, и только семь процентов с незаконченным средним образованием заглядывают иногда в книгу».

Это поколение, воспитанное на *комиксах* за десять центов. Человек привыкает к картинкам, и понемногу у него пропадает желание читать...

ЗАГАДОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В ОТЕЛЕ, ИЛИ ФБР

Сегодня днем у меня пропали брюки от темного костюма. А так как я хожу по вечерам на приемы, это было для меня маленькой драмой. Дело было не в потере элегантности, а в полной невозможности продолжать журналистскую деятельность. Я позвонил горничной Бетти, и она появилась весьма удивленная: наши взаимоотношения не были строго официальными, и звонок использовался крайне редко.

— У меня пропали брюки,— сокрушенно сказал я.

— Как это? — изумилась она.— Что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что у меня пропали брюки.

— Извините,— заявила она,— я вас очень уважаю, но кому здесь нужны ваши брюки? Вы, видно, недооцениваете Америку!

Мы заглянули в шкаф, брюк не было.

— *Um Gottes Willen!** — воскликнула она,— ведь у вас здесь никто не бывает. *Das kommt mir ganz misteriös vor***.

Потом мы побеседовали: о жизни вообще, и в частности, о брюках.

— Кстати,—сказала Бетти после краткого колебания,— к вам еще ходит этот радиотехник?

Оказалось, что у меня каждый день портится приемник и ко мне приходит радиотехник. Это было очень странно, ибо приемник работал вполне исправно и я никого не вызывал.

Я отправился к управляющему отелем: так, мол, и так, пропали брюки, а радиотехник приходит совершенно напрасно.

— Он действительно приходит к вам? — спросил меня управляющий.

— Говорят, что приходит,— ответил я.

— Тогда это, может быть, и правда,— заметил он.— Об этом говорят в отеле?

— Об этом говорят в Нью-Йорке,— ответил я, и мы отлично поняли друг друга.

Затем мы перешли к вопросу о брюках, и он заявил мне, что здесь не какой-нибудь захудалый отель, что здесь самые дорогие номера во всем городе, что здесь жил сам вице-президент Никсон, что здесь может пропасть бриллиантовое ожерелье или чековая книжка с чеками *bianco**, но уж никак не брюки, да еще из Европы. Мне не следует забывать, что я нахожусь в Соединенных Штатах, возле самой Пятой авеню, и что самый захудалый вор в этом квартале обладает гардеробом лучшим, чем тот (здесь управляющий извинился), который я привез с собой.

— Надеюсь, вы не обиделись? — спросил он.

— Не обиделся,— ответил я,— но хотел бы получить свои брюки.

— Ладно,— сказал он раздумчиво,— вы допускаете, что могли не заметить их второпях?

Я допустил это. Больше ничего не оставалось.

— Брюки обязательно найдутся,— заверил меня управляющий, повеселев,— будьте спокойны и немного пройдитесь. Возвращайтесь через часок — и наденете свои брюки.

— Вы полагаете? — спросил я.

— Полагаю,— ответил он доверительно.

Он тоже не любил загадочных происшествий в солидном отеле.

Я погулял и вернулся; брюки висели в шкафу.

— Видите,— неуверенно сказала Бетти,— вот ваши брюки. *Das ist doch ganz misteriös***.

— Вор? — спросил я ее.

— Нет, дипломатия,— ответила она.

— Нашли карманную *Hydrogen bomb?**** сказал я сердито.

— Не шутите,— запротестовала Бетти,— международное положение так серьезно...

Но в конце концов она улыбнулась и сказала, что лично она, Бетти И., горничная, мне доверяет. Она убедилась, что я тоже человек.

МАРСИАНЕ В АМЕРИКЕ, ИЛИ SCIENCE FICTION ****

Днем мы смотрели фантастический фильм в захудалом кинотеатре на 58-й стрит. Человек с Марса, летающая тарелка, сеющий смерть робот, полицейские сирены и меткая стрельба из револьвера — довольно наивная, но тем не менее действующая на зрителя стряпня, а рядом — сосед, который непрерывно сплевывал на пол остатки жевательной резинки.

---

* Um Gottes Willen! — Боже правый! *(нем.)*.

** Das kommt mir ganz misteriös vor — Это кажется мне совершенно загадочным *(нем.)*.

* Bianco — Подписанные, но незаполненные чеки *(итал.)*.

** Das ist doch ganz misteriös — Совершенно загадочный случай *(нем.)*.

*** Hydrogen bomb — Водородная бомба *(англ.)*.

**** Science fiction — Научная фантастика *(англ.)*.

В фильме, кроме всего прочего, решалась такая проблема: в Вашингтон прибыл с другой планеты посланец со специальной тайной миссией. На Марсе давно уже покончили с человеческими драмами, ходили в туниках из дакрона* марки *«Дюпон де Немур»* и слушали что-то вроде музыки сфер. Выяснив, что на Земле взрывают водородные бомбы и что человечество, как сообщил посланец, зашло в тупик, с Марса послали на помощь находящейся в опасности Земле летающую тарелку и одного рядового представителя марсианской интеллигенции, которому был придан робот с магическим глазом. Марсианский интеллигент должен был предостеречь человечество от последствий атомной войны, которую сами марсиане уже пережили с большим уроном на низшей ступени своего развития; он приземлился на своей летающей тарелке на главной площади Вашингтона. Посол был молод, обладал атлетическим телосложением и стандартной улыбкой джентльменов, поднимающих кружки с пивом *«Балантин»* на страницах журнала *«Лук»*. Он выразил желание созвать всемирный конгресс ученых по вопросу о запрещении атомного оружия. Этим он немедленно внушил подозрение вашингтонским официальным органам.

В драме принимали также участие влюбленная в марсианина обитательница Земли и взъерошенный ученый, который был, видимо, призван напоминать зрителям Альберта Эйнштейна; далее следовал невероятно корректный секретарь президента Соединенных Штатов и ребенок со склонностями детектива. Конфликт развивался так: робот убивал магическим глазом нескольких солдат, стоявших на страже у летающей тарелки, в армии пробуждалось недовольство, и после свалки на улицах Вашингтона интеллигентный марсианин падал, сраженный пулей.

Но так как марсианин бессмертен, то раны его, полученные в уличных боях, затягиваются. Окончательно разочаровавшись в нашей планете, он, под занавес, произносит речь на конгрессе, собравшемся вокруг летающей тарелки. В конгрессе этом приняли участие также и советские ученые с монгольскими лицами, в мохнатых папахах и маршальских мундирах. Как видно, речь марсианского интеллигента не произвела на них никакого впечатления; их непроницаемые лица сохраняли грозное выражение. Марсианин тем временем кончает говорить и исчезает в межзвездном пространстве.

Обитательница Земли утешала себя в таких выражениях:

— С Джо было ужасно скучно. Им целиком владела идея созвать конгресс. Но его сексуальная жизнь осталась для меня загадкой.

Так окончилась миссия интеллигентного марсианина на Земле.

Обо всем этом говорилось совершенно серьезно; то была отнюдь не сатира на нравы. Какая-то девушка, выходившая из кинотеатра впереди нас, сказала своей приятельнице:

— Думаешь, он вернется?

— Обязательно вернется,—ответила приятельница без тени улыбки.

В те дни местные газеты отметили годовщину известного нашествия марсиан. Это было в 1938 году. Радиокомпания *«Колумбия»* передавала постановку Орсона Уэллса *«Война миров»*. Во время репетиции Уэллс спросил у радиотехника его мнение.

— Самый заурядный *рассказик об индейцах**,— заявил тот.

— Вы думаете, передача вызовет отклики? — спросил Орсон Уэллс.

— Возможно, — сказал радиотехник, — ведь вы их знаете, они как дети.

Однажды вечером, в канун дня Всех святых, пьесу передали. То была пьеса о нападении марсиан на Америку.

Сначала по радио сообщили сводку погоды, потом последовала обычная танцевальная музыка, которая была неожиданно прервана бюллетенем из Вашингтона. Старый опытный актер Говард Смит мастерски прочел этот бюллетень, с блестящим мастерством комментатора компании *«Колумбия»;* затем он сыграл роль американского пилота, самолет которого преследуют марсиане, и, наконец, прекрасно изобразил моторизованного полицейского, передающего донесение из Принстона в Нью-Джерси. Трижды во время передачи было объявлено, что речь идет о вымышленном случае, что постановщик Орсон Уэллс и что главные роли играет Говард Смит. Но Америку охватила паника. Тысячи людей осаждали звонками центральную телефонную станцию радиостудии. С западного побережья Америки позвонил Джон Барримор, желая узнать, правда ли, что разведчики марсиан появились также и в Калифорнии, а из Вашингтона отозвалось переполошившееся официальное учреждение, запросившее, куда будут эвакуировать министерства.

— Будете эвакуироваться на Марс! — крикнула издерганная телефонистка. В официальном учреждении на основании этого решили, что и радиостудия компании *«Колумбия Бродкастинг корпорейшн»* захвачена марсианами; этим известием они породили смятение в самых высших сферах. Телефонистка была тут же уволена.

Тем временем радиорепортер продолжал описывать агрессора с Марса в таких выражениях: «Я вижу это существо! Оно величиной с медведя, тело его блестит, будто мокрое. Но лицо описать невозможно! Из похожего на букву V лишенного губ рта стекает слюна, черные глаза сверкают, как у змеи!»

— Помогите! — воскликнул затем радиорепортер и умолк.

* Дакрон — одна из разновидностей искусственного волокна.

* Имеется в виду стандартный приключенческий рассказ.

Орсон Уэллс впоследствии рассказывал: «Особенно напугал слушателей официальный тон. Скажите что-нибудь официальным тоном, и каждый американец этому поверит. Второразрядный оркестр наигрывал в нашей студии популярную мелодию, как вдруг музыка была прервана официальным сообщением. А потом актер заговорил голосом президента Рузвельта. И когда этот голос стал уговаривать граждан сохранять спокойствие, граждане смертельно перепугались».

— Записался ли кто-нибудь добровольцем в армию, чтобы защищать Америку? — спросили Орсона Уэллса.

— Куда там,— ответил Уэллс,— каждый спешил как можно скорее и как можно дальше убраться из города.

ОДИНОКИЙ, ТРОНУТЫЙ ТЛЕНИЕМ ЛИСТ

В эти дни над Нью-Йорком пронеслась влажная удушливая волна. Потом откуда-то с побережья налетел ураган, который здесь называют *Газел;* он коснулся города лишь краем своих тяжелых крыльев, и все окончилось высоко взлетавшими вихрями пыли, которые утихомирил и прибил к земле внезапный теплый ливень.

Ураган умчался на запад, оставив в память о себе потоки воды, руины и печаль. Испуганный Нью-Йорк отдыхал; в Сентрал-парк медленно входило красноватое, спокойное, слегка сентиментальное бабье лето. Посыпались багровые листья, в прозрачной мгле ранних вечерних зорь заблистали освещенные окна небоскребов.

Богатые красавицы с Пятой авеню начали кутать своих собачек в теплые попонки. У этих собачек худощавые выбритые тела и тонкие лапы; они удивительно напоминают своих хозяек; те и другие кажутся поразительно неуместными в этой стране предельной целесообразности. Красавицы в самом деле молоды и одеты более чем изысканно, они бледны и трагичны в своей аристократической скуке. Люди напрасно ищут в их жизни что-то загадочное: они читают абстрактную поэзию, покупают оригиналы картин, холят тело электрическим массажем и придерживаются строгой диеты, ежедневно измеряя объем талии и бюста. Они поддерживают свое существование фруктовыми соками, постными бифштексами и не менее постной грустью. И, конечно, деньгами богатых родителей.

Я ежедневно встречал одну из них — черноволосую, стройную и загадочную. Она прогуливалась по каменистым дорожкам, вдоль ровных рядов подстриженного кустарника; маршрут ее прогулки был неизменен, как путь часовых стрелок. Она то и дело нелюбезно обращалась к собачке и, без видимой причины, за что-то пеняла ей. За что — было ведомо лишь ей и собачке. Она останавливалась дважды: у бюста Вильяма Шекспира и у своей скамеечки под нью-йоркским деревом с красивой пордевшей листвой; она неизменно читала «Идиота» Достоевского. Все та же книга и все та же печальная улыбка, которую обращала к доброму князю Мышкину эта красавица, возлюбленная знаменитого баскетболиста, с которым она проводила каждый вечер в баре отеля, здесь же неподалеку.

Было время, когда опадают листья.

Я не решался заговорить с ней, потому что не совсем удобно заговаривать с незнакомыми женщинами на улице. Но я садился на ту же скамью, и эта роскошная, лишняя девушка из соседнего дома отмечала про себя мое присутствие. Однажды перед ней остановилась рыжая девица с огромными клипсами в розовых ушах; разговор их был интимным.

— Кажется, Сэмми свободен? — сказала та, в клипсах.

Красавица взглянула на своего песика и ответила с драматической интонацией:

— Он знает, что я занята, Сидни!

— Я могу вести себя с ним как мне будет угодно? — спросили клипсы.

— *May be*,*— недружелюбно ответила черноволосая и с подчеркнутой нежностью прижала к себе собачку.

— Все еще «Идиот»? — недвусмысленно молвила Сидни с клипсами.— Это, очевидно, связано с Сэмми?

— Нет, только со мной! — ответила вторая.— Увидишь, меня тоже зарежут огромным ножом, как Настасью Филипповну.

— Для этого Сэмми слишком ничтожен, — ревниво заявила рыжая и вежливо распрощалась.

Они чем-то очень напоминали друг друга, несмотря на то, что выглядели совершенно по-разному.

От отеля Плацца курсируют старые фиакры — память о викторианском Нью-Йорке. Здесь, в Сентрал-парке,—озеро, зелень и темный солнечный свет меж деревьев.

На скамье лежит одинокий, тронутый тлением лист.

В полдень она ушла домой, оставив после себя аромат миндаля и джина.

Ей 19 лет, а быть может, еще меньше; она слишком умна, чтобы читать *комиксы,* слишком цинична, чтобы ее мог возвратить к жизни проповедник Билли Грэхем, у нее слишком хороший вкус, чтобы ей хотелось выйти замуж за европейского маркиза.

Вот она и томится в Сентрал-парке, неподалеку от дома своих родителей.

Здесь — тихо.

---

* May be — Может быть *(англ.).*

(Окончание следует)

Об укреплении связей между народами

(Мнения некоторых сирийских деятелей)

Мавахиб аль-Каяли

Журнал «Иностранная литература» попросил меня проинтервьюировать по моему выбору нескольких общественных и культурных деятелей Сирии по вопросам установления дружеских отношений народа Сирии с другими народами мира и, в частности, с народами Советского Союза.

Я получил эту просьбу вскоре после того, как в Дамаске состоялись два съезда: съезд арабских писателей и съезд академий наук и академий арабского языка. На обоих съездах господствовало мнение о необходимости стоять на страже гуманистических ценностей, на которых зиждется наша история, которыми отличается наше культурное наследие и которые связывают нас с общечеловеческой цивилизацией. Одновременно в Дамаске происходила международная ярмарка, где различные нации состязались в изобретательности и мастерстве во имя созидательных мирных целей. Это соревнование не ограничивалось демонстрацией достижений промышленности и науки. Мы видели различные танцы, слушали песни в исполнении советского и венгерского ансамблей, австрийский симфонический оркестр; на ярмарке состоялись выступления и ряда сирийских коллективов. Был организован также кинофестиваль, в котором приняли участие такие страны, как Советский Союз, США, Англия, Италия, Польша, Китай, Болгария, Чехословакия и другие. Первую премию фестиваля получил советский фильм «Отелло».

Я убежден, что ярмарка оказала очень большое влияние на общественное мнение Сирии и привлекла его внимание к необходимости укрепления культурного сотрудничества с Советским Союзом и странами народной демократии. Между этими странами и нами уже заключено несколько договоров о культурном сотрудничестве.

Мировая культура — результат усилий всего человечества. Люди связаны друг с другом независимо от того, хотят они этого или нет. Ведь возможно, что ученый какой-нибудь страны ищет способы борьбы с болезнями, от которых умирают тысячи сирийцев и египтян. Когда бомбы англо-французских агрессоров убивали египтян, разрушали их дома, арабы почувствовали, что эти бомбы обрушиваются на все города мира. Точно так же все свободолюбивые люди мира были в Сталинграде, когда этот город сражался с фашистскими захватчиками. В то трудное время советские люди были не одни, с ними было все человечество, с ними были даже те, кто еще не появился на свет, потому что битва за этот бессмертный город решала судьбу настоящих и будущих поколений.

В 1954 году в Москве состоялся II съезд советских писателей. В Колонном зале, где он проходил, я встретился с И. Эренбургом, с К. Симоновым, слушал М. Шолохова. Тогда я вспомнил многих арабов, читавших произведения этих замечательных писателей и испытавших удовольствие, которое приносит передовое искусство.

В поезде по дороге в Ленинград я познакомился с замечательным композитором Шостаковичем. Его музыка покорила жителей Дамаска, слышавших голос вечного Ленинграда, который повсюду разносит Седьмая симфония.

В Ленинской библиотеке я видел книги ученых-гуманистов, эти книги стояли рядом, как будто их авторы были представителями одной нации: египтянин рядом с англичанином, сириец рядом с французом, врачи и философы, историки и писатели. Они сослужили пользу человечеству, обогащая культуру новыми открытиями, что делает их гражданами не только своей родины, но и всех стран мира.

В Вене танцевала девушка, прекрасная, как утро, она была счастлива и горда своей одеждой из роскошной дамасской ткани, и я испытывал гордость за искусных дамасских ткачей.

Тысячи возможностей могут быть найдены для развития сотрудничества между народами на основе взаимной помощи, обмена опытом в области науки, искусства и промышленности. Однако подлинное сотрудничество может развиваться не по принуждению и не под угрозой применения силы, как этого желают империалисты, а на принципах доброй воли.

Когда я получил письмо из «Иностранной литературы», на Арабском Востоке развивались события, связанные с борьбой против англо-франко-израильских агрессоров. Простые люди нашей страны призвали бойкотировать империалистический Запад, тот Запад, который на Востоке видели не иначе как в образе танка или самолета, разрушающего мирные дома, убивающего тысячи людей. Англия и Франция угрожали нам войной и оккупацией. Им было сделано предупреждение о серьезных последствиях, если агрессия против Египта не будет прекращена. Когда английские, французские и израильские солдаты несли Египту огонь и разрушения и угрожали оккупировать Сирию, в Советском Союзе и Народном Китае люди проводили демонстрации под лозунгом «Руки прочь от Египта!» и шли записываться в добровольцы, чтобы сражаться вместе с нами. Эти герои были убеждены, что когда свобода находится под угрозой, все честные люди мира должны объединиться, чтобы спасти ее.

Сегодня, когда кровь еще не высохла на арабской земле и на глазах матерей и детей еще не высохли слезы, нам преподносится «доктрина Эйзенхауэра», навязывающая народам Востока странное сотрудничество, при котором одни будут находиться в положении рабов, а другие — господ.

Теперь, после краткого вступления, я предоставляю возможность высказаться некоторым сирийским деятелям, тем, кто имеет влияние на общественное мнение. Я расположил эти интервью не по значимости лиц, давших их, а в порядке их получения.

ДЛЯ НАС ОТКРЫТЫ ДВЕРИ КО МНОГИМ НАЦИЯМ

ИНТЕРВЬЮ г-на САЛАХА АТ-ТАРЗИ

Первым, с кем я встретился, был доктор ат-Тарзи, генеральный директор министерства иностранных дел и глава сирийской делегации при Организации Объединенных Наций. Когда я попросил его высказаться по вопросу об установлении прочных связей между Сирией и остальными народами мира, в частности, народами Советского Союза, он ответил:

«Подлинные связи между народами — между всеми народами — должны возникать из взаимного желания постоянно укреплять мир.

Я глубоко убежден, что для нас открыты двери ко многим нациям, и в первую очередь к тем, которые избрали своим постоянным лозунгом «Мир всем народам» и осуществляют его во всей своей политической и культурной деятельности».

ПУТЬ КУЛЬТУРЫ — ВАЖНЕЙШИЙ ПУТЬ К УСТАНОВЛЕНИЮ ДОБРЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НАРОДАМИ

ИНТЕРВЬЮ г-на ХАЛИЛЯ МАРДАМ-БЕЯ

В Арабской академии наук я встретился с главой академии профессором Халилем Мардам-беем. В прошлом он несколько раз занимал министерские посты. Он считается одним из лучших поэтов и исследователей истории древней арабской литературы.

«Путь культуры,— сказал Халиль Мардам-бей,— **важнейший путь к установлению добрых отношений между народами. Здесь, в Арабской академии наук, мы пользуемся работами всех ученых мира, занимающихся исследованиями в области востоковедения. Арабская академия поставила перед собой высокую цель — реформу арабского языка... В своей деятельности академия сотрудничает с выдающимися учеными Запада и Востока, среди ее членов — представители многих стран мира. Покойный советский ученый И. Крачковский был одним из самых выдающихся действительных членов нашей академии. В настоящее время преемником Крачковского является советский ученый Е. Бертельс.**

Расширение сотрудничества между Советским Союзом и Сирией можно осуществить путем установления постоянных контактов между научными обществами обеих стран, обмена информацией, печатными изданиями, копиями рукописей, осо-

бенно в связи с тем, что Советский Союз прилагает похвальные усилия для воскрешения культурного наследия Востока, в частности, наследия арабских стран».

После того как профессор Халиль Мардам-бей рассказал о том, какое глубокое впечатление на некоторых членов Арабской академии наук произвела поездка в Советский Союз в 1954 году, он сказал, улыбаясь, что, по его мнению, «между учеными не возникает разногласий, потому что они далеки от политики».

МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАША НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЙДЕТ ДОРОГУ К СОВЕТСКИМ ЛЮДЯМ

ИНТЕРВЬЮ г-на АХМАДА СУЛЕЙМАНА АЛЬ-АХМАДА

Писатель и поэт Ахмад Сулейман аль-Ахмад является главным редактором газеты «Джаридат ат-Тахрир», выступающей от имени движения арабского освобождения. Г-н аль-Ахмад заявил следующее:

«Я уверен, что культура — первейший фактор в упрочении связей между народами. В этом мнении нет ничего нового, оно старо как правда, им руководствовался еще Эвклид, а один наш арабский поэт сказал: «Если мы не связаны родством, то к согласию приведет нас литература, которая будет нам вместо отца».

Несомненно, что наша эпоха еще более нуждается в культурном обмене для дальнейшего сближения народов.

Советская литература выполняет огромную часть задачи такого сближения благодаря своей искренности, своим подлинно народным истокам, своему истинному гуманизму.

Арабы, познакомившись с русской литературой, восхищались ею и переводили ее на свой язык. Имена Пушкина, Толстого, Горького пользуются в арабских странах такой же известностью, как и имена аль-Мутанабби, аль-Джахиза и Ибн аль-Мукаффа. У нас завоевали прочную популярность имена Владимира Маяковского, Николая Островского, Ильи Эренбурга, Степана Щипачева, Галины Николаевой и многих других.

Мы горячо надеемся, что и наша новая, проникнутая национальными и гуманистическими идеями литература найдет дорогу к советским людям. Хотя литература Сирии и других арабских стран находится еще в стадии экспериментов, несомненно, что у нас есть талантливые писатели, тесно связанные с народом, жадно впитывающие богатства народного творчества. Наши писатели Мавахиб аль-Каяли и Хусейн Муруввa, присутствовавшие на съезде советских писателей, познакомили нас с литературными направлениями и теориями, которые мы используем в поисках дороги к сердцу народа.

Мы находимся в начале процесса установления культурных связей со всеми народами. Если я особо остановился на связях с Советским Союзом, то это потому, что он явился пионером обновления литературы на основе ее связи с жизнью, с Человеком.

У нас есть старая пословица, которая гласит: «Всякий, кто отправился в путь, дойдет до цели». Мы подтвердим справедливость этих слов».

АРАБСКИЙ НАРОД УВЕРЕННО́ СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ

ИНТЕРВЬЮ г-на НАСИБА АЛЬ-ИХТИЯРА

Я долго беседовал с главой отдела публикаций сирийской радиостанции г-ном Насибом аль-Ихтияром. Приведу следующие вопросы и ответы из нашей беседы:

Вопрос. Каково ваше мнение о культурном сотрудничестве между народами?

Ответ. Культурное сотрудничество должно сблизить народы. Культура должна перешагнуть границы, чтобы выполнить свою историческую роль в деле упрочения мира и развития цивилизации.

Вопрос. Любая ли культура может выполнить подобную миссию?

Ответ. В культуре, как и во всяком общественном явлении, есть хорошее и плохое, прогрессивное и реакционное. Культура не может выполнить свою историческую миссию, если она не опирается на гуманистические и патриотические тенденции.

Шовинистическая, расистская, империалистическая культура не способствует сближению народов, упрочению мира и расцвету цивилизации. Она является орудием,

направленным против созидательной деятельности человека. Наоборот, культура, поставившая себя на службу народу — творцу истории, выражает общечеловеческие интересы.

Вопрос. Каково ваше мнение о современной арабской культуре?

Ответ. Наша культура идет в ногу с арабским национальным движением, являющимся частью исторического развития всего человечества. Эта культура верит в свободу, борется против колониализма, за всеобщий мир. В то же время она прилагает усилия, чтобы воскресить драгоценное наследие прошлого, сыгравшее прогрессивную роль и способствовавшее развитию цивилизации. Наша культура старается верно служить национальным интересам арабского народа и интересам всего человечества.

Империализм, все еще стремящийся восстановить свое былое влияние в арабских странах, использует все средства для создания препятствий и трудностей на пути развития современной арабской культуры. Но все эти попытки колонизаторов не увенчаются успехом, так как арабский народ уверенно смотрит в будущее и убежден, что его культура явится факелом не только для арабов — она будет блистать в факельном шествии народов всего мира.

МЫ ДОЛЖНЫ ЛУЧШЕ ЗНАТЬ ДРУГ ДРУГА

ИНТЕРВЬЮ г-на ХАННА МИНА

Член организации арабских писателей и главный редактор независимой газеты «аль-Алям» г-н Ханна Мина сказал:

«Если верно, что идеи не нуждаются в визах, то верно и то, что визы могут содействовать большему и скорейшему распространению, большей действенности идей.

Под визами я подразумеваю средства культурного обмена, в расширении и разнообразии которых мы нуждаемся, которые дадут нам возможность свободно развивать нашу культуру и помогут завязать необходимые связи между нашей и мировой литературой. Осуществив все это, мы могли бы черпать из сокровищницы мировой литературы, а она могла бы воспользоваться крупицами наших знаний.

Вышесказанное относится к культурному обмену между нами и всеми странами мира, а особенно к культурному обмену между Сирией и Советским Союзом, так как Сирия и арабские страны вообще знакомы со многими областями культуры Франции, Англии и других стран и очень мало знают о культурной, идеологической и научной деятельности в советских республиках. То же можно сказать и в отношении Советского Союза. Культурный обмен между нами начался поздно, коснувшись главным образом области литературы и не затронув области науки, искусства, образования, исторических исследований и т. д.

Мы в Сирии не знали известного советского ученого-педагога Макаренко до тех пор, пока один из студентов сирийского университета не написал о нем исследование. Благодаря этому мы познакомились с постановкой воспитания в Советском Союзе, что принесет пользу нашим педагогам. Мы не знали принципов и исторических корней советской критики до тех пор, пока не были сделаны переводы небольшой части произведений великого Белинского, что также принесло нам пользу. Мы любим советское кино, но нам недоставало такого фильма, как «Отелло», чтобы познать всю силу советского киноискусства.

Мы знаем и любим Пушкина, Толстого, Достоевского, Горького, Маяковского, Шолохова, Эренбурга, Тихонова, Фадеева, Симонова и других. Мы многое восприняли из их произведений, большая часть которых переведена на арабский язык. На многих наших писателей оказали влияние литературные приемы советских писателей, их школа, особенно школа социалистического реализма. Но мы хотели бы откровенно сказать нашим советским коллегам, что наша современная арабская литература известна в их стране очень слабо, потому что большинство произведений этой литературы не переведено на русский язык и языки других народов Советского Союза. В этой связи, думаю, я имею право отметить, что советские ученые и исследователи проявили к древней арабской литературе больше похвального внимания, чем к современной арабской литературе. Об этом мы откровенно сказали поэту Тихонову во время его приезда в Сирию для вручения Ленинской Премии Мира известному борцу за мир шейху Мухаммеду аль-Ашмару, и Тихонов согласился с нами.

Недавно состоявшийся второй съезд арабских писателей особенно подчеркнул необходимость культурного обмена, его расширения и усиления. Но, стремясь к этому, мы не забываем о настойчивых попытках колониальных государств использовать культурный обмен в своих интересах путем распространения упадочнических, преступ-

ных и циничных идей. Чувствуя всю опасность таких попыток, съезд арабских писателей рекомендовал защищать национальную арабскую культуру от подобных чуме влияний империалистической «культуры».

Что касается путей обмена культурными ценностями, обогащающими не только нашу цивилизацию, но и всю славную деятельность людей во имя мира и международного согласия, то таких путей много, и мы будем рады непрерывно разнообразить их».

КУЛЬТУРНОЕ СБЛИЖЕНИЕ ПОМОЖЕТ УСТРАНИТЬ РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ

ИНТЕРВЬЮ г-на АМДЖАДА АТ-ТАРАБУЛСИ

Доктору Амджаду ат-Тарабулси, профессору литературного факультета Сирийского университета, видному сторонику социалистической партии, я предложил вопросы в письменном виде.

Вопрос. Что вы хотели бы передать советскому журналу «Иностранная литература»?

Ответ. Издание подобного журнала имеет большое значение. Он является новым действенным фактором среди других усилий, прилагаемых во многих странах мира для духовного сближения народов. Нисколько не сомневаюсь в том, что ознакомление людей с общечеловеческими ценностями — самое хорошее средство для сплочения народов.

В сентябре прошлого года я имел счастье участвовать в третьей международной конференции поэтов, состоявшейся в Бельгии. В ней приняло участие около трехсот поэтов из 32 стран с различным политическим и экономическим строем. Советский Союз был представлен на этой конференции несколькими выдающимися поэтами. Несмотря на все различия во взглядах участников этой встречи, она прошла в атмосфере искренности и дружбы, что заставляет быть оптимистичным и что увеличивает мою уверенность в том, что культурное сближение между народами поможет, в конце концов, устранить разногласия между государствами.

Поэтому я приветствую издание журнала «Иностранная литература», веря, что он достигнет цели, ради которой создан.

Вопрос. Каково ваше мнение о культурном обмене между арабскими странами и Советским Союзом? Считаете ли вы его достаточным?

Ответ. Достижения культуры арабской нации признаны всеми. Я уверен, что эта культура не была бы так богата, если бы арабы не проявили готовности воспринять достижения великих цивилизаций прошлого: греческой, иранской и индийской, что сделало в свое время арабскую литературу примером мирового духовного сотрудничества. Тогда был намечен путь, на который должна стать наша литература и на этапе своего нового возрождения.

Сейчас молодежь нашей страны жадно читает переводы иностранных произведений. Меня радует, что некоторые шедевры советской литературы переведены за последние годы на арабский язык, тогда как раньше наши связи с этой литературой были слабы. Советские литературные журналы, как и журналы других стран, стали приходить к нам регулярно. Они знакомят нас с новыми направлениями в советской литературе. За последние годы также участились взаимные визиты деятелей арабской и советской культуры, что раньше было редким явлением.

Это не значит, что культурный обмен между арабскими и другими странами, в том числе и с Советским Союзом, достиг желаемой степени. Однако я уверен, что тот путь, по которому он развивается, приведет нас к намеченной цели.

Подлинный обмен происходит тогда, когда что-то берется и что-то отдается. Я не знаю, сколько внимания уделяется сейчас в Советском Союзе переводам произведений арабской литературы. Все, что я знаю, — это то, что советские востоковеды перевели на русский язык ряд произведений древней классической литературы. Эти переводы чаще всего читает только небольшая группа специалистов. Я хотел бы, чтобы в Советском Союзе уделили внимание переводам тщательно отобранных произведений древней и современной арабской литературы. При отборе необходимо исходить из того, чтобы они были интересны не только специалистам, но и широким кругам интеллигенции. Тем самым будет укреплена духовная связь между нашими народами.

В ОСНОВЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ ЛЕЖАТ ДРУЖБА, ЛЮБОВЬ И МИР

ИНТЕРВЬЮ г-на БАШИРА КААДАНА

Г-н Башир Каадан, владелец независимой газеты «аль-Джумхур», сказал:

«Несомненно, что сотрудничество арабских стран с социалистическими и особенно с Советским Союзом возникло благодаря помощи, оказанной нам этими странами. Арабы, в том числе и сирийцы, по-настоящему оценили ее в условиях, когда помощь, предлагаемая Западом, преследовала чисто империалистические цели. Помощь Советского Союза не ограничивается какой-либо одной стороной взаимоотношений между государствами. Она выражается и в политической поддержке, сыгравшей большую роль в изменении хода событий в пользу арабов, особенно таких освободившихся стран, как Египет и Сирия. Мы убеждены, что помимо важного для нашей экономической жизни сотрудничества в области промышленности арабы могут развивать с Советским Союзом отношения и в области культуры и искусства.

По нашему мнению, сотрудничество двух сторон уже привело и будет приводить в будущем к важным результатам. Например, наша победа — решение, принятое ООН по вопросу о Суэцком канале и агрессии против Египта, — была обеспечена благодаря твердости Гамаля Абдель Насера, вере арабских стран в правоту своего дела и поддержке Советского Союза. Я уже не говорю о бескорыстных займах, которые являются для арабов экономической и технической помощью в индустриализации их стран. Всеми этими действиями руководят дружба и взаимные интересы.

Кроме того, мы видим, что обмен делегациями, миссиями, взаимное знакомство укрепление уз дружбы происходит благодаря взаимопониманию народов, ибо в основе взаимоотношений между людьми лежат дружба, любовь и мир.

Вот основы, на которых зиждутся взаимоотношения между нами и Советским Союзом, и они безусловно приведут к культурному сотрудничеству — я имею в виду сотрудничество в области культуры и искусства, которое начало проявляться в официальных соглашениях, в посещениях театральных и танцевальных трупп, в демонстрации фильмов, которые познакомили Сирию с новой прекрасной жизнью миролюбивых и гуманных народов.

Мы желаем, чтобы это сотрудничество было более крепким и прочным. Оно может помочь нам избавить свою страну от оков империализма; путь к свободе — в служении миру и счастью будущих поколений».

МОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ УКРЕПЛЕНИЯ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ СССР И СИРИЕЙ

ИНТЕРВЬЮ г-на САМИ АД-ДАРУБИ

Г-н Сами ад-Даруби — профессор психологии Сирийского университета, один из руководителей партии арабского возрождения.

«Я всегда был уверен, — сказал Сами ад-Даруби, — что социализм порождает в человеке творческую энергию, бо́льшую часть которой капиталистический строй разрушает. Это качество социализма привлекает меня больше всего. Перед тем как началось сотрудничество в области культуры и искусства между нашей страной и социалистическими странами и особенно с Советским Союзом, находились люди, утверждавшие, что Советский Союз якобы достиг прогресса только в области промышленности, техники и военного искусства. Честные люди, симпатизирующие Советскому Союзу, даже старались оправдать это тем, что СССР на нынешнем этапе вынужден обращать основное внимание на развитие промышленности, чтобы обеспечить свою независимость. Однако недавно я увидел достижения русских на международной ярмарке в Дамаске. Я посетил выставку советского изобразительного искусства в дамасском музее, просмотрел несколько русских фильмов, видел также фильмы, свидетельствующие о том, каким вниманием пользуется в Советском Союзе спорт. Все это привело меня к убеждению, что прогресс в странах социализма достигнут во всех областях и не ограничен какой-либо отдельной стороной созидательной деятельности человека».

Вопрос. Что вы знаете о достижениях советских писателей и ученых и в какой степени возможен обмен этими достижениями между Советским Союзом и арабскими странами?

Ответ. Мне удалось прочесть ряд произведений советских писателей, переведенных на арабский или французский языки, и я считаю, что это живая, полная человеческого значения литература. Большое впечатление произвели на научные круги исследования русского ученого Лысенко, ученика знаменитого Мичурина. Теория морганизма, утверждавшая, что природа неизменна, потерпела поражение. Однако очень жаль, что дело перевода поставлено у нас плохо. Мне не удалось познакомиться с трудами Лысенко непосредственно, но я читал о них большое количество статей на английском и французском языках. Некоторые считали Лысенко правым, другие же искажали и порочили его теорию. У нас высоко ценится учение Павлова. Я и мои студенты придаем ему большое значение. Мы провели несколько опытов и исследований, которые доказали плодотворность этого учения.

Что касается моих предложений по поводу укрепления связей между двумя нашими странами, то я считаю, что этой цели послужит взаимный обмен студентами и профессорами, заключение соглашения о переводах на русский язык с арабского и наоборот литературных и научных работ, взаимные поездки, устройство выставок изобразительного искусства и т. д.

МЫ МНОГОЕ МОГЛИ БЫ ЗАИМСТВОВАТЬ ИЗ ОПЫТА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ИНТЕРВЬЮ г-на ШАФИКА АС-САФАДИ

Доктор Шафик ас-Сафади, инспектор института, занимающегося вопросами орошения и изучения водных ресурсов, сказал:

«Сирия сотрудничает со многими странами и народами в области строительства оросительных сооружений. В этом строительстве принимали участие многие инженеры и акционерные компании Франции, Голландии, Англии, Югославии. Однако эти компании проводили свою работу только на основе выгодных для них торговых сделок и их деятельность не носила характера дружеской помощи, идея которой должна существовать прежде материальной заинтересованности. Я убежден, что отношения между Сирией и СССР носили бы в этой области другой характер: мы многое могли бы заимствовать из опыта Советского Союза в вопросах геологии, геофизики, геодезии, в деле устройства ирригационных сооружений, особенно потому, что подобные сооружения в СССР считаются шедевром творческой мысли человечества и современного научного прогресса.

Я предлагаю установить самые тесные контакты между нашими гидротехническими институтами и институтами СССР. Сирия очень нуждается в освоении опыта других стран, что помогло бы ей извлечь максимальную пользу из своих водных ресурсов».

НАМ НЕОБХОДИМО ОБМЕНИВАТЬСЯ МЫСЛЯМИ

ИНТЕРВЬЮ г-на ФАТИХА АЛЬ-МУДАРРИСА

Сирийский художник Фатих аль-Мударрис — член сирийской миссии при Академии художеств в Италии, лауреат конкурса министерства просвещения Сирии.

«С любовью и гордостью,— сказал Фатих аль-Мударрис,— я посетил выставку работ советских художников в дамасском музее, где в первый раз рядом с нашими полотнами можно было увидеть полотна наших советских коллег. Я чуть не заплакал от радости вместе со своими друзьями-художниками, потому что в первый раз в истории наши народы встретились вне сферы политики. Мы были рядом с советскими художниками, которые показали нам пример того, как надо служить народу своей страны и народам всего мира.

Я видел полотно, на котором изображен весенний горный пейзаж. Каждая травинка на картине прекрасно гармонировала с цветом земли и неба, с фоном горы в перспективе. И я вспомнил горы, в которых провел детство. Затем я видел портрет женщины, и по ее глазам узнал свою первую любовь. Я видел детей, которые фотографировали друг друга. Эта картина была полна любви к детям.

Все эти произведения рисуют жизнь такой, какова она на самом деле; они свободны от всякой надуманности и искусственности, краски не шаблонны. Выставка в Дамаске была доступна для всех. Я был бы весьма доволен, если бы жителям Халеба также довелось увидеть эти полотна. Один из моих друзей из народа, побывав на выставке, сказал мне: «Эти картины произвели на меня очень глубокое впечатление». Другой сказал: «Почему вы не рисуете так же, как они?»

С тех пор я стал писать на сюжеты, взятые из народной жизни, и очень удовлетворен новым направлением в своем творчестве. Впоследствии я познакомился с этюдами тушью одного советского художника, который делал наброски на улицах Дамаска. Линии этюда были свободны, чувствовалось уважение и любовь к специфике нашей жизни. Каждый набросок свидетельствовал о живом интересе художника к особенностям жизни народа.

И теперь, когда мы находимся на пороге возрождения, когда мы идем в ногу со всеми миролюбивыми народами, нам необходимо укреплять этот культурный контакт с тем, чтобы обмениваться мыслями и рождать новые, лучшие мысли, увеличивать достояние искусства нашей эпохи.

Я читаю румынские, венгерские, советские и китайские журналы; в каждом журнале я нахожу несколько прекрасных репродукций, которые выражают новое направление в искусстве этих стран. Эти картины играют большую роль в формировании эстетического вкуса молодежи — ведь картина, изображающая часть жизни, надолго остается в памяти человека».

Дамаск

Говорит Бернард Шоу

26 июля 1946 года Бернарду Шоу исполнилось девяносто лет. В этот день по просьбе Британской радиовещательной корпорации он выступил в передаче для телезрителей. Выступление его состоялось в Айот-Сент-Лоуренсе, перед скромным сельским домиком, в котором великий драматург жил и работал всю вторую половину своей долгой жизни.

В течение восьми минут маститый писатель беседовал с миллионами телезрителей. Несмотря на преклонный возраст, его слабый, старческий голос звучал спокойно и уверенно, тон беседы, как всегда, был полемичен и задорен.

Да, гений не стареет! И в девяносто лет — все тот же неукротимый темперамент бойца, тот же беспощадный сарказм глубокого мыслителя, та же сила отрицания царства лавочников и биржевых маклеров... И все та же пламенная вера в юность мира!

Юбилейное выступление Шоу было заснято и записано на пленку. Ко дню столетнего юбилея со дня рождения Шоу студия телевидения Британской радиовещательной корпорации прислала копию этого уникального фильма в подарок Московскому телецентру.

Ниже приводится текст выступления Б. Шоу, записанный с пленки и переведенный И. Рубинштейном

— Приветствую вас! Откуда вы только собрались? И на кого пришли посмотреть? На старого человека, который когда-то был знаменитым драматургом... чтобы поговорить с ним о многом, что он видел на белом свете, о чем писал. Ну вот и все, что осталось от него, не так уж много, как видите.

Тем не менее, приятно быть здесь, прекрасно иметь так много друзей. Ведь друзья — это почти единственное, что в наше время налоги оставляют у литератора или художника, драматурга или артиста. Эти налоги забрали у меня чуть ли не все остальное, хотя вы, наверное, думаете, что я очень богатый человек.

И все же, мне не на что жаловаться. Когда я сейчас смотрю вокруг — о-о! — я вижу вот там несколько американцев; тут вообще довольно много иностранцев, ведь у меня друзья везде Так вот, один известный человек говорил, что у меня масса друзей повсюду и ни одного врага во всем мире, но что ни одному из моих друзей я не по душе. Ну, что вы об этом думаете? Однако надеюсь, теперь я нравлюсь своим друзьям чуточку больше, чем прежде, а это, увы, доказывает, что я становлюсь старым и слабым, и поэтому теперь никто уж больше не боится меня.

Не думайте только, что если я очень стар, то именно поэтому и очень умен. Ведь вы знаете, иной раз возраст не приносит мудрости... Но он всегда приносит опыт, которого нет у молодых. Как бы глуп ни был человек, но если ему девяносто лет, уж он наверняка повидал немало... во всяком случае то, что никто из вас не видел.

Я встречал на своем веку политических деятелей, артистов, писателей и вообще самых различных людей. Я переносил их на своих руках в колыбель, когда они были ма-

лышами, я видел, как они вырастали, становились взрослыми и красивыми... и женились; я наблюдал этих людей зрелыми, видел их пожилыми... наконец старыми... А потом они умирали. Согласитесь, большинство из вас не имело такого опыта.

Ну, а что касается моего опыта .. Что ж, я испытал и безвестность, и неудачи, и у меня в свое время не было ни успеха, ни популярности. Вы, вероятно, считаете, что известность и успех — очень заманчивые вещи? О, как вы заблуждаетесь! Раньше у меня вовсе не было времени думать об этом: я слишком много и тяжело работал всю жизнь, чтобы беспокоиться о том, великий я человек или нет. Но теперь, когда я уже не великий человек, а просто старик на покое, теперь я могу на досуге разобраться в этом вопросе.

Ну что ж, уверяю вас, что все удовольствие от моей известности достается вам, людям, которые празднуют мой юбилей, и только вам, а мне же — одна лишь тяжелая работа: давать бесчисленные интервью, ходить на банкеты и, вообще, вести образ жизни светского денди.

Я предупреждаю всех — и это главным образом относится к молодежи, стоящей на пороге жизненного пути: не стремитесь стать великими людьми. Прежде всего, из людей, которые собираются стать великими (а молодежь обычно не делает из этого секрета), как правило, ничего не получается. В молодые годы я даже и не помышлял о том, чтобы стать великим писателем. Когда я был мальчиком, я хотел быть пиратом или кем-либо в этом роде; постарше — мечтал сделаться опереточным певцом, затем больше всего надеялся быть крупным художником и, наконец, знаменитым музыкантом. И единственно кем я никогда не стремился быть — это писателем. Причина заключалась в том, что я был прирожденным писателем, и для меня это было так же естественно, как вкус воды во рту, а что может быть естественнее этого — по крайней мере, для меня: ведь я всегда был трезвенником.

Но только не вообразите, что если вы будете трезвенниками, то непременно станете великими людьми. Ничего подобного. Я знал многих людей, которые сделались известными, а некоторые даже знаменитыми — и все-таки главным в их пищевом рационе было виски и огромные сигары.

Я вовсе не хочу быть резким и не собираюсь никому навязывать своих выводов, но все же я, как и все старики, хочу еще поговорить с вами, прежде чем уйду. Только мне не хотелось бы, чтобы молодежь слышала меня... Я хочу сейчас воспользоваться удобным случаем и дать совет их родителям.

Если ваш сын вдруг, совершенно неожиданно, сообщит вам, что желает стать великим артистом или великим музыкантом (я чуть было не сказал великим политиком; ну что ж, пусть попробует, если такое занятие ему по душе), так вот, если он захочет стать великим деятелем искусства, остановите его, сделайте для этого все, что в ваших силах. Объясните ему, что если он намерен преуспевать в жизни и хочет, чтобы о нем хорошо говорили, так пусть станет лавочником или биржевым маклером.

А если ваша дочь внезапно заявит вам, что собирается сделаться великой актрисой, ибо уверена, что она — единственная персона в мире, которая может по-настоящему сыграть мою «Святую Иоанну».— постарайтесь помешать ей в этом, растолкуйте ей, чтобы она лучше вышла замуж за лавочника или биржевого маклера.

Именно таким путем ваши дети будут преуспевать и проживут счастливо и вместо того, чтобы самим быть великими, будут получать огромное удовольствие, чествуя великих людей, восхищаясь ими, читая их книги, глядя на их картины, слушая их музыку. Но пусть они не сочиняют, не пишут сами, потому что это чертовски тяжелый труд, и на этом пути их ожидает гораздо больше пинков, чем монет. Если бы вы знали, с чем мне пришлось столкнуться в моей собственной жизни, то вы бы наверно сказали: «Господи, избави меня от жизни, какая выпала на долю этого человека!»

Однако я не жалуюсь; не беда также, если кто-то вскоре умрет; лично я, впрочем, не собираюсь с этим спешить, поскольку жизнь моя протекает счастливо. Ведь самый верный способ быть счастливым — это много работать, делать то, что нравится, трудиться все время так, чтобы не оставалось времени размышлять, счастлив ты или нет.

И вот... Но, позвольте, я, кажется, начинаю говорить слишком много, пора остановиться. Что ж, было очень приятно видеть всех вас здесь и сознавать, что вы моя публика. Дело в том, что я прирожденный актер и ужасно люблю публику... Я совсем как ребенок в этом отношении.

Итак, прощайте, прощайте, прощайте — вы все!

Жорж Садуль

Имена, которыми мы гордимся

Подводя творческие итоги кинематографий крупнейших капиталистических стран за последние десять лет, видишь, что французское кино, конечно, стоит значительно выше кинематографии Голливуда, продукция которого, весьма обильная, обладает, тем не менее, спорными художественными качествами. Она идет также впереди английского кино, давшего, правда, сразу после войны ряд превосходных фильмов, но пришедшего в упадок к 1948 году из-за монополизации его киномагнатом Артуром Рэнком и вследствие засилия на экранах фильмов Голливуда.

С 1950 года французскую кинематографию начинает, пожалуй, обгонять японская кинематография как по количеству, так и по качеству своих картин, лучшие из которых созданы непосредственно под влиянием народной борьбы против иностранного вмешательства, борьбы за лучшую жизнь. Наконец, Италия обогнала Францию, оказав влияние на кинематографии всех пяти частей света благодаря своему «неореализму». Эта школа сумела великолепно показать итальянскую социальную действительность, требования народа, борьбу за национальную независимость — и все это благодаря таким одаренным кинорежиссерам, как Витторио Де Сика, Чезаре Дзаваттини, Лукино Висконти, Роберто Росселини, Джузеппе Де Сантис, Ренато Кастеллани, Пьетро Джерми, Альберто Латтуада, Карло Лидзани, Федерико Феллини, Микельанджело Антониони, Луиджи Дзампа, Альдо Вергано и т. д.

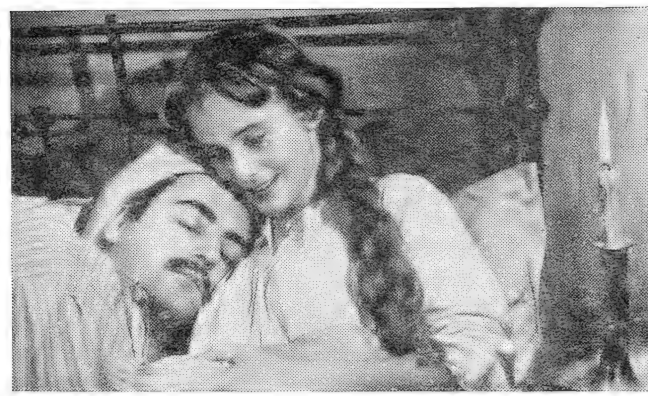
С самых первых своих шагов, в 1941—1943 годах, неореалистическая школа многое заимствовала у советского кино (особенно в теоретических трудах Пудовкина, Эйзенштейна, Кулешова и др.), а также у лучших мастеров французской кинематографии периода Народного фронта. На искусство Дзаваттини, Де Сика, Росселини, Висконти, особенно в начале их творческого пути, глубокое воздействие оказали работы Жака Фейдера, Жана Ренуара, Рене Клера, Марселя Карне, Жюльена Дювивье. Французское кино обязано этим выдающимся режиссерам тем, что в период между 1930 и 1940 годами оно освободилось от влияния Голливуда, обратившись к национальным и народным темам и героям. В эту пору искусство кино во Франции достигло подлинного возрождения. Между 1935 и 1939 годами оно заняло первое место в капиталистическом мире.

Сегодня можно задать себе вопрос, не появилось ли, подобно тому, как это случилось в 1936 году, новое течение, которое даст толчок французскому кино и поведет его опять к возрождению. Один за другим увидели свет два новых фильма: «Лучшая доля» Ива Аллегре и «Если парни всего мира» Кристиана-Жака; первый описывает социальные бои рабочих, второй — победу, одержанную в борьбе за жизнь человека. Такое прямое выражение чувств народа в двух фильмах подряд не повторялось с 1936 года. Вряд ли можно предположить, что подобное единство мысли в двух фильмах есть лишь совпадение. Скорее, оно отражает начавшиеся во Франции глубокие социальные и политические перемены. Не случайно оба эти фильма были премированы на международном кинофестивале в Карловых Варах.

* * *

Среди деятелей французского кино, которые завтра могут стать творцами его нового расцвета, помимо Клода Отан-Лара, Луи Дакена, Жака Беккера, Жан-Поля Ле Шануа, А.-Ж. Клузо, Кристиана-Жака (творческий путь которых и созданные ими фильмы мы анализировали в предыдущем обзоре, опубликованном в «Иностранной литературе» № 6 за 1955 год), следует назвать также Рене Клемана, Марселя Карне, Рене Клера, Андре Кайятта, Жана Гремийона, Ива Аллегре, комика Жака Тати и др.

Иллюстрации к статье Жоржа Садуля любезно предоставлены журналу организацией «Юнифранс-Фильм» (Париж).



Кадр из фильма Рене Клемана «Жервеза»; Мария Шелл (Жервеза) и Франсуа Перье (Купо).

* * *

Рене Клеман (род. в 1913 г.) — один из наиболее оригинальных художников, появившихся во Франции после 1945 года. Начав свой творческий путь в 1937 году в области короткометражного фильма, он в 1946 году приобрел известность благодаря успеху своей картины «Битва на рельсах». На создание этого фильма его вдохновила славная борьба французских железнодорожников против фашистских оккупантов. Эта вещь была задумана вначале как простой документальный фильм, но Клеман превратил его в эпопею Сопротивления. Не будучи похожим на «Рим — открытый город», он все же заслуживает сравнения с последним. В 1947 году, после того как Рене Клеман, в сотрудничестве с поэтом Жаном Кокто, поставил феерию «Красавица и зверь», а затем с актером Ноэль-Ноэлем комедию «Тихий папаша», он показал поражение фашистов в фильме «Проклятые судьбой». Это история подводной лодки, на которой в мае 1945 года тщетно пытались спастись от возмездия немецкие, французские и итальянские фашисты. Несмотря на некоторые недостатки сценария и диалога, фильм следует считать первой большой удачей французского кино по окончании войны.

После незаслуженного коммерческого провала «Проклятых судьбой» позиция Рене Клемана несколько поколебалась. «Стеклянный замок» (1950 г.) был посредственной инсценировкой посредственного романа австрийской писательницы Викки Баум. Фильм «За оградой» (1948 г.), или «У стен Малапаги», был гораздо лучше. Однако, в потрясающей форме изображая крайнюю нищету итальянцев, он, с точки зрения французского зрителя, слишком прямолинейно и слишком буквально возвращался к темам и символам, уже бывшим в ходу перед войной, в таких известных фильмах, как «Пепе-ле-Моко» (1936 г.) Жюльена Дювивье и «Набережная туманов» (1938 г.) Марселя Карне.

Всю мощь своего таланта Рене Клеман раскрыл в фильме «Запрещенные игры» (1951 г.) — лучшем произведении французской кинематографии за последние годы. Сценарий Пьера Боста и Жана Оранша построен на материале романа Франсуа Боксера Действие его происходит в 1940 году. Герои — десятилетний крестьянский мальчик и семилетняя девочка, родители которой были убиты фашистскими летчиками в то время, когда они вместе с мирной и печальной толпой беженцев брели по дорогам страны. Первые сцены, показывающие расстрел безоружной толпы гитлеровскими самолетами, сделаны рукой большого мастера. Фильм с огромной силой разоблачает войну и ее ужасы, показывая ее воздействие на ум и воображение несчастной маленькой сироты, которую неотвязно преследует картина убийства родителей. Исполненная лиризма, чувства нежности и юмора, картина «Запрещенные игры» была бы подлинным шедевром, если бы не отдельные сцены, пронизанные несколько легковесной иронией, несправедливо высмеивающие нравы наиболее отсталых и бедных крестьян.

Рене Клеман поставил в 1953 году в Англии картину «Господин Рипуа» с участием Жерара Филипа Портрет циника и жуира, жившего на средства женщин, выполнен с замечательным техническим блеском; однако, за исключением сцен, показывающих горе безработного юноши, затерявшегося в Лондоне, фильм изображает частный психологический случай, но не создает типа, который хотя бы отдаленно напоминал «Милого друга» Мопассана.

В 1956 году Рене Клеман закончил цветной фильм «Жервеза», представляющий собой инсценировку «Западни» Эмиля Золя, или, вернее, первой части его знаменитого романа Известная сейчас актриса Мария Шелл воплощает в нем образ героини Золя. Кроме того, авторы инсценировки Бост и Оранш включили в фильм несколько эпизодов из «Жерминаля» и сумели показать разгром синдикализма во Франции, причем они воспроизвели в точности эпоху описанных романистом событий (1850—1860 гг). Показанный в Венеции на фестивале 1956 года, этот фильм имел большой успех, а исполнительница главной роли Мария Шелл получила первый приз за лучшую женскую роль.

* * *

Марсель Карне (род. в 1909 г.) — один из лучших мастеров кино не только во Франции, но и во всем мире Начав свою деятельность в качестве киножурналиста, он затем поставил документальный фильм

Жильбер Беко и Франсуаза Арнуль в фильме Марселя Карне «Страна, откуда я родом».

«Ножан — воскресное Эльдорадо» и участвовал в культурных мероприятиях Народного фронта. Художественный фильм — «Набережная туманов» (1938 г.), последовавший за «Женни» (1936 г.) и «Забавной драмой» (1937 г.), принес ему колоссальный международный успех. В сотрудничестве со своим сценаристом Жаком Превером Марсель Карне с замечательным мастерством изобразил поэтическую атмосферу большого порта, интересно, хотя и пессимистически показал смятение, царившее среди определенных социальных кругов людей перед неизбежностью страшных конфликтов и новой бойни. Этими же особенностями отмечен и созданный после «Набережной туманов» один из лучших фильмов Карне и Превера «День занимается» (1939 г.)

Однако во время войны в творчестве обоих художников произошел характерный перелом. Их относящаяся к периоду средневековья феерия «Вечерние посетители» в метафорической форме выразила оптимистическую веру в окончательное поражение сил зла. И наконец, в последние годы гитлеровской оккупации Карне и Превер выпустили свой шедевр—«Дети райка» (1943—1944 гг.) — романтическую эпопею, в которой они, показав жизнь и сцены из народной среды около 1830 года, возродили традиции и благородную горячность Виктора Гюго и Бальзака.

Показанный публике через несколько месяцев после освобождения фильм «Дети райка» представлял собой подлинную вершину французской кинематографии того времени, он был встречен с восторгом во всем мире и проделал триумфальный путь по крупнейшим кинотеатрам Парижа и других столиц мира, где демонстрировался непрерывно в течение 14—15 месяцев.

Карне и Превер, находившиеся тогда в зените славы, обратились вновь к современному сюжету в фильме «Двери ночи» (1946 г.), в котором они нарисовали картину рабочих кварталов Парижа в трудную зиму 1944—1945 года, сразу после освобождения. Они очень выпукло изобразили спекулянтов, прибывших с англо-саксонскими армиями, рестораны черного рынка, бесчестность коллаборационистов и пособников фашизма, обнищание трудящихся, показали активных борцов-коммунистов, носящих еще на своем теле следы пыток гестапо. Тем не менее, Карне не смог избежать в этом фильме, в котором дебютировал как киноактер Ив Монтан, некоторых мотивов, бывших ему близкими еще до 1939 года, что снизило ценность произведения. Разнузданная клика, поддерживаемая реакционными кругами, использовала эти недостатки, чтобы начать бешеную кампанию против действительных достоинств фильма «Двери ночи». Они не могли про-

Жильбер Беко (справа) и артист Жан Тулу в фильме Марселя Карне «Страна, откуда я родом»

Рене Клер на съемках «Больших маневров»

стить Марселю Карне того, что он позволил себе критику социальных порядков, которую они хотели бы запретить всей французской кинематографии. К сожалению, их нападки имели успех. Этот фильм потерпел тяжелый коммерческий провал, Жак Превер совсем ушел из кино, а Марсель Карне долго не мог добиться постановки нового фильма.

Вернувшись, наконец, на студию для постановки фильма «Мария из порта» (1949 г.) Марсель Карне вынужден был удовольствоваться инсценировкой довольно посредственного романа Жоржа Сименона, но сумел, однако, вдохнуть жизнь в своих героев, которых замечательно играли Жан Габен и Николь Курсель. Когда ему затем предложили инсценировать «Терезу Ракен», он вместе с кинодраматургом Шарлем Спааком заметно изменил и сюжет знаменитого романа Золя, перенеся действие в сегодняшний Лион, и ввел в него современный персонаж: наемного солдата, принимавшего участие в империалистических войнах в Корее и Вьетнаме и превратившегося в циничного шантажиста. Их фильм, несмотря на это, сохранил верность духу Золя и его романа — крупного вклада великого писателя в мировую литературу.

После «Терезы Ракен» Марсель Карне взялся за постановку фильма «Воздух Парижа», в котором показан путь молодого боксера. Действие развертывается на фоне рабочих кварталов столицы. Вторая его часть, правда, пострадала от введения сентиментальной, довольно банальной интриги, зато первая — очень хороша: в ней изображена жизнь молодого железнодорожника и то, что составляет его «жизненный уровень». Он докатывается до нищеты и вынужден поселиться в жалкой гостинице, в которой живут североафриканцы. Показ жалких лачуг, в которых ютится множество парижских пролетариев, особенно трогает и волнует. После этого Карне намеревался создать картину о рабочих, строящих плотину для гидроэлектростанции. Вместе с итальянцем Чезаре Дзаваттини он уже написал сценарий, но из этого проекта ничего не вышло, и художник довольно неохотно взялся за музыкальную комедию с участием модного певца Жильбера Беко — «Страна, откуда я родом», выпущенную в начале нынешнего года.

* * *

Рене Клер (род. в 1898 г.) — самый прославленный из живущих ныне французских кинорежиссеров. Едва достигнув тридцатилетнего возраста он приобрел мировую известность своими картинами: «Париж уснул» (1923 г.), «Антракт» (1924 г.), «Соломенная шляпка» (1927 г.) и, в особенности, «Под крышами Парижа» (1930 г.). Эта картина пользовалась громадным успехом в Москве, Токио, Берлине и т. д. В ней он правдиво отобразил жизнь людей из народа в такое время, когда, следуя примеру Голливуда, почти все фильмы в капиталистических странах показывали главным образом полицейские драмы или сентиментальные комедии из жизни миллионеров.

Рене Клер вступил тогда в очень плодотворный период своего творчества: он поставил фильмы «Миллион» (1931 г.), «Свободу нам!» (1931 г.), «Четырнадцатое июля» (1933 г.) и «Последний миллиардер» (1934 г.), представляющий собой ядовитую и остроумную сатиру на фашизм и на крупных капиталистов; в Западной Европе, однако, этот фильм не имел коммерческого успеха. Разочарованный Рене Клер покинул родину. Война продлила его отсутствие. В течение двенадцати лет, проведенных в Лондоне и Голливуде (1934—1946 гг.), режиссер не поставил ни одной картины, которая была бы на уровне его прежних блестящих работ. Его фильмы — «Привидение переселяется на Запад», «Моя жена ведьма» (1941 г.) и «Это случилось завтра» (1944 г.) — уже не пользовались таким успехом, как прежние. А родина так жестоко нуждалась в истинно французском режиссере!

Вернувшись, наконец, в Париж, Рене Клер осуществил здесь в 1947 году постановку фильмов: «Молчание — золото», посвященного пионерам кинематографии 1908 года, и комедии на тему мольеровской «Школы жен». Сразу же после этого он приступил к постановке фильма «Красота дьявола» (1949 г.) с участием выдающихся актеров Жерара Филипа и Мишеля Симона. Обратившись к теме Фауста, он изо-

Артисты Брижитт Бардо и Жан Дезайи в фильме «Большие маневры».

бразил молодого ученого, поставленного Мефистофелем перед дилеммой: может ли человек, познавший тайны природы и способный уничтожить мир с помощью атомной энергии, использовать ее для достижения единовластия и для ведения войны? Молодой ученый отказывается подчиниться дьяволу. Таким образом, эта драма совести, хотя и трактованная режиссером в пышном стиле, близком к опере, была, совершенно очевидно, внушена ему позицией таких ученых-атомников, как Жолио-Кюри и Эйнштейн, а также движением против войны, которое Стокгольмским воззванием всколыхнуло миллионы людей на всем земном шаре.

Фильм «Красота дьявола» стал бы, пожалуй, шедевром Рене Клера, если бы смысл его был так же ясен, как в «Последнем миллиардере». К сожалению, фабула осталась слишком метафоричной, выраженной намеками и окольными путями. Поэтому значение ее не дошло до широкой публики, ее идея осталась не совсем понятной, и успех фильма объясняется больше всего великолепной постановкой и превосходной игрой актеров.

Рене Клер изменил философской драме ради комедии, поставив «Красавицы ночи» (1952 г.) — довольно утомительный и оставляющий чувство разочарования фильм, который никак нельзя отнести к лучшим созданиям художника. Возможно, он решил, что совершил ошибку, взяв для двух последних своих работ слишком обширные сюжеты (в «Красавицах ночи» автор заставляет своего героя совершить во сне прогулку по многим эпохам и векам). Тем не менее он решительно взялся за такой же ограниченный, такой же, как иная новелла Мопассана, внешне незначительный сюжет, поставив фильм «Большие маневры» (1955 г.)

Действие фильма развертывается незадолго до первой мировой войны во французской провинции, в годы, которые в некоторых парижских кругах весьма неосновательно называли «прекрасной эпохой». Рене Клер уже не раз переносил действие своих фильмов в первые годы XX века, но тогда он очень заботился о том, чтобы они носили трогательный, комический или старомодный характер. В «Больших маневрах» интрига идет гораздо дальше, чем кажется на первый взгляд. Автор фильма не довольствуется тем, что показывает, как молодой офицер, этакий Дон-Жуан (Жерар Филип), попадает в расставленную им самим ловушку, то есть искренне и несчастливо влюбляется в молодую разведенную модистку (Мишель Морган). Начавшись легкой и очень веселой комедией, фильм к концу превращается чуть ли не в трагедию, потому что, как только герой становится искренним, как только он перестает быть циничным прожигателем жизни, против него ополчается все буржуазное «хорошее общество», со всей своей ненавистью и всеми предрассудками. Достоинство фильма заключается в том, что в нем больше критики социальных порядков, чем во всех пре-

Исполнители главных ролей в «Больших маневрах» Мишель Морган и Жерар Филип на репетиции танцевальных номеров.

дыдущих произведениях Рене Клера, конечно критики, сильно замаскированной и не ставящей перед собой столь больших задач, как это делал в XIX веке, например, Мопассан. Но было бы ошибкой считать «Большие маневры» только мастерски выполненной вышивкой по нежизненной и неглубокой канве. Отнюдь не банальный сюжет фильма полон искренности, житейской наблюдательности и горького анализа буржуазных нравов.

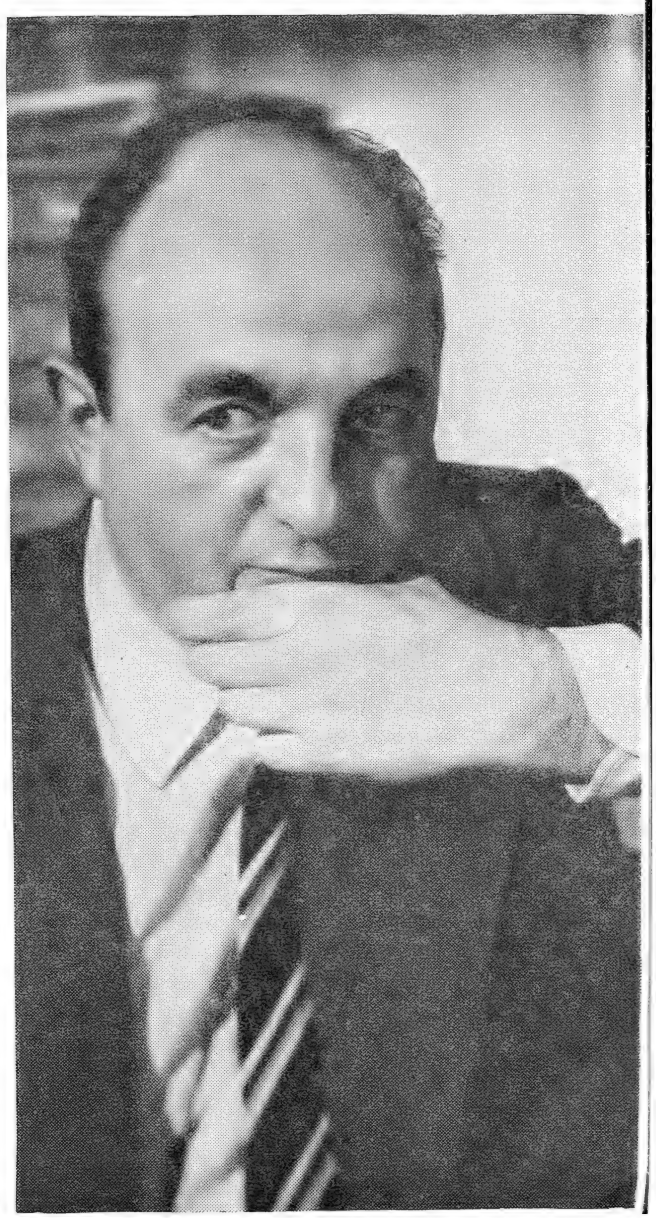
* * *

Четыре лучших фильма Андре Кайятта и его постоянного сценариста Шарля Спаака: «Правосудие свершилось» (1950 г.), «Все мы — убийцы» (1952 г.), «Перед потопом» (1954 г.), «Черное досье» (1955 г.) — построены на судебных процессах. Андре Кайятт, родившийся в 1909 году, до того как стал кинорежиссером, был долгое время адвокатом, затем, с 1938 года — сценаристом и постановщиком фильмов (до 1947 года он их поставил очень много и довольно низкого качества).

Вот почему Андре Кайятт особенно интересовался проблемами, касающимися постановки судебного дела во Франции. И действительно: фильм «Правосудие свершилось» вскрывает судебные ошибки, совершенные присяжными, избранными по жребию среди населения; «Все мы — убийцы» — обвинительный акт против смертной казни за уголовные преступления; «Перед потопом» рассказывает о том, как группа свихнувшейся с правильного пути молодежи попадает на скамью подсудимых; «Черное досье» показывает, какую власть закон предоставляет следователю и в какие тяжелые условия поставлены судебные работники Франции из-за низких окладов.

Надо, однако, сказать, что значение этих четырех фильмов выходит далеко за рамки юридических проблем. Они дают картину современной Франции с самых различных сторон. Фильм «Правосудие свершилось» представляет собой серию киноновелл, рисующих целый ряд типических, очень удавшихся автору портретов: богатого и жадного крестьянина (в исполнении актера Франсуа Перье); гарсона из кафе, обладающего свойственным людям из народа благородством (Раймон Бюссьер); мелкого промышленника-католика (Ж.-П. Гренье); циника-аристократа и др. Фильм «Все мы — убийцы» правдиво изображает люмпен-пролетариат и последствия войны и оккупации для некоторых особенно обездоленных элементов. В «Черном досье» описана со многими поразительно верными подробностями жизнь небольшого французского городка, с его крупными капиталистами и буржуазией, «хорошим обществом» и с предрассудками и интригами.

Наконец, самый лучший фильм Кайятта «Перед потопом» дает глубокую, психологическую картину паники, охватившей крупную и мелкую французскую буржуазию в конце 1950 года, когда война в Корее приняла такой оборот, что люди считали неминуемым третий мировой конфликт и опустошение Франции атомными бомбами. Больше всех удался автору фильма образ крупного капиталиста Буссара (эту роль исполнял актер Поль Франкёр). Он покупает яхту, чтобы бежать из Франции при первой тревоге, переносит в Дакар некоторые из своих коммерческих и промышленных предприятий, чтобы «защитить» свои капиталы от риска войны. Образ профессора — сторонника мира, не решающегося еще, однако, примкнуть к борцам за мир, тоже хорошо вылеплен Бернаром Блие. Интересно показано смятение среди группы мелкобуржуазной молодежи, думающей лишь о бегстве от грозящих ей опасностей.



Бернар Блие в фильме «Черное досье».

Кадр из фильма Андре Кайятта «Черное досье». В центре артистка Даниэль Делорм

И все-таки фильм «Перед потопом» — эта поразительная картина растерянности в определенных кругах Франции в наиболее острый момент «холодной войны» — грешит неточностью в изображении некоторых типов, например, молодого студента-коммуниста, желанием примирить все стороны и, наконец, некоторым мелодраматизмом Два последних недостатка еще отчетливее проявляются в фильмах «Черное досье» и «Все мы — убийцы». Хотя четыре фильма Кайятта и Спаака в некоторых отношениях несовершенны, все же это очень нужные произведения: их неоспоримое достоинство в том, что они современны и искренне повествуют нам о сегодняшней Франции.

* * *

Жан Гремийон (род. в 1902 г.) обратил на себя внимание еще в период немого кино, создав такие фильмы, как «Мальдона» и «Смотритель маяка» (1929 г.). Когда появилось звуковое кино, он очень страдал от тяжелых условий, сложившихся в тот момент для лучших кинорежиссеров Очень долго Гремийон был вынужден, так же, как его коллега Клод Отан-Лара, заниматься работой, недостойной его таланта. Незадолго до войны его фильмы «Пасть любви» (1937 г.). «Странный г-н Виктор» (1938 г.), «Буксировщики» (1939 г.) снова привлекли к нему внимание, но самые лучшие свои постановки он осуществил в период оккупации В картине «Огни лета» (1942 г.) он противопоставил рабочих, строителей плотины, продажному владельцу замка и его семье Фильм в достаточно прозрачной форме критиковал общественные слои, поддерживающие правительство Виши и коллаборационистов В фильме «Небо принадлежит вам» (1943 г.) использован почти анекдотический факт (двум любителям удалось поставить авиационный рекорд), чтобы прославить героизм французов в 1943—1944 годах, когда повсюду вырастали отряды «маки». Этот оптимистический, бодрый фильм наряду с фильмом Марселя Карне «Дети райка», был вершиной французского киноискусства во время войны; поэтому, когда наступил мир, можно было многого ожидать от Жана Гремийона.

Между тем, прошли годы, а он никак не мог приняться за два сюжета, которые давно и с любовью вынашивал: первый — эпопею французской семьи, начиная с войны в Испании и до момента освобождения Парижа, и второй — «Весна свободы» — фильм, которым он хотел достойно отметить столетие февральской и июньской революций 1848 года. Гремийон вынужден был покориться обстоятельствам и экранизировать мелодраму драматурга Жана Ануйля «Белые лапки» (1948 г.), условный и подчас нездоровый пессимизм которого совершенно не соответствовал темпераменту режиссера Некоторое время ему пришлось довольствоваться работой над короткометражными фильмами, пока, наконец, в 1953 году ему не удалось поставить

Жан Гавен (справа) и Жан-Марк Тибо в фильме «Если парни всего мира...»

Жерар Филип в фильме «Лучшая доля».

картину «Любовь женщины»; действие фильма происходит на маленьком островке в его родной Бретани — Уэссан. Между двумя любящими друг друга людьми возникает конфликт: мужчина не допускает мысли, чтобы его жена работала и была самостоятельной. Жан Гремийон трактует эту тему с мужественной и откровенной простотой, являющейся отличительной чертой его таланта.

* * *

Ив Аллегре (род. в 1907 г.) дебютировал только после войны, когда его старший брат Марк Аллегре уже давно приобрел известность своими фильмами: «Озеро дам» (1934 г.), «Буря» (1937 г.), «Артистический подъезд» (1938 г.) и др. В своих первых работах — «Деде из Антверпена» (1947 г.), «Такой красивый маленький пляж» (1948 г.), «Манеж» (1949 г.) — Ив Аллегре обнаруживает склонность к «черному фильму»: он множит, в очень натуралистической манере, число пессимистических и довольно банальных сюжетов о якобы присущих мужчинам и женщинам пороках, причем его симпатии принадлежат деклассированным элементам и уголовным преступникам. На самом деле, эти мрачные фильмы отражали главным образом растерянность самого режиссера и его постоянного сценариста Жака Сигюра перед лицом резких послевоенных конфликтов и растущей опасности новой войны. Но и тот, и другой сделали все же смелый выбор и восстали против войны и ее ужасов в своем фильме «Чудо бывает только раз» (1950 г.) — произведении искреннем и очень интересном. Ив Аллегре обратился, правда, к более обыденным персонажам в фильме «Горделивые» (1953 г.), но даже прекрасная игра Жерара Филипа и Мишель Морган не смогла скрасить натуралистические, весьма традиционные «дерзания». После средней картины «Оазис» Ив Аллегре и его сценарист Сигюр создают свой самый значительный фильм «Лучшая доля» (1956 г.).

Этот цветной фильм для широкого экрана снимался на строительстве гидроэлектростанции в Альпах. Режиссер, сценарист и исполнитель главной роли Жерар Филип хорошо познакомились с рабочими и инженерами, строящими плотину, и изобразили их жизнь сильно и правдиво. «Лучшая доля» представляет ряд сцен, показывающих будни трудового народа, обнажающих жестокую эксплуатацию под видом «производительности труда», отсутствие мер по охране труда, ведущее к многочисленным несчастным случаям со смертельным исходом, тяжелую участь землекопов-североафриканцев. Главная тема «Лучшей доли» — это мужественная и сплоченная борьба рабочих, сломивших сопротивление хозяев, боящихся забастовки. Очень немногие французские режиссеры сумели так прямо и смело подойти к подобному сюжету.

Если в начале 1956 года авторы «Лучшей доли» воздали должное боевому духу французского рабочего класса, то фильм «Если парни всего мира» отразил успехи в борьбе за мир, достигнутые за последние годы.

«Если парни всего мира» — новое произведение автора «Фанфан-Тюльпана» Кристиана-Жака. Сценарий, написанный в соавторстве с кинорежиссером А.-Ж. Клузо, показывает людей разных стран, прилагающих все силы для спасения одиннадцати французских моряков, терпящих бедствие где-то в Северном море. Премьера фильма состоялась одновременно в Париже, Москве, Нью-Йорке, Осло, Риме и Берлине Участие в фильме рабочего-североафриканца, самоотверженно и героически борющегося за спасение своих французских товарищей, прозвучало особенно актуально в момент, когда в Алжире происходили трагические события; расовые предрассудки были разоблачены здесь столь же энергично, сколь и своевременно.

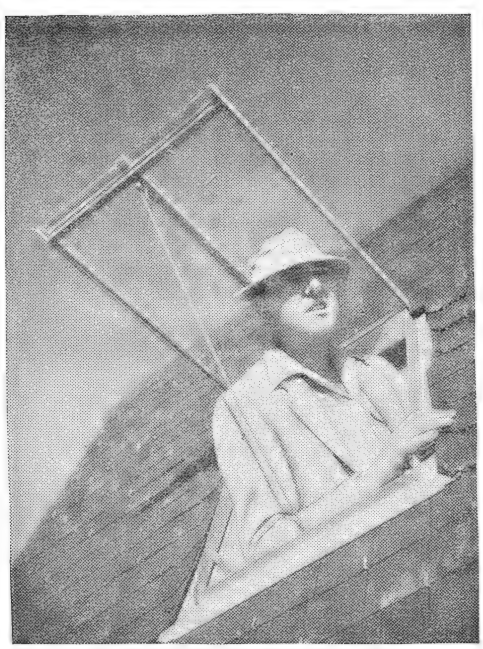
Постановщик фильма «Если парни всего мира» режиссер Кристиан-Жак. На заднем плане судно «Лютеция», на котором происходит действие его картины.

* * *

Комический актер Жак Тати (род. в 1908 г.) — оригинальнейшая индивидуальность во французском кино. Бывший долгое время артистом мюзик-холла, появлявшийся иногда в короткометражных фильмах, Тати по-настоящему дебютировал лишь в фильме «День праздника» (1947 г.), поставленном им по своему сценарию. В нем он создал образ комиссионера, переживающего тысячу забавных приключений на фоне праздника в маленькой французской деревушке. Его искусство основано на острой наблюдательности, умении подмечать мелкие недостатки и смешные стороны людей, из которых Тати с замечательным мастерством лепит карикатурные образы. С другой стороны, этот фильм — сатира на снобизм, толкающий некоторых французов на самое смешное подражание «американскому образу жизни».

В 1952 году фильм «Отпуск господина Юло» даже превзошел «День праздника». Это острая сатира на французских мелких буржуа, отдыхающих в дачном поселке на берегу моря. Как и в первом фильме, в нем мало разговоров. Но, несмотря на это, смех в публике раздается ежеминутно, а изображаемые герои далеко не похожи на марионеток; несмотря на карикатурность, они человечны и бесспорно достоверны. Тати — самый крупный комический актер Франции со времен Макса Линдера. Недавно Ж. Тати закончил новый фильм «Мой дядя».

Во Франции, где насчитывается много хороших комических актеров, поставлено сравнительно мало удачных комедий. Усилия Тати, который ставит мало фильмов, остаются почти без поддержки, как и усилия Ноэль-Ноэля, автора и исполнителя нескольких чудесных фильмов: «Тихий папаша» (1946 г.), «Сногсшибательно!» (1948 г.), «Жизнь в песнях» (1950 г.).



Жак Тати в фильме «Отпуск господина Юло»

* * *

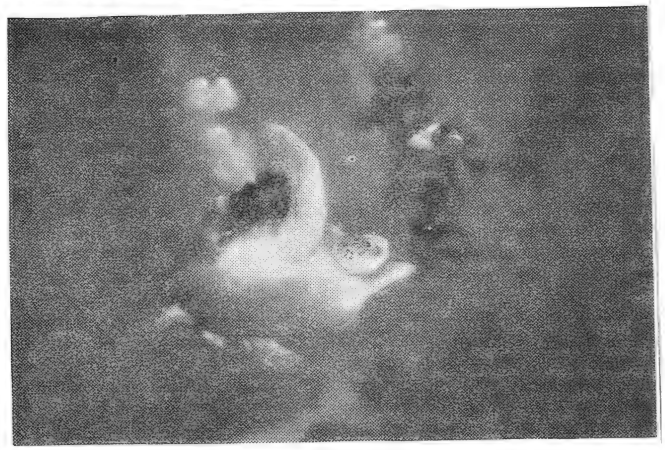
Наконец, французская кинематография выпустила ряд превосходных документальных фильмов, а в прошлом году она одержала еще две блестящие победы в этой области, создав картины «Тайна Пикассо», поставленную А.-Ж. Клузо, где перед глазами зрителей проходит процесс творчества большого художника, и «Мир тишины», осуществленный офицером флота Жак-Ивом Кусто.

Кусто (род. в 1910 г.) еще с 1935 года был одним из пионеров изучения морских глубин, ставшего возможным благодаря появлению нового скафандра, усовершенствованного одним французским изобретателем. Начиная с 1942 года, Кусто систематически использовал в своей работе кино и создал ряд короткометражных фильмов, очень поэтично и правдиво показывавших подводный мир, а именно: «18 метров под водой» (1943 г.), «Обломки крушения» (1945 г.), «Вокруг одного рифа» (1948 г.), «Дневник погружения» (1950 г.) и т. д. Его фильмы были неоднократно премированы на международных фестивалях.

Однако «Мир тишины» — цветной фильм, снимавшийся на Средиземном и Красном морях,— оставляет далеко позади все прежние достижения Кусто и вообще все фильмы о подводных исследованиях. Он разворачивает перед зрителями картины растительного и животного мира океана с таким лиризмом, что нельзя не вспомнить известный роман Жюля Верна «80 000 лье под водой». Совершенный монтаж, замечательная музыка Ива Бодрие, тщательный подбор материала — все это делает документальный фильм «Мир тишины» непревзойденным художественным произведением.

Французские режиссеры короткометражного и документального фильма объединены в «Группу тридцати». Среди них следует отметить А. Ламорисса, новый фильм которого «Красный шар» по своему изяществу и поэтичности стоит еще выше его «Белой гривы», имевшей блестящий успех; Анри Фабиани, который за свой фильм «Большой улов», посвященный работе французских рыбаков у берегов Ньюфаундленда, удостоен премии на кинофестивале 1956 года в Канне; Янику Беллон, автора фильмов «Морские водоросли» (1948 г.) и «Варшава обвиняет» (1954 г.), разоблачающего преступления фашистов; Аллена Ренэ, специалиста по фильмам об искусстве — «Ван-Гог» (1948 г.), «Герника» (1949 г.), «Статуи тоже умирают» (1952 г.), недавно закончившего картину «Ночь и туман» (1956 г.) — потрясающее, страстное и благородное свидетельство о преступлениях фашистов в концентрационных лаге

Кадр из фильма «Мир тишины»



рях; Рене Люко — «Роден» (1941 г.), «Люди с севера» (1951 г.), «Лериш — хирург боли» (1955 г.); Жоржа Франжо — «Дом инвалидов» (1952 г.) и др.

Большинство из этих документалистов — носители передовых идей, а некоторые создали «боевые документальные фильмы», посвященные борьбе рабочего класса. Так, Анри Эйснер поставил фильм «Самый простой выбор» (1951 г.), о борцах за мир, и «Земля расцветает», посвященный пятидесятилетию «Юманите», освещающий в трех эпизодах боевой путь Коммунистической партии Франции. К их числу относятся и Робер Менегоз, создавший в возрасте 25 лет выдающийся короткометражный фильм об антивоенной борьбе в крупнейших французских портах «Да здравствуют докеры!» (1950 г.), а затем напомнивший на основе документов эпохи о славных боях Коммуны (1952 г.). После поездки в Китай он привез оттуда огромное количество отснятого цветного документального материала.

* * *

В заключение хочется отметить, что французской кинематографии пришлось за последнее время преодолевать немало материальных трудностей (вытекающих, в частности, из того, что на экранах страны уже давно непомерно много места занимают фильмы Голливуда) и что свобода выражения создателей картин слишком часто ограничивалась полицейской цензурой и приказами самых реакционных слоев буржуазии. Тем не менее, французские фильмы сумели довольно верно отразить борьбу и чаяния нашего народа в трудный период его истории, в борьбе против реакции, против обнищания масс.

В большинстве своем деятели французского кино являются сторонниками мира и прогресса. Все их симпатии на стороне трудящихся. Они защищают благородные идеалы, идеалы своей страны, своего народа. За последние десять лет они не только не подчинились военной пропаганде, но и не раз играли положительную роль в борьбе за мир. Симптоматично, например, что в начале 1956 года в двух фильмах открыто взяты под защиту североафриканские рабочие в такой момент, когда расистская и колонизаторская пропаганда обливала их потоками грязной клеветы. Хотя французская кинематография до последнего времени не принимала такого прямого участия в повседневной реальной борьбе, как итальянская, ее большая заслуга все же состоит в том, что она проявляла истинное благородство, обращаясь ко многим насущным проблемам современности, причем в самых разнообразных жанрах. Инсценировка литературных шедевров, оригинальные произведения, сатира, драма, комедия, прошлые времена и современная эпоха, скромные постановки и пышные костюмные фильмы, документальные картины и утонченные искания — всем этим овладели деятели французского кино, неизменно сохраняя большую моральную чистоту в своей нелегкой профессии. Благодаря их усилиям французское кино продолжает занимать почетное место. Последний год отмечен рядом новых успехов, появлением молодых способных режиссеров. Главная заслуга французских киноработников, несомненно, состоит в том, что все они сообща сумели заставить людей услышать их голос, полный гуманизма, веры в мир и в Человека.

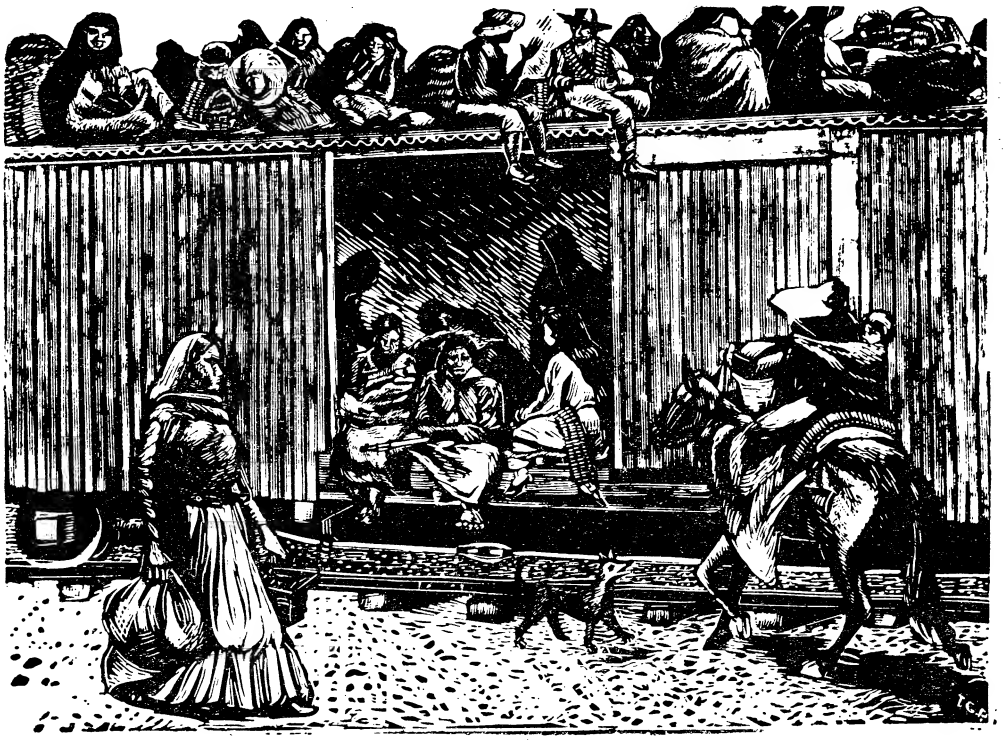
Кадр из фильма «Красный шар»

Париж.

Бернард Шоу на фабрике «Союзкино». Ленинград, июль 1931 года. Крайний слева А. В. Луначарский.

РЕДКАЯ фотография

Бернард Шоу и К. С. Станиславский в доме отдыха ученых «Узкое» под Москвой, июль 1931 года.



Игнасио Агурре. Революционный поезд.

Норберт Фрид

Искусство мексиканских графиков

Наш журнал уже познакомил читателей с некоторыми работами мексиканских художников «Мастерской народной графики» (см. «Иностранную литературу» № 7 за 1956 год). Ниже мы воспроизводим не публиковавшиеся у нас ранее работы этих художников, созданные ими в разные годы.

Публикуемая статья является сокращенным текстом главы из книги чехословацкого писателя Норберта Фрида «Мексиканская графика», Прага, 1955 год. Работы мексиканских художников воспроизводятся по этой книге и по альбому «Гравюры «Мастерской народной графики», Мехико, 1956 г.

Мексиканская «Мастерская народной графики» начала свою деятельность в боевой и здоровой атмосфере — в период президентства Ласаро Карденаса. Первая же ее коллективная работа — приветствие только что созданному объединению профсоюзов — была манифестом единения с рабочим движением.

Во время второй мировой войны «Мастерская народной графики» поставила перед собой четкую задачу: она хотела в первую очередь показать народу поджигательскую роль фашизма. «Мастерская» увеличивает свою активность, снабжает иллюстрациями антифашистскую прессу, оформляет огромными плакатами залы, в которых происходят народные собрания, устраивает выставки, принимает участие в издании «Черной книги» о фашистском терроре. Как истинные художники, члены «Мастерской» раньше многих поняли, где центр всемирной борьбы. Они издают серию плакатов с лозунгами «Советский фронт — передовая линия нашей обороны!», «Советский Союз защищает свободу во всем мире — поможем ему!» и распространяют их в столице и на периферии. Деньги для этой благородной работы они

Слева (сверху вниз): Франсиско Луна. Пейзаж.

Леопольдо Мендес. Народ свергает диктатуру.

Фанни Рабель. Мертвое дерево.

добывают различными способами. Например, печатают в каждом пятитысячном тираже плакатов двести экземпляров на хорошей бумаге и распродают их среди друзей «Мастерской» и членов антифашистских организаций.

В 1942 году Мексика вступает в войну против государств фашистской оси. На огромной площади перед Дворцом правительства проводится полный энтузиазма митинг, и «Мастерская» украшает участвующие в торжественной процессии аллегорические колесницы. Такого рода работы «Мастерской» ведутся до счастливого окончания войны, и, наконец, она приветствует победу над фашизмом плакатом „Victoria".

К чести «Мастерской» нужно сказать, что она никогда не забывала о том, кто настоящие хозяева Соединенных Штатов. Известный плакат Мендеса, обличающий ненасытный Уолл-стрит, отно-

Андреа Гомес. Беспризорная девочка.

Лоренцо Герреро. Сапата.

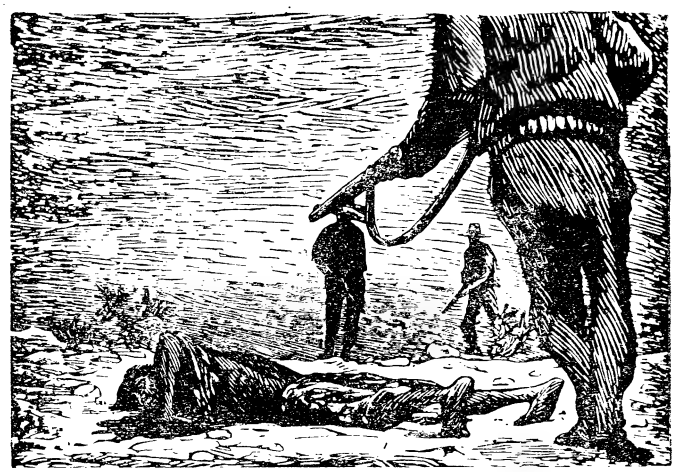
нефти и металлов. Однако все эти прибыли обогатили только тонкую прослойку местных богачей и иностранных капиталистов, происходила утечка капитала из страны во всех направлениях, а широкие массы остались в том же положении, что и раньше.

Для правления президента Мигеля Алемана (1946—1952) характерна, с одной стороны, экономическая неустойчивость, быстрое обесценение денег и, с другой, небывалая роскошь имущих классов, спекуляции, несерьезные проекты общественных построек, коррупция многих высокопоставленных государственных служащих, а главное, беззастенчивое расширение начавшейся еще во время войны североамериканской экспансии.

Просматривая произведения художников «Мастерской», мы находим, собственно, только один альбом, отражающий что-то вроде мирного настроения. Это серия высокохудожественных литографий Альфредо Сальсе (1946) — плод его путешествия на полуостров Юкатан. В этих литографиях художник запечатлел нежные и суровые картины жизни индейцев. Из подобной же среды черпает Леопольдо Мендес сюжеты созданных в то же время причудливых многоцветных гравюр на дереве—иллюстраций к поэме Хуана де ла Кабада „Incidentes Melodicos", получивших мексиканскую государственную премию за книжные иллюстрации.

Следующая коллективная работа шестнадцати художников, активнейших членов «Мастерской»,— созданная в 1947 году серия гравюр на линолеуме «Образы мексиканской революции». Это, пожалуй, самое крупное произведение «Мастерской народной графики» не только по широте замысла, но и по силе духа, убежденности, художественной подаче. На восьмидесяти пяти листах,

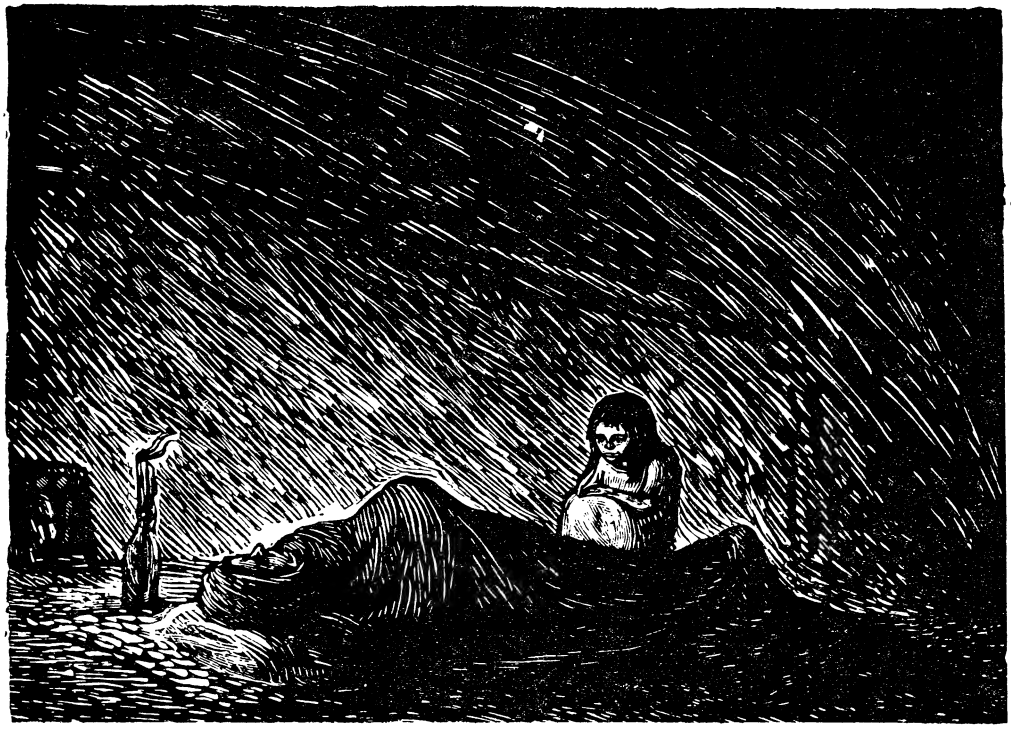
Леопольдо Мендес. И земля пьет твою кровь.



сится к 1942 году. «Мастерская» всегда боролась против фашизма, за лучшее будущее мексиканского народа и никогда, ничем не хотела поддерживать американскую концепцию демократии. Художники «Мастерской» сразу поняли истинный смысл атомного варварства: гравюра на линолеуме Альфредо Сальсе, опубликованная вскоре после войны, показывает, как из взрыва американской бомбы рождается новый фашизм, угрожающий миру.

При этих условиях нельзя было ожидать, что мирное время принесет ослабление пропагандистской деятельности мексиканских художников. Прекращение войны поставило страну перед новыми экономическими проблемами. Узаконенный отлив рабочей силы в США прекратился, потому что и там появился призрак безработицы. Мексика никогда не подвергалась бомбардировке, ее военные потери были незначительны, она заработала миллиарды на поставках

Леопольдо Мендес. Господин.



Леопольдо Мендес. Одна.

Селия Кальдерон. Национализированная нефть.

которые были совместно задуманы и всеми вместе обсуждались, шестнадцать художников отобразили решающие этапы развития мексиканской революции. Здесь документирована вся история борьбы широких масс мексиканского народа за лучшую жизнь, начиная от крестьянских бунтов и первых забастовок промышленных рабочих при Порфирио Диасе и до наших дней.

Художники начали с того, что договорились об определенной, единой форме. Они избрали технику гравюры на линолеуме, наметили главные темы и распределили их в соответствии с вкусами и способностями каждого художника. Некоторые гравюры являются результатом коллективного труда (например, Мендес и Сальсе работали вдвоем над картиной ухода сезонных рабочих в Соединенные Штаты). Стремление к внешнему единообразию и целенаправленность этой работы ни в коей мере не лишали художников творческой индивидуальности.

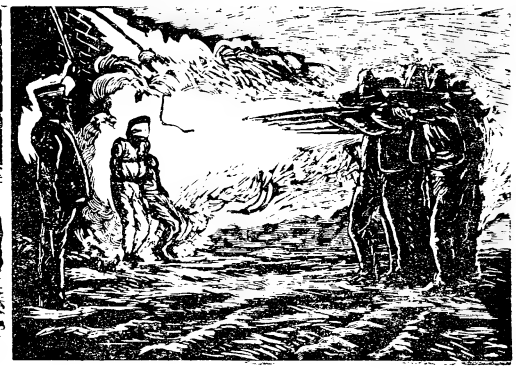
Каждый, кто хоть немного всмотрится в работу «Ма-

Адольфо Мехиас. Крестьяне с юга.

стерской», быстро и без труда узнает автора любой гравюры. Никто не умеет так использовать свет и тень, доводить их до таких впечатляющих контрастов, как Фернандо Кастро Пачеко. Леопольдо Мендес владеет наиболее тонким и изысканным методом штриховки, ни один из его коллег не обладает таким широким диапазоном света и тонких линий. Альберто Бельтран выделяется виртуозным рисунком, в его работах ощущается легкость и непринужденность. Для Эверардо Рамиреса, крестьянина-индейца, характерны упрямые, глубоко врезанные штрихи, народная образность; его иллюстрации до предела заполнены повествованием. Альфредо Сальсе отличается смелой композицией, любит противопоставлять крупные фигуры на первом плане мелким второстепенным образам заднего плана, он полновластный хозяин используемых им средств выражения. Анхель Брахо не знает резких граней, его расплывчатые линии вьются и обвивают контуры

Леопольдо Мендес. На кладбище (из цикла «Рио Эскондидо»).

Леопольдо Мендес. Умерла во время родов.



Артуро Гарсиа Бустос. Ответ восставшим крестьянам-беднякам.

фигур. Мариана Ямпольска обладает тонким чувством детали и при выборе темы предпочитает романтическую, даже идиллическую сторону революционных событий.

Мы могли бы таким же образом перечислить особенности и вкусы и других художников, охарактеризовать особенности их технических приемов. Короче говоря, хороший коллектив не убивает индивидуальных особенностей своих членов, а наоборот, способствует их полному развитию. Если бы эта старая истина нуждалась в новом подтверждении, мексиканская «Мастерская народной графики» могла бы послужить лучшим доказательством ее справедливости.

Впрочем, художественный уровень этих гравюр неодинаков: наряду с прекрасными работами, мы видим и ряд более слабых. Но и здесь проявляется роль коллективного труда: значительность общего большого замысла подымает более слабых авторов, и их менее удачные работы не теряются, ибо находят свое место в контексте коллективной работы.

После успеха «Образов мексиканской революции» «Мастерская» стремилась как можно больше расширить сферу своей деятельности. Она направляла отдельных своих членов в самые глухие уголки страны с традиционной культурной миссией. Таким образом в целом ряде индейских деревень стены школ были украшены фресками. Иногда художники возвращались только с этнографическими зарисовками, которые позже использовали для иллюстрации научных работ. «Мастерская» участвовала и в проведении кампании по ликвидации неграмотности. Так, например, художники «Мастерской» иллюстрировали буквари для

Мария Луиза Мартин. Женщина.

Адольфо Мехиас. Свобода слова.

Елена Хуэрта. Мексиканская деревня.

индейских народностей. Иногда они иллюстрировали издания министерства просвещения о вновь построенных учебных заведениях.

«Мастерская народной графики» давно мечтала заменить фрески чем-нибудь более дешевым, таким, что можно было бы размножать и заменять, некими «графическими листами с изображением в сверхнатуральную величину». Однако эти мечты не удавалось осуществить из-за недостатка денег и больших печатных машин. И все-таки на сессии ЮНЕСКО в Мексике в 1947 году Мендес смог показать, как он представляет себе такую стенную графику. Он украсил зал заседаний монументальными фотокопиями своих гравюр на дереве и действительно достиг очень хороших результатов.

Та же идея привела его к сотрудничеству в кино. Он договорился с известным кинооператором Габриэлем Фигероа (неоднократно удостоенным премий на кинофестивалях в Чехословакии) о создании для его кинокартин рисунков, которые будут проектироваться на экран и служить фоном для вводных титров. Так возникли лучшие работы Леопольдо Мендеса, в первую очередь иллюстрации к фильму «Рио Эскондидо». Его содержание — трагическая борьба маленькой сельской учительницы против местных властей, заставляющих население изнывать от жажды,— было особенно

Альберто Бельтран. Автобус бедняков.

Альберто Бельтран. Аллегория. (Народ призывает орла —эмблема Мексики — убить дракона — олицетворение реакции).

близко Мендесу. Мы видим здесь всю силу его патриотизма, глубокое волнение, которое вызывает в нем невыразимая нужда мексиканской деревни, ненависть народного борца и его несгибаемую волю к сопротивлению.

Позже Мендес иллюстрировал трогательный фильм «Мексиканская девушка» и еще несколько картин Фигероа и Фернандеса. Коллективной работой нескольких членов «Мастерской» были затем гравюры на линолеуме к историко-документальному фильму «Записки мексиканца». Они, собственно, являются дополнением к серии «Образы мексиканской революции».

Была также сделана попытка размножить произведения членов «Мастерской» на кинопленке, которую можно было бы использовать для лекций. Издано несколько серий открыток с копиями произведений «Мастерской». Но все-таки бывший технический директор издательства «Мастерской» Ганнес Майер закончил свой рассказ об этих мероприятиях грустными словами: «Мы должны самокритически признать, что нам до сих пор не удалось издать большинство наших произведений действительно массовыми тиражами по низкой цене. Все эти планы терпели крушение из-за вечной пустоты в нашей кассе».

Всемирное движение за мир положительно оценило работу «Мастерской», присудив Леопольдо Мендесу и другим ее членам высшую награду — Международную премию мира за 1953 год.

Нельзя переоценить художественно-политическое значение этих произведений, создаваемых так далеко на запад от наших границ, в самом сердце материка, властелином которого считает себя Уолл-стрит. Нельзя также переоценить влияние такого высокохудожественного и убедительного реалистического творчества на западных художников. Мексиканский коллектив стал в настоящее время уже образцом для художников других народов. Не только потому, что он объединяет также прогрессивных художников соседних стран (в нем работает, например, негритянка Элизабет Кэтлетт или гватемалец Антонио Франко) и подает пример антиимпериалистического объединения латино-американских народов с гражданами США. Выставки и публикации «Мастерской» появляются во всех тех местах, где этому не препятствует полицейский террор ФБР. Во многих странах, например в Бразилии, Гватемале да и в США, возникают различные объединения, следующие примеру не только творческой активности, но и стиля работы коллектива «Мастерской».

Элизабет Кэтлетт. Негр.

СМЕХ И СЛЕЗЫ ЧЕРНОЙ АФРИКИ

□

Ferdinand Oyono. Le vieux negre et la médaille. Roman. Paris, Julliard, 1956.

□

Небольшой роман Фердинанда Ойоно «Старый негр и медаль» переносит нас в Черную Африку, увиденную не заезжим гостем, любителем фальшивой экзотики, а одним из ее сыновей. Автор книги — негр, передовой человек и талантливый писатель — не навязывает героям свои мысли, не делает их рупором своих идей. Герои романа — невежественные люди, приученные миссионерами к беспрекословному повиновению, знающие, что непокорность очень жестоко карается колонизаторами. Мечтая о свободе, эти люди вспоминают далекое прошлое, то время, когда их воинственные прадеды были хозяевами своей земли, на которую еще не ступила нога белого человека. Ф. Ойоно, добиваясь этнографической точности и, вместе с тем, владея средствами художественного изображения, рассказал о жизни негров, давно покоренных и «перевоспитанных» колонизаторами. Тем более значительны выводы, которые подсказывает созданная писателем картина: нет и не может быть взаимопонимания между колонизаторами и народом, порабощенным ими.

Привлекательная особенность романа — его эмоциональность. Есть нечто новое для нас в этой бурной, неистребимой жизнерадостности, словно рожденной африканским солнцем, в этом щедром юморе. И вместе с тем роман близок лучшим традициям французской литературы, читая его, вспоминаешь то о Рабле, то о «Кренкебиле» Анатоля Франса.

Юмор Ф. Ойоно ласков, когда писатель изображает патриархальные нравы и обычаи негров, ритуал их изысканной вежливости и традиционного задушевного гостеприимства, культ родственных связей и дружбы (тема дружбы — центральная в романе). Юмор становится насмешливым, когда писатель рассказывает о том, в каком виде доходят до негров отзвуки европейской цивилизации. Юмор и насмешлив и зол, когда читатель видит колонизаторов, миссионеров глазами негров. И горько, гневно звучат эпизоды, рисующие обездоленность людей Черной Африки.

Герои романа добросовестно молятся и... ненавидят попов. Они охотятся на павианов, с аппетитом едят жареных гадюк и,.. интересуются последней модой (после войны в моде было имя «де Голль», его давали и мальчикам и девочкам; теперь кое-кто из негров непрочь одеваться как «зазу»—стиляги). Негры всем существом отдаются и веселью и горю; они рассудительны и щедры; насмешливы и наивно тщеславны; доверчивы, но знают, что скупщики какао их обкрадывают; с благоговением говорят о «великих вождях» белых, живущих далеко, в главном городе колонии, и еще дальше — за морем; ..о со страхом взирают на местных чиновников, понимая, что ничего хорошего ждать от них не приходится. И больше всего они боятся, что начнется новая мировая война, для которой белые уже подготовили какую-то «дымовую» (атомную) бомбу. Африканские негры, говорит роман, такие же люди, как мы с вами, любезный читатель, и ничто человеческое им не чуждо; но они совершенно бесправны, забиты, обречены на страшную, «редкостную» нищету.

Старик Мека — потомок негритянского вождя. Его многочисленные родичи и друзья знают: он—мудрый муж. И вот они изумлены неслыханной новостью: о достоинствах Меки узнали и белые. Их «великий вождь» (губернатор) в праздничный день 14 июля наградит Меку медалью! Мека — образцовый негр: он отдал Франции двух своих сыновей, убитых на войне; он подарил миссии свою землю, когда ему сказали, что нужно так поступить. Теперь его имя узнают за морем, он прославит свой народ. Подготовке негров к торжеству посвящена первая половина книги, ее читаешь с улыбкой и с чувством симпатии к чистосердечным и темпераментным героям романа.

И вот на груди Меки медаль, и «великий вождь» белых сообщает ему на банкете, что считает его не только другом, но и братом. Что ж, народная мудрость гласит: твой друг тот, кто ест из одной миски с тобой. Мека приглашает «великого вождя» отведать в его хижине козлятины. Мека едва ли уверен в том, что белый пожалует к нему. Но он очень серьезно относится к слову «дружба». У него есть чувство собственного достоинства; если дружить, то по-настоящему. «Великий вождь» сообщает, что он, к сожалению, должен уехать, и приглашает Меку к себе. Приличия соблюдены.

Затем опьяневшего и заснувшего Меку запирают, забыв о нем, в помещении, где происходил банкет. Ночью, пробужденный свирепой тропической грозой, он едва не гибнет под обвалившейся крышей и, потеряв свою медаль, попадает в руки блюстителей порядка. У него нет никаких документов, и его принимают за вора. «Я друг губернатора!» — восклицает Мека. Его волокут в полицию, а потом он предстает перед комиссаром этого городка. Так как для белого все негры на одно лицо, комиссар успел отхлестать Меку хлыстом, прежде чем узнал от переводчика, что он так приветствовал того самого образцового негра, которого сегодня торжественно чествовали. Чтобы утешить Меку, комиссар угощает его сигаретой.

Теперь оскорбленный старый негр хорошо знает цену дружбе белых. На их языке он знает одно слово: «да». Но на родном языке он знает и слово «нет». В лесу—у себя дома—он ласкает рукой траву, кусты, вспоминает старинные поверья, желая сбросить со своей души все наносное, чужое — христианскую религию, фальшивую дружбу.

Последние главы романа—несколько растянутые— это своеобразный хор: жена Меки, старая Келара, горько оплакивает своих сыновей; нищие крестьяне, друзья Меки, оскорбленные и возмущенные, твердят, что белым верить нельзя, что не может быть ничего общего между неграми и презренными колонизаторами. «Все, что мы чтим, ничего для них не значит... И теперь, когда они расставляют для нас западни, как для крыс... я спрашиваю себя, куда они идут?» Чего они добиваются? Почему поступают так неразумно? Горечь, ненависть и презрение этих негров еще не подсказывают им, каков путь борьбы с поработителями, уже найденный народами других африканских колоний.

Роман очень легко читается. Писатель превосходно передал колорит языка, интонации своих героев, их чувства и мысли, создал жизненные образы африканских негров — таких, каковы они у себя дома, когда их не смущают взгляды пришельцев.

«Старый негр и медаль», вторая книга Фердинанда Ойоно (первая называется «Жизнь боя»),— одна из самых интересных новинок прогрессивной литературы. Эта книга еще раз подтверждает, что если французская реакция пытается сохранить в странах, ранее покоренных ею, режим колониализма, угнетения, то великая французская культура является естественной союзницей порабощенных народов в их борьбе за освобождение.

Я. Владимиров

СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ О СЕБЕ САМОМ

□

Saint-Exupéry par lui-même. Essai illustré de Luc Estang. Ecrivains de toujours, Paris, éditions du Seuil, 1956.

□

Французское издательство «Дю Сей» выпустило в серии «Лучшие писатели разных веков» иллюстрированный очерк Люка Эстана «Сент-Экзюпери о себе самом».

Имя Антуана де Сент-Экзюпери неизвестно советскому читателю, а между тем серия посвящена самым значительным писателям Франции и всего мира. В нее входят работы о Стендале и Чехове, Роллане и Шекспире, Золя и Горьком — о тех, кто формировал мировоззрение своих современников, кто останется в веках как знамение своей эпохи. Что же побудило издателей включить Сент-Экзюпери в этот ряд крупнейших?

Антуан де Сент-Экзюпери, родившийся в 1900 году был одним из пионеров французской авиации; вместе со знаменитыми летчиками Франции Мермозом и Гийоме он пролагал пути над Сахарой. Он был летчиком-испытателем, в войну — разведчиком. В 1944 году, за несколько дней до высадки союзников на севере Франции, Сент-Экзюпери не вернулся с боевого задания. Обстоятельства его гибели остались неизвестными; по-видимому, он был сбит фашистской авиацией над Средиземным морем.

Все, что написал Сент-Экзюпери, связано с его опытом пилота, с тем ви́дением земли, которое стало доступно человеку, овладевшему воздухом. Как крестьянин, возделывая землю, постигает законы природы, так и летчик, которому его орудие — самолет — открывает более широкие горизонты в своей борьбе со стихиями обретает истины, ранее недоступные людям, но значимые для всего человечества.

Крестьянин и летчик — неожиданное сопоставленье, но оно характерно для системы мышления Сент-Экзюпери. Не с тореадорами, не с авантюристами, не с любителями сильных ощущений сравнивает он своих

героев — подлинных, как Мермоз и Гийоме, или вымышленных — нет, он сравнивает их с плотником, любующимся изделием своих рук, с садовником, который, даже умирая, думает о том, кто продолжит его труд.

Не случаен и переход от конкретного, живого образа к размышлениям об основных вопросах бытия. Это особенность творчества Сент-Экзюпери, делающая столь трудным определение жанра его произведений. В первых книгах писателя «Южная почта», «Ночной полет» есть единая сюжетная линия, мысли автора вложены в уста героев. Но уже «Земля людей», получившая в 1939 году Большую премию Французской академии, как лучший роман года, представляет, в сущности, сборник эссэ, объединенных одним лирическим героем, единым дыханием напряженных раздумий о судьбах человечества. В этой книге будто и нет сюжета. Автор беседует с читателем о том, что́ связывает людей, что́ пробуждает в них энергию, что́ делает из них героев. Он подкрепляет и раскрывает свои мысли, рассказывая о подвигах Гийоме и Мермоза, о своих пятидневных скитаниях в песках Сахары, о свободолюбии арабов-кочевников, об испанских республиканцах, о польских рабочих, высланных из Франции.

От первого лица написан и последний роман «Военный летчик» — повествование о разведывательном полете Сент-Экзюпери в дни вторжения во Францию гитлеровских войск в 1940 году, о мужестве его боевых товарищей, о смятении и внутренней стойкости народа. И снова десятки страниц страстных философских и публицистических отступлений.

Романтический гиперболизм образов Сент-Экзюпери, своеобразная метафоричность, сталкивающая будничное с космическим, идут от стремления передать силу и могущество обыкновенного человека: могущество пилота, побеждающего циклон, могущество садовника, преображающего землю, могущество невольника, добивающегося свободы. Величие человека связано с трудом. Но в обществе, которое наблюдает Сент-Экзюпери, с трудом связано и униженье человека: миллионы пролетариев, согнанные в индустриальные гетто, рутина чиновничьего прозябанья. Почему кирка в руках каторжника унижает его, а кирка в руках геолога — возвеличивает человека? Как вернуть труду человека — жизни человека — первоначальный смысл?

Сент-Экзюпери пытался решить эти вопросы в абсолютной абстракции вечных категорий. Политическая борьба казалась ему внешним, не затрагивающим сущности человека, а потому бесполезным спором. И несмотря на благородство побуждений—поиски «истины человека», которая, объединив людей в порыве к единой цели, возродит утраченные ценности, — Сент-Экзюпери попадает в тупик неразрешимых противоречий.

Выразительны и горьки иронические аллегории в сказке «Маленький принц». Они говорят о разобщенности людей в современном мире. Однако эгоизму буржуазного общества писатель не может противопоставить ничего, кроме цельности детства, высоты самопожертвования, радости дружбы. Поэтому так пессимистически звучит написанное незадолго до гибели «Письмо к генералу Х.»: Сент-Экзюпери не страшился пожертвовать жизнью ради освобождения Франции, но он не видел пути, который после победы над фашизмом смог бы вернуть смысл жизни человеку и человечеству.

В работе Люка Эстана читатель найдет обилие сведений и объективное изложение поисков Сент-Экзюпери. Здесь нет попытки навести хрестоматийный глянец, уклониться от констатации противоречивости мировоззрения писателя. В первых главах Люк Эстан дает хронологию его жизни и творчества, рассказывает о том, как этапы биографии слагались в книги. От этой части эссэ, однако, хотелось бы большего внимания к эволюции творческого метода. Было бы интересным также проследить, как материал очерков Сент-Экзюпери-корреспондента, побывавшего в 1935 году в СССР, а затем в Испании, трансформировался, переливаясь в его художественные произведения.

В последних главах Люк Эстан набрасывает панораму суждений Сент-Экзюпери по вопросам, занимавшим его на всем протяжении жизни. Здесь обильно цитируются произведения Сент-Экзюпери, в том числе «Цитадель», незавершенная писателем и изданная уже после его смерти — книга, полная неясных, подчас взаимоисключающих символов. Автор не ставит перед собой задачи исследовать корни философских взглядов Сент-Экзюпери, выяснить причины, вследствие которых гуманистическое мироощущение писателя оказывается бессильным перед кажущейся ему непреодолимой катастрофичностью действительности. Люк Эстан лишь констатирует противоречия во взглядах Сент-Экзюпери, противоречия, которые и сегодня остаются неразрешенными для довольно широких кругов

прогрессивной западной интеллигенции. Своеобразное и необычное по форме творчество Сент-Экзюпери «без которого,— по словам Пьера Дэкса, — невозможно себе представить картину современной французской литературы», остается поэтому живым голосом в споре, затрагивающем самые насущные проблемы действительности. Это и объясняет неослабевающий интерес к книгам и к личности писателя, о котором свидетельствует как включение очерка о Сент-Экзюпери в серию «Лучшие писатели», так и приложенная к этому очерку обширная библиография.

Л. Зонина.

„—БЕРЕГИ ЕГО, МОЯ СТРАНА..."

□

Mary Durack. Keep Him My Country. London, Constable, 1956.

□

«Я пою среди ночи о моей стране.
Я пою о моем любимом...
Я пою моей стране, потому что она женщина,
Влага и почва жизни,
Потому что дым ее костров обвевает его по ночам...
Я молю мою страну:
«Береги его, чтобы он мог прийти в мои края.
Потому что я жду его в палящем зное дня
И в долгой тишине холодной ночи.
Я бодрствую, когда ветер гонит пламя моего костра к сухим кустам
И когда последние угли гаснут под проливным дождем.
Я жду моего любимого».

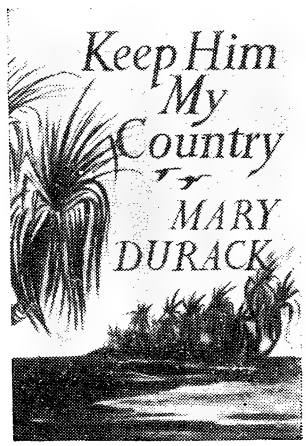
Вы уже прочли и закрыли роман, а мелодия этой народной песни аборигенов Австралии — хотя вы никогда ее не слыхали—все еще звучит для вас. От книги Мэри Дьюрэк «Береги его, моя страна» трудно оторваться, она увлекательна и поэтична. Вы не сразу вернетесь из далекой Северной Австралии с ее своенравными реками, опаленными солнцем холмами, внезапными, с ливнем, бурями. Вам жалко расставаться с молодым скотоводом и мечтателем Стеном Ролтом, который пытается заглянуть в будущее этого едва тронутого цивилизацией края.

Его дед, предприимчивый шотландец, который шестьдесят лет назад покинул родину и пришел на север Австралии, был одним из тех жестоких пионеров, которые, вступая в единоборство не только с суровой природой, но и народом неизвестной страны, не стеснялись в выборе средств и несли ее жителям смерть или порабощение.

Разбогатев, он переселился на юг Австралии, до глубокой старости не утратив страсти к наживе. Стен Ролт, перелистывая пожелтевшие страницы дневника своего деда, не находит в нем «ни намека на то, какой видел эту страну старый Ролт, трогала ли его ее захватывающая красота, ее волнующая, драматическая история». Для Ролта-деда Северная Австралия всегда была только плацдармом, с которого он начал свой поход авантюриста и предпринимателя, но не стала новой родиной.

Она не была родиной и для молодого Стена Ролта, вплоть до того времени, когда он, осиротев, оставил университет и решил стать управляющим фермой Трафальгар на далеком севере Австралии, где когда-то родился. Стен Ролт приезжает в Трафальгар с твердым намерением покинуть его через два года. Он прожил здесь пятнадцать лет, каждый раз откладывая свой отъезд, и остался навсегда, поняв, что это и есть его дом, его родина.

Поначалу Ролт испытывает к этой стране только любопытство. Он не охвачен, как его дед, жаждой наживы. Он зачитывается Анатолем Франсом и сочинениями Энгельса, его занимают «вечные» вопросы о сущности жизни и смерти. Ролт не может остаться равнодушным к нуждам бесправных туземцев; он забрасывает деда письмами и проектами, доказывая, что ферма, если ее благоустроить, могла бы принести больший доход. И хотя Ролт редко удостаивался ответа и добиться ему удавалось немногого, в Трафальгар стали стекаться



туземцы из других мест.

Ролт с интересом прислушивался к легендам и песням, приглядывался к обрядам аборигенов, пока любовь к темнокожей Далджери не заставила его увидеть их жизнь в ином свете. Любовь Ролта к Далджери символична — это зарождение любви к самой стране. Ролт хочет, чтобы девушка порвала со своими соплеменниками, он готов жениться на ней. Но Далджери, повинуясь законам своего народа, покидает Ролта, хотя и любит его.

От первых страниц, где речь идет о зарождении романтической любви Ролта, к тем интересным сценам, нарисованным то с горьким, то с веселым юмором, где Ролт строит жилища для туземцев, а потом изгоняет духов из комнаты умершего, или где он вступается за права туземцев в лавке у Тимоти, или где он вместе с Маттом Кармоди рассуждает о будущем этого края, автор ведет читателя к главной своей идее: будущее Австралии в единстве всех австралийцев независимо от цвета кожи. Содружество белого и цвет-

ного народа необходимо, оно обогащает каждый из них.

Ролт понимает, что он не может расстаться со своими новыми друзьями сейчас, когда так нужно помочь им осознать себя гражданами Австралии, добиться признания их прав. Далджери умирает; перед смертью она поет древнюю народную песню о любимом: «Я молю мою страну: «Береги его...»

Отмечая литературный талант Мэри Дьюрэк, Катарина Сусанна Причард пишет: «Она проявила прекрасные способности, как писатель: свежесть и глубину восприятия, силу и простоту стиля... Для меня достаточно будет сказать, чтобы отдать должную дань ее работе, что каждый из ее героев живет—от Лидди, мудрой, хитрой туземки, которая тайно направляет течение событий в усадьбе, до Дарча, шорника, который «дарил всю любовь, на какую был способен, своим инструментам и коже, и шил так легко и просто, будто это не кожа, а шелк».

«Я наслаждаюсь,— пишет Катарина Сусанна Причард, —читая эту книгу молодой австралийки, истинно австралийскую по ее реализму, мысли и чувству».

Е. Померанцева

НОВАЯ КНИГА РАУЛЯ ЛАРРЫ

□

Raul Larra. Le decian el Rulo... Buenos Aires, Editorial Futuro, 1956.

□

Имя Рауля Ларры стало известно советским читателям восемь лет тому назад, когда вышел перевод его первой повести «Гран-Чако». Сейчас Р. Ларра—один из видных писателей Аргентины. Его романы «Встреча в ночи» (1949) и «Без передышки» (1953) были тепло встречены передовой аргентинской критикой. Большой интерес вызвала и последняя книга Р. Ларры—повесть «Его прозвали Вихрастым...», вышедшая в свет в Буэнос-Айресе в 1956 году.

Герой этой повести (слово «герой», казалось бы, меньше всего подходит к нему)—изрядно потрепанный жизнью, одинокий бродяга по прозвищу Вихрастый; настоящее имя его забыто, наверное, и им самим.

Вихрастый живет продажей газет, все равно каких: сегодня—радикального направления, завтра—фашистских. Изредка он продает газету «Ла вос», в подзаголовке которой стоит: «ежедневная газета антиимпериалистического единства». Но на богатой улице Флорида эта газета не ходовая.

Однажды, когда он по совету приятеля, не имея ни песо в кармане, отправился в редакцию «Ла вос», с ним произошло удивительное происшествие: заведующий редакцией Эспита дал ему ассигнацию в пятьсот песо и попросил пойти ее разменять. Писатель мастерски раскрывает, какую бурю колебаний, сомнений, разноречивых чувств вызывает в голодном бродяге этот поступок. «Может быть, Эспита решил испытать его? — размышляет Вихрастый.—Проверить его честность? Легко быть честным, когда водятся денежки...» Вихрастый все же возвращается в редакцию и приносит деньги. Эспита говорит ему: «Я доверяю простому человеку, такому, как ты, человеку, который страдает и трудится. Надо верить в человека, Вихрастый. Иначе трудно жить, не правда ли?»

Так Вихрастый впервые столкнулся с уважением и доверием к человеку труда, которыми руководствуется маленький коллектив сотрудников антиимпериалистической газеты.

Вихрастый не сразу убедился в правоте Эспиты; но он становится своим человеком в редакции «Ла вос». Он по-прежнему не понимает смысла ее подзаголовка. «Что за редакция, — недоумевает Вихрастый. — Доверяют деньги, не зная меня, девушка мне улыбается, редактор шутит, а в статьях они могут быть злее, чем старые девы?»

Вихрастый приглядывается к новым друзьям. Он видит, что выпускать газету стоит огромных трудов, что нередко сотрудники месяцами не получают жалованья, что каждый день им грозит арест и тюрьма. Медленно, очень медленно в его сознание начинают проникать представления об иных отношениях между людьми, совсем не похожих на те волчьи законы, по которым, как он полагает, живут все в этом мире.

Писатель не торопит своего героя. Описывая будничную жизнь редакции, ее сотрудников, приходящих сюда рабочих, Ларра показывает, как Вихрастый входит в дружную семью самоотверженных борцов за дело народа. Сам Вихрастый, вероятно, еще очень нескоро осознает себя борцом. Но узнав, что на редакцию совершен полицейский налет и сотрудникам газеты грозит арест, он спешит туда, чтобы разделить с ними их судьбу. Этой сценой кончается повесть. Вихрастый впервые испытывает глубокое и радостное чувство человека, покончившего с тягостным ощущением заброшенности и одиночества, вошедшего в сплоченный коллектив. И в этом пробуждении смысл книги Ларры.

Бо́льшую часть этой повести Р. Ларра написал в тюрьме, куда он был заключен за активную прогрессивную деятельность. Сравнивая книгу с предыдущими произведениями писателя, видишь, как выросло его мастерство. Раньше его герои были очень словоохотливы, но как-то мало думали и переживали. Сейчас (в особенности это относится к образу Вихрастого) писатель сосредоточивает свое внимание не

на внешних перипетиях сюжета, а на мире чувств своего героя, поступки которого получают ясную психологическую мотивировку. Правда, и в этой повести есть просчеты: можно было бы упрекнуть Р. Ларру в том, что слишком бегло, пунктирно намечены характеры других героев повести, что он нередко злоупотребляет жаргонными словами и выражениями, затрудняющими чтение книги для человека, не жившего в Буэнос-Айресе. Но эти частные недостатки с лихвой окупаются многочисленными находками писателя в обрисовке центрального персонажа—человека, который поверил в силу солидарности и пробудился для борьбы за счастье народа.

З. Плавскин.

ТРИ РАССКАЗА

□

Johannes Weidenheim. Der verlorene Vater. Halle (Saale), Mitteldeutscher Verlag, 1956.

□

Лишь в одном рассказе из трех, составляющих этот сборник, читателю не надо внимательно выискивать приметы времени. Мы только по случайным признакам догадываемся, что деревенский дурачок в рассказе «Час правды» или старый рыбак из последней новеллы сборника «Погибший отец» живут в дни, очень близкие к нам, в предвоенные годы.

Вайденхайм, обосновавшийся сейчас в Западной Германии, но выросший в северной Югославии, находит и характерные детали и достаточно сочные краски для жанровых, бытовых картин югославской довоенной деревни, для запоминающихся портретов ее обитателей (он пишет о местах, где говорят не только на сербском, но и на венгерском и на немецком языках). И несчастный деревенский сирота, превращенный в забаву и потеху своего хозяина («Час правды»), и старый рыбак, живущий в одинокой хижине на берегу Дуная, погибший из-за собственной расчетливости и оборотистости («Погибший отец»), неразрывно связаны с бесчеловечными отношениями старого собственнического мира. Их душевные и жизненные катастрофы, неторопливо, внимательно, с несомненной психологической проницательностью прослеженные писателем, могли бы разразиться в любом году последнего столетия.

Но художник ищет и находит в жизни этих людей такие «часы правды», которые раскрывают то подлинно человеческое, что загнано в дальние углы их внутреннего мира. У затравленного с детства и одичавшего парня, ставшего деревенским дурачком, рабом своего хозяина — грубого и развращенного скототорговца, трудно, нелепо и медленно, но все же возникают нежные, почти материнские чувства к случайно найденному грудному младенцу. Он решает оставить его тайно у себя, умудряется накормить его, развлечь. Он, оказывается, способен смастерить прекрасную игрушку, он играет хорошо на окарине. И когда он в какой-то мере душевно выпрямляется, в нем впервые появляется и собственное достоинство и смутный протест против насилия полицейских, отбирающих у него ребенка, против негодяя хозяина, издевающегося над его переживаниями, потрясшими и оживившими его отупевший и замерший мир чувств. В гневе он убивает скототорговца. Этот «бунт» против насилия, рабства, надругательства над чувством, бунт темного, тупого, изуродованного существа изображен с бесспорным художественным тактом, со скрытой болью и суровой сдержанностью, без нажима и внешних эффектов.

В рассказе «Погибший отец» мало своеобразия, и хотя он написан литературно грамотно и со вкусом, трудно отделаться от аналогий с мопассановскими новеллами на очень похожие темы и от ощущения его эпигонского характера.

В третьем рассказе «Человек обретает себя» гораздо более зримо выражены приметы нашего времени.

И здесь в душе маленького человека, служителя при деревенском бургомистре человека всегда робкого и незаметного, расцветают благородные чувства — независимость, человечность, сознание собственного достоинства. Но решимость активно противостоять злу и защитить справедливость выходят здесь за пределы замкнутого душевного мира: они противостоят бесчеловечности фашизма, грубым страстям, рожденным расистскими бреднями. События разыгрываются за несколько месяцев до второй мировой войны. Фашистскую заразу заносят немецкие парни-нацисты, приехавшие из Германии в югославское местечко, население которого говорит на немецком языке. Вспыхивают грубые и низменные страсти, «разоблачается» еврейское происхождение старого учителя танцев, любимца детей. Как будто из каких-то грязных ям вылезают предательство, демагогия. И в этой разбушевавшейся низости и жестокости, внешне как будто обыденно, но в сущности героично ведет себя старый, всегда робкий Иоганн Филипп — рассыльный бургомистра: он скрыл у себя учителя, без страха встретил громил, забросавших камнями его домик, противопоставил себя «общественному мнению» всей деревни, впервые ослушался приказаний бургомистра и в конце концов попал под арест. Трагическая развязка — самоубийство учителя — была бы в духе остальных новелл сборника, с их несколько абстрактной

постановкой моральных проблем, если бы моральное зло не совпадало здесь с конкретным политическим злом фашизма. Борьба с этим злом и в тех как будто маленьких рамках, в которые заключены события новеллы, показана как дело совести и достоинства простого человека.

Вайденхайм издал свою книжку в ГДР. Она встречена демократической критикой с доброжелательством и вниманием. Привлекают литературная культура писателя, своеобразие его материала, последовательность его морально-этических принципов, отвергающих любые формы унижения человека.

Н. Эйшискина.

„СВАДЕБНАЯ ПЕСНЯ ДЛЯ СВАНТЬЕ"

□

Theun de Vries. Bruiloftslied voor Swaantje. Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1956.

□

Роман Тойн де Фриса «Пан среди людей» — вторая часть многотомной эпопеи «Фуга времени» — рассказывает о детстве и юности Алларда Росвейде, одаренного музыканта, выходца из бедной крестьянской семьи. На страницах книги оживает Голландия семидесятых-восьмидесятых годов прошлого века — тяжелый быт крестьян, убогая деревушка, где начинает свою жизнь герой, социальные контрасты большого города, куда он приезжает на учебу.

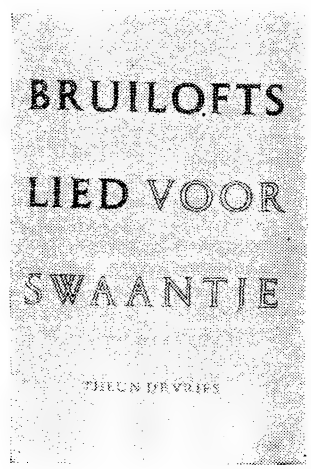
Пан среди людей — это и есть Аллард: привыкнув к своему лесному одиночеству, он робеет перед людьми, и в то же время стремится к общению с ними. Юноше приходится испытать немало бед; богатые сынки, сидящие рядом с ним на школьной скамье, издеваются над деревенским парнем, который вчера еще пас овец и играл на самодельной свирели. Настоящих друзей Аллард встречает в другом кругу — среди рабочих и демократической интеллигенции.

К роману «Пан среди людей», с присущим ему широким и объемным изображением голландского общества конца XIX века, примыкает небольшая повесть «Свадебная песнь для Свантье» — своеобразная лирическая миниатюра в прозе. После шести лет, проведенных в Роттердаме, где он стал профессиональным музыкантом, Аллард приезжает в свою деревню, чтобы встретиться с родными и друзьями детства.

По манере письма «Свадебная песнь для Свантье» близка к творениям голландских живописцев XVII века: деревенский интерьер, колоритные фигуры крестьян, школьного учителя, местного торговца выписаны с тем тщанием и любовью, которые вызывают в памяти полотна Герарда Доу, Габриеля Метсю, Питера де Гох.

Тойн де Фрис создает в традиции национального реалистического искусства ряд жанровых картин, передающих не просто тонко схваченные детали обстановки, но и настроение действующих лиц. Такова хотя бы сцена трапезы, где вокруг стола, накрытого чистой скатертью и уставленного старинной посудой с видами средневековых городов, восседают сияющая Свантье и ее угрюмые, смущенные дядюшки.

После шумного Роттердама жизнь в деревне кажется Алларду серой и унылой, а ее обитатели — чужими. Аллард все меньше и меньше ощущает свои связи с прошлым и порывается уехать. Только Свантье, просватанная за нелюбимого ею богатого мукомола, обреченная на полный отказ от всяких надежд на счастье, оказывается для Алларда родным и близким человеком. Романтическая встреча со Свантье рождает



в душе Алларда новые чувства, новую мелодию; для Свантье она станет свадебной песнью, для самого Алларда — лебединой песнью его юности. Написанная для флейты соло, новая песня Алларда завершает тот этап его жизни, который начался игрою на пастушеской свирели. Аллард Росвейде стоит на пороге своей человеческой и творческой зрелости.

«Свадебная песнь для Свантье» раскрывает поэтическую сторону дарования Тойн де Фриса, его мастерство в передаче лирической взволнованности героя, которому слышится музыка в молчании долины, в шелесте леса, погруженного в вечерний сумрак, в шепоте яблонь. Написанная в иной, лирической тональности, повесть Тойн де Фриса дополняет новыми чертами образ Алларда Росвейде, созданный писателем в романе «Пан среди людей».

С. Шлапоберская

РОМАН О СТАРОЙ ВЬЕТНАМСКОЙ ДЕРЕВНЕ

□

Ngô Tất-Tố. Tắt dèn. Hà-nôi, Nhà xuất bản Văn nghệ, 1955.

□

Известный вьетнамский писатель Нгуен Конг Хоан образно сравнил романы Нго Тат То с прекрасным белым лотосом: лотос растет среди болотной грязи, но грязь не умаляет, а лишь подчеркивает его чистоту.

Нго Тат То, умерший в 1954 году, в отличие от большинства современных писателей Вьетнама получил образование в старовьетнамской школе. Он хорошо знал классическую литературу Вьетнама и Китая, конфуцианские канонические книги, изучил китайский язык. Его перу принадлежат историко-литературные работы «Поэзия и чувство», «Вьетнамская литература периода династии Ли» и другие. Нго Тат То выступал в самобытных жанрах вьетнамской литературы: пьеса «Девушка-солдат Буй Тхи Фак», удостоенная премии Литературы в 1952 году, написана в форме *тео* — традиционной вьетнамской народной драмы, в которой речитатив сочетается с декламацией.

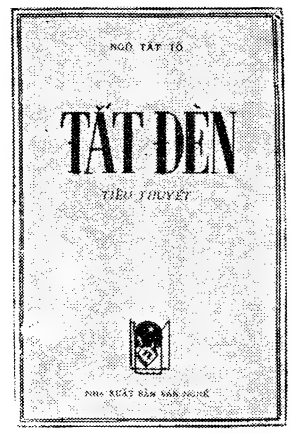
Выходец из крестьянской семьи, Нго Тат То был хорошо знаком с жизнью деревни, ее нравами и бытом. «Эдикт императора отступает перед обычаями деревни», гласит вьетнамская народная пословица, которую Нго Тат То взял эпиграфом к своему роману «Дела деревни». И в романе «Лампа гаснет» (1939) и в «Делах деревни» (1940) писатель разоблачает дикий произвол старост и мандаринов, возведенный в священный обычай и высший закон жизни дореволюционной вьетнамской деревни. Второе издание романа Нго Тат То «Лампа гаснет» появилось в 1955 году, через год после кончины писателя, в дни проведения аграрной реформы в ДРВ, навсегда уничтожившей омерзительные феодальные порядки.

В сравнительно небольшом по объему романе «Лампа гаснет» Нго Тат То изображает наиболее острый момент в жизни старой вьетнамской деревни — время сбора податей, когда особенно ясно видна ужасающая нищета и бесправие крестьянина.

Роман начинается с описания утра вьетнамской деревни: крестьяне, погоняя буйволов, спешат в поле. Но сегодня деревенские ворота с каменной аркой крепко заперты. Сторожа, сидя на циновках, с равнодушным видом курят длинные сучковатые трубки, лишь иногда огрызаясь в ответ на отчаянные мольбы крестьян, просящих открыть ворота: староста приказал не выпускать в поле тех, кто не заплатил подушной подати. У бедняка Нгуен Ван Зау давно кончился рис, его семья питается корнями диких растений. Ему неоткуда взять денег. Нгуен Ван Зау арестовывают; в тюрьме у него начинается приступ тропической лихорадки. Над ним нависает угроза смерти.

В центре романа трагический образ жены Нгуен Ван — Зау, молодой крестьянки, простой многострадальной вьетнамской женщины. Безуспешно пытаясь спасти своего мужа, кормильца семьи, Зау решается на страшный шаг — продать свою семилетнюю дочь помещику Куэ.

Зау — любящая жена и мать. Не жестокосердие, а отчаяние вынудило ее продать ребенка. Издевательства помещика и старосты глубоко ранят ее душу. Для совершения сделки на продажу ребенка нужно было, чтобы староста скрепил купчую крепость своей подписью и печатью с древними иероглифами. Но выясняется, что за эту формальность староста требует ровно столько денег, сколько Зау заплатили за ее девочку. Доведенная до последней грани отчаяния, Зау



бросается с кулаками на жандарма.

Ее арестовывают. Лишь по счастливой случайности ей удается освободиться и вырваться из грязных лап чиновника, который пытался принудить Зау стать его наложницей. И тут ей, наконец, выпадает удача: для нее нашлось место кормилицы в богатом доме. Теперь Зау может заплатить подати и спасти мужа. Казалось, писатель, нарисовав мрачную картину, проведя свою героиню через множество несчастий, готовит успокоительный «счастливый» конец. Однако Нго Тат То дает понять, что счастье для бедняка в условиях дореволюционного Вьетнама невозможно. Недолго длится спокойная жизнь Зау в богатом доме, новые унижения ожидают ее. Ночью она покидает этот дом.

Острие своего сатирического пера Нго Тат То направил против тех, кто вершит судьбы крестьян. Помещик Куэ, невежественный и жестокий ханжа, депутат марионеточного парламента, отличается «добродетелью отвращения к грамотности». Ему, как и большинству его коллег по парламенту, не надо было дискутировать и выслушивать дискуссии. Во время заседаний депутат Куэ сладко зевал, но спать опасался, боясь, что украдут туфли, если он по привычке положит ноги на соседнее депутатское кресло.

В каждом слове и поступке его жены, «госпожи сенаторши», сквозят звериная жестокость и цинизм. Она говорит Зау: «Подумай, как тебе посчастливилось! За ребенка ты получишь пиастр, за собаку еще один — целых два пиастра! Ты сможешь заплатить подать, да к тому же тебе не надо будет кормить ни дочь, ни собаку».

Все симпатии Нго Тат То на стороне крестьянина. Писатель видит не только страдания народа, он видит и его благородство, мужество, силу.

Н. Никулин.

КИНО В БОННСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

□

Hans Werner Richter. Der große Verzicht. „Frankfurter Hefte," Nr. 11, 1956.

□

Сюжет этой коротенькой сатирической сценки, принадлежащей перу буржуазного западногерманского писателя Ганса Вернера Рихтера, очень несложен: одна из кинофирм в ФРГ собирается выпустить очередной боевик. Дела фирмы идут весьма неважно. Два фильма, которые она только что «спустила» на западногерманские экраны, не дали сборов. Поэтому заправилы фирмы решают, что на этот раз их сотрудники должны создать «шедевр»—картину, которая бы потрясла сердца зрителей и принесла фирме солидные доходы. Для создания шедевра мобилизован весь штат кинофирмы плюс несколько известных и неизвестных внештатных сценаристов, плюс энное количество кинозвезд первой и второй величины... Они начинают с лихорадочной быстротой— ибо каждый день простоя означает убыток — стряпать новую кинокартину. Посредственный драмодел Густель Брамбах, опустившийся, махнувший на себя рукой человек, берется за десять тысяч марок создать сценарий будущего боевика под названием «Великое отречение»

Густелю Брамбаху нечего терять, поэтому он решается написать сценарий, близкий к реальной послевоенной жизни в Западной Германии. Брамбах пишет мрачное, поистине безысходное произведение Однако это не то, что нужно хозяевам. Договор с Брамбахом расторгается. К писанию сценария поочередно привлекаются более известные и соответственно значительно более дорогие сценаристы Эрих Диль и Георг Маузер. После долгих перипетий и мытарств они изготовляют свой сценарий. Пройдя все круги кинематографического ада, кинофильм под новым названием «У фонаря» выходит на экраны. От сценария Диля и Маузера, как это с прискорбием отмечают они сами, остается лишь одна реплика. «Добрый день, Анна». Но, как бы то ни было, фильм выпущен. Однако уже при первом просмотре фильма, сотрудники фирмы проникаются сознанием, что картина провалилась. Фирма снова выпустила то, что по-немецки обозначается кратким словечком «кич», приблизительно равнозначным русскому слову «халтура».

Как явствует из пересказа сюжета, сценка Ганса Вернера Рихтера живо напоминает один из разделов блестящего памфлета Карела Чапека «Как это делается?», написанного тридцать лет тому назад Но картина, нарисованная Гансом Вернером Рихтером, гораздо безотраднее. И дело тут не только в том, что в современной западногерманской фирме во много раз увеличилась рутина. Дело в том, что бизнес все больше и больше диктует свои законы киноискусству.

В сценке Рихтера знаменитый режиссер Кренкель, ставящий фильм «У фонаря», и сценаристы-писатели «с именами» — это уже не люди творческого труда, а всего лишь служащие фирмы, которые стоят перед трагической альтернативой: либо угождать вкусу своих хозяев капиталистов либо быть выброшенными на улицу. Страх потерять работу заставляет сценаристов писать плохие сценарии, режиссеров — ставить заведомую халтуру, актеров — играть плохие роли Деньги («речь идет о деньгах и только о деньгах...») — беспрестанно повторяющийся рефрен всех монологов и диалогов действующих лиц пьесы Рихтера «Все становится товаром,— говорит режиссер Кренкель, — и фильм — это не что иное, как товар...»

В кабинете одного из заправил фирмы, описанной Рихтером, висит портрет некоей Лизхен Мюллер Киноделтели вслух уверяют, что это «девушка из народа», но в глубине души они хорошо знают, что именно Лизхен Мюллер—девица с бессмысленным лицом и металлическими обесцвеченными перекисью волосами — муза современного буржуазного антинародного искусства муза пошлости и торгашества. Этой музе призваны служить все деятели кино, выведенные Гансом Рихтером в его памфлете «Великое отречение».

Ганса Рихтера никак не назовешь ниспровергателем капиталистических «основ». Об этом свидетельствуют хотя бы его последние недвусмысленно реакционные высказывания Тем не менее, даже Рихтер вынужден признать, что искусство в Западной Германии зашло в безысходный тупик. Почти каждый из героев пьесы Рихтера, начиная от режиссера Кренкеля, который поставил в молодости несколько хороших фильмов, до сценариста Брамбаха, которому так и не удалось написать хороший сценарий, мечтают создать полноценное произведение. В то же время они сознают, что в их условиях это совершенно невозможно.

Л. Черная.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АЛБАНИЯ

ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 1955—1956 гг.

Совет министров присудил премии республики за лучшие работы в области литературы, искусства и науки 1955—1956 годов. К их числу отнесены повесть Фатмира Дьята «Тана», роман Кина Души «Путь Велани» и поэма Лазара Силичи «Учитель».

За талантливое исполнение роли Георгия Димитрова в пьесе «Лейпцигский процесс, 1933 год» премии республики удостоен артист тиранского Народного театра Андон Пано. Премии присуждены также солистке тиранского Театра оперы и балета Марии Крайя, исполнительнице многих ответственных оперных партий и народных песен, и художественному руководителю театра и дирижеру Мустафе Крантья.

Из произведений изобразительного искусства премий удостоены портрет албанского крестьянина, написанный художником Сали Шийяку, и пейзаж «Осень» Вандьюша Михо.

Газета «Зери и популлит», посвятившая присуждению премий свою передовую статью, отмечает большое значение этого события для дальнейшего развития албанской национальной культуры.

МОЛОДЕЖНАЯ БИБЛИОТЕЧКА

Албанское государственное издательство предприняло в этом году выпуск так называемой «Молодежной библиотечки». В нее войдут произведения как албанских, так и зарубежных писателей. В план издания, в частности, включены произведения Короленко, Тургенева, Станюковича, а также рассказы М. Горького, А. Толстого, Марка Твена, Жюля Верна, Даниеля Дефо, сборник рассказов венгерских писателей, сказки братьев Гримм, сборники русских, китайских, монгольских, болгарских, вьетнамских народных сказок.

АНГЛИЯ

ПОСМЕРТНАЯ КНИГА А. КОППАРДА

Незадолго до своей смерти, в начале нынешнего года, известный английский писатель Альфред Коппард закончил правку корректуры первого тома своей «Автобиографии», о которой он сообщал в «Международной анкете» нашего журнала (№ 5, 1955 год). Эта книга им названа «Вот я, господи». Она посвящена, в основном, детским и юношеским годам писателя. Юность его прошла в суровом труде. В свободное время Коппард учился. Он был хорошим бегуном и часто брал призы на состязаниях. Эти деньги помогали ему приобретать книги. Первый том «Автобиографии» доведен автором до начала 20-х годов, когда он выпустил первый сборник рассказов, сделавших его знаменитым. А. Коппард вошел в историю английской литературы,—пишет «Букс энд букмен»,—как прославленный мастер рассказа и поэт. «Автобиография» — его первое крупное произведение.

В этой книге, отмечает со своей стороны журнал «Букселлер», Коппард «с чисто королевским презрением к соблюдению хронологических рамок свободно переносится в различные периоды своей жизни, смеясь, бранясь и расхваливая... Полный дружелюбия и теплоты к людям, он свободно говорит обо всем, что у него на сердце, и требует такого же отношения от окружающих...»

СНОВА О ЗАВЕЩАНИИ Б. ШОУ

Как уже сообщалось (см. «Иностранную литературу», № 8, 1956 г.), Бернард Шоу завещал свое наследство на финансирование работы по созданию нового английского алфавита из 40 букв.

В случае, если эта его воля не будет принята во внимание, Шоу распорядился поделить свое наследство между Британским музеем, Королевской Академией

В Лондоне состоялась выставка портрета английских художников. Мы воспроизводим несколько представленных на этой выставке портретов (слева направо): Уильям Стрэнг «Томас Харди», Г. А. Фрит «Сомерсет Могэм», Фрэнсис Додд «Джейкоб Эпстайн» — портрет скульптора в возрасте 29 лет.

(Журнал «Иллюстрейтид Лондон ньюс»)

драматического искусства и Национальной галереей Ирландии.

Недавно Верховный суд в Лондоне рассмотрел вопрос о правомерности завещания Б. Шоу, поскольку заинтересованные в получении его наследства Британский музей и Академия решительно заявили о нецелесообразности реформы алфавита. Они утверждали, что новый алфавит ничего не дает человечеству, «не ведет к общественной пользе», и весь проект надо еще подвергнуть обсуждению, поскольку принятие его заставило бы детей изучать два алфавита, иначе они не смогут читать уже написанные произведения.

Председатель суда задал тон обсуждению, сообщает «Букселлер», заявив:

«Это звучит как ирония, но один из величайших мастеров языка в этой стране создал документ, который в течение многих лет ставил нас в тупик и, полагаю, долго еще будет ставить в тупик».

Представитель Национальной галереи Ирландии безоговорочно принял завещание Шоу, указав, что его учреждение считает недопустимым «в чем бы то ни было ущемлять волю знаменитого соотечественника, который выразил свое сокровенное желание».

«Кто выступает от имени бедного алфавита?»,— спросил судья. Назначенный правительством официальный защитник заявил, что завещание служит на благо человечества и поэтому должно вступить в силу. «Мистер Шоу часто публично говорил о новом алфавите все то, что он написал в своем завещании. Мистер Шоу сказал, что если и аргументы, основанные на политической экономии и экономии бумаги, не убедят власти в преимуществе нового алфавита, то их уже ничем не убедишь. Но он никогда не высказывался за введение алфавита без предварительного изучения вопроса и считал, что его поверенный прибегнет при этом к совету специалистов. Пункты завещания, говорящие об алфавите, обладают общественной и образовательной ценностью, ибо являются полезным достижением, увеличивающим общую сумму человеческих знаний».

Тем не менее суд вынес определение «не в пользу алфавита», мотивируя это тем, что предложенная реформа повлечет за собой изменение английского законодательства. Суд выразил также уверенность, что сам Шоу... рассчитывал на отказ и потому заблаговременно позаботился о второй возможности использования своего наследства.

По сообщениям печати, спор о наследстве Шоу еще не закончен, ибо Британское общество Шоу потребовало от официального защитника опротестовать решение суда.

БОЛГАРИЯ

НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Вышли первые номера ежемесячного литературного журнала «Пламък» («Пламя»).

В первом номере напечатано обращение редколлегии журнала к читателям, в котором говорится, что единственно жизненным литературным течением является реализм. «Но в то же время, — указывается в обращении,—мы враги всего того, что канонизирует литературный метод и превращает его в догму. Мы одинаково ненавидим тенденциозное приукрашивание или очернение жизни, преднамеренно тезисное отношение к общественным явлениям,

Емилиян Станев — один из выдающихся болгарских писателей. Его рассказы, повести, новеллы в которых изображена жизнь народа, красота родной природы, написаны с редкостной художественной силой и проникновенностью. Героями многих рассказов Станева являются животные. В связи с пятидесятилетием Емилияна Станева газета «Литературен фронт» напечатала поздравление от Союза болгарских писателей.

Мы публикуем дружеский шарж Т. Пиндарева, помещенный в сатирической газете «Стршел». Подписи на рисунке гласят: «Емилияну Станеву 50 лет».

«— Спасибо, юбиляр, что рассказал о нас, хотя ты и не баснописец».

однолинейное раскрытие человеческих характеров. Мы думаем, что литература должна отражать жизнь во всей ее яркой и противоречивой многосторонности... и всеми средствами будем поощрять развитие новых стилей, направлений и течений в нашей реалистической, социалистической литературе».

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КОНФЕРЕНЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ

В Берлине состоялась конференция Союза писателей ГДР. В единодушно принятом обращении подчеркивается значение единства стран социалистического лагеря.

«Мир должен выбрать между катастрофой и мирным сосуществованием. Третьего пути быть не может», — заявляют писатели Германской Демократической Республики. Далее они решительно высказываются за переговоры между литераторами обеих частей Германии. «Темой этого разговора могли бы быть, например, предложения правительства ГДР о воссоединении Германии»,—говорится в обращении.

Относительно дискуссии, состоявшейся на конференции по литературным вопросам, писатели ГДР пишут, что, «несмотря на некоторые ложные истолкования метода социалистического реализма, его полувековое существование от «Матери» Горького до «Галилея» Брехта принесло миру новую надежду и красоту».

КНИГИ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Два раза в год, весной и осенью, книгоиздательства ГДР демонстрируют свою продукцию на лейпцигской ярмарке. Книги о второй мировой войне, широко представленные на весенней ярмарке 1957 года, свидетельствуют о том, что литература ГДР стремится осмыслить прошлое во имя будущего.

Как сообщает «Нейес Дейчланд», к числу этих книг относится новый роман Людвига Ренна «Война без битвы». Роман воссоздает историю жизни гамбургского ремесленника в годы фашизма и войны.

«Человек года рождения 1920-го»—так называется роман Иенса-Эрика Бургшютца, герой которого, участвуя во второй мировой войне, постепенно осознает, что фашисты использовали его в своих преступных целях.

Теме второй мировой войны, пишет «Нейес Дейчланд», посвящены также книги ряда других писателей.

АРХИВ БРЕХТА

После смерти Бертольта Брехта, в его квартире, которая будет превращена в мемориальный музей, работает специальная комиссия, занятая разбором его наследства, насчитывающего до 200 тысяч страниц рукописей. В ходе этой работы обнаружены фрагмент романа «История господина Юлия Цезаря», социально-критическая драма «Дэн Дрю», набросок к драме «Эйнштейн», многочисленные стихотворения, записки по вопросам искусствоведения и эстетики, сатиры, политические заявления, дневники.

После того как в текущем году будет закончена обработка архива и квартира откроется для свободного доступа, все изучающие творческое наследие Брехта получат в свое распоряжение фотокопии его рукописей и различную литературу о писателе.

* * *

Композитор Пауль Дессау издал сборник песен и баллад на тексты Брехта. По сообщению журнала «Нейе дейче литератур», в сборнике содержатся песни из спектаклей «Кавказский меловой круг», «Добрый человек из Сезуана», «Приговор Лукуллу» и др.

К СОРОКАЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

По сообщению газеты «Зонntаг», в ознаменование сорокалетней годовщины Великой Октябрьской со-

Театр «Берлинер ансамбль» пользуется славой одного из самых лучших европейских театров. На его сцене выступают такие талантливые немецкие актеры, как Елена Вейгель и Эрнст Буш. Последняя премьера театра — сцены из пьесы Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи».

На снимке: артистка Елена Вейгель в пьесе «Страх и отчаяние в Третьей империи».

(Газета «Берлинер цейтунг»)

циалистической революции, общество германо-советской дружбы постановило учредить премии за лучшие произведения живописи, скульптуры и графики, в которых «с художественной убедительностью будет запечатлена дружба немецкого народа и народов Советского Союза.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

«РАСПРОДАЖА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ»

Немецкая общественность с беспокойством наблюдает за деятельностью ряда фирм в Гамбурге, Кёльне, Марбурге и других городах, устраивающих аукционы, на которых производится распродажа многих ценных книг и произведений искусства. В результате эти ценности переходят в руки частных коллекционеров. «Таким образом, — пишет бюллетень книготорговли ГДР,—антикварные и книжные аукционы нередко становятся местом распродажи нашей национальной культуры; ради барыша наш народ лишают памятников культуры, которые перекочевывают безвозвратно за границу, в основном в США».

По сообщению того же бюллетеня, ряд организаций ФРГ уже выступил с протестом «против преступной распродажи достояний нашей культуры». Насколько далеко зашло это дело, явствует из самого факта принятия в Западной Германии «Закона об охране немецкого культурного достояния от вывоза». Однако этот закон, заключает бюллетень, появился, видимо, слишком поздно.

ОТКРОВЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Выпущенный киностудией ДЕФА (ГДР) в 1951 году фильм «Верноподданный» (по известному роману Генриха Манна) обошел многие страны мира, но лишь недавно получил доступ на экраны ФРГ. Режиссер этой картины Вольфганг Штаудте широко известен в обеих частях Германии. В нынешнем году на одной из студий ФРГ он экранизировал пьесу Г. Гауптмана «Роза Бернд».

Отношение печати ФРГ к «Верноподданному», яркой сатире на милитаризм в Германии, в общем положительное. Среди его противников оказалась, однако, «Франкфуртер рундшау». Вспоминая, что еще в 1955 году режиссер этой картины высказался против Парижских соглашений и предсказывал, что во главе возрожденного вермахта станут гитлеровские генералы, газета пишет: «Непонятно, как Штаудте при таких взглядах вообще разрешают работать в Западной Германии».

АПОЛОГЕТИКА ФАШИЗМА

По сообщению бюллетеня книготорговли ГДР, в Нижней Саксонии недавно выпущена в свет биография Германа Геринга, «шефа» военно-воздушных сил гитлеровской Германии. Не удивительно, что информационный листок существующего в ФРГ «Союза летчиков старой и новой армии» превозносит эту книгу, как «выдающееся произведение исторического значения» и всячески одобряет инициативу издательства «Гёттингер ферлагсанштальт». Характерно, что подлинным вдохновителем планов издательства, замечает бюллетень, является бывший министр культуры Нижней Саксонии Шлютер. Этот ярый реакционер и фашист пробыл, правда, на своем министерском посту всего десять дней, но память в виде книги о Геринге оставил самую недобрую, как бы ни оценивали ее реваншисты из «Союза летчиков старой и новой армии».

ДАНИЯ

«КАК ПОВЫСИТЬ ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ ДАТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ?»

Под таким заголовком газета «Сосиал-демократен» опубликовала анкету, проведенную среди писателей, издателей и руководителей культурных организаций страны.

Председатель Союза датских писателей Кай Воль обвинил издателей в том, что они платят низкие гонорары авторам, пытаются переложить так называемый коммерческий риск за слабое распространение книги на самого писателя, который, как правило, получает гонорар в первый год только за треть тиража, а остальные две трети лишь после распродажи всего издания. В исключительно тяжелом материальном положении находятся молодые литературные силы. К. Воль предлагает отпустить по бюджету специальные суммы для поощрения молодых авторов.

Директор крупнейшего в Дании издательства «Гюльдендал» Оле Вивел также предлагает принять закон о

помощи писателям, так как спрос на их книги не в состоянии обеспечить им приличный жизненный уровень.

Директор одной из библиотек Р. Хансен видит решение вопроса в увеличении государственных и муниципальных ассигнований библиотекам на покупку книг.

Заместитель председателя Союза датских писателей Ханс Люнгби Йепсен обвинил общественные и государственные организации в равнодушном отношении к датской литературе. «Молодая датская литература,— заявил он,— ведет безнадежную борьбу за свое существование. Если мы не найдем способа помочь ей, она умрет медленной смертью».

Известный датский литературный критик Фредерик Нильсен возражает против автоматического увеличения государственных субсидий писателям, но предлагает выдавать персональные стипендии тем молодым авторам, произведения которых будут одобрены специальным литературным советом. Основное условие, заявил он, дать молодым талантливым писателям спокойно работать два-три года над своим произведением.

ЕГИПЕТ

ТАХА ХУСЕЙН О «ДОКТРИНЕ ЭЙЗЕНХАУЭРА»

Как сообщает ливанская газета «Телеграф», крупнейший египетский писатель, «патриарх арабской литературы» доктор Таха Хусейн выступил на страницах египетской печати со статьей, в которой он высмеивает утверждения защитников «доктрины Эйзенхауэра» о том, будто она принесет благодеяние арабским народам. Он говорит, что «доктрина Эйзенхауэра»—это попытка Америки купить независимость и свободу, а значит и жизнь арабских народов, ибо «без свободы для арабов нет и жизни». Таха Хусейн разоблачает утверждения американской пропаганды о том, что «доктрина Эйзенхауэра» будет способствовать установлению мира на Ближнем Востоке. «Этот план,—пишет он,—ведет не к миру, а к войне».

АССОЦИАЦИЯ СУДАНСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

Суданская газета «Ас-Сараха» сообщает, что в Египте организована «Ассоциация суданских деятелей культуры», в которую вошли все деятели культуры Судана, проживающие в Египте. Среди них—художники, певцы, музыканты, поэты, писатели, артисты.

Ассоциация ставит перед собой задачу — основываясь на опыте Египта, способствовать развитию литературы и искусства Судана; укреплению уз братства между суданским и египетским народами и связей литературы и искусства с жизнью и действительностью страны.

ИНДИЯ

РАБОТА ОБ ИНДИЙСКОЙ ПРЕССЕ

Министерство информации и радиовещания выпустило «Историю индийской журналистики» Дж. Натараджана. Газета «Хинду», приветствуя появление этой книги, отмечает, что привлеченный материал, рассказывающий об изменениях в законодательстве о прессе, об истории борьбы индийских газет против иностранного режима, «носит слишком информационный характер».

ПЕРЕВОД ПАМЯТНИКА ЛИТЕРАТУРЫ

В 1954 году, индийское правительство, приняло решение о частичном переводе на английский язык памятника литературы — священной книги сикхов (религиозная секта в Индии), носящей название «Грантх». По своему значению эту книгу сравнивают с мусульманским Кораном. В настоящее время перевод ее близится к концу. Этот перевод, пишет газета «Бхарат джьоти», будет иметь большое значение для исследователей индийской истории, литературы, культуры и истории религии.

«Грантх» был написан, в основном, гуру (пророком) Арджуном и состоит из 5.000 стихов. Они были положены на музыку 300 лет назад и поются, как религиозные гимны.

Над переводом «Грантха» работает специальный комитет, созданный Индийской академией литературы. В состав комитета входит известный 84-летний поэт сикх Бхаи Вир Сингх.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ В ПЕНДЖАБЕ

Конференция пенджабских писателей, созванная объединением писателей города Джаландара, заслушала два доклада: о творчестве знаменитого пенджабского поэта XVIII века Варис Шаха и «Литературоведение и его задачи».

На конференции единогласно было принято решение обратиться к правительству с просьбой увеличить число радиопередач на национальном языке; всемерно развивать производство художественных и документальных фильмов на пенджабском языке; потребовать от издателей увеличения объема авторского гонорара за публикуемые произведения и др.

Конференция, прошедшая с большим успехом, пишет журнал «Пенджабдарья», продемонстрировала рост рядов пенджабских писателей, их стремление всемерно развивать и совершенствовать пенджабскую литературу.

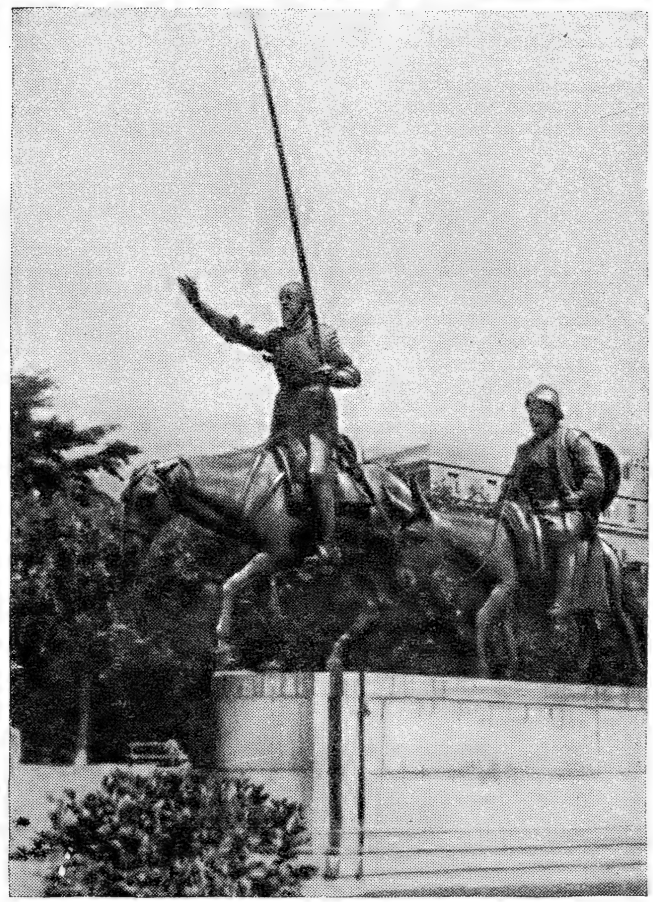
РАБИНДРАНАТ ТАГОР В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Рабиндранат Тагор проявлял большой интерес к жизни и культуре народов разных государств.

Общество «Рабиндра бхарати» (Общество Р. Тагора) намерено провести в Индии серию выставок, материалы которых расскажут о связях Тагора с культурными деятелями разных стран. Первой в этой серии явилась организованная недавно в Калькутте выставка, посвященная связям Тагора с Чехословакией.

Посетители увидели многочисленные произведения писателя, переведенные на чешский язык и неоднократно издававшиеся, начиная с 1914 года. (Книги присланы из Праги специально для этой выставки.) В Чехослозакии труды Тагора уже опубликованы в 13 томах. Готовятся к печати еще 5 томов. На стендах демонстрировались также мемуары и переписка Тагора с чехословацкими учеными, литературными и общественными деятелями.

Эта выставка, пишет индийская газета «Амрита базар патрика», послужит дальнейшему укреплению дружественных взаимоотношений Индии и Чехословакии, начало которым положил еще Тагор.



Памятник Дон Кихоту и Санчо Пансе в Мадриде.

ИСПАНИЯ

СТАТЬЯ ОБ ИЗДАНИЯХ «ДОН-КИХОТА» В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Выходящий в Мадриде журнал «Ревиста де литература» посвятил большую статью адаптированному переводу романа Сервантеса, вышедшему в «Детгизе». (Одновременно в статье сделан обзор до- и послереволюционных переводов «Дон-Кихота» на русский язык). По мнению автора статьи, известного литературоведа Пабло Тихана, «прозаическая его часть переведена великолепным литературным языком. И в этом заслуга Н. Любимова, который в ряде случаев сумел найти поистине превосходные русские варианты испанских имен и фразеологических оборотов. В то же время сделанный М. Лозинским перевод стихов оставляет желать много лучшего. Прежде всего, он дан в значительно сокращенном виде, а, кроме того, русский стихотворный текст при всей своей смысловой правильности и формальной чистоте не передает ритма испанского оригинала. Заслуживает похвалы редактор книги В. Узин, с успехом проделавший свою работу по адаптированию, редактуре издания».

ИТАЛИЯ

ТВОРЧЕСТВО ПАЗОЛИНИ

На страницах итальянских литературных журналов, а также и в ежедневной печати все чаще встречается имя молодого литератора — поэта и прозаика Пьера Паоло Пазолини. Творчество Пазолини, пишет «Унита», отличает ярко выраженная демократическая направленность, его произведения посвящены жизни и борьбе итальянских трудящихся. Вскоре ожидается выход первого сборника стихов Пазолини. В него войдут 12 коротких поэм, часть которых была уже ранее опубликована в журналах, в частности, поэмы «Народная песня», «Пикассо», «Поля Фриули», «Прах Антонио Грамши».

В настоящее время Пазолини работает над романом о молодежи «Бурная жизнь», который явится продолжением вышедшего в прошлом году романа «Парни, узнавшие жизнь». Этот роман был положительно оценен критикой и принес автору

одну из ежегодных литературных премий.

Пазолини постоянно сотрудничает в качестве литературного критика в демократическом журнале «Офичина» («Завод»), в котором он также занимается и редакционной работой.

НОВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЖУРНАЛ

Начал выходить новый еженедельный журнал итальянской коммунистической молодежи «Нуова дженерационе» («Новое поколение»). В нем ряд интересных разделов и постоянных рубрик, посвященных проблемам и событиям как внутриитальянской, так и международной жизни и молодежного движения. Журнал богато иллюстрирован. Среди авторов журнала поэт и журналист Джанни Родари, ведущий рубрику «Повседневный словарь». В юмористической форме он дает политически острые, лаконичные объяснения «наиболее часто встречающихся слов» («нефть», «арабские страны» и т. д.).

ДЖИРОТТИ НА СЦЕНЕ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

Известный итальянский киноактер Массимо Джиротти с большим успехом выступил в римском «Театро деле арти» («Художественный театр»), играя главную роль в пьесе Стриндберга «Фрекен Юлия». Пьесу шведского драматурга поставил Лукино Висконти.

«ПРИЗРАКИ» ДЕ ФИЛИППО В БЕЛЬГИИ И ФРАНЦИИ

Знакомая советскому зрителю комедия неаполитанского драматурга, театрального и кинематографического режиссера и актера Эдуардо Де Филиппо «Призраки» будет в ближайшее время поставлена в Брюсселе режиссером Жаном Мишо. Руководимая им труппа предполагает совершить большое турне по Франции и показать «Призраки» в Париже и других городах. В работе над постановкой спектакля участвует автор.

Эдуардо Де Филиппо (крайний справа) вместе с группой артистов, которые будут играть в его пьесе «Призраки». *(Газета «Унита»)*

НОВЫЙ ФИЛЬМ И НОВАЯ КНИГА ЧЕЗАРЕ ДЗАВАТТИНИ

Как сообщает итальянская печать, известный писатель-сатирик и кинодраматург Чезаре Дзаваттини заканчивает работу над сценарием нового фильма «Страшный суд», ставить который будет режиссер Витторио Де Сика.

Осенью этого года ожидается выход отдельной книгой «Дневника» Дзаваттини, публиковавшегося ранее в журналах и представляющего значительный интерес как по своим литературным достоинствам, так и для знакомства с культурной жизнью современной Италии.

Значительное место в творческих планах Дзаваттини занимает давно вынашиваемый им замысел создать фильм о героях партизанской борьбы — семерых братьях Черви (см. книгу Алчиде Черви «Семеро моих сыновей»; «Иностранная литература» №№ 8 и 9, 1956 год). По словам Дзаваттини, это должен быть глубоко гуманный народный фильм, отражающий демократические и антифашистские традиции и характер жителей «красной» Эмилии — области, где боролись братья Черви и откуда родом сам Дзаваттини.

Помимо того, сообщает «Унита», Дзаваттини не скрывает своего намерения дебютировать в качестве режиссера, самостоятельно поставив один из задуманных им фильмов.

БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

В ближайшем будущем в Италии, Франции, Германии и Испании одновременно выходит «Биографический словарь авторов всех времен и всех литератур», подготовленный крупным итальянским издательством

Бомпиани. Это издательство прежде выпустило уже в свет «Словарь произведений и персонажей», над которым в течение десяти лет работала большая группа специалистов.

Издатель Валентино Бомпиани, принимавший непосредственное участие в подготовке обоих изданий, дал интервью корреспонденту еженедельника «Фиера литерариа» и рассказал об условиях работы и принципах, положенных в основу нового словаря.

Словарь состоит из трех томов, примерно по тысяче страниц каждый. Он охватывает период, начиная с 1700 года и до наших дней. Цель составителей словаря — дать читателю не только краткие фактические сведения, но и живое представление об эпохе и среде, в которой жил каждый писатель, его творческом кредо, критических отзывах о нем современников и потомков. Всего словарь включает в себя имена шести тысяч писателей. В нем использовано много до сих пор не публиковавшихся или мало известных материалов.

ЙЕМЕН

«ЙЕМЕН — ДРЕВНЯЯ И ПРЕКРАСНАЯ СТРАНА»

«Исламик ревью» поместил недавно статью египетского археолога доктора Ахмада Фахри «Йемен — древняя и прекрасная страна» в которой рассказывается о древней культуре этого государства.

Цивилизация на нынешней территории Йемена возникла за 1500 лет до появления ислама. От этой древней эпохи сохранились многочисленные памятники. Среди них таблички с надписями на древнем языке, который очень похож на современный арабский. Йеменцы внесли большой вклад в арабскую мусульманскую культуру. «Они были среди основателей мусульманской цивилизации. Памятниками этой эпохи являются прекрасные мечети и тысячи рукописей — сокровище, не имеющее себе равных по ценности среди им подобных в других мусульманских странах»,— пишет А. Фахри.

Кадр из нового фильма итальянского режиссера Ренато Кастеллани, посвященного жизни итальянской студенческой молодежи — «Мечты в ящике».

КЕНИЯ

ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ

Крупным событием в культурной жизни страны явилась проведенная в Найроби ежегодная выставка картин. По сообщению «Санди пост» на ней были представлены лишь работы художников Кении. В отличие от прошлых лет большинство картин посвящено местной, африканской тематике.

КИТАЙ

ПЛАН ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАРОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

По сообщению газеты «Гуаньминжибао», издательство «Народная литература» в 1957 году значительно расширяет объем своей работы. Оно планирует в этом году закончить публикацию полного собрания сочинений Лу Синя в 10 томах, начать новое издание собраний сочинений Го Можо и Мао Дуня, продолжать выпуск избранных произведений писателей современной литературы, начиная со времени «Движения 4 мая» (1919 г.). В этом году предполагается издать избранные произведения Сюй Ди-шаня, Ин Сю-жэня, Пан Мо-хуа, Бин Синя и других писателей, образцы классической литературы, поэзии Су Ши, Цзи Юя, подборки из «Исторических записок», переиздать «Сон в красном тереме», «Удивительные истории нашего времени и древности» и некоторые другие произведения.

Издательство продолжит начинание 1956 года и выпустит новые сборники избранных рассказов, поэзии, одноактных пьес, детской литературы, публицистики и стихов в прозе.

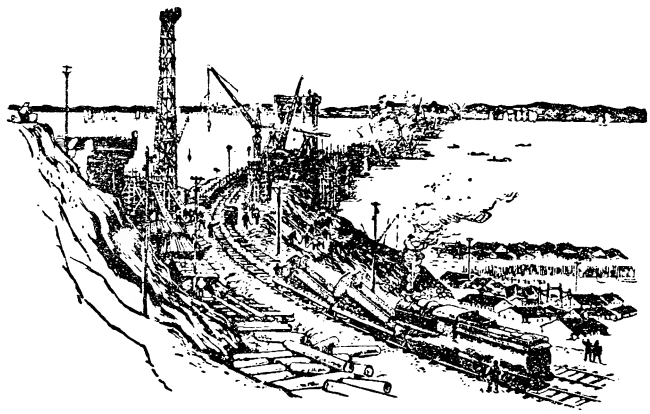
Значительно расширяется издание работ по теории литературы. В текущем году предполагается опубликовать сборники «О литературе», «Вопросы эстетики», исследования о писателях и отдельных произведениях, а также книги Чжу Цзы-цина «Китайские народные песни» и Янь Сяо-и «Инсценировки романа «Речные заводи». Помимо работ китайских ученых, планируется издание переводов: Чернышевского («Эстетические отношения искусства к действительности» и сборника его статей по эстетике), Плеханова («Об искусстве» и сборник статей по западноевропейской литературе), Горького («О литературе»).

К сороковой годовщине Октябрьской революции предполагается издать наиболее известные произведения советской литературы.

НОВЫЕ ЖУРНАЛЫ В 1957 ГОДУ

Как уже сообщалось (см. «Иностранную литературу», № 2, 1957 год), в Китае увеличивается число новых журналов.

В 1957 году некоторые журналы стали издаваться



Гравюра китайских художников Цзэн Цзин-чу и Юй Шадина «Строительство моста через реку Янцзы», представленная на Второй Всекитайской выставке гравюры (конец 1956 года).

(Журнал «Баньхуа»)

чаще, чем это было до сих пор. Так, ежемесячный журнал «Сицзюй бао» («Вестник театра») начал выходить каждые две недели. «Вэнибао» («Вестник литературы и искусства») после временного (с января по март текущего года) прекращения своей деятельности, связанной с реорганизацией, становится еженедельником.

С начала года в провинции Чжэцзян издается литературный ежемесячник «Дунхай» («Восточное море»), рассчитанный на массового читателя. В нем печатается отечественная и иностранная художественная литература разных жанров.

В этом году начали издаваться большие ежеквартальные теоретические журналы: «Мэйшу яньцзю» («Вопросы искусства»), «Сицюй яньцзю» («Вопросы драмы»), «Вэньсюэ яньцзю» («Вопросы литературы»), «Сицзюй цзачжи» («Театр»).

Журнал «Театр», рассчитанный на специалистов и любителей этой области искусства, публикует ряд материалов по изучению современной драматургии, критические статьи о пьесах, исследования произведений о современных драматургах и классиках Китая и зарубежных стран и другие материалы.

Расширяется и число журналов, выпускаемых на иностранных языках.

В 1957 году продолжает издаваться на русском, английском (два раза в месяц) и японском (раз в месяц) языках журнал «Народный Китай».

Вновь создан общественно-политический иллюстрированный журнал «Жэньминь хуабао» («Народ»), издаваемый на двенадцати языках: китайском, монгольском, тибетском, уйгурском, корейском, русском, немецком, французском, японском, вьетнамском, индонезийском, испанском—и распространяемый более чем в 70 странах.

Толстый журнал «Китайская литература», издававшийся только на английском языке, стал выходить на многих иностранных языках и распространяется в 60 странах.

ЛИВАН

ЛИВАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В 1956 ГОДУ

Журнал «Ас-Сакафа аль-Ватания», подводя итоги работы ливанских книжных издательств в минувшем году, пишет, что они выпустили множество разнообразных книг.

Наиболее крупными событиями литературной жизни журнал считает выход в свет первого тома Ливанской энциклопедии под редакцией профессора аль-Бустани и завершение издания шестидесятипятитомного толкового словаря арабского языка Ибн-Манзура «Лисан аль-араб» («Язык арабов»). Наряду с этим вышел словарь Якута аль-Хамави, носящий название «Муджим аль-бульдан» («Словарь стран»). В нынешнем году будет закончено печатание сочинений великого арабского историка Ибн-Хальдуна и «Книги песен» Абд аль-Фараджа Исфаганского.

В прошлом году, продолжает журнал, в Ливане вышло несколько ценных литературоведческих работ, таких, как, например, «Драматургия в современной арабской литературе» доктора М. Ю. Наджма и «Бернард Шоу» Абд аль-Латыфа Шарара.

Непосредственным откликом на текущие события является книга Мишеля Сулеймана «Канал — Египту».

Ливанские издательства работают не только в расчете на местный рынок. Однако, как указывает журнал, таможенные барьеры, существующие между отдельными арабскими странами, а также политика иракских властей, запрещающих ввоз в Ирак ливанской литературы, значительно ограничивают возможности ливанских книжных фирм.

МЕКСИКА

МОСКОВСКИЕ ЗАРИСОВКИ ДИЕГО РИВЕРЫ

В Мехико состоялась выставка произведений известного художника Диего Риверы, созданных им за время его пребывания в СССР и в ряде стран народной демократии. На выставке было представлено более ста рисунков, эскизов, этюдов, сделанных акварелью, карандашом, темперой, маслом.

ПОЛЬША

«ГОЛУБЫЕ СТРАНИЧКИ»

Так называется сборник коротких статей-фельетонов Адольфа Рудницкого, печатавшихся в иллюстрированном еженедельнике «Свят». А. Рудницкий известен как автор большого цикла рассказов, посвященных «эпохе печей», то есть гитлеровской оккупации Польши. В своей новой книге он делится с читателями впечатлениями и мыслями о различных явлениях жизни в современной Польше.

Литературный критик Казимеж Выка пишет в «Жице литерацке», что Рудницкий ставит в своих «Голубых страничках» множество проблем, из которых могла бы вырасти картина польской действительности, но это не случилось в силу того, что в оценке этой действительности, нарисованной в тиши кабинета, Рудницкий исходит из своих эгоцентрических позиций. Высоко оценивая литературные достоинства прозы Рудницкого, критик указывает, что она, однако, не выполняет своих задач, ибо не дает полного ответа на вопрос, поставленный писателям самим автором: «Что ты можешь предложить людям?»

ПОЛЕМИКА САНДАУЭРА С ЯСТРУНОМ

Артур Сандауэр—критик, эссеист, переводчик — примыкает к так называемой группе «новейших». В статье, опубликованной в газете «Трибуна люду», он выступил против искусства XIX века, как, якобы, «пассивного и действующего под влиянием настроения», заявив, что сам он связан с искусством «новейшим», как более активным, представляющим «гимнастический шаг, удар кулаком». (Подробнее о выступлении Сандауэра см. в статье Т. Мотылевой «О некоторых вопросах реализма XX века», напечатанной в этом номере.)

Переходя к современному польскому искусству, он приводит в качестве примера поэзию Мечислава Яструна, который, «все упорнее вглядываясь в романтиков,.. переживает действительность исключительно сквозь призму их творчества». Сандауэр иллюстрирует свое утверждение цитатами из стихотворения Яструна «Беседа с писателем», метафоры и сравнения которого взяты из арсенала романтической поэзии. «Во всей нашей поэзии и прозе,— пишет Сандауэр,— куда ни кинь, наталкиваешься на фиктивную проблематику и старые, изношенные одежды».

Мечислав Яструн ответил Сандауэру на страницах той же газеты в статье «Современность, но какая?» Полемизируя с утверждениями Сандауэра, Яструн заявляет: «Новое, современное в литературе — это то, что реагирует на современные события прямо или косвенно, но, прежде всего, вдумчиво и правдиво».

Яструн обвиняет Сандауэра в том, что его волнует только узко понятая «форма», что его не интересует смысл стихотворения, содержание, что он любит копаться только в деталях. Странны его претензии к поэту, использующему образы или символы минувших лет. Это напоминает наивные окрики футуристов эпохи их увядания, пишет Яструн. Даже такие самые «новые» поэты, как Аполлинер, не боялись обращения к мифологии...

«Не знаю,— замечает в заключение Яструн,— как Артур Сандауэр представляет себе воздействие литературы на человека иначе чем через интеллект. С его точки зрения, это происходит «прямо как музыка или физическая сила». Меня особенно беспокоит эта физическая сила»,— заключает М. Яструн.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

В конце февраля в Польшу возвратилась из эмиграции известная польская писательница старшего поколения Зофья Коссак-Шуцкая. Наиболее значительным и известным ее произведением является историческая трилогия «Крестоносцы». В период гитлеровской оккупации Польши Коссак-Шуцкая сотрудничала в подпольных антифашистских изданиях. О своем пребывании в лагере смерти, Освенциме, писательница рассказала в книге «Из бездны».

Отвечая от своего имени и от имени своего мужа на вопросы корреспондентов, Коссак-Шуцкая сказала: «Решение вернуться в Польшу мы приняли еще в июне прошлого года и возвращаемся с радостью, понятной только тому, кто долгие годы провел за пределами родной страны. На протяжении всего этого времени мы всегда сердцем и душой были с родиной. Наши польские друзья, живущие в Англии, провожали нас со слезами на глазах и не без зависти...»

«Место писателя всегда там, где его народ»,— сказала в заключение Коссак-Шуцкая.

МАЯКОВСКИЙ В ПОЛЬШЕ

В 1927 году впервые на польском языке вышел однотомник произведений Маяковского. Поэт сопроводил издание небольшим предисловием. Передавая его редактору и составителю Анатолю Стерну, поэт сказал: «Это в залог дружбы польской и советской поэзии».

Недавно в издательстве «Чительник» Анатоль Стерн выпустил «Избранные сатиры» Маяковского. Под редакцией и с предисловием А. Стерна вышел также однотомник стихотворений «Владимир Маяковский молодежи». Северином Полляком переведена пьеса «Клоп».

Сейчас Анатоль Стерн, Северин Полляк и другие поэты работают над подготовкой собрания сочинений Маяковского на польском языке. Издание предполагается выпустить в трех томах. В него войдут наиболее удачные переводы. Чтобы лучше ознакомить читателя с творчеством Маяковского, рядом будут печататься два различных перевода одних и тех же произведений.

РУМЫНИЯ

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

Несчастный случай оборвал жизнь молодого румынского поэта Николае Лабиша. Ушел из жизни «самый талантливый представитель молодого поколения поэтов,— пишет журнал «Флакэра».— В 21 год Лабиш оставил лишь один сборник стихотворений, массу рукописей и целый ряд стихов, разбросанных по различным изданиям, которые, будучи объединены все вместе, дают представление о том, какую тяжелую утрату понесла наша литература».

«Сборник «Первая любовь»,— по словам журнала,— посвящен детству и юности поэта с их сомнениями, поисками и самоутверждением, туманными мечтами и огорчениями, бьющим через край энтузиазмом, непосредственностью и безграничным стремлением к идеалу.

Первая любовь, первые чувства, естественно, обращены к самому дорогому: к отцу, вернувшемуся с войны, к матери, которая не спит по ночам, к младшим сестрам, к родным лесам, к друзьям и товарищам и, конечно, к партии, воплощающей в себе волю и стремление масс».

«КАРМАННОЕ СОБРАНИЕ НАСЕКОМЫХ»

Журнал «Флакэра», указывая, что в современной румынской литературе не часто появляются сатирические произведения на современные темы, отмечает издание книги Тудора Мазилу «Карманное собрание насекомых». Она состоит из памфлетов и сатирических портретов и полна сарказма «чуткого, честного человека, которого выводят из себя беспринципное приспособленчество бывших людей, демагогические словоизвержения и угодливость карьеристов, глупость лгунов, «утонченность» некоторых псевдоинтеллигентов... Мазилу издевается над мелкобуржуазной стихией, которая рядится в одежды нового. Несомненно,— заключает журнал,— эта оздоравливающая книга послужит укреплению этики нашего социалистического общества».

ИТОГИ КОНКУРСА «ЛЮБИТЕ КНИГУ»

Почти полтора года назад наш журнал сообщил об организации в Румынии конкурса «Любите книгу» (см. «Иностранную литературу» № 4, 1955 г.). Цель конкурса заключалась в распространении книг среди молодежи, в стимулировании интереса к чтению. Для получения значка «Друг книги» требовалось прочесть ряд произведений.

Газета «Скынтейя» опубликовала краткую информацию о некоторых итогах этого конкурса. В конкурсе участвовало более полумиллиона человек, из них 60.000 награждены значком «Друг книги». Газета пишет: «На основе опыта, приобретенного в результате проведения конкурса, и, учитывая предложения, поступившие от конкурсных комиссий на предприятиях, в учреждениях, селах и учебных заведениях, центральная комиссия приступила к выработке новых списков книг, в которых будет учтена различная степень подготовки читателей».

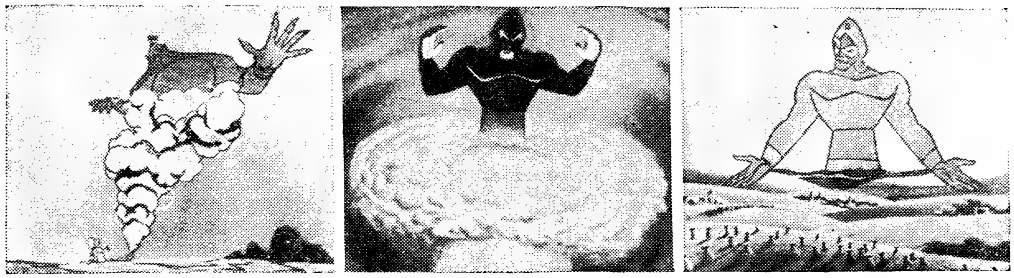
США

КНИГА О КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЕ

Недавно в США вышел в свет роман о войне в Корее английского писателя Д. Холландца «Отличная рота».

В центре романа — солдаты небольшого подразделения английских войск, от-

Кадр из американского фильма «Ван Гог». В роли знаменитого художника актер Кирк Дуглас. *(Журнал «Пари матч»)*



Создатель целого ряда мультипликационных фильмов У. Дисней выпустил для телевизионной программы фильм «Ваш друг атом», в котором в своей обычной манере рисует картину мирного использования атомной энергии. Мы воспроизводим из журнала «Синемонд» три кадра этого фильма. На первом показано расщепление атома, втором — появление на вершине атомного взрыва доброго атомного гения, третьем — атом на службе человека.

правленного на войну. Большая часть подразделения гибнет. В конце книги один из солдат с горечью говорит о погибших товарищах, что поскольку они подчинялись приказам, то и кончили весьма печально.

Поскольку вывод этот расходится с официальной оценкой в США войны в Корее, рецензент «Нью-Йорк геральд трибюн» начинает свою статью следующим категорическим заявлением:

«Для американцев корейская война была нашей войной. Соединенные Штаты первыми пришли на помощь Корее. Все верховное командование там было американское. Мы вели войну и послали подавляющее большинство войск...»

Но затем автор вынужден признать, что для американских солдат и их родных, оставшихся дома, было достаточно трудно найти в этой войне какой-то смысл; в еще большей степени это относится к солдатам других западных стран, которые были посланы умирать «в качестве символа верности Объединенным (но на деле разъединенным) нациям».

Книга Холландца, признает рецензент «Нью-Йорк геральд трибюн», показывает, что война «только для генералов носит теоретический и профессиональный характер». Большинство же английских солдат, отправленных на корейский фронт, считало, что «их постигла злосчастная проклятая судьба».

«НАВЕСТИ ПОРЯДОК В АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ»

Известный американский театральный деятель и критик Тайрон Гатри выступил в «Нью-Йорк таймс» со статьей о кризисе американской культуры и в частности драматического и оперного театров.

«Частная инициатива,— заявил Гатри,— показала не только полную неспособность разрешить финансовые затруднения, постоянно терзающие нашу оперу и драматические театры, она показала также, что вмешательство отдельных лиц в театральные дела ведет это искусство к полному творческому тупику».

Жалуясь на затруднения и нехватку средств даже в крупнейшем оперном театре страны «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, Тайрон Гатри пишет, что отсутствие денег и консервативные вкусы большинства пожилых меценатов, финансирующих театр, приводит к тому, что директора театров пропагандируют старомодный репертуар, исключающий всякую возможность какой-либо экспериментальной работы или элементов новаторства.

Тайрон Гатри пишет далее, что только в молодых театральных группах можно найти свежие и оригинальные идеи, но эти группы не располагают капиталами и не пользуются престижем у публики. Он считает, что при нынешнем положении вещей опера едва ли просуществует в США больше, чем несколько лет.

Отмечая, что драматический театр работает более или менее нормально лишь в Нью-Йорке, а за его пределами уже лежит «пустыня», Гатри заявляет: «Настало время навести порядок в американской культуре». Он всецело присоединяется к тем тремстам видным деятелям культуры, которые летом 1956 года направили в Конгресс петицию с предложением создать в целях повышения культуры Национальную комиссию по вопросам искусства. Однако этот важный документ прошел совершенно незамеченным, что свидетельствует, по мнению Гатри, о низком уровне культуры в США, а главное—о невнимании к вопросам культуры правящих кругов. Если бы такой манифест был подписан не выдающимися деятелями культуры, а известными спортсменами или преуспевающими бизнесменами, печать и конгресс не посмели бы его так обидно игнорировать.

ПОЛОЖЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

В начале нынешнего года ведущие американские кинофирмы с большим шумом заявили о том, что до конца года производство кинофильмов в США возрастет на двадцать процентов по сравнению с 1956 годом. Однако, как сообщает гол-

ливудский корреспондент польского журнала «Фильм» Эдгар О'Коннор, положение даже самых крупных американских киностудий отнюдь не представляется в розовых тонах. Студия «Метро-Голдвин Майер», занимающая одно из ведущих мест в Голливуде, намеревается сдать в аренду половину своих ателье. Студия «Рипаблик» расторгла договор с обслуживавшим ее оркестром, чтобы сэкономить на этом 250.000 долларов в год. Студия «XX век-Фокс» решила в целях экономии демонтировать несколько съемочных павильонов.

Киностудии «Парамоунт», «Колумбия», «Метро-Голдвин Майер» и другие все теснее связывают свою деятельность с телевидением, являющимся наиболее опасным их конкурентом. Одновременно усиливается конкурентная борьба между владельцами кинотеатров и телевидением. Чтобы выйти победителем в этой борьбе, владельцы кинотеатров прибегают к показу очень длинных фильмов, которые из-за своей продолжительности не могут быть включены в телевизионные программы. В результате количество сеансов уменьшается и доходы владельцев кинотеатров неуклонно падают. По сообщению журнала «Фильм», в США уже закрыто около 6 тысяч кинотеатров.

ФРАНЦИЯ

«ПО ПРАВДЕ ГОВОРЯ...»

Так называется новая книга французского литературоведа Анри Гийемена, в которой опубликовано множество неизвестных до сих пор документов, относящихся к творчеству Руссо, Жорж Санд, Шатобриана, Виктора Гюго и Андре Жида. «Тщательная проверка и систематическое разоблачение необоснованных легенд — дело, которым занимается А. Гийемен, приносит большую пользу и отвечает интересам нового, здорового течения в истории французской литературы», — пишет еженедельник «Леттр франсез».

Особый интерес критики вызывает глава об Андре Жиде, в частности, об его дневниках периода второй мировой войны. Эти дневники были впервые опубликованы во время немецкой оккупации в журнале «Нувель ревю франсез». В комментарии журнала, сопровождавшем публикацию дневника, говорилось об «удивительной скромности» Жида, о его «щепетильности», о том, что «его основным требованием к себе всегда являлось соблюдение полной правдивости, чего бы это ни стоило» и т. п.

Процитировав этот хвалебный комментарий, Анри Гийемен путем сопоставления ряда текстов показывает далее, что при переиздании своего дневника в 1946 году Андре Жид прибег к весьма неблаговидным способам «исправления» своих записей. В новом издании был вычеркнут ряд фраз, которые, по-видимому, были «уместны» в журнале, выходившем при гитлеровских оккупантах, но выглядели весьма мало патриотично после поражения нацистов. Вычеркнутыми также оказались слова, отдающие «вишистским душком». В другом месте своего дневника Андре Жид сделал малозначительные, на первый взгляд, добавления, сразу изменяющие, однако, смысл записей и придающие им «оттенок патриотизма и сопротивления», которого не было в первом издании, и т. д.

«Все эти данные представляются весьма серьезными,— пишет французский критик Пьер Дэкс,— особенно если вспомнить, что дневники Андре Жида занимают совершенно особое место в творчестве этого писателя, часто повторяющего слова об «искренности». Так называемые «ценности Андре Жида», о которых говорит современная критика, ставятся под сильное сомнение...»

75-ЛЕТИЕ МАК ОРЛАНА

Газеты отмечают семидесятипятилетие Пьера Мак Орлана, одного из старейших французских писателей, автора более чем двух десятков популярных романов. Многие из них были в двадцатых годах переведены на русский язык и пользовались успехом у советских читателей («Желтый снег», «Гавань мертвых вод», «Фабрика крови», «На борту «Утренней звезды» и др.). Особенно широко известны приключенческие и морские романы Мак Орлана, увлекательно повествующие об удивительных происшествиях, об океанских просторах, о мужественных и сильных людях.

Еженедельник «Леттр франсез», отмечая юбилей писателя, печатает статьи о Мак Орлане писателей Лану, Шаброля, Ансельма и других.

КРИТИКА НОВОГО АМЕРИКАНСКОГО ФИЛЬМА

Широкоэкранные американские фильмы, созданные для синерамы, вызывают во Франции все большее разочарование. Газеты разных направлений, отдавая должное возможностям синерамы, пишут о художественной убогости нового американского фильма «Праздник синерамы». Так, буржуазная газета «Ар» помещает статью, в которой говорится: «...Самое возмутительное—тон и содержание этой картины, непрестанное заигрывание с «дорогой публикой», грубая демагогия, неприкрытая реклама и пропаганда... Зрителя раздражает, что он на протяжении двух часов вынужден выслушивать такие замечания: «Дорогая публика, благодаря синераме вы увидите то-то и то-то...» или же: «Америка не только находится на вершине прогресса, но также...» и т. п. Пожалуй, единственным достоинством синерамы является то, что она некоторым образом дает возможность совершить путешествие в Америку; но мы выходим из кинотеатра с непри-

миримыми антиамериканскими настроениями».

Фильм «Праздник синерамы», пишет «Ар», может служить ответом на часто задаваемый вопрос: почему ненавидят американцев? «Часть фильма, посвященная Франции, до такой степени нелепа, что во время демонстрации картины для представителей печати звук был выключен, чтобы зрители не услышали слов, с которыми американская парочка обращается к французской женщине — матери двух сыновей, отправившихся на войну...»

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«ТЕАТР ПОЭЗИИ»

В Праге основан «Театр поэзии», который будет знакомить широкую публику с шедеврами чешской и мировой литературы.

В качестве декламаторов на сцене «Театра поэзии» будут выступать лучшие артисты пражских театров.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Пражское издательство «Чехословацкий писатель» выпустило антологию Людвика Кундера «Немецкие портреты». В книге, сообщает газета «Националь цейтунг» (ГДР), содержатся короткие литературные портреты и произведения ряда писателей и поэтов Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии—представителей современной немецкой литературы: Брехта, Зегерс, Арнольда Цвейга, Фюрнберга, Кубы, Фюмана, Маурера, Хермлина, Ренна, Вайскопфа, Вайнерта, Леонгарда Франка, Хухеля, Арендта, Петерсена.

«ЧУДАК» НАЗЫМА ХИКМЕТА

Пражские зрители увидели «Чудака» Назыма Хикмета впервые еще в прошлом году по телевидению. Сейчас эта пьеса поставлена столичным Национальным театром. Критика отмечает большой успех режиссера Отомара Крейчи и исполнителя главной роли Карела Хегера.

«Национальный театр, — пишет газета «Литерарни новины»,—создал в целом сильный, своеобразный, художественно убедительный спектакль, бросающий вызов рутине, не пугающийся режиссерского и актерского риска. Поиски формально своеобразных и новых средств выражения не были для режиссера самоцелью, они вытекали из стремления к наиболее верной, полной передаче замысла пьесы».

ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ

КОНКУРС ГАЗЕТЫ «НЬЮ ЭЙДЖ»

Выходящая в Южно-Африканском Союзе прогрессивная газета «Нью эйдж» провела конкурс на лучший рассказ.

Первая премия присуждена видному профсоюзному деятелю Мби за рассказ «Кормилец». Герой этого рассказа негр Мавусо с ранних лет был вынужден трудиться, для того чтобы содержать больную мать и сестер. Всю жизнь он работал не разгибая спины, и всю жизнь жил в нищете. Мавусо был «примерным негром» и с детской доверчивостью слушался «своих старших белых братьев», учивших его, что только трудом и смирением он сможет добиться лучшей жизни. Финал рассказа показывает, как призрачны были его надежды и насколько наивной оказалась его вера в «справедливость белых братьев». Он был убит ими. Вся его вина заключалась в том, что он был негр и при этом не знал, что когда в городе происходят беспорядки, неграм лучше не появляться на улицах...

В рассказах «Госпиталь в А.» писателя Кори и «Грех Лиззи» Хатчинсона говорится о расовой дискриминации. В рассказе Гвала «На холме» перед читателями встает яркая картина борьбы африканцев за свои права. «Мы встретили их мирно,—говорит один из героев об англичанах,—они пришли только с одной библией... А теперь у нас одна только библия, а у них—наша земля».

Оценивая результаты конкурса, жюри указывало: «Он свидетельствует о том, что поднимается насыщенная событиями из жизни народа литература протеста, подлинно народная литература».

ЯПОНИЯ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Японское издательство «Тикума сёбо» начало выпуск 97-томной серии «Собрание произведений современной японской литературы». В серию войдут произведения таких известных писателей, как Токутоми Рока, Акутагава Рюноскэ, Симадзаки Тосон, Нацумо Сосэки, Кобаяси Такидзи, Миямото Юрико и ряда других. Всего предполагается включить в серию произведения 250 писателей.

Каждый том снабжен критической статьей о жизни и творчестве писателя, произведения которого в него включены.

НОВЫЙ РОМАН ПИСАТЕЛЯ ИТО СЭЙ

Японский писатель Ито Сэй, собрание сочинений которого недавно вышло в свет, выпустил новый автобиографический роман «Портрет молодого поэта», в котором рассказывает о своем творческом пути.

Критика высоко оценивает новое произведение Ито Сэй, называя его выдающимся явлением современной японской литературы. Роман вышел в издательстве «Синтёся».

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Вацлав Ржезач — Václav Řezáč (1901—1956) — чешский писатель. Автор романов «Черный огонь» ("Černé světlo", 1940), «Свидетель» ("Svědek", 1942), «Рубеж» ("Rozhraní", 1944) и ряда других произведений Два романа из неоконченной трилогии «Наступление» ("Nástup", 1950) и «Битва» ("Bitva", 1954) были удостоены Государственной премии Оба романа переведены на русский язык.

Печатаемый нами рассказ взят из сборника Ржезача «Лицом к лицу» ("Tváří v tvář", 1956).

Мария Домбровская — Maria Dąbrowska (род. в 1892 г.) — польская писательница. Ее литературная деятельность началась в 20-х годах Широкую известность принесли Домбровской сборник рассказов «Люди оттуда» ("Ludzie stamtąd", 1925) и цикл романов «Ночи и дни» ("Noce i dnie", 1931—34) В начале 1955 г была опубликована повесть «На деревне свадьба» ("Na wsi we sele"), вышедшая затем отдельным изданием; в переводе на русский язык повесть была помещена в № 5 нашего журнала за 1956 г В 1955 г Домбровская была удостоена Государственной премии первой степени Печатаемый нами рассказ взят из сборника «Утренняя звезда» ("Gwiazda zaranna", 1955 г.).

Божидар Божилов (род. в 1923 г.) — болгарский поэт. Его перу принадлежит поэма «Димитров» (1950), сборники «Стихотворения» (1948), «Агитатор» (1950) и другие.

Печатаемое нами стихотворение взято из болгарской газеты «Народна култура» № 3 от 9 февраля 1957 года.

Людвик Ашкенази — Ludvík Aškenazy, (род. в 1921 г.) — чехословацкий писатель и журналист, автор ряда книг, в том числе: «Высокая политика» ("Vysoká politika", 1953), «Всюду я встретил людей» ("Všude jsem potkal lidi", 1955) «Майские звезды» ("Květnove hvězdy", 1955), «Детские этюды» ("Dětské etudé", 1955) и «Украденный месяц» ("Ukradený měsic", 1956)

Мавахиб аль-Каяли — известный сирийский писатель, главный редактор журнала сирийского радиовещания и газет «ан-Нур» и «Барада».

Жорж Садуль — Georges Sadoul (род в 1904 г.) — французский историк и теоретик киноискусства, автор многих книг, в том числе многотомной «Всеобщей истории кино», несколько томов которой уже опубликовано В СССР издана его книга, посвященная жизни и творчеству Чаплина

Ж. Садуль — профессор Института высших кинематографических исследований и Института фильмологии при Сорбонне. В 1956 году он защитил докторскую диссертацию в Институте истории искусств Академии Наук СССР.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов, Н. Н. Вильмонт, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора), **Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, С. В. Образцов, С. П. Щипачев.**

Адрес редакции: Москва, ул. Воровского, д. 52, журнал «Иностранная литература». Телефоны: Д 5-17-83, Д 5-17-10, Д 5-19-81.

Художеств. редактор *М. М. Милославский.* Технический редактор *А. Ф. Марков.*

А 04136. Сдано в производство 21/III 1957 г. Подписано к печати 21/V 1957 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9,0 бум. л.+1 вкл. П. л. 24,66+1 вкл.
Зак 773 Цена 8 руб.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 8 руб.